ОТ АВТОРОВ

Когда-то некоторые главы этой книги писались и публиковались в виде отдельных статей, для настоящего издания все они были так или иначе переработаны и дополнены. Как мы надеемся, читатель сможет убедиться, что вместе они собраны неслучайно: в каждой части мы стремились сосредоточиться на таком явлении, которое, будучи само по себе весьма конкретным, иногда и частным, но надежно зафиксированным в источнике, позволяет выстроить целостную и неожиданную перспективу княжеской жизни XI–XIII столетий.

Для первой части таким явлением стали браки правителей, преимущественно внутридинастические. Одной из уникальных характеристик истории средневековой Руси является тот факт, что в течение более чем шести столетий власть здесь принадлежала представителям одного рода и легитимность ее определялась прямой кровной преемственностью — от брата к брату, от отца к сыну. Браки между «своими» приобретают в таких условиях совершенно особую силу и смысл. Они, с одной стороны, запечатлевают текущую политическую историю страны, а с другой — формируют ее. Их историю определяют, на наш взгляд, три фактора: в какой мере соблюдаются канонические нормы, ради каких надобностей они нарушаются и некое трудноуловимое третье, не сводящееся целиком ни к общецерковным нормам, ни к политической прагматике, но демонстрирующее своеобразие местного династического обихода.

Во второй части речь идет о некоторых приемах, с помощью которых коллизии династической жизни описываются в древнерусских текстах, а заодно и о том, как почерпнутые из текста приемы и сюжеты влияют на то, что мы привыкли считать исторической реальностью.

В части третьей мы возвращаемся к своему излюбленному объекту — именам собственным. Имена как таковые являются, на наш взгляд, едва ли не лучшим индикатором всех существенных изменений в жизни правящего рода, но на этот раз они будут интересовать нас прежде всего как средство междинастической коммуникации, почти двухсотлетнего диалога русских и половецких князей. Наши общие соображения относительно этапов этого взаимодействия изложены в последней главе этой части («Ритм и характер русско-половецких контактов по матримониальным и ономастическим данным»), каковой читатель, не стремящийся углубляться в перипетии ономастических практик и детальный разбор гипотез, вполне может и ограничиться.

Наша работа не содержит отдельного историографического обзора, хотя, выдвигая то или иное предположение, мы стремились учесть, обсудить или упомянуть мнения наших коллег и предшественников по соответствующему вопросу.

Авторы выражают свою признательность всем тем, кто помогал на разных этапах написания этой книги. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить А. Ю. Виноградова, А. А. Гиппиуса, Д. Домбровского, С. М. Михеева, А. В. Назаренко, Б. А. Успенского и Р. П. Храпачевского. Отдельная благодарность участникам семинара Лаборатории лингвосемиотики НИУ ВШЭ, принимавшим живое участие в обсуждении разных догадок и построений, легших в основу этой книги.

Часть I

НАБРОСКИ К МАТРИМОНИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ

Глава 1

Княгиня-вдова в домонгольской Руси: о природе уникального в правящей династии

Не вызывает сомнения, что в Средние века связи, возникающие благодаря бракам представителей двух разных народов, а тем более — между членами правящих династий, имели огромное политическое и культурное значение. Зачастую мы склонны даже переоценивать сугубо формально-прагматическую сторону подобных союзов, рассматривая их исключительно как некое прикладное средство, инструмент, используемый для скорейшего достижения конкретных политических целей.

Между тем, для носителя родового сознания — а таковыми в значительной степени оставались как средневековые правители Северной и Восточной Европы, так и их подданные, — брак являлся одним из главных средств освоения внешнего мира вообще. К р о в н о е р о д с т в о, будучи одной из важнейших категорий как в повседневном обиходе, так и в государственной стратегии, обладало одной очевидной особенностью — оно не могло быть предметом сознательного выбора, оставаясь предзаданным началом в жизненном пути всякого человека. С в о й с т в ó же, родство по браку, как раз несло в себе возможность выбора, выбора тем более значимого, что в следующих поколениях оно превращалось в то самое к р о в н о е р о д с т в о, которое

в глазах средневекового человека столь явно предопределяет судьбу наследников и потомков.

Правила и обычаи, детерминирующие подходящий или неподходящий для будущего свойства́ круг лиц, состояли из множества компонентов. Их комбинация (хотя на первый взгляд это может показаться неожиданным) даже в средневековой Европе, а не только в более архаических традициях, является важным параметром этнокультурного своеобразия. Так, Скандинавия и Русь, весьма близкие друг другу в том, что касается семейно-родового и династического обихода, именно в этой сфере различаются довольно кардинально. Характерно, в частности, что даже соблюдение такой, казалось бы, универсальной нормы, как ограничение на браки между близкими свойственниками, устроено здесь в XI–XIII вв. по-разному. Традиционно принято полагать, что Западная церковь к тому времени проявляла несколько бо́льшую терпимость относительно таких браков, нежели церковь Восточная, что одновременная женитьба отца и его взрослого сына, например, на некоей вдове и ее родной дочери или союз двух родных братьев с двумя родными сестрами оказывались делом более приемлемым на Западе, чем на Востоке[1].

В действительности, дело, разумеется, обстояло куда сложнее[2]. Подобного рода браки в интересующую нас эпоху в целом были запрет-

[1] О большей терпимости на Западе к некоторым видам таких браков вроде бы свидетельствует знаменитый пассаж Лиутпранда Кремонского, епископа IX в.: «...умер Рудольф, король Бургундии, и король Гуго женился на его вдове Берте, ибо Альда, мать его сына, короля Лотаря, к тому времени уже умерла. Но и сыну своему Лотарю он дал в жены Адельгейду, дочь Рудольфа и той самой Берты, отличавшуюся как красотой, так и чистотой нравов. Правда, греки считают недопустимым, чтобы сын без греха женился на девушке, если мать ее вышла замуж за его отца и две плоти соединились воедино» [Лиутпранд Кремонский: 79, кн. IV, § XIII]. Впрочем, речь здесь, разумеется, идет не о том, что на Западе такие браки были канонически дозволены, а о том, что в определенных регионах и в определенных ситуациях они оказывались допустимыми, а в других — нет. Подробнее см. ниже.

[2] Так, у того же Лиутпранда, не усматривавшего ничего дурного в женитьбе отца и сына на матери и дочери, мы можем найти упоминание связи с двумя сестрами в качестве особого отягчающего обстоятельства в описании развратного облика папы Иоанна XII [Лиутпранд Кремонский: 118, § XII]. С другой стороны, в «Истории англов» Беды Достопочтенного сообщается, что папа Григорий Великий строжайше запрещал женитьбу на овдовевшей мачехе, равно как и брак со вдовой брата, но как будто бы разрешал браки между троюродными братьями

ны как в восточной, так и в западной части христианской ойкумены, а различалось от страны к стране, скорее, отношение к заключению таких союзов знатью или правителями государств. В средневековой Скандинавии, по-видимому, проявлялась заметно бо́льшая толерантность, например, к женитьбе двух братьев на двух сестрах, явлению немыслимому в том, что касается княжеских браков, заключаемых на Руси.

В целом, не будет преувеличением сказать, что при всей огромной весомости отношений свойства́ в обоих регионах в XI–XII вв. в русской традиции преобладало, скорее, *дифференцирующее* понимание данной категории, тогда как на Скандинавском полуострове доминировало восприятие *интегрирующее*. Эти перспективы, интегрирующая и дифференцирующая, могут проявляться на самых различных уровнях существования культуры, будь то уровень собственно языковой, мифопоэтический, уровень повседневного обихода или политической стратегии. Поясним, что мы имеем в виду.

Скандинавская традиция в XI–XII вв. располагала, например, неким набором специализированных именований, позволяющих обозначить конкретную форму родства через брак. Однако на всем пространстве письменных текстов (по-видимому, и в пространстве жизненном) для обозначения любого свойственника (будь то муж дочери, брат или отец жены) чаще всего используется собирательный термин mágr (мн. ч. — mágar) «свойственник вообще» (см. подробнее: [Успенский 2004; Uspenskij 2007; Успенский 2016: 98–131]). Можно сказать, что отчасти он коррелирует с термином frændi (мн. ч. — frændr) «кровный родич», существенно при этом, что категория кровного родства остается в традиции куда более членимой и конкретизируемой.

Напротив, для домонгольской Руси — при существовании целого ряда активно употребляемых терминов, обозначающих конкретные формы отношений свойства́ («своякъ», «шуринъ», «тьсть» и т. д.), —

и сестрами (так называемое «третье колено» или 6-я степень родства) [Беда Достопочтенный: 32, кн. I, гл. 5]. Последнее дозволение плохо согласуется с каноническими установлениями того времени в целом. Разумеется, эти единичные примеры не могут составить сколько-нибудь полной картины отношений к браку между свойственниками у западной знати, но, по крайней мере, дают некоторое представление о ее неоднородности и несводимости к простому следованию зафиксированным на письме нормам.

в целом затруднительно выделить какое-либо обобщающее слово, указывающее на свойственника как такового. Своеобразным кандидатом на эту роль мог бы считаться термин «сватъ», но и он попросту несопоставим с термином mágr ни с точки зрения частотности употребления, ни по функциональному диапозону, ни по степени отвлеченности от вполне конкретного характера связи между людьми. Так, сватами по отношению друг к другу могут быть поименованы, в первую очередь, старшие родичи мужа и жены, гораздо реже — люди одного с ними поколения и никогда — те, кто хотя бы на одно поколение их младше. Иначе говоря, сваты это те, под чьей опекой супруги состояли на момент свадьбы, чаще всего — их отцы. Сватом может быть назван и дядя жениха по отношению к отцу невесты или двоюродный брат невесты по отношению к отцу будущего мужа, в особенности если этот двоюродный брат существенно старше своей кузины по возрасту. Однако племянник жены, например, никогда не обозначается таким термином, по отношению к кому бы то ни было из кровной родни ее мужа в текстах, описывающих домонгольское время.

Весьма существенно, кроме того, что в древнескандинавской традиции термином mágr, наряду со всеми прочими, может обозначаться совершенно особый тип отношений, который хотя и входит в церковно-канонический перечень отношений, приобретаемых благодаря браку, в других традиционных культурах обыкновенно не объединяется лексически с другими типами свойствá. Речь идет о том, что в средневековой Скандинавии mágr'ами могут именоваться, в частности, отчим и пасынок, причем, судя по всему, такой способ номинации является довольно древним, во всяком случае, мы находим его у скальдов, а также в сагах и законодательных текстах.

Существенно при этом, что в соответствующих контекстах речь идет о симметричной связи между двумя взрослыми людьми, пасынком и отчимом, связи, аналогичной, например, той, что существуют между мужем женщины и ее братом. Коль скоро речь шла о лицах, приобретших благодаря браку связь с каким-либо из правящих домов Скандинавии, то для них термин mágr мог приобретать характер почти титула или, во всяком случае, закрепляться в виде их личного прозвища: konungs-mágr — «свойственник конунга», причем так могли звать как человека, вступившего в брак с дочерью правителя, так и того, кто стал мужем его вдовствующей матери.

Последнее для нас особенно существенно, ибо, с точки зрения властной стратегии, женитьба на вдове недавно правившего государя была чрезвычайно мощным и политически эффективным ходом, к которому в Скандинавии прибегали чрезвычайно охотно. В XII в. Северная Европа была насквозь пронизана системой династического свойствá и родства, причем механизмы, по которым эти связи создавались, давно уже не ограничивались элементарной схемой, когда правитель одного государства попросту выдает свою дочь за прямого наследника или обладателя престола другого государства. В области матримониальных отношений сформировалось множество «дополнительных» средств, закреплявших связь между родами и обеспечивавших легитимность или стабильность в передаче власти.

Несмотря на явный «андроцентризм» традиции престолонаследия, возможности, которыми располагала вдова того или иного властителя, выходившая замуж вторично, приобрели особую смысловую нагрузку. Сами по себе повторные браки были на Скандинавском полуострове обычной и достаточно давней практикой. Можно вспомнить, например, что едва ли не самые прославленные конунги Норвегии — Олав Святой и Харальд Суровый — были единоутробными братьями: их мать Аста сначала была женой конунга Харальда Гренландца (отца Олава), а затем конунга Сигурда Свиньи (отца Харальда Сурового). В этом отношении своеобразным лидером XII столетия можно назвать, пожалуй, вдову норвежского короля Харальда Гилли, Ингирид, внучку правителя Швеции, Инги Старого. Она, помимо брака с этим конунгом, по крайней мере, дважды побывала замужем (за Оттаром Кумжей и за Арни из Стодрейма), но при этом имела детей с еще двумя мужчинами: со знатным норвежцем, Иваром Прутом, и родственником датских и шведских королей Хейнреком Хромым (о законности двух последних союзов источники умалчивают) [КЗ: 525, 550].

Существенно, разумеется, что речь шла не об индивидуальном выборе этих и других женщин — в той среде, где они жили, все эти матримониальные акции находили немедленное и многоступенчатое применение. Как упоминалось выше, прозвище konungs-mágr считалось вполне почетным, все дети от таких браков, зачастую раскиданные по разным краям Скандинавии, были связаны некими узами взаимопомощи и поддержки, которые становились особенно заметны и значимы, когда кому-то из них удавалось заполучить в свои руки власть

над страной. Царственные вдовы нередко оказывались посредницами между кровной родней своих многочисленных мужей и, в свою очередь, могли способствовать заключению новых матримониальных союзов между целым сонмом отдаленных свойственников и собственными родичами.

Очень интересна в этой связи фигура Маргреты Фридкуллы, дочери Инги Старого. Выйдя замуж за конунга Норвегии Магнуса Голоногого, она обзавелась несколькими пасынками. Одним из них был внебрачный сын Магнуса, Сигурд Крестоносец. Сравнительно быстро овдовев, Маргрета вновь выходит замуж — на этот раз за датского короля Нильса, и бóльшая часть ее жизни и династических интересов отныне связана именно с Данией. Она активно занимается устройством матримониальных дел своих новых свойственников, в частности, женит племянника Нильса, Кнута Лаварда, на своей собственной родной племяннице, дочери Христины и Мстислава Великого Ингибьёрг. Однако и о потомстве своего прежнего мужа королева не забывает[1]. Так, по-видимому, именно она устроила брак Сигурда Крестоносца и еще одной своей племянницы, Маль(м)фрид, родной сестры Ингибьёрг Мстиславны. Именно эта Маль(м)фрид, овдовев уже после смерти своей тетки, выходит замуж за Эрика Незабвенного, единокровного брата мужа своей сестры. Брак этот, разумеется, был явным нарушением канонического запрета на матримониальные союзы с близкими свойственниками, но, по-видимому, был весьма необходим Эрику, боровшемуся (и вполне успешно) за датский престол.

С другой стороны, скандинавские конунги охотно прибегали к практике брака с царственной вдовой и за пределами полуострова, коль скоро их интересы распространялись на ту или иную территорию, — достаточно вспомнить хотя бы знаменитую женитьбу датчанина Кнута Могучего на вдове английского короля Этельреда Нерешительного, произошедшую, когда Кнут овладел Англией.

Для нас, однако, более существенно, что на самом Скандинавском полуострове постоянно создавались обширные кланы свойственников, и одним из важных факторов их формирования оказывались повторные браки знатных женщин королевской и некоролевской кровей. Все взрослые участники подобной структуры были связаны между собой обязательствами взаимопомощи. То обстоятельство, что к ним куда более регулярно применяется обобщающий термин mágr, нежели уточняющее указание на форму свойствá между ними, лишний раз подчеркивает обширность и известную однородность таких союзов по свойствý. Мужья двух сестер, сводные (неродные по крови) братья, пасынок и отчим, все, чье свойствó между собой достаточно близко, должны были, согласно традиционным представлениям, в полной мере актуальным для XI — начала XIII в., поддерживать друг друга как в повседневной жизни, так и в различных военно-политических предприятиях.

[1] Научная литература, посвященная всем этим бракам, затеянным Маргретой Фридкуллой, достаточно обширна. Укажем здесь лишь некоторые работы, в которых можно найти необходимые ссылки и соответствующую библиографию: [Lind 1992; Ф. Успенский 2002: 34–44; Джаксон 2004; Литвина & Успенский 2012а].

Различия возможных типов свойствá в подобной системе не нивелируются полностью, но явно имеют второстепенное значение. Не так важно, в сущности, заданы ли эти отношения для кого-либо из действующих лиц браком его матери или его собственными матримониальными шагами, строятся ли они по «вертикальной модели» (тесть ↔ зять) или по «модели горизонтальной» (зять ↔ шурин) — все свойственники чуть ли не на равных правах оказываются втянутыми в союзническую партию.

Своеобразие же русской ситуации отнюдь не сводится к тому, что здесь куда охотнее употребляются конкретные термины для различных форм свойствá и практически не существует термина собирательного, обобщающего. Прежде всего, бросается в глаза то обстоятельство, что на Руси в княжеской среде существовало, по крайней мере, одно, но чрезвычайно жесткое ограничение, которое мы не находим в ту эпоху ни в Скандинавии, ни в Западной Европе, ни в Византии.

В русских летописях, относящихся к домонгольскому времени, нет ни одного свидетельства, согласно которому русский князь-христианин взял в жены вдову другого русского князя, и это при том, что если самому князю случалось овдоветь, то он, как правило, вступал во второй брак, а иногда, по-видимому, и в третий.

В то же время, если русскую княжну выдавали замуж за иностранца, ничто не мешало ей, после смерти первого мужа, вступить в брак вторично. Достаточно вспомнить все ту же Маль(м)фрид, дочь Мстислава Великого, первый муж которой был конунгом Норвегии, а второй — правителем Дании. Ее старшей родственнице Анне Ярославне в XI в. не помешало вступить во второй брак ни то обстоятельство, что

ее новый избранник в свое время противостоял ее покойному мужу, ни тот факт, что он был женат.

Более того, бывали случаи (довольно, впрочем, редкие), когда русские правители женились на вдовах, но тогда это были вдовы династов других стран: именно таков, судя по всему, был брак Володаря Глебовича с Рикицей, вдовой Магнуса Нильссона.

Иными словами, домонгольская матримониальная стратегия Рюриковичей была такова, что относительно вторых браков допускались самые разные комбинации, за исключением одной, с которой мы начали, — русскому князю нельзя было жениться на той, кто уже побывала русской княгиней, не важно, принадлежала ли она по рождению к династии, правящей на Руси, или нет (да и вообще княжеской вдове в этой стране, судя по всему, следовало воздержаться от повторного замужества).

Дабы оценить нетривиальность данного ограничения, необходимо напомнить, какую огромную роль к XII в. стали играть браки внутри династии. Род разрастался на глазах, все его ветви в той или иной степени обладали некими правами на власть. Объединение властных привилегий двух родовых линий путем матримониального союза оказывалось делом весьма выгодным и потому регулярным. Создается впечатление, что как только позволяют церковные каноны (а иногда и с небольшими погрешностями против них), подобные союзы заключаются незамедлительно. При всем том, вдова князя, даже князя киевского, отнюдь не становится ценным призом, ни средством передвижения в этих брачных гонках. Если бы такие ограничения касались только урожденных княжон Рюриковен, можно было бы допустить, что для них порой трудно подобрать жениха, который не приходился слишком близким кровным родственником ни ей, ни ее покойному мужу. Однако запрет объяснялся не только и не столько этим. Это особенно очевидно в тех случаях, когда овдовевшая княгиня была иностранкой или новгородкой и была связана с Рюриковичами не по крови, а по браку.

В самом деле, чисто теоретически можно было бы вообразить, что, например, Изяслав Мстиславич, выдавая замуж в Венгрию свою единокровную сестру Евфросинию, заодно устроил бы и судьбу своей мачехи, дочери новгородского посадника Дмитрия Завидича, отдав ее за одного из русских князей, в чьей поддержке он был заинтересован. В свое время весьма эффектно выглядело бы и замужество молодой

вдовы самого Изяслава, приведенной «из Обез», с кем-нибудь из сыновей его троюродных или четвероюродных братьев. Однако в действительности ничего подобного никогда не происходило — ни для одной из таких вдов не находилось пары из числа русских князей, хотя их дочери, например, располагали всеми преимуществами своего происхождения и могли выходить замуж за Рюриковичей, если те приходились им достаточно отдаленными родственниками.

Как мы уже упоминали, подобной дискриминации вдов не существовало в принципе не только в Северной Европе, но и в других частях восточного и западного христианского мира. В самом деле, более благочестивым для христианки считалось, разумеется, сохранять безбрачие после смерти мужа, на ее матримониальные возможности накладывались известные ограничения, однако ни о каком запрете на повторный брак как таковой речи в эту пору не шло. Семиотика такого действия охватывает довольно широкий спектр возможностей: от дополнительной легитимизации права на трон до небольшого повышения статуса в иерархии знати.

Здесь можно говорить не только о модели скандинавской, но и, например, о модели византийской. В Византии женитьба на вдове кого-либо из предшествующих императоров издревле служила мощнейшим средством легитимизации собственных прав на престол. Особые выгоды, конечно же, предоставляла женитьба на такой вдове, в чьих жилах текла кровь византийских государей. Достаточно назвать Зою, дочь Константина VIII, которая в XI в. побывала замужем за тремя императорами — Романом Аргиром, Михаилом Пафлагоном и Константином Мономахом. Уместно вспомнить в этой связи и о женитьбах на вдовах ближайших родственников, которые византийские хронисты приписывали болгарским претендентам на престол в первые десятилетия XIII в.[1] Династические браки с вдовами были обычным и вполне распространенным явлением в ту эпоху и на территории Германии или Франции[2].

---

[1] Ср., напр., ремарку Георгия Акрополита о наследниках болгарского царя Иоанна: «По его смерти сделался владыкой болгар сын сестры его, по имени Ворила, женившийся на тетке своей <вдове дяди. — *А. Л., Ф. У.*>, скифянке» [Георгий Акрополит: 284, гл. XIII].

[2] В этом отношении показательна матримониальная судьба немки Оды, второй жены Святослава Ярославича Черниговского, и ее матери Иды. Первая, овдовев

Однако что же делало столь выигрышную практику невозможной для русских правителей домонгольского времени?

По крайней мере, в XII в., когда род Рюриковичей в достаточной мере разросся, этот запрет уже нельзя выводить из одних только канонических ограничений. Нельзя, пожалуй, сводить дело и к таким простым биологическим факторам, как возможные возрастные несоответствия женихов и невест — хорошо известно, что и на северо-западе, и на востоке христианского мира рамки брачного возраста для царственной вдовы были весьма и весьма растяжимыми. Так, в 80-е гг. XII в. София, русская княжна по отцу, пробыв около трех десятков лет замужем за королем Дании Вальдемаром Великим и имея от него взрослых детей, после его смерти выходит замуж вторично — за Людовика Доброго, ландграфа Тюрингии, племянника (сына сестры) германского императора Фридриха Барбароссы.

Если говорить о домонгольской эпохе, то летопись сохранила для нас ровно один случай, когда вдова князя Владимира Давыдовича (по женской линии приходившаяся внучкой Владимиру Мономаху) предприняла побег, чтобы выйти замуж вторично. Характерным образом, однако, это был брак отнюдь не с русским князем, но с князем половецким — Башкордом[1]. Именно с этим эпизодом закономерно связан единственный за весь этот период случай, когда рядом с именем юного княжича в летописи появляется слово *отчим* — так характеризуется Башкорд по отношению к сыну своей русской жены и князя Владимира Давыдовича [ПСРЛ, II: 500–501]. «Отчим» Башкорд в данной ситуации действует приблизительно в том же ключе, что и его скандинавские соседи в аналогичной ситуации: помогает в борьбе за престол военной силой не только своему пасынку, но и деверю своей русской жены, отстаивая династические интересы ее *свойственников*.

Тем не менее, подчеркнем еще раз, что такого рода отношения (как и женитьба на вдовах иностранных династов) ни в малой степени не типичны для русских князей и отнюдь не складываются ни в последовательную практику, ни тем более в систему. С вдовами же Рюриковичей русские князья не вступали в брак никогда.

на Руси, в Германии вступила во второй брак, тогда как другая успела побывать замужем трижды [Назаренко 2010: 338–340].

[1] Об обстоятельствах и последствиях этого союза см. также ниже: ч. I, гл. 5, с. 78–79, и ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 319–322 наст. издания.

Как кажется, чтобы понять природу интересующей нас ситуации, следует обратиться к тому единственному случаю, когда Рюрикович (правда, еще не принявший крещения) взял в жены вдову своего предшественника на престоле, другого Рюриковича. Речь идет об истории рождения Святополка, когда Владимир, будучи язычником, убил своего старшего брата Ярополка и «залѣже жену братьню Грѣкиню» [ПСРЛ, I: 78; II: 66][1]. Происхождение Святополка Окаянного, обвиняемого в убийстве своих братьев, оказалось одной из самых актуальных тем как для древнерусской книжности, так и для современных исследований. Здесь, однако, мы хотели бы обратить внимание лишь на одну особую интертекстуальную линию, в которую встраивается высказывание летописца о том, что он «бѣ бо ѿ двою ѡцю ѿ Ꙗрополка и ѿ Володимира».

Самое это высказывание, если понимать его буквально, выглядит несколько загадочным и заставляет искать в нем некоторое дополнительное, подразумеваемое значение. В самом деле, составитель «Повести временных лет» как бы нагнетает различные признаки изначальной «окаянности» Святополка: он говорит о том, что его мать была прежде монахиней, что он был «прелюбодѣичищь», поскольку Владимир вступил с ней в связь «не по браку», что отец не любил его, но из всего этого не становится яснее, почему, собственно, у Святополка имелся не один отец, а два.

Нам представляется, что в интересующем нас выражении в очередной раз проявилось отношение русской книжной традиции к Владимиру как к человеку, принадлежащему двум эпохам — дохристианской и христианской. Как известно, в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, а отчасти и в летописной похвале Владимиру, принявшему крещение, из «Повести временных лет», включение Руси в мировую христианскую историю осуществляется, в частности, за счет своего рода приравнивания времен язычества к тому этапу священной истории, который предшествует явлению Благодати, т. е.

[1] Ср. также «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе»: «Сего <Святополка. — *А. Л., Ф. У.*> мати преже бѣ чьрницею, гръкыни сущи, и поялъ ю бѣ Яропълкъ, братъ Володимиръ, и ростриг ю красоты дѣля лица ея, и зача отъ нея сего Святоплъка оканьнааго. Володимиръ же, поганъй еще, убивъ Яропълка и поятъ жену его, непраздьну сущю, отъ нея же родися сий окаяньный Святопълкъ. И бысть отъ дъвою отцю и брату сущю, тѣмь же и не любляаше его Володимиръ, акы не отъ себе ему сущю» ([Абрамович 1916: 27–28]; ср.: [Там же: 82, 99, 179]).

к эпохе Закона. При таком видении поступки Владимира до крещения могут трактоваться как подпадающие под действие Закона, но в таком случае с того момента, как он принимает крещение, их смысл и последствия воспринимаются отчасти как подлежащие отмене, а отчасти — как своеобразная помеха, несомненный предвестник будущих раздоров и противоречий.

В двух ранних образцах собственно русской гомилетики, в «Слове» Илариона и «Послании» митрополита Климента Смолятича, довольно подробно обсуждается тема смены брачных установлений: то, что было необходимо и правильно в этой сфере в эпоху Закона, становится неприемлемым и недопустимым с наступлением Благодати. Одним из главных установлений такого рода оказываются так называемые «левиратные браки», когда брат непременно должен жениться на вдове своего умершего брата, причем ребенок от такого союза считается отпрыском умершего. В христианской богословской традиции сюжет о левиратном браке — это устойчивый топос, который привлекался для объяснения противоречий в генеалогии Христа. Слушателям растолковывалось, каким образом один и тот же предок Иисуса мог быть включен сразу в две патрилинейные схемы, принадлежа к одной благодаря биологическому отцовству, а к другой — благодаря ветхозаветной юридической норме.

При такой трактовке Владимир, взяв в жены вдову своего старшего брата, «въстави племѧ братꙋ своємꙋ» [Никольский 1892: 113]; ср. также: [Лопарев 1892: 20]), и Святополк тем самым оказывается действительно сыном двух отцов: «естеством» он племя Владимира, «по закону же» — Ярополка. Дальнейшая интерпретация событий в подобном ключе подразумевает, что с принятием крещения Святополк как бы утрачивает свои права на принадлежность к старшей ветви рода. При этом летописец стремится подчеркнуть, что его следует считать недостойным и каких-либо новых прав, связанных с отцовством Владимира.

Условно говоря, женитьба на вдове оказывается недопустимой для князя, по меньшей мере, по трем причинам, причем все они имеют отношение к «прецеденту Владимира». Первая из них, лежащая на поверхности, является, на наш взгляд, наиболее поздней и наименее действенной; она связана с тем, что именно от такого брака появился на свет Святополк Окаянный. Две другие же, хотя и кажутся взаимоисключающими, могут быть равно актуальны в силу их происхождения

из библейского текста. В самом деле, женитьба на вдове брата предписана ветхому человеку, но не подобает христианину. С другой стороны, если отвлечься от противопоставления Закона и Благодати, то тексты из библейской истории утверждают, что ребенок, рожденный от брака с вдовой брата, является по закону отпрыском и наследником умершего.

В такой перспективе весьма значимо, что, с точки зрения преемственности власти, все русские князья Рюриковичи одного поколения (а иногда и представители двух смежных поколений), будучи прямыми потомками Владимира Святого по мужской линии, метафорически и при этом почти буквально и весьма осязаемо числили себя братьями. Идея братства служила едва ли не главным центром устойчивости и равновесия в сложной, подвижной, постоянно претерпевающей разрушение и регенерацию системе родового владения и управления в домонгольской Руси. Очевидно, что на подобном фоне — коль скоро тема левиратного брака хотя бы однажды приобрела актуальность в толкованиях Библии, доступных русским книжникам, а тем более была приложена к истории династии — за ней без труда закрепился ярлык негативности и недопустимости. Естественным образом, эта табуированность наиболее наглядно проступает с конца XI в., т. е. в ту эпоху, когда все больше княжеских браков совершается «дома», внутри самой династии или с представительницами новгородских знатных семей.

Итак, на наш взгляд, запрет жениться на вдовах своих родичей, пусть даже самых дальних, обязан своим существованием особой династической легенде Рюриковичей. Как кажется, благодаря этой легенде «гиперчувствительность» ко всему, что может напоминать левиратный брак, распространяется практически на любое вторичное замужество княгини, коль скоро она побывала замужем за русским князем. Для надежности ей лучше не выходить более замуж ни за кого на Руси, включая, по-видимому, и знатных новгородцев.

Здесь, разумеется, нельзя обойти вниманием формирование летописного образа княгини Ольги, которая, по преданию, отказывается от повторного замужества и будучи язычницей, и сделавшись христианкой, причем второй эпизод, когда она «переклюкала» византийского императора, не греша особой достоверностью, обслуживает сразу несколько явных и неявных просветительских надобностей, например, объясняет канонический запрет на брак крестницы и крестного

и в очередной раз проводит идею нежелательности замужества овдовевшей княгини.

Таким образом, интересующая нас легенда о вдовах и преемственности власти не является ни сугубо родовой, ни исключительно книжной, скорее, она демонстрирует, почему в странах поздней христианизации могут оказаться востребованными и актуальными достаточно изощренные и неожиданные контроверзы христианской традиции, если они удачным образом ложатся на местный династический уклад, и какую нормативную мощь, в свою очередь, подобные легенды приобретали в дальнейшей жизни этого правящего рода, делая невозможным и недопустимым то, к чему охотно прибегали в других странах.

Весьма любопытно, что на Руси этот неписаный запрет вполне сопоставим по силе действия с запретами каноническими, если не превосходит их. Так, в летописании, повествующем о событиях домонгольского времени, мы — вопреки весьма выраженной на Руси тенденции к соблюдению канонов относительно браков между родственниками — все же спорадически обнаруживаем случаи матримониальных союзов между людьми, состоящими, например, в 6-й (недозволенной для женитьбы) степени родства[1], однако не знаем ни одного упоминания о том, чтобы в эту эпоху Рюрикович женился на вдове Рюриковича.

Нетрудно определить, что означал этот запрет в перспективе устройства каких бы то ни было военно-политических союзов. Родители или другие родственники жены умершего князя были лишены возможности еще раз разыграть брачную карту дома и заключить с помощью повторного брака этой своей родственницы какой-либо новый альянс, ее дети не имели шанса приобрести дополнительное кровное родство с какой-либо другой ветвью Рюриковичей в своем поколении, поскольку здесь у них не могло появиться единоутробных сестер и братьев, а следовательно, политической поддержки и т. д. Этот ряд несуществующих возможностей можно было бы счесть не стоящим перечисления, если бы у нас перед глазами не было модели, когда содружество царственных пасынков, отчимов и сыновей от разных браков, обладавших и не обладавших правом на престол, создавало целую вспомогательную сеть, функционировавшую наряду с родством по крови и традиционным свойством.

[1] О таких княжеских браках см. подробнее ниже: ч. I, гл. 5, с. 67–101 наст. издания.

Существенно при этом, что традиционное свойство́ с представителями собственного рода на протяжении XII — первой половины XIII в. играет в династической жизни Рюриковичей, как уже отмечалось выше, огромную роль. Возможность сблизить и вторичным образом воссоединить две ветви разросшегося рода, заключить семейный и политический союз между старшими князьями, женящими своих детей, или между тестем и зятем, когда один из них хотя бы на время брал на себя функции родного отца по отношению к младшему свойственнику, эксплуатировалась чрезвычайно активно. Однако при заключении подобных браков князья стремились соблюдать канонические запреты не только в том, что касалось браков со слишком близкими кровными родичами, но и в вопросах свойства́. Дома, на Руси, две родные сестры Мстиславны никогда не могли бы оказаться женами двух братьев, во всяком случае, ни одного примера подобного рода из истории домонгольских Рюриковичей нам не известно.

Степеням и конкретным формам свойства́ уделялась, таким образом, весьма существенная роль при заключении княжеских браков. Одним из свидетельств столь пристального внимания может служить, по-видимому, сохранение в летописном узусе соответствующей детализирующей терминологии княжеского свойства́. Долгая жизнь древних обозначений для каждого типа свойственников подкрепляется регулярной практикой подсчетов в сфере свойства́, определяющих приемлемость того или иного матримониального союза с точки зрения церковных канонов.

Глава 2
Отцы и дети на пути к власти

В истории любого правящего рода Средневековья находятся фигуры, чья судьба как-то не укладывается в общепринятый порядок вещей, но, тем не менее, как раз на примере их жизни многое в этом общепринятом порядке становится для современного исследователя более ясным. Есть такие князья-исключения, которые как бы подтверждают собою некое правило, и в династии домонгольских Рюриковичей. Так, существует своеобразная загадка Вячеслава, одного из сыновей Владимира Мономаха, который на протяжении долгого времени почему-то оказывается ущемлен в своих династических правах. «Не по-

везло» даже его династическому имени, которое в следующих поколениях князей воспроизводится довольно редко и неохотно. Создается впечатление, что у Вячеслава Владимировича то ли недостает чего-то, что нужно полноценному князю, то ли, напротив, есть что-то лишнее, мешающее легитимности его прав. Как кажется, для подобного рода загадки можно предложить свое объяснение: речь идет о конкретном изъяне, природу которого вполне удается уловить, а природа эта, в свою очередь, связана с достаточно интересными, на наш взгляд, закономерностями структурирования власти на Руси XII в.

Самое яркое проявление ущербности Вячеслава приходится на тот момент, когда он, казалось бы, достигает естественного пика своей династической карьеры и становится — вслед за отцом и двумя старшими братьями — киевским князем. Как известно, старший из этих братьев, Мстислав, вовсе не сталкивался со сколько-нибудь серьезными попытками оспорить его право на киевское княжение. Следующий брат, Ярополк Владимирович, был вынужден бороться за это право со Всеволодом Ольговичем, представителем черниговской ветви, с которым состоял в родстве и свойстве[1]. Борьба эта была весьма упорной, но всякий раз Ярополк находил достаточно сил, чтобы и после военного поражения не отдавать Киев сопернику, и, в конце концов, его преимущество было признано безоговорочно.

С Вячеславом же, когда он после смерти Ярополка садится в Киеве, сразу выходит явная незадача — к городу подступает Всеволод, причем летописец подчеркивает, что тот явился, собрав «мало дружины», но зато с двумя братьями, родным и двоюродным (Святославом Ольговичем и Владимиром Давыдовичем):

> …и оувѣда Всеволодъ Ѧрополка . оумерша . а Вѧчьславъ сѣдить в Киевѣ . и събравъ мало дроужинъı съ братомъ своимъ . Ст҃ославомъ и с Володимеромъ Дв҃дцемъ придоша Въшегородоу . и сташе тоу въшедше в городъ [ПСРЛ, II: 302].

Данная ремарка повествователя свидетельствует о том, что Ольговичи стремятся не к настоящей войне, а к неким, так сказать, силовым переговорам. Характерно, в частности, что Всеволод на этот раз не

[1] Ярополк и Всеволод были троюродными братьями, кроме того, Всеволод еще и женился на племяннице Ярополка, дочери Мстислава Великого.

приводил с собой своих родичей-половцев, охотно помогавших ему в военных конфликтах с Ярополком.

Совершенно неожиданным образом, Вячеслав даже не попытался оказать этой малочисленной дружине Всеволода сопротивления, но сразу же отказался от Киева, а вместе с ним и от собственного родового старшинства. В Ипатьевской летописи для передачи данного обстоятельства используется любопытная с филологической точки зрения формулировка — *створисѧ мнии*, т. е. добровольно занял позицию младшего в иерархии[1]. Рассказ Лаврентьевской летописи ни в чем не противоречит такой трактовке событий, он, пожалуй, лишь несколько менее детализирован и эмоционален.

Подчеркнем еще раз, что понижение родового статуса Вячеслава обставлено не как результат военной победы черниговского князя, а скорее как некая церемониально-легитимная смена власти, организованная согласно договоренности: Всеволод, уже действующий на окраинах Киева, должен отойти обратно в Вышгород с тем, чтобы дать Вячеславу время спокойно отправиться в «свою волость», в Туров; лишь после этого Всеволоду надлежит занять столицу «с чⁱстью и славою великою» [ПСРЛ, II: 303].

Ни митрополит, ни киевляне, совсем недавно принявшие Вячеслава на киевское княжение, никак не возражают против подобного развития событий. Такое описание очень резко контрастирует с рассказами о том, как вел себя старший брат Вячеслава, Ярополк, когда Всеволод Ольгович пытался подступить к Киеву, или их младший брат Андрей, которого Всеволод, уже сделавшись киевским князем, хотел выдворить из Переяславля и отнюдь не преуспел в этом[2].

[1] Весьма показателен фрагмент из «Повести временных лет», где князь также добровольно констатирует свое меньшинство по отношению к собеседнику: «…посылаше к Ѡлгови мира просѧ . гл҃ѧ азъ ѥсмъ мнии тебе слисѧ к ѡц҃ю моєму . а дружину юже ѥси заѩалъ вороти . а ѩазъ тебе во всеѯ послушаю» [ПСРЛ, I: 238]. Существенно, однако, что здесь речь идет об обращении юного племянника, Мстислава, к своему двоюродному дяде, Олегу Святославичу, который вдобавок приходится ему крестным отцом. Иными словами, княжеская добродетель Мстислава заключается именно в том, что он охотно и добровольно признает действительное и очевидное старшинство Олега в родовой иерархии, хотя имеет все шансы выиграть военное противостояние с ним. Вячеслав же и Всеволод принадлежат к одному поколению, и о бесспорности старшинства Всеволода речь, разумеется, не идет.

[2] «...и тогда Всеволодъ приведъ брата . ис Курьска Ст҃ослава . и иде с ниѯ Переѩславлю . на Андрѣѩ . и хотѧше въгнати Андрѣа . а брата своѥго посадити .

Некая княжеская ущербность Вячеслава этим эпизодом династической истории отнюдь не исчерпывается. Она отчетливо прослеживается с середины 30-х до начала 50-х гг. XII в., причем ущемляют его права не только Ольговичи, но и свои ближайшие родичи — брат и племянники Мономашичи (ср., например: [ПСРЛ, II: 295, 297]). С другой стороны, эти родичи прекрасно отдают себе отчет в том, что в их семейной ветви — а под некоторым углом зрения и среди Рюриковичей вообще — Вячеслав обладает бесспорным старшинством.

В той смуте конца 40-х — начала 50-х гг. XII в., которая разгорелась после смерти Всеволода Ольговича, все главные действующие лица, принадлежащие к потомству Мономаха, — и Юрий Долгорукий, младший брат Вячеслава, и Изяслав Мстиславич, его племянник — твердо знают, что по родовому счету из всей их родни именно Вячеславу должен принадлежать Киев, и в то же время это долженствование с успехом обходят (ср., например: [ПСРЛ, II: 429]). Вячеслав все время оказывается в какой-то амбивалентной и безусловно проигрышной ситуации, когда он должен и одновременно не должен получать этот главный стол, хотя он, по его собственным словам, имеет и силу, и дружину. Согласно летописному рассказу, в определенный момент Юрий Долгорукий, заняв Киев, совсем уж было собрался отдать его брату, в соответствии с должным порядком вещей, однако его отговаривают бояре, утверждая, что «братоу твоемоу не оудержати Киева да не боудеть . его не тобѣ ни ѡному» [ПСРЛ, II: 394][1].

а Андрѣєви ре҃ иди Курску . и Андрѣи тако ре҃ . сдумавъ с дружиною своєю . лѣплѣѣ ми того смр҃ть а с҃ вое҃ю дружиною . на своєи вощинѣ . и на дѣднѣ . нежели Курьскоє кнѧженьє . ѡц҃ь мои Курьскѣ не сѣдѣлъ . но в Переѧславли . и хочю на своєи ѡчинѣ см҃рть приѧти . ѡже ти брате не досъіти всю землю Русскую держащее . а хочешь и сеѥ волости . а оубивъ мене тобѣ то волость . а живъ не иду из своѥѣ волости . ѡбаче не дивно нашему роду . тако и преже было же . Ст҃ополкъ про волость же ци не оуби Бориса . и Глѣба . а самъ ци долго поживе . и стоѧше Всеволодъ на Днѣпрѣ . и посла Ст҃ослава брата своѥго . к Переѧславлю с полкы . и оустрѣтоша и Аньдрѣєва дружина . и бишасѧ с ними . и поможе Бъ҃ Андрѣєвиче҃ . на Ст҃ослава . и гониша по ни҃ до Коранѣ . а далѣ не пусти Андрѣи дружины своѥѧ . и заоутра миръ створиша» [ПСРЛ, I: 307–308].

[1] В Никоновской летописи в соответствующем эпизоде появляется еще одна группа лиц, побуждающих бояр отговорить князя от приглашения Вячеслава — собственные дети Юрия Долгорукого [ПСРЛ, IX: 183]. Весьма вероятно, что самим упоминанием неких советчиков, которые «размолвиша» Юрия, мы обязаны необходимостью объяснить, как это нередко случается в летописном нарративе, не

Что же не так с Вячеславом Владимировичем?

Разумеется, объяснение вереницы подобных казусов можно свести к разговору о личных качествах этого князя, который будто бы был незадачлив и неспособен к военным действиям. Однако, во-первых, такое объяснение годится фактически для чего угодно, для любой нетривиальной исторической ситуации, а, во-вторых, мы, пожалуй, можем выделить некую группу примеров, когда тот или иной князь, благодаря своим личным качествам, получает более того, что ему полагается по рождению, но практически не знаем случаев, чтобы права того или иного Рюриковича столь демонстративно и при всеобщем согласии умалялись по отношению к его исходному иерархическому статусу.

И наконец, в-третьих — в летописи мы не находим ни одного упоминания о каком бы то ни было личностном изъяне Вячеслава Владимировича, способном спровоцировать столь заметные династические последствия. Напротив, Вячеслав предстает перед нами миротворцем и противником кровопролития, зачастую весьма успешным посредником в переговорах между князьями. Можно было бы усмотреть в этом какой-то недостаток в воинской доблести, но в этом смысле его характеристики практически тождественны характеристикам его брата Ярополка Владимировича, вполне успешно княжившего в Киеве. В традиции же русского летописания похвала княжескому миролюбию как таковая отнюдь не связывается с завуалированным намеком на недостаточную воинскую доблесть, слабость или полководческую бездарность.

Более того, нетрудно заметить, что в биографии Вячеслава довольно долгие годы ущербности как бы вставлены в рамку княжеского карьерного благополучия. При жизни отца ничто не предвещает будущей неполноценности этого князя. Вячеслава (по-видимому, еще совсем юного) Владимир Мономах посылает с половецким отрядом на помощь старшему брату Мстиславу [ПСРЛ, I: 239; II: 229]. Он возглавляет правый фланг войска, ведущего битву со Святославичами, и противостоит младшему из них — Ярославу. Скорее всего, именно он остается при старшем брате, пока их отец, Владимир Мономах, ведет переговоры с Олегом Святославичем[1]. В дальнейшем вместе с другими братьями он участвует в отцовских военных походах на половцев

вполне легитимный поступок князя, который намеревался действовать как должно, но затем — вопреки достойному замыслу — все же оставил старший стол себе.

[1] С большой вероятностью именно Вячеслав был тем безымянным «малы҃ братомъ» Мстислава, который упоминается в письме Мономаха к кузену.

[ПСРЛ, I: 282] и междоусобных битвах. В частности, Ипатьевская летопись особо отмечает его роль в походе на Глеба Всеславича: именно Вячеслав берет Оршу и Копысу, Ярополк Владимирович же, будущий князь киевский, вместе с Давыдом Святославичем захватывают Друцк [ПСРЛ, II: 282–283], так что между братьями наблюдается своего рода равенство, если не некоторый перевес в пользу Вячеслава.

В свой черед, в соответствии со старшинством — Вячеслав был, судя по всему, пятым сыном Мономаха — он получает от отца достаточно значительный смоленский стол, а в начальный период княжения брата Мстислава мы обнаруживаем его в Турове. Иными словами, до поры до времени, приблизительно до начала 30-х гг. XII в., воинские качества Вячеслава не подвергаются сомнению, а его княжеские права не обнаруживают никакой дефектности.

С другой стороны, в последние годы жизни Вячеславу удалось «свое старишиньство ѡправити» [ПСРЛ, II: 428] и сделаться хотя и явно не самым главным, но участником соправления в Киеве, которое в разные периоды можно считать дуумвиратом или триумвиратом. Почета ему достается, пожалуй, больше, чем властных привилегий, но необходимость считаться с его старшинством остается вплоть до смерти Вячеслава несомненной, незыблемой и лишенной всякой двойственности.

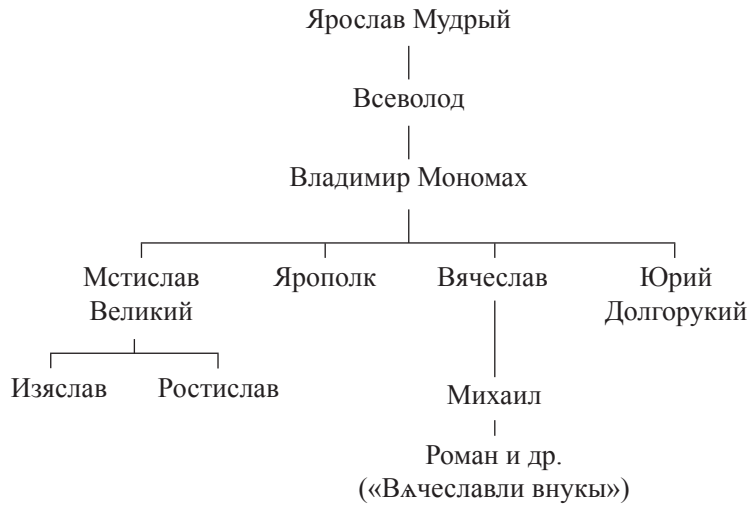
Что же задает эту рамку, если мы можем сказать, что в начале и в конце княжеской жизни у Вячеслава все было более или менее как полагается, а на зрелый возраст приходится такой странный провал? Как кажется, объяснение этому имеется. В начале растянувшейся на долгие годы «черной полосы» Вячеслав теряет сына, а конец ее ознаменован тем, что он сына (или сыновей) приобретает.

В самом деле, его взрослый и на тот момент, по всей видимости, единственный сын Михалко умирает в июле 1129 г. Обратим внимание, что этот молодой князь в летописи прежде не упоминался вовсе. Тем не менее, сообщение о его смерти весьма детализировано:

> В се же лѣто престависа . Вачьславичь Михаило . внукъ Володимерь . июла . въ к҃е [ПСРЛ, II: 293][1].

[1] В соответствующей записи Лаврентьевской летописи упоминание деда умершего князя отсутствует: «…в то же лѣ҃т престависа Михалко Вачеславичь» [ПСРЛ, I: 301].

Обычно отчество и дедчество, да еще и сопровождающиеся точной датой смерти, указывают или на высокое положение усопшего в княжеской иерархии, или на прекращение конкретной родовой линии[1]. Очевидно, что в случае с Михалко речь не может идти о маркированно высоком статусе этого князя, прежде попросту не появлявшегося в летописном нарративе. С другой стороны, с формально-биологической точки зрения, не совсем понятно, почему мы имеем дело с прекращением полноценной семейной линии, ведь у Михалко остались дети, характеризуемые в летописи как «Вачеславли внукы» [ПСРЛ, II: 479].



Однако в династической жизни Рюриковичей малолетние, осиротевшие при жизни деда внуки взрослым сыновьям не замена: полноценными наследниками деда они ни в коем случае не становятся. Вячеслав же к этому времени отнюдь не молод, и если не сразу, то в ближайшие годы становится ясно, что других детей мужского пола у него не предвидится. Во всяком случае, к моменту, когда настала пора ему сменить брата Ярополка на киевском столе, никакого сколько-нибудь взрослого

[1] Ср., напр.: «Оумре С҃тославъ Володимиричь . въ Вщижи внукъ Двдв҃въ» [ПСРЛ, II: 525]. Существенно иметь в виду, что на этом князе, Святославе Владимировиче Вщижском, пресеклась родовая линия не только его отца, но и деда (подробнее о нем см. ниже).

сына в его распоряжении нет, что именно и делает, на наш взгляд, его претензии на родовое старейшинство весьма уязвимыми.

Под таким углом зрения становится заметно, что в XII в. никакому князю не удается надолго закрепиться на киевском столе, если у него нет сыновей кровных или, так сказать, благоприобретенных. Это не абсолютный закон, но ярко выраженная тенденция. Отсутствие мальчиков достаточно длительное время спустя после женитьбы, по-видимому, существенно снижает карьерный потенциал князя. Дело здесь не сводится к сугубо практической, военно-стратегической перспективе. В самом деле, киевскому князю, например, удобно иметь сына, чтобы с его помощью удерживать Новгород, Переяславль или какой-либо иной значимый город, однако не менее важным было и символическое значение права старших в роду князей сажать на те или иные столы своих сыновей. В этом свете весьма характерна практика, когда властные и воинские полномочия делегируются совсем юным Рюриковичам, которым по возрасту заведомо далеко до княжеского совершеннолетия — на них возлагаются обязанности, предназначенные куда более зрелому княжичу, хотя, казалось бы, от взрослого воеводы или наместника князю-отцу было бы в целом ряде таких случаев куда больше проку.

Даже если речь не идет о претензиях на Киев, отсутствие наследников мужского пола накладывает определенный отпечаток на династический портрет Рюриковича. Обратим внимание на нескольких князей с явно нестандартной династической судьбой. Одним из первых на ум приходит, конечно же, Никола Святоша — первый, а на долгое время и единственный из русских правителей, кто принял постриг не на смертном одре, не неволей, не в минуту смертельной опасности. Семья у Святоши была, была и дочь, ставшая женой Всеволода Мстиславича [ПСРЛ, III: 19, 203], а вот сыновей, перешагнувших черту младенчества, судя по всему, не было. Мы, разумеется, не хотим сказать, что именно из-за этого он постригся, но отсутствие наследников мужского пола, вероятно, облегчало возможность подобного решения: приняв монашество при живом отце (Давыде Святославиче), он обрек бы своих наследников мужского пола на ту же участь, что и князь, при живом отце умерший.

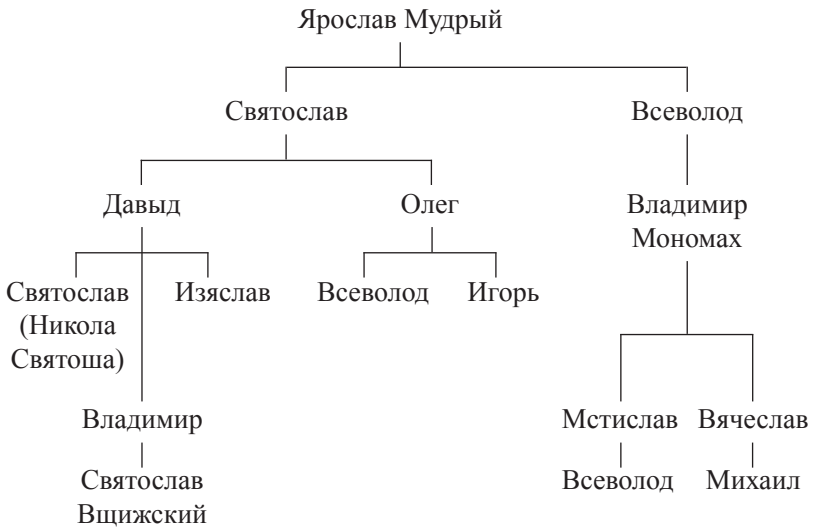
Про другого князя-инока, Игоря Ольговича, мы знаем со всей определенностью, что у него была жена [ПСРЛ, II: 335], однако никакие сыновья ни при нем, ни при его жене никогда не упоминаются, так как, по-видимому, у этой пары их попросту не было. Про Игоря, конечно, нельзя утверждать, что он не усидел на киевском столе именно из-за отсутствия сыновей, — тому имелось, как известно, сразу множество причин, — но вполне вероятно, что свою роль во всей этой сложной ситуации сыграл и «демографический фактор».

Любопытно в этом свете, что в самом начале его династического взлета, в тот краткий миг, когда киевляне согласились иметь Игоря своим князем, в летописи вдруг появляется довольно неожиданная идея некоего дуумвирата: княжение предлагают Игорю и его брату Святославу ([ПСРЛ, II: 321–322]; ср.: [Пресняков 1993: 80]). Не исключено, что подобная идея соправления хотя бы отчасти объясняется тем, что у Святослава, в отличие от его старшего брата Игоря, сыновья в это время были, и, по крайней мере, один из них уже входил в пору отрочества[1].

Если обозначенная нами тенденция и в самом деле существовала, то каким образом киевский стол мог, хотя бы и недолго, занимать, например, Изяслав Давыдович, о чьих родных сыновьях в летописи также решительно ничего не сообщается? У него, по-видимому, был к началу киевского княжения полноценный заместитель сына, родной племянник-сирота — Святослав Владимирович Вщижский. Изяслав исполняет по отношению к этому племяннику все те обязанности и предоставляет ему все те полномочия, которые обыкновенно связывают отца и сына, — в частности, именно он занимается обустройством брака Святослава [ПСРЛ, I: 350; II: 508], его, еще совсем юного, он пытается оставить на княжеском столе в Чернигове, переместившись оттуда в Киев [ПСРЛ, II: 490], в нем он видит своего основного союзника, а, вероятнее всего, и преемника. Плану преемничества не суждено было осуществиться: Святослав Владимирович пережил не только своего отца, но и погибшего в битве дядю, однако отнюдь не унаследовал Чернигов. Ему предстояло стать последним мужским

[1] Говоря о Святославе Ольговиче, нельзя еще раз не вспомнить, сколь рано Рюриковичи в XII в. стремились вовлечь маленьких мальчиков в церемониально-договорную жизнь. Едучи к своему союзнику Юрию Долгорукому в Москву на обед, Святослав берет с собой не только собственного старшего сына Олега, которого в перспективе планирует женить на дочери Юрия, но и своего внучатого племянника, сына Святослава Всеволодича, союз с которым ему так важен, и хотя этот внучатый племянник еще совсем дитя, однако он уже выступает легитимным представителем своего отца [ПСРЛ, II: 339–340].

представителем дома Давыдова (старшей линии наследников Святослава Ярославича) в роду Рюриковичей[1].



Упомянув об осиротелом племяннике, мы подошли к другой стороне интересующей нас проблемы, которая исследователями традиционно обозначается как *изгойство*. Очень огрубляя дело, ее можно сформулировать так: в XI в., а отчасти и в первой трети XII в., князь, оставшийся без отца при живом деде, а иногда и попросту осиротевший прежде, чем его удалось посадить на какой-либо княжеский стол, теряет то место в родовой иерархии, которое ему предназначалось по рождению, он как бы пропускается в счете родового старшинства[2].

[1] Об особой роли этой фигуры в династической жизни XII столетия см. подробнее ниже: ч. I, гл. 5, с. 70–81 наст. издания.

[2] Мы намеренно не останавливаемся здесь на знаменитой статье об изгойстве из «Устава Всеволода»: «Изгои трѡи: поповъ с(ы)нъ грамоты не оумѣєть, холопъ из’ холопьства выкꙋпитсѧ, коупѣць ѡдол’жаєть. А се четвертоє изгоиство и себе приложимъ: аще кн(я)зь ѡсиротѣєть» [Щапов 1976: 157, § 17]. Время возникновения текста как такового, а тем более приписки о четвертом, княжеском изгойстве, вызывает серьезные разногласия у исследователей, не является абсолютно прозрачным и ее содержание. Тем не менее, целый ряд наглядных фактов, когда внуки — сыновья рано умершего князя — явно обходятся при разделе дедовского наследия между членами правящего рода, недвусмысленно свидетельствует об ущербном положении такого рода сирот, каким бы термином оно ни обозначалось в домонгольской Руси. Об этой статье в «Уставе Всеволода» см. также: [Литвина & Успенский 2015].

В сущности, вся названная эпоха окрашена династическими конфликтами, возникавшими на почве изгойства и, так сказать, полуизгойства. Достаточно упомянуть, насколько неудачно складывалась княжеская карьера потомков Владимира Ярославича, старшего сына Ярослава Мудрого, который скончался при жизни своего отца. Ярослав не наделил в своем завещании осиротевших внуков (Владимировичей) тем, что причиталось бы его сыну, их отцу. Их собственное положение, а затем и положение их детей, оказалось демонстративно двусмысленным и вновь и вновь провоцировало существеннейшие княжеские конфликты. В самом деле, они, с одной стороны, как будто бы являли собой старшую ветвь потомков Ярослава Мудрого, но с другой — были исключены из нормального родового счета, не могли совершать восхождения по ступеням династической лестницы, которое было предусмотрено для каждого Рюриковича.

Неслучайно в «Поучении» Владимира Мономаха мы находим пассаж о том, что общие родственники предлагают ему сговор с целью лишить всего внуков несчастного Владимира Ярославича. Столь же неслучайно, однако, Мономах отвечает им отказом [ПСРЛ, I: 241]. И совсем уж неслучайно, с другой стороны, что именно в этой родовой линии наших изгоев впервые после длительного перерыва появляется имя основателя династии — *Рюрик*, свидетельствующее о том, что они не оставили своих чаяний о старшинстве, о родовом наследии и династическом первенстве.

Складывается впечатление, что ситуация, когда сын умирает раньше отца и внуки становятся сиротами при живом деде, остается неиссякаемым источником династической фрустрации на протяжении последней трети XI и начала XII столетий[1]. Обратим внимание, что кня-

[1] Позволим себе предположить, что косвенным образом рефлексия по поводу ненормальности подобной ситуации отразилась в том, как составитель «Повести временных лет» использует знаменитый апокриф об Аврааме, его отце Фаре и брате Аране (Ароне). Арана, пытавшийся спасти кумиров из пламени, погибает, но эта кара трактуется летописцем в весьма своеобразном ключе: «…згорѣ ту Аранъ . и оумрє пре[д] ѡц҃мъ . пре сѣмъ бо нє оумиралъ сн҃ъ предъ ѡц҃емъ . но ѡц҃ь пре[д] сн҃омъ . и ѿ сего начаша оумирати сн҃ове пре[д] ѡц҃мъ» [ПСРЛ, II: 79] (об источ-

жеское изгойство в ту пору не ограничивается внуками, осиротевшими при живом деде, оно имеет свойство проецироваться и на тех княжичей, кто попросту рано остался без отца. Таков, по-видимому, казус Давыда Игоревича, чей отец, Игорь Ярославич, хотя и пережил собственного отца, но скончался то ли не имея возможности, то ли не успев наделить своего совсем юного сына каким-либо столом. Подобное сиротство оказывалось в ту пору фактором пожизненным: трудно забыть, сколь поздно, с какими трудами и как ненадолго Давыду Игоревичу удавалось заполучить отцовское Владимиро-Волынское княжение[1].

Конечно, утверждение, что рано осиротевшему князю, с точки зрения наследования власти, приходится плохо, довольно тривиально в отношении любой династии. Специфической (хотя не уникальной) чертой ранних Рюриковичей является мера и степень выпадения внуков-сирот при живом деде из родового счета. На эту судьбу обречено, в сущности, и все их потомство. Так происходит не только в семье Ярослава Мудрого, но и гораздо позже, в середине XII в., например, с осиротевшими внуками князя Вячеслава Владимировича. Кроме того, не только молодому князю плохо остаться без отца, плохо это и для династии в целом, поскольку данный факт постоянно провоцирует военный конфликт между должным и сущим.

Возвращаясь от внуков и дедов к отцам и детям, еще раз подчеркнем, что за полвека, охватывающие конец XI и самое начало XII столетий, династия Рюриковичей претерпела множество бедствий именно от целой чреды изгойских конфликтов, а заодно и от конфликтов дядей и племянников. Нельзя не заметить, что это, в сущности, две стороны одной и той же проблемы: дяди не наделяют ничем рано осиротевших племянников, а те стремятся отнять у них свое отцовское наследство, часто трактуемое весьма расширительно. По-видимому, в поколении сыновей Владимира Мономаха, в ту пору, когда эти сыновья становят-

никах этого рассказа, присутствующего, в частности, у Георгия Амартола [Истрин 1920: 81], см.: [Шахматов 1940: 136; Водолазкин 2006: 901]). Не проводя грубых параллелей, можно сказать, что почти вся эпоха сложения «Повести временных лет» ознаменована династической невозможностью преодолеть эту выходящую за пределы естественного порядка вещей ситуацию, когда сын умирает пред отцом, а не отец пред сыном.

[1] О некоторых перипетиях этого процесса см. подробнее ниже: ч. I, гл. 4, с. 61 наст. издания.

ся достаточно взрослыми, начинают вырабатываться механизмы для предотвращения таких и подобных им ситуаций.

Постепенно складывается практика внутрисемейных договоров, когда двое или несколько князей-братьев, уже имеющих семьи, заключают соглашение друг с другом. Соглашения эти, с одной стороны, касаются преемственности между самими братьями, с другой — переводят тех племянников, которым суждено будет осиротеть раньше, под покровительство дяди, оставшегося в живых после смерти их отца. Можно предположить, что такая традиция начинается с Мстислава и Ярополка, причем весьма вероятно, что прообраз этого соглашения был выработан еще при их отце Владимире Мономахе[1].

К этому времени у Мстислава было уже несколько достаточно взрослых сыновей, однако Киев, как уже упоминалось, он передает не им, но Ярополку, следующему по старшинству брату, а тот, в свою очередь, весьма последовательно стремится предоставить своим осиротевшим племянникам Мстиславичам ключевые столы, которые надлежит занимать сыновьям киевского князя. В подобном контексте чрезвычайно интересен вопрос о родных сыновьях Ярополка Владимировича. Насколько можно судить по летописным источникам, в ту пору, когда готовился план его киевского княжения, сколько-нибудь подросших мальчиков в семье Ярополка не было. Появляющийся за-

[1] О том, какую роль сыграл Владимир Мономах в договоренности между своими сыновьями, Мстиславом и Ярополком, см.: [Назаренко 2009: 88–102]. Автор исследования полагает, что конечной целью Мономаха было формирование цепочки преемственности, в которую были бы включены он сам, его старший сын Мстислав и старший сын Мстислава — Всеволод. Ярополку же отводилась скромная функция промежуточного звена между Мстиславом и Всеволодом, а все прочие сыновья Владимира Мономаха, по замыслу отца, попросту отстранялись от наследования киевского стола. Мы не находим в летописных источниках явных признаков существования такой династической программы, однако для обсуждающейся в нашей работе проблемы наиболее существенно, что проекту этому, даже если он имел место, не суждено было воплотиться среди ближайших потомков Мономаха, как и не суждено было тиражироваться и подхватываться во все последующие десятилетия, вплоть до конца домонгольского времени. У Рюриковичей в XII — первой половине XIII в. не наблюдается ни переключения с горизонтального наследования власти на вертикальный, ни буквального следования результатам Любечского соглашения. Если такая идея и существовала, то династический обиход воспринял от нее лишь некий отрезок, элемент построения — договор между братьями, подразумевающий непосредственную преемственность и заботу о политической участи осиротевших племянников.

метно позднее на страницах летописей загадочный Василько Ярополчич, хотя и был, по всей видимости, его сыном, внуком Владимира Мономаха, но родился, что называется, слишком поздно, когда отец уже княжил в Киеве. Этот Василько не мог быть учтен при заключении договора Мстислава с братом, не мог он стать и опорой, пусть даже символической, для своего отца, когда тот получил старший стол. И тем не менее, благодаря целой серии предварительно заключенных соглашений, Ярополк ни в коей мере не воспринимался как князь бездетный. Династическую нишу его сыновей заняли племянники, сыновья покойного брата Мстислава.

Модель договора между братьями получает свое развитие: несколько позднее, скорее всего, после смерти отца, Владимира Мономаха, еще двое его сыновей — Юрий Долгорукий и Андрей Добрый — заключают аналогичный договор друг с другом. Теперь речь не идет о бездетности (сыновья есть у обоих братьев), но преимущественно о судьбе племянников в случае их сиротства. Подобным моделям договоров, включающих некое соглашение о порядке наследования братьев друг другу и, с другой стороны, об активном соблюдении интересов оставшихся без отца племянников, предстоит многократно повторяться. Соглашения между братьями с самого начала нередко закреплялись в имянаречении (один из младших сыновей Мстислава, например, становится *Ярополком*, а один из сыновей Юрия — *Андреем*) [Литвина & Успенский 2006: 71–110]. Направленность этого имянаречения устроена таким образом, что имя младшего брата достается одному из сыновей старшего, что соответствует некоторой логике, ведь старший ожидаемо умрет раньше младшего, а к тому перейдут под покровительство его дети.

Судя по всему, до сыновей Мономаха у Рюриковичей не было ни нужды, ни охоты для подобных соглашений. Однако по мере разрастания династии родные братья, хотя бы по контрасту с двоюродными, в большей мере вынуждены были держаться заодно. Обратим внимание, что в той модели профилактики изгойства, которая вырабатывается, условно говоря, к концу первой трети XII в., есть своего рода изъяны, которые довольно быстро начинают сказываться. Так, поначалу в поколении сыновей Мономаха договоры заключаются не между всеми братьями, а между парами, наиболее близкими по возрасту и по иерархии. Первые соглашения такого типа еще воспринимаются как разовые, штучные, как нечто связанное с конкретными нуждами

и личными взаимоотношениями. Как кажется, именно из-за того, что данная практика не успела приобрести сколько-нибудь регулярного характера, Вячеслав Владимирович попадает в зону, ею не охваченную: лишившись сына, он обнаруживает себя «между двух стульев».

Однако именно в эпоху Вячеслава, в эпоху династических конфликтов конца 40-х — начала 50-х гг., оттачивается механизм, который — при продуманном и грамотном ведении дел — не давал бы сыновьям не ко времени остаться без отца, а отцу, на пике своей княжеской карьеры, остаться без сыновей. Прежде всего, вырабатывается дополнительная модель, позволяющая наверстать упущенное, когда при наличии особого договора племянники, чей отец уже скончался, функционально могли полностью заменить сыновей своему дяде или, не заменяя, сделаться, так сказать, дополнительными его сыновьями. Если даже это не было сделано заблаговременно, пока отец этих юных или даже довольно взрослых сирот был еще жив, то возможным оказывается заключить особое соглашение непосредственно между заинтересованными младшими и старшим родичами.

С филологической точки зрения, весьма характерно, что до эпохи этой княжеской смуты в летописи мы обнаруживаем довольно много примеров, когда в прямой или косвенной речи летописного нарратива старший брат, старший зять или даже неродственник становится для того или иного Рюриковича *яко отец* или *во отца место*. Действительно, в соответствии со всем укладом родовой жизни, старший родич по отношению к младшему издревле может отчасти перенимать на себя роль отца. Однако вплоть до ситуации интересующей нас княжеской усобицы конца 40-х — первой половины 50-х гг., в сообщениях летописи всегда присутствует показатель метафоризации термина *отец* («яко», «во отца место»). И только начиная с интересующего нас периода, тот, кто биологически и генеалогически отцом не является, может быть назван *отцом* без этих маркеров метафоризации.

Так, Вячеслав охотно и многократно именуется *отцом* своих племянников Изяслава и Ростислава, с той самой поры, как между ними был заключен соответствующий договор. Однако к этой единственной коллизии дело не сводится. Острый династический конфликт спровоцировал своеобразную борьбу за племянников: *отцом* начинает именоваться и дядя по матери [ПСРЛ, II: 343], что в андроцентрической системе наследования власти у Рюриковичей несколько неожиданно и весьма симптоматично. *Отцом*, судя по летописи, юный осиротев-

ший правитель может называть и шурина, старшего брата своей жены, который заменил ей отца [ПСРЛ, II: 446, 452].

Если говорить о прямой речи князей в Ипатьевской летописи, то производит впечатление, насколько охотно именно в этот период и именно такого рода «искусственные сыновья» используют обращение *отче*, адресуясь к «искусственным отцам»[1]. Во всяком случае, они это делают чаще, чем сыновья родные, и за подобным обращением скрывается, по-видимому, некая церемониальная демонстративность, подчеркиваемая как летописцем, так, по-видимому, и самими князьями.

Характерно, что летопись сохранила всего одно детализированное описание процедуры такой договоренности с крестоцелованием[2], после которой небиологический отец именуется *отцом* безо всяких метафор и риторических фигур, и касается оно именно Вячеслава Владимировича и его племянника Изяслава Мстиславича. С этого-то момента и кончается бессыновство, а заодно и династическая ущербность Вячеслава Владимировича. Никто настолько охотно и многократно не именуется чьим-либо *отцом* на столь коротком временно́м пространстве нарратива, как Вячеслав по отношению к своим племянникам Изяславу и Ростиславу [ПСРЛ, II: 418–419, 422, 427–430, 437, 459, 461, 470–473]. Термин *отец* применяется к нему с момента заключения договора, покуда он жив[3].

[1] Подробнее о роли и функционировании подобных терминов искусственного, конструируемого родства в период противостояния Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого см. в работе: [Лавренченко 2014].

[2] Ср.: «оутрии же дн҃ь Изѧславъ посла оу Вышегородъ . къ ѿц҃ю своему Вѧчеславу и ре҃ ему ѿц҃е кланѧю ти сѧ а чо ми Бъ҃ ѿц҃а моего Мистислава ѿѩлъ . а ты ми еси ѡц҃ь ныи҃ кланѧю ти҃ съгрѣшилъ есмь . и первое . а того сѧ каю . а изнова . коли ми Бъ҃ далъ побѣдити Игорѧ . оу Кыева . а ѧ есмь на тобѣ ч҃ти не положилъ . а потомъ коли оу Тумаща . ныи҃ же ѿц҃е того всего каюсѧ . пре҃д Бм҃ъ и пре҃д тобою . ѡже ми ѡч҃е того ѿдаси . ты то и Бъ҃ ми ѿдасть . нъи҃ же ѿче ѡсе даю ти Киевъ . поѣди сѧди же на столѣ дѣда своего и ѿц҃а своего Вѧчеславъ же ре҃ сн҃у Бъ҃ ти помози . ѡже на мене еси ч҃ть възложилъ . то аще бы тъ и давно тако оучинилъ . то ци мене еси поч҃тилъ Ба҃ еси . поч҃тилъ аже дѣеши тъ мои еси ѡц҃ь а тъ мои и сн҃ъ оу тебе ѿц҃а нѣту а оу мене сн҃а нѣтуть . а тъ же мои сн҃ъ тъ же мои братъ и на томъ хр҃тъ ч҃тьнъи целоваста . ꙗко не разлучити҃ има ни въ добрѣ ни въ злѣ но по ѡдному мѣсту быти» [ПСРЛ, II: 418].

[3] Замечательно, что как только Вячеслав умирает, искусственный характер его отцовства по отношении к племянникам сказывается в словоупотреблении. В самом известии о смерти князя, в рассказе о погребении и раздаче его наследства, он все еще фигурирует как *отец* Ростислава Мстиславича. Ср. следующие ремарки в прямой и косвенной речи: «оутрии же дн҃ь пригнаша . к Ростиславу ис Киева . и повѣдаша ему ѿц҃а ти Вѧчеслава Бъ҃ поꙗлъ», «…и тако плакасѧ по ѿц҃и своеѥ и проводи его до гроба . съ ч҃тью великою . съ множьствомъ народа . и положиша оу ст҃ыꙗ Софьꙗ идеже лежить Ꙗрославъ прадѣдъ его . и Володимиръ ѡц҃ь его», «и съзва мужа ѿц҃а своего Вѧчеславли . и тивунъ и ключникъ . каза нести имѣнье . ѿц҃а своего . передъ сѧ». Но как только все эти церемонии завершены, окружение Ростислава переключается в иной регистр и предупреждает своего князя: «се Бъ҃ поꙗлъ *строꙗ* (курсив наш. — *А. Л., Ф. У.*) твоего Вѧчеслава . а тъ сѧ еси еще с людми Киевѣ не оутвердилъ» [ПСРЛ, II: 472–474].

Итак, можно сказать, что в начале 50-х гг. XII в. династия нашла некое решение, как немолодому отцу не остаться без сына, как юному сыну не остаться без отца и как племяннику не стать врагом своему дяде. Разумеется, такая модель срабатывала далеко не всегда, но ее тактическая и стратегическая целесообразность достаточно очевидна.

Не так просто определить, до какого, собственно, возраста сыну требовался отец и, наоборот, с какого возраста княжич годился на роль символического репрезентанта своего родителя. Здесь можно рассматривать множество частных и выразительных коллизий; хотелось бы только подчеркнуть, что раннее вовлечение княжича в политическую жизнь рода, по-видимому, не является симптомом чрезвычайно раннего взросления Рюриковича, но призвано, помимо всего прочего, уберечь его от изгойства.

С другой стороны, весьма интересен вопрос о том, как развивается в дальнейшем модель отцовства дяди по отношению к племянникам, до срока лишившимся отца или по какой-либо иной причине оказавшимся отлученными от тех династических прав, на которые они могли бы рассчитывать по рождению. В этом отношении чрезвычайно выразительной представляется княжеская стратегия еще одного Рюриковича из племени Мономаха, князя Ярослава Владимировича, чья активная деятельность приходится на последнее двадцатилетие XII и самое начало XIII в. Он был сыном Владимира Мачешича и внуком Мстислава Великого, который скончался в ту пору, когда отец Ярослава был еще совсем мал. Все потомство Мачешича оказалось, таким образом, в положении полуизгоев, Ярослав же фигурирует в летописях по преимуществу как свояк Всеволода Большое Гнездо. Считается, что его положение на новгородском столе целиком и полностью обеспечивалось этим свойство́м с могущественным владимиро-суздальским князем.

Однако исследователями уже высказывались предположения, что Ярослав в значительной степени строил свою политическую стратегию в Новгороде на идее преемственности по отношению к другому Всеволоду, Всеволоду Мстиславичу, некогда взращенному как новгородский князь и долго на этом столе княжившему [Гиппиус 2005а]. Этот Всеволод, как известно, был самым старшим из сыновей Мстислава Великого, тогда как Владимир Мачешич — самым младшим. Трудно вообразить, чтобы при жизни между ними возникли какие-либо сепаратные договоренности, а тем более соглашения о судьбе племянников: Владимир был ребенком, когда Всеволод умер, их разделяла целая череда средних братьев, и никто из детей Мачешича в глаза не видел старшего дядю.

Тем не менее, не исключено, что Ярослав Владимирович много десятилетий спустя пытался — в духе сложившихся традиций — репрезентировать себя как своеобразного сына и наследника своего скончавшегося дяди, тем более что собственных потомков мужского пола у Всеволода Мстиславича, судя по всему, не осталось. В таком случае, мы имели бы дело со следующим витком символизации интересующей нас модели отцовства дяди, но этот сюжет требует дальнейших разысканий и дополнительного изучения.

Глава 3

«Сватьством обуемшеся»: к уточнению семантики некоторых свадебных терминов

Сегодня, говоря о средневековых браках правителей, мы воспринимаем их прежде всего как некий вспомогательный инструмент, без сомнения, очень важное, но все же сугубо прикладное и служебное средство осуществления внутренней или внешней политики династии. Между тем, для самих князей, летописцев и их аудитории акценты, по-видимому, были расставлены несколько иначе. В определенном смысле, брак и возникающие благодаря ему связи и б ы л и политикой, вместе с узами кровного родства они формировали «правовое поле» владения землей и властных претензий, позволяли осваивать новое географическое и культурное пространство, воплощали в себе состояние мира или переход к военным действиям — словом, формировали ту напряженную и динамичную сетку притяжений и отталкиваний, в которой от рождения до смерти протекала жизнь русского князя.

Для русских правителей XI столетие было по преимуществу эпохой браков междинастических, когда княжон отдавали замуж за границу (в Венгрию, в Норвегию, во Францию, в Польшу), а жен для княжичей также подбирали за пределами Руси. Собственно говоря, многие десятилетия внутридинастический брак для Рюриковичей оставался делом невозможным, поскольку все они, будучи потомками князя Владимира Святославича, состояли друг с другом в слишком близком кровном родстве, запретном для женитьбы с точки зрения церковных норм. Однако уже относительно конца 80-х гг. XI в. у нас есть, по крайней мере, одно надежное свидетельство о матримониальном союзе между двумя урожденными Рюриковичами[1]. Но в XII в. такие браки постепенно начинают преобладать над браками междинастическими и превращаться в своеобразную опорную конструкцию родовой и государственной повседневности.

Более или менее достоверно мы знаем примерно о шести десятках внутридинастических браков, заключенных до середины XIII в., и это при том, что канонические правила налагали целый ряд ограничений на союзы между лицами, состоящими в кровном родстве, родстве духовном и в свойстве́, возникшем в результате матримониальных союзов, уже заключенных прежде. По достаточно рано сложившейся на Руси традиции, каждый княжич, если он только не был болен от рождения, должен был жениться, а коль скоро ему случалось овдоветь, то чаще всего он вступал в брак снова. Создается отчетливое впечатление, что практически ни один из шансов допустимых женитьб на представительницах собственного рода не был упущен — подобно тому, как не остаются пустыми княжеские столы или не выходят из употребления (если на то нет особых, четко выраженных причин) родовые имена предков, не пропадают втуне и дозволенные с канонической точки зрения возможности для междукняжеского брака. Поэтому нам представляется оправданным говорить о системности матримониальной стратегии Рюриковичей.

[1] Речь идет о браке Глеба Всеславича Минского и дочери Ярополка Изяславича [ПСРЛ, II: 492–493]. Жених и невеста были праправнуками Владимира Святого по мужской линии и приходились друг другу кровными родственниками в 8-й (т. е. дозволенной для брака) степени. Подробнее об этом союзе см. ниже.

Эта система имеет собственную историю. Мы сталкиваемся здесь то с ситуацией, когда два княжеских брака заключаются одновременно (как это было, например, с Юрием Долгоруким, выдавшим одну из своих дочерей за сына Владимира Галицкого, а другую — за сына Святослава Черниговского [ПСРЛ, II: 394]), то со случаем, когда тесть, вопреки общепринятому обыкновению, приравнивает зятя к родным сыновьям, а затем оба они полностью отказываются от прежде принятых на себя ролей [Литвина & Успенский 2012: 142–144], то со следующими друг за другом, так сказать, каскадными нарушениями церковных предписаний в области брака[1], и т. д. Является ли все это лишь отдельными казусами в династическом обиходе или есть смысл говорить о том, например, что одна линия матримониального поведения постепенно сменяет другую? Для ответа на такого рода вопросы необходимо как исследование представленной в летописи событийной канвы, так и анализ терминологии брачных отношений, терминологии свойства́.

Нас будут интересовать, в первую очередь, глаголы *свататися*, *сватитися* и производное существительное — *сват(ь)ство*. Можем ли мы определить, что в точности значили эти слова в интересующую нас эпоху, какой тип отношений между людьми они характеризовали? Здесь существуют, по крайней мере, две лексикографические проблемы, одна из которых прекрасно выявляется в существующих словарях древнерусского языка, прежде всего, в материалах И. И. Срезневского и «Словаре русского языка XI–XVII вв.». В языке второй половины XVII и XVIII столетий глагол *свататися* означает (как и в современном русском языке) «просить руки женщины у нее самой или у ее родственников». В ранних же летописных сводах и в источниках, относящихся к XI–XIV вв., глаголами *свататися*, *сватитися*, согласно словарям, обозначается вступление двух старших представителей семьи в отношения свойства́, в отношения родства через брак детей, братьев, сестер и т. п. [СлРЯ, XXIII: 100]. Соответственно, в летописи мы находим упоминания о том, что Всеволод Большое Гнездо «сватася» со Святославом [ПСРЛ, II: 624], а Роман Мстиславич «сватася» с Владимиром Ярославичем Галицким [ПСРЛ, II: 660].

При этом, если мы говорим об узусе летописном, необходимо сделать ряд уточнений. Весьма существенно, что интересующие нас глаголы обозначали именно матримониальный проект, создаемый главами двух семей. Кем именно им приходились жених и невеста, как ни странно, не так уж важно. В некоторой идеальной ситуации (как это происходит, например, с Романом Мстиславичем и Владимиром Галицким) это были их родные дочь и сын. Однако, коль скоро налицо не оказывалось подходящей по возрасту партии, то можно было, как в случае со Всеволодом Большое Гнездо, свататься с другим князем посредством своей родственницы по жене, например, свояченицы[1]. Даже такое отдаленное некровное родство со вступающими в брак делало князей сватами и партнерами по договору.

[1] См. ниже ч. I, гл. 5, с. 82–101 наст. издания.

Подобного рода договор, воплощенный в браке, означал переход от военного противостояния между старшими — к союзничеству, от борьбы за княжеский стол — к надежде передать его общим внукам. Так, между Всеволодом Большое Гнездо и Святославом Всеволодичем до заключения интересующего нас брака был затяжной конфликт, и Всеволод долго удерживал в плену одного из сыновей Святослава (Глеба). В летописи мы обнаруживаем поэтапное и отчасти стандартизированное описание прекращения этого конфликта: сначала выпускают на свободу княжича (что, по-видимому, было непременным условием переговоров), после чего следуют более общие упоминания о «великой любви» между князьями, обычно сигнализирующие о достижении мира как такового, затем сообщение о намерении вступить в свойство́ и лишь затем — уточняющее сообщение, кого именно из своих семей князья женят:

> Всеволодъ же Соуждальскии поусти Глѣба С҃ославича и҃ ѡковъ . приꙗ великоую любовь . съ С҃ославомъ . и сватасѧ с нимь . и да за сн҃а єго . меншаго <Мстислава Святославича. — *А. Л., Ф. У.*> свесть свою [ПСРЛ, II: 624].

[1] Пока не подросли родные дети, сестры жены (по-видимому, отданные целиком и полностью под покровительство Всеволода) оставались основной опорой в его матримониальной стратегии. Другую свою свояченицу он выдал замуж за Ярослава Владимировича, причем последний регулярно именуется в летописи «зять Всеволожь», как если бы он был женат на какой-то из ближайших кровных родственниц, сестре или дочери этого князя. С канонической точки зрения, между Всеволодом и Святославом возникает всего лишь так называемое «двухродное свойство́», т. е. отношения сами по себе достаточно отдаленные, однако в династической жизни действия, совершаемые главой родовой ветви, не становятся от этого менее значимыми.

Отметим попутно, что инициатором действия в летописи чаще выступает сторона невесты, а отнюдь не жениха[1].

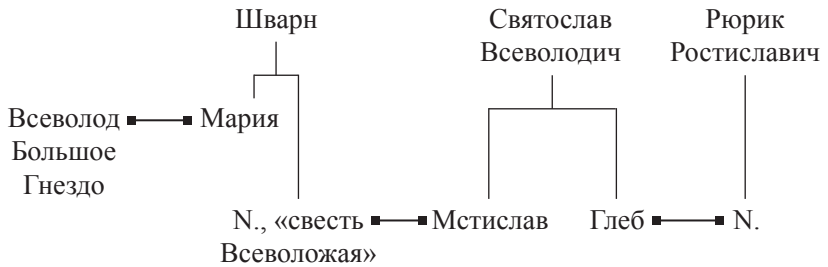
Так или иначе, центральными фигурами в описываемом с помощью этих терминов процессе являются не жених и невеста. Более того, когда употребляются глаголы *свататися* / *сватитися*, то это означает, что здесь оттеснены на второй план и отношения между младшим и старшим, между тестем и зятем, но все сконцентрировано в договоре между старшими князьями, главами семей. Не удивительно поэтому, что слова *сват(ь)ство* и *сват* не фигурируют в летописи в описании событий ни X, ни XI, ни самого начала XII вв., а глаголы *свататися*, *сватитися* появляются в «Повести временных лет» лишь к концу этого периода, но к данному случаю нам еще предстоит вернуться. С помощью указанных слов не могли быть описаны ни знаменитые переговоры древлянских посланцев с княгиней Ольгой, ни брак Владимира Святого с полоцкой княжной Рогнедой. В обоих случаях попросту недоставало, по крайней мере, одного из контрагентов, который мог *свататися* / *сватитися*, т. е. войти в отношения сват(ь)ства[2]. Разумеется,

[1] Так, в летописи сообщается, что Всеволод Большое Гнездо «сватася» со Святославом Всеволодичем (отцом жениха), а Роман Мстиславич, отец Феодоры, «сватася» с Владимиром Галицким (отцом неназванного по имени жениха Феодоры). С другой стороны, когда в летописи отмечается инициатива стороны жениха, глаголы *свататися* / *сватитися* не используются. Мы не находим их ни в рассказе о том, как Изяслав Давыдович просит для своего племянника дочь у Андрея Боголюбского, ни в истории посольства, которое Рюрик Ростиславич отправляет к Всеволоду Большое Гнездо, желая женить своего сына Ростислава на Верхуславе Всеволодовне. Необходимо учитывать, однако, что во всех этих примерах наличие или отсутствие интересующих нас глаголов может быть объяснено и другими причинами, например, тем, что о женитьбе подопечных в двух последних случаях князья договаривались не лично.

[2] Княгиня Ольга, равно как и юный Владимир, действовали как самостоятельные лица, не состоя на чьем-либо попечении. В эпизоде с Ольгой никакого старшего родича в ее окружении не усматривается вовсе, что же касается Владимира, то Добрыня, брат его матери, не принадлежал к правящему роду, не имел княжеской власти и не мог на нее претендовать и, тем самым, не являлся для Владимира главой семьи, а для Рогволода — отца Рогнеды — полноценным партнером для свойствá (недаром он, брат рабыни, возникает на сцене отнюдь не в стадии предварительной договоренности, а лишь в момент насилия над Рогнедой, а его функция в летописном рассказе сводится к тому, чтобы перенять на себя ответственность за произошедшее). Стремление же древлянского князя Мала или новгородского князя Владимира связать свою судьбу с той или иной женщиной в эпоху составления древнейших летописных сводов не соответствует семантике глаго-

отсутствие какого-либо слова в зачастую весьма лаконичных сообщениях летописных сводов о княжеских браках само по себе не может служить надежным критерием для определения его семантики. Тем не менее, вся картина употребления / неупотребления интересующих нас лексем в целом позволяет, как кажется, довольно полно судить об их возможных коннотациях и, с другой стороны, сформировать некие реконструктивные суждения о спорных исторических ситуациях, в описании которых они появляются.

Итак, важнейшей составляющей процедуры сват(ь)ства был договор между старшими. Зачастую он мог состояться приблизительно за год до самой свадьбы, как это происходит с браками двух сыновей Святослава Всеволодича, Глеба и Мстислава, один из которых женился на свояченице Всеволода Большое Гнездо, а другой — на дочери Рюрика Ростиславича:



лов *свататися* / *сватитися* и производного термина *сват(ь)ство*. Более того, несколько ранних внутридинастических браков, имевших место у потомков Рогнеды и Владимира, также не могли быть описаны с применением интересующих нас терминов. Так, женитьба Ярослава Святополчича на дочери Мстислава Великого [ПСРЛ, II: 273] не могла быть охарактеризована с помощью этих слов, так как к тому времени отец и дядя этого князя по отцовской линии давно скончались, он успел побывать, по крайней мере, в одном браке и давно действовал в качестве самостоятельного князя, главы семьи. Свататися / сватитися Мстиславу Великому в данном случае было попросту не с кем. Когда много позже, в 1144 г., киевскому князю Всеволоду Ольговичу случилось выдавать замуж двух оставшихся на его попечении юных кузин своей жены, у него был шанс вступить с кем-либо в отношения сват(ь)ства, хотя они не были столь уж близкими его родственницами. Однако соответствующие термины все же вновь оказались непригодными для описания этой матримониальной ситуации, так как оба избранные для княжон жениха, Владимир Давыдович и Юрий Ярославич, уже лишились своих отцов и давно не нуждались в чьей-то опеке при вступлении в брак.

Необходимо учитывать, что в ряду формул, описывавших мирные переговоры, договоренность о женитьбе подопечных и самый их брак, конструкции с глаголами *свататися* / *сватитися* сами по себе не являются сообщением о свадьбе. Указание о том, что она состоялась, приводится в летописи отдельно.

При этом у нас есть, как кажется, все основания полагать, что с момента договора о будущем браке главы семей практически считались свойственниками, во всяком случае, брали на себя обязательства сватов. Об этом свидетельствуют случаи упреждающего употребления соответствующей терминологии в летописи. Так, согласно летописи, князь Изяслав Мстиславич именует Юрия Долгорукого сватом Владимира Володаревича в статье, помещенной под 6657 г.[1] Сама же свадьба между дочерью Юрия Долгорукого и сыном Владимира Володаревича, Ярославом Осмомыслом, состоялась лишь в следующем, 6658 г. [ПСРЛ, II: 394].

Не менее любопытна в этом отношении и история свойства́ между князем Игорем Святославичем, главным героем «Слова о полку Игореве», и половецким князем Кончаком. В летописи под 6693 г. сообщается, что во время пленения Кончак поручился «по свата Игорѧ», так как тот был ранен [ПСРЛ, II: 644]. О венчании же Владимира Игоревича с Кончаковною сообщается лишь под 6695 г.:

> Тогда же приде Володимѣрь . ис Половѣць . с Коньчаковною . и створи свадбоу Игорь сн҃ви своемоу . и вѣнча его и с дѣтѧтемь [ПСРЛ, II: 659].

Не исключено, правда, что в половецкой перспективе брак состоялся не через два года, а несколько ранее, пока Владимир Игоревич был у них в плену[2]. Так или иначе, в 6693 г. Владимир и Кончаковна еще

[1] «Изѧславъ же посла к Володимиру Галичьскому . свату Дюргеву . гл҃ѧ ему оуведи мѧ в любовъ . къ строеви моему и своему сватоу Дюргеви» [ПСРЛ, II: 391]. В Лаврентьевской летописи под соответствующим годом прямая речь Изяслава передана более кратко, но, тем не менее, сам летописец точно так же характеризует Владимира Володаревича, как свата Юрия Долгорукого: «Изѧслав же посла к Володимерку к свату Гюргеву гл҃ѧ . введи мѧ к Гюргеви в любовь . ꙗзъ во всемь виноватъ . передъ Бм҃ь и перед ними» [ПСРЛ, I: 325].

[2] К такому предположению подталкивает ремарка летописца «и с дѣтѧтемь», позволяющая думать, что ребенок Кончаковны появился на свет прежде венчания.

женаты не были, и, тем не менее, Кончак счел необходимым выполнять обязанности свойственника, взяв на себя поручительство за, так сказать, родича по договору. В этой связи весьма характерно, что в «Слове о полку Игореве» самая битва, приведшая к пленению Игоря, описывается в терминологии свадебного пира и половцы именуются сватами русских. Метафорическое соположение битвы и пира неразрывно переплетено здесь с упоминанием вполне конкретного статуса персонажей, который недвусмысленно указан в летописи (не исключено также, что традиционная для многих культур метафора пир-битва отсылала, помимо всего прочего, ко вполне определенному пиру русских с половцами, состоявшемуся при заключении «свадебного контракта»).

Точно так же (хотя здесь мы несколько выходим за пределы интересующего нас круга терминов и понятий), когда Андрей Боголюбский договорился с князем Изяславом Давыдовичем, что он отдаст свою дочку за Изяславова племянника, в летописи Андрей именуется тестем этого племянника еще до момента приезда его дочери к жениху и состоявшейся свадьбы, но зато как раз тогда, когда Андрей прежде дочери посылает ему на помощь к осажденному Вщижу войско ([ПСРЛ, II: 508–509]; ср. ниже ч. I, гл. 5, с. 70–81 наст. издания).

Подобная практика, когда выгоды и преимущества, оговоренные в соглашении о будущем браке, хотя бы отчасти вступают в силу сразу, здесь и сейчас, находит подкрепление, судя по всему, и в междинастических отношениях, в которые доводилось вступать русским князьям, и в традиционной славянской культуре (насколько мы можем судить о ней по позднейшим источникам). Во всяком случае, у византийских правителей, для которых немедленный военно-политический эффект матримониального союза с чужеземными династами или их отпрысками нередко бывал едва ли не основной целью брака, такой подход был вполне отрефлектирован. Об этом, в частности, свидетельствуют составленные Михаилом Пселлом послания, где свату, будущему свойственнику императора, разъясняются его новые права и обязанности:

> Итак, отныне тебе, как удостоенному родства с моим державством, следует, во-первых, радоваться и веселиться по этому поводу и счи-

Впрочем, исследователи интерпретируют эту деталь по-разному, полагая, в частности, что младенец родился в том же году, когда молодых обвенчали в церкви.

тать соглашение поистине совершенным (состоявшимся) и (во-вторых) быть стражем наших границ, щадить область, нам подвластную, быть союзником и быть заодно противником во всем и против всех, с благорасположением относиться к тем, кто к нам благорасположен, отвергать и ненавидеть тех, кто нам враждебен <…> От сего времени должны начаться благие последствия взаимной любви; мы должны наши взаимные дела считать своими собственными и не ожидать времени брачного соединения наших родов, но уже самое возвещение (предложение, обещание), единение и согласие считать за полнейшее слияние и стараться дать друг другу как бы залоги (приданое, вено) дружбы и единомыслия [Васильевский 1909: 10, 13].

Вполне возможно, что эти письма были предназначены одному из Рюриковичей, княживших на Руси в середине 70-х гг. XI в., но даже если эта убедительная атрибуция, предложенная в свое время В. Г. Васильевским, не вполне верна, совершенно очевидно, что те из русских князей, кто вступали так или иначе в матримониальные переговоры с лицами, принадлежащими к византийскому правящему дому, имели дело именно с такой логикой свадебного и предсвадебного процесса. Подобный подход, по-видимому, в целом совпадал и с семейными обычаями, с которыми князья имели дело у себя дома.

Итак, в той христианско-родовой парадигме, в которой существуют Рюриковичи, договор о свадьбе в некоторых отношениях приравнен к самой свадьбе. Матримониальный союз оказывается заключен с договором, а затем раз и навсегда закреплялся самим фактом свадьбы. Здесь, по-видимому, существует некоторая аналогия с различиями, которые существуют между семантикой глагола *купить* в современном русском языке и тем набором значений, которым он обладал в языке XII столетия. В сегодняшнем повседневном узусе форма *купил* применима к ситуации, когда деньги или какая-то иная форма оплаты уже перешла в одни руки, а соответствующий товар — в другие. В берестяных же грамотах XII в., по наблюдениям А. А. Зализняка, словом *купил* могла обозначаться ситуация, когда уже достигнута договоренность о купле-продаже, но ни покупатель еще не имеет товара в руках, ни продавец — соответствующего возмещения.

Иными словами, договор или договоренность в XII в. сами по себе обладали очень высоким коэффициентом значимости, что и отразилось соответствующим образом в языке. Не могли ли, в таком случае, термины *сват(ь)ство*, *свататися* и *сватитися* обозначать попросту договорные отношения между князьями, соглашения о мире и союзничестве, взятые безотносительно к браку? Обязателен ли вообще матримониальный компонент в семантике *сват(ь)ство*, *свататися*, *сватитися*?

Вопрос этот — не такой схоластический, как может показаться на первый взгляд. Так, отечественная лексикография (и, имплицитным образом, отечественная историография) в целом склоняется к тому, что соответствующие лексемы могли употребляться в особом значении, подразумевающем договор, но не женитьбу. «Словарь русского языка XI–XVII вв.», например, выделяет у термина *сват(ь)ство* два значения. Одно из них, так сказать, классическое: «отношения родителей или родственников жениха или невесты в результате бракосочетания». Если речь идет об эпохе XII — первой половины XIII столетий, то здесь целесообразно сделать лишь некоторые уточнения. С одной стороны, отношения сват(ь)ства возникают не только «в результате бракосочетания», но и в результате д о г о в о р а о бракосочетании. С другой стороны, брачующиеся не обязательно должны быть кровными родственниками тех, кто вошел в отношения сват(ь)ства, однако непременно должны состоять на их попечении.

Второе же указанное в словаре значение, «соглашение, союз», вроде бы никакого брака не подразумевает, при этом оно базируется на одном-единственном примере и вызывает у нас весьма серьезные сомнения. Что же это за пример?

В Галицко-Волынской летописи под 1240 г. содержится следующее сообщение:

> …преже того ѣхалъ бѣ . Данило кн҃зь . ко королеви Оугръı . хотѧ имѣти с ни҃м любовь сватьства . и не бъı любови межи има . и воротисѧ . ѿ королѧ [ПСРЛ, II: 787].

Никакого брака между детьми короля Белы и Даниила Галицкого в ближайшее время не воспоследовало, и именно поэтому, очевидно, составители словаря предположили, что в данном случае термином *сват(ь)ство* обозначен политический союз двух правителей, безо всякой женитьбы их подопечных.

Обратим внимание, однако, что в используемой словарем цитате речь совершенно определенно идет не о событии, а о намерении кня-

зя Даниила («хота имѣти с ним любовь сватьства»)[1], причем именно относительно данного эпизода Галицко-Волынская летопись, счастливым образом, дает нам несомненные доказательства того, что намерения двух правителей имели не какой-либо иной, а именно матримониальный характер, — они собирались сделаться сватами, и лишь внезапная перемена в настроениях Белы помешала осуществлению этого проекта.

Дело в том, что примерно 11 лет спустя Бела IV отправляет посольство к Даниилу, желая выдать свою дочь за его сына Льва. Благодаря содействию митрополита Кирилла, брак через некоторое время состоялся[2], однако поначалу галицкий князь, посоветовавшись со своим братом Василько, это предложение венгров отвергнул. В летописи совершенно недвусмысленно сообщается и мотивировка их отказа: они не верят королю, ибо значительно раньше в аналогичной ситуации Бела изменил своему слову и не отдал дочь в семью Даниила:

> …помыслив же си с братомъ . гл҃оу его не оуꙗ вѣры . древле бо того . измѣнилъ бѣ . ѡбѣщавъ дати дщерь свою [ПСРЛ, II: 809].

Ни у кого из историков не вызывает сомнения, что первоначальное несогласие Даниила целиком и полностью мотивировано событиями 1240 г., когда король отказался от их общего матримониального проекта.

Таким образом, уже тогда в намерения обоих правителей входил именно брак их детей, и то обстоятельство, что планы одного из участников изменились, никак не отменяет их матримониального характера. Иначе говоря, на основании данного примера неправомерно присваивать слову *сват(ь)ство* некое нематримониальное значение.

Сват(ь)ство обозначает только такой союз, только такое соглашение, непременным условием которого является брак детей или опекаемых родичей. Брак может быть состоявшимся или планируемым, но вовсе без брачных планов обойтись нельзя, во всяком случае, ни в летописи, ни в иных источниках мы подобных примеров не находим. Нарушение такого рода планов, в котором оказался повинен Бела, по-видимому, трактуется как очень серьезное отступление от этики поведения правителя, коль скоро оно помнится десятилетие спустя и считается препятствием для новых договоренностей. Это лишний раз оттеняет тот факт, что на старших родичей соглашение о браке налагало ненамного меньше обязательств, чем самый брак их отпрысков.

Как же обстоит дело с глаголами *свататися* и *сватитися* — могут ли они употребляться в нематримониальном значении в древнерусских текстах? Необходимость выделения подобного значения не поддерживается семантикой родственного им слова *сват(ь)ство*, поскольку у него, как мы убедились, нематримониальное значение отсутствует. Тем не менее, и в материалах к словарю И. И. Срезневского, и в соответствующем томе «Словаря русского языка XI–XVII вв.» утверждается, что данные глаголы таким значением обладают, что они способны означать попросту «вступать в соглашение, в союз», вне какой-либо связи с брачными планами [Срезневский, III: 266–267; СлРЯ, XXIII: 100]. Единичный пример, который иллюстрирует это значение, и на котором оно держится в словарях, чрезвычайно интересен как с лингвистической точки зрения, так и в перспективе воссоздания истории правящей династии.

Прежде всего, это самый ранний для летописи и единственный в «Повести временных лет» пример употребления данных глаголов вообще (напомним, что термин *сват(ь)ство* и даже слово *сватъ* здесь красноречиво отсутствуют). Уникален он еще и тем, что интересующие нас глаголы употребляются в настоящем времени и обозначают процесс, протекающий синхронно с моментом речи персонажа, а не

[1] Любопытно происхождение относительно устойчивых для Ипатьевской летописи выражений «любовь сватьства» [ПСРЛ, II: 787], «прита великоую любовь… и сватаса» [Там же, 624], «и тако живаста оу любви . и сватьствомь ѡбоуємшеса» [Там же, 624], «проса мироу и хота любви ѡ сватьствѣ» [Там же: 819–820]. Перед нами случаи более или менее регулярного соотнесения терминов *любовь* (между главами двух семей) и *сват(ь)ство* / *свататися*. Поскольку одним из значений древнерусского *любъвь* было «мирный договор», то очевидно, что такое соотнесение означает особый тип договора, воплощающийся в матримониальном соглашении. Если предположить, что условия, подобные тем, что мы находим в посланиях, составленных Михаилом Пселлом, фигурировали в переговорах Византии с Русью, то можно допустить, что такого рода сцепление терминов имеет связь с византийским дипломатическим узусом.

[2] Из летописи мы знаем, что позднее, в 1254 г., Беле случалось именовать Даниила *сватом*: «Потом же посла к Данилови рекыи оужика ми и сватъ еси . помози ми на Чехы и оубѣди и» [ПСРЛ, II: 821]. Однако в данном случае не так просто установить, какие именно отношения свойства́ / сват(ь)ства имел в виду венгерский правитель, поскольку к этому времени не только Лев Данилович успел жениться на его дочери, но Бела организовал брак для еще одного Даниловича — Романа, сговорившись с Даниилом женить его на своей троюродной племяннице, Гертруде Бабенберг.

имевший место в прошлом, как в других летописных эпизодах. Наконец, исторический сюжет, где они появляются, может оказаться весьма важным не только для определения функции внутридинастических договоров и внутридинастических браков, но и для характеристики восприятия этих договоров и браков летописцами и князьями.

Речь идет о конфликте сыновей и наследников Ярослава Мудрого, когда Святослав склоняет Всеволода, своего младшего брата, выступить против их старшего брата Изяслава. Его маневр описывается в летописи следующим образом:

> Сѯ̄ослав же бѣ начало въгнанью бра҃тню . желаꙗ болшеє власти . Всеволода бо прелсти гл҃ѧ . ꙗко Изѧславъ сватитсѧ со Всеславомъ . мъслѧ на наю . да аще ѥго не [варивѣ] имать на прогнатьє . и тако взостри Всеволода на Изѧслава [ПСРЛ, I: 182–183][1].

Напомним, кто является контрагентом Изяслава в этом эпизоде: Изяслав «сватится» со Всеславом, представителем обособленной (видимо, претендующей на старшинство) полоцкой ветви Рюриковичей, который был едва ли не самым опасным и могущественным врагом своих двоюродных дядьев, сыновей Ярослава Мудрого.

В свое время Изяславу Ярославичу, как известно, удалось заключить Всеслава на некоторое время в «поруб», причем вместе с ним в заточении оказались два его сына, которые, вероятно, были уже не совсем маленькими детьми, но и не располагали еще самостоятельной властью. В свою очередь, не кто иной, как освобожденный горожанами Всеслав оказался причиной первого изгнания Изяслава с киевского стола в 1068 г. Возвратив же себе Киев, Изяслав сумел изгнать Всеслава из наследственного Полоцка. Таким образом, по своей тяжести конфликт князей весьма напоминает противостояние Святослава Всеволодича и Всеволода Большое Гнездо, о котором мы упоминали

[1] Ср.: «Сѯ̄ослав же бѣ начало выгнанию братнюю . желаꙗ болшаꙗ власти . Всеволода бо прельсти и гл҃ѧ . ꙗко Изѧславь . вьстаєть <в Хлебниковском и Погодинском списках — “сватается”> . сь Всеславомъ . мыслѧ на наю . да аше єго не варивѣ . имать насъ прогнати . и тако взострі Всеволода . на Изѧслава» [ПСРЛ, II: 172]; «Святославъ же бѣ начало выгнанию братню, желая болшая власти; Всеволода бо прельсти, глаголя, яко “Изяславъ сватится со Всеславомъ, мысля на наю; да аще его не варивѣ, имать наю прогнати”; и та възостри Всеволода на Изяслава» [ПСРЛ, III: 197].

выше, закончившееся «сват(ь)ством» этих князей, только усобица XI в. носила более острый характер, в частности, потому что в заточении побывал не только княжеский сын, но и сам глава полоцкого дома.

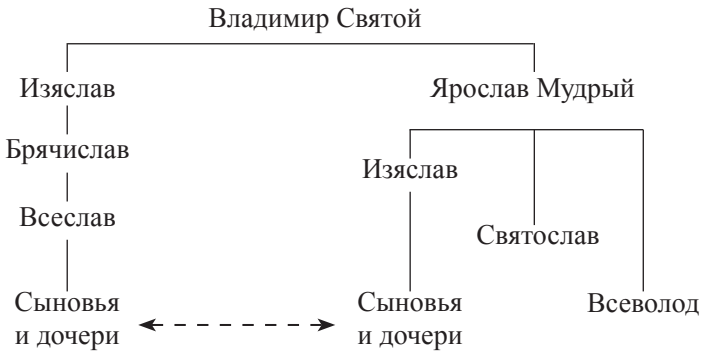
Соответственно, коль скоро Изяслав и Всеслав желали примирения, его следовало осуществить в максимально надежной, наиболее обязывающей обе стороны форме. В таких случаях в средневековом мире (как явствует из разобранных примеров, и на Руси тоже) договор стремились скрепить браком между членами враждовавших семей. Естественнее всего предположить поэтому, что глаголы *свататися* / *сватитися* означают здесь то же самое, что и во всех других контекстах, летописных и нелетописных, связанных с домонгольским временем: скорее всего, Изяслав и Всеслав вели переговоры о браке своих подопечных (учитывая семейную ситуацию Рюриковичей того периода, попросту о браке своих детей).

Если мы вспомним о той густоте матримониальной сети, характерной для Рюриковичей, и о столь свойственном им стремлении использовать все возможности для внутридинастического брака, то такая интерпретация покажется еще более закономерной. В самом деле, именно для детей князя Всеслава и внуков Ярослава Мудрого впервые в династии открылась возможность женитьбы друг на друге, ибо родство между ними было для этого уже достаточно отдаленным.

Полоцкие князья к тому времени оказались единственной ветвью Рюриковичей, не являвшихся потомками Ярослава Мудрого; они вели свою родословную от его брата Изяслава Владимировича. Соответственно, сыновья Ярослава Мудрого и Брячислав Изяславич были двоюродными братьями или, говоря иначе, приходились друг другу родственниками в 4-й степени. Единственный сын Брячислава, Всеслав, и многочисленные внуки Ярослава Мудрого были между собой троюродными (это 6-я степень родства). Ни то, ни другое, с точки зрения церковных норм, для брака решительно не годилось. Однако дети Всеслава уже могли жениться на внуках Ярослава: они состояли в 7-й степени родства, что, согласно принятому на Руси изводу канонической нормы, было вполне приемлемо для брака.

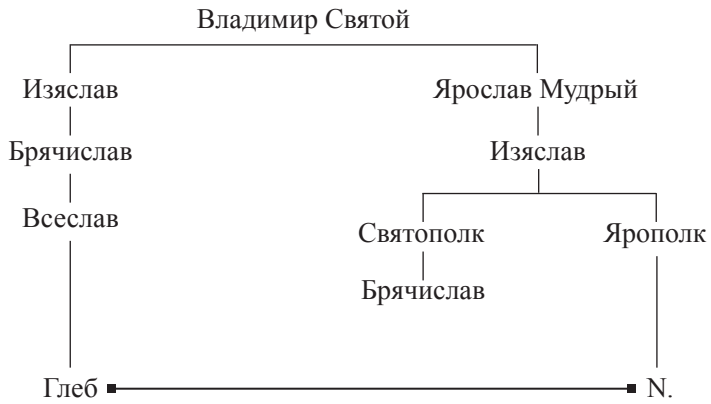
Между тем, если учитывать имеющиеся в нашем распоряжении сведения о состоявшихся внутридинастических браках, складывается впечатление, что русские князья как будто бы не заметили этой возможности, как бы выжидали с осуществлением подобного рода союза дольше, чем было необходимо. Первый известный нам брак между

двумя представителями русской княжеской династии состоялся лишь между родичами в 8-й степени. Однако обратив внимание на то, кем были эти первые известные нам жених и невеста из Рюриковичей, мы



лишний раз можем убедиться, что для потомков Изяслава Ярославича союз с полоцкой ветвью оставался и почти два десятилетия спустя после вторичного изгнания Изяслава из Киева делом весьма важным, ибо в ту пору сын Всеслава, Глеб, взял в жены Ярополковну, внучку Изяслава[1].

[1] Полоцкое княжество и его князья, как известно, еще не одно десятилетие составляли своеобразную точку напряженности для потомков Ярослава Мудрого. Последние разными способами — мирными и немирными — пытались приобщиться к правам на Полоцк. Так, Святополк, сын Изяслава Ярославича, после неудачного похода княжеского войска на Минск, где княжил Глеб Всеславич, нарек своего новорожденного сына *Брячиславом* [ПСРЛ, I: 280]. Все остальные носители этого имени у домонгольских Рюриковичей принадлежали исключительно к полоцкому дому. Так звался, в частности, дед Глеба Всеславича, Брячислав Изяславич, и один из племянников Глеба, сын его брата Давыда. Иначе говоря, Святополк избрал для одного из своих детей имя, которое и тогда, и прежде было отчетливо закреплено за полоцкой ветвью рода, рассчитывая, возможно, обеспечить отпрыску какой-либо из столов Полоцкого княжества. А. В. Рукавишников сопоставил факт наречения Брячислава Святополчича специфически полоцким именем и неудачный поход войска его отца, Святополка, на Глеба и Давыда Всеславичей. При этом исследователь предположил, что *Брячислав* было княжеским именем самого Давыда Всеславича [Рукавишников 2002: 49, прим. 21]. Последнее можно считать практически невероятным, потому что мы решительно ничего не знаем о том, чтобы у этого князя было какое бы то ни было имя, помимо неоднократно зафиксированного в летописи *Давыд*, и — что еще более существенно —



Таким образом, коль скоро, с одной стороны, брак отпрысков Всеслава и Изяслава был чрезвычайно желателен в русле общединастической стратегии и, в особенности, в контексте конкретной исторической ситуации, а с другой — являлся совершенно допустимым с церковно-канонической точки зрения, то всего вероятнее, что и глаголы *свататися* / *сватитися* употреблены здесь в своем обычном матримониальном значении. Иными словами, мы полагаем, что Изяслав Ярославич, по сведениям его младшего брата Святослава, готовился женить кого-то из своих детей на отпрыске Всеслава Брячиславича, используя тем самым впервые возникшую возможность внутридинастического брака, остро необходимую для заключения союза со своим недавним противником[1]. Очевидно также, почему такого рода план мог

у Рюриковичей вплоть до начала XIII в. мы не знаем ни одного случая, когда сын при жизни отца становился его тезкой по княжескому, некалендарному имени [Литвина & Успенский 2006: 267–322]. При этом достоверно известно, что сын Давыда Всеславича звался *Брячислав*.

[1] Что касается вопроса о том, кто именно из детей Изяслава и Всеслава был предназначен для матримониального союза, то для его разрешения источники не дают нам никакой непосредственной информации. В свое время Л. В. Алексеев [1966: 249], один из немногих исследователей, интерпретировавших интересующее нас летописное известие как сообщение о брачных переговорах, предположил, что речь уже в ту пору шла о браке новорожденной дочери Ярополка Изяславича (внучки Изяслава) с сыном Всеслава — Глебом (об этом браке см. ниже ч. I, гл. 4, с. 59–66 наст. издания). Эта гипотеза чрезвычайно удачно вписывалась бы в общую картину известий о браках Рюриковичей, поскольку мы знаем, что дан-

вызвать истинные или старательно сымитированные опасения Святослава Ярославича: в самом деле, всегда существовал риск, что отношениям свойствá, родства через брак, будет отдано ситуативное предпочтение перед родством кровным, связью с братьями.

Помимо всего прочего, при такой трактовке куда понятнее становится обличительный пафос летописца, направленный на Святослава Ярославича, который искусными и, по-видимому, лживыми речами вовлекает Всеволода в распрю со старшим братом Изяславом. В самом деле, если Изяслав вступил бы в сепаратный сговор со Всеславом, то это действительно противоречило бы завещанию их отца, Ярослава Мудрого, и в известном смысле оправдывало бы контрудар объединенной коалиции младших Ярославичей. С другой стороны, если весь сюжет о переговорах между Изяславом и Всеславом был чистым вымыслом, полной ложью, то подозрительное легковерие Всеволода Ярославича не позволяло бы обрушить всю тяжесть обличений на одного только Святослава. Судя по контексту, реплика последнего являет собой убедительное смешение истины и ее намеренно превратного толкования. Матримониальный союз и даже предварительные действия, направленные на его создание, — это событие публичное, и, вместе с тем, его частичная сепаратность санкционируется всем авторитетом традиции, как семейной, так и династической. В нем естественным порядком задействованы, прежде всего, сами брачующиеся и главы их семей (чья роль, как мы стремились продемонстрировать, до поры до времени была даже важнее, чем роль молодой пары). Остальные же родственники также включаются в отношения свойствá, но, как правило, их функции второстепенны. В такой внутрисемейной сепаратности, повторимся, нет ничего нарушающего интересы рода, но Изяславу, заключавшему матримониальный союз с недавним противником, легко и убедительно можно приписать намерение предпочесть нового свойственника кровным родственникам, легко представить эти предпочтения заходящими весьма далеко. В подобном риторическом извращении целей вполне реального предприятия старшего брата, по-видимому, и состояло коварство Святославовых речей, в котором его упрекает летописец.

Существенно, разумеется, что в летописных источниках отсутствуют как прямое известие о свадьбе между детьми Всеслава и Изяслава, так и косвенные сообщения о каких бы то ни было последствиях (политических или генеалогических), по которым можно было бы заключить, что затевавшийся в 1073 г. брак был заключен. Помимо всего прочего, та поспешность, с которой Святослав и Всеволод вытеснили своего старшего брата из Киева, попросту не оставляла времени для завершения предполагаемого брачного проекта.

Однако отсутствие брака вовсе не означает отсутствия брачной договоренности. Как мы попытались показать, глаголы *свататися* / *сватитися* сами по себе не служат сообщением о свадьбе и могут означать не только связь между некровными родственниками, вступающую в силу с момента брака, но и отношения по договору о браке, ибо сам по себе этот договор обладал немалым весом. Из истории отношений галицкого князя Даниила Романовича и венгерского короля Белы IV явствует, что уговор о вступлении в сват(ь)ство не всегда или, во всяком случае, далеко не сразу завершался свадьбой, но матримониальные намерения, самый план брака, присутствовал непременно.

Итак, теперь мы можем сделать два вывода. Один из них служит своеобразным уточнением к принятому лексикографическому толкованию интересующих нас слов: глаголы *свататися* / *сватитися* и производное от них *сват(ь)ство* (если речь идет об отразившихся в летописи междукняжеских отношениях X — середины XIII сто-

---

ный союз, в конце концов, состоялся, и Ярополковна действительно стала женой Глеба. Однако, как явствует из летописного рассказа о смерти Ярополковны, она появилась на свет лишь после 2 января 1073 г., а скорее всего, между 2 января 1074 г. и 3 января 1075 г. [Назаренко 2001: 526–527], т. е. после интересующих нас событий. Даже если предпочесть наиболее раннюю из возможных дату ее рождения — январь 1073 г. — то едва ли можно согласиться с тем, что до 22 марта 1073 г., когда Святослав и Всеволод уже вошли в Киев, изгнав оттуда своего старшего брата, успели состояться и зайти хоть сколько-нибудь далеко полноценные переговоры относительно ее брака, не говоря уже о том, что мы, вопреки утверждению Л. В. Алексеева, не знаем ни одного примера, чтобы на Руси сватали только что появившуюся на свет княжну. Помимо всего прочего, Глеб Всеславич к тому времени, по всей видимости, уже вступил в подходящий для брака возраст, а его помолвка с новорожденной отсрочивала бы на долгие годы столь необходимый результат княжеского брака, как появление потомства — результат, благодаря которому свойствó для следующего поколения переходило в кровное родство. Куда более вероятным представляется, что речь в 1073 г. шла о ком-то из детей Изяслава. Весьма заманчиво допустить, что со стороны Всеслава в качестве жениха предполагался и в самом деле Глеб. В таком случае, оказывается, что матримониальный план был в свое время доведен до благополучного конца, но в уже изменившейся, приспособленной к новым условиям форме — Глебу досталась не дочка, а внучка Изяслава, не тетка, но племянница. Тем не менее, при всей своей привлекательности, это допущение сугубо гадательно.

летий) отсылают к родству между главами семей, которое возникает благодаря браку между их детьми или иными подопечными, а также к своеобразным квазиродственным отношениям, возникающим между главами семей благодаря договоренности о соответствующем браке. Иными словами, для того чтобы в тексте могли фигурировать данные термины, необходимо наличие трех ситуативных компонентов: старших родичей-переговорщиков, соглашения между ними и конкретного матримониального плана, осуществившегося или потерпевшего крах.

Второй вывод связан с вполне конкретными историческими событиями 70-х гг. XI в. Непосредственно перед вторым изгнанием Изяслава Ярославича из Киева он договорился со своим давним противником, Всеславом Полоцким, о женитьбе кого-то из младших членов их семей, пытаясь использовать впервые открывшуюся для русских князей возможность заключения внутридинастических браков без нарушения церковных ограничений на близкородственные союзы.

Почему же, однако, несмотря на очевидность многих соображений, изложенных выше, глаголам *свататися* / *сватитися* в авторитетных словарях приписывается дополнительное, нематримониальное значение и, с другой стороны, в историографической традиции принимается презумпция, согласно которой в летописной статье под 1073 г. речь идет исключительно о политическом соглашении, а не о проекте внутридинастического брака?[1]

Что касается составителей современных словарей, то они, по-видимому, руководствовались вполне закономерным стремлением не потерять ни одного из выделенных предшественниками значений слова. Так, «Словарь русского языка XI–XVII вв.», вероятнее всего, ориентировался в этом отношении на материалы словаря И. И. Срезневского, где для глаголов *свататися* / *сватитися* (но не для термина *сват(ь)ство*) нематримониальное значение выделяется со всей определенностью. Составители же словаря И. И. Срезневского, в свою очередь, при формировании данной словарной статьи стремились, по-видимому, не потерять значение, выделенное «Словарем Академии Российской», где статья, посвященная глаголу *свататься*, выглядит следующим образом:

> *Сватаюсь* <…> 1) Предлагаю свое желание вступить с кем в супружество (*Сватается на богатой невесте*). 2) В старин. знаменовании: сговариваюсь, соглашаюсь (*Изяславъ сватается со Всеславомъ, мысля на насъ*. Никон. Лет. I. 167) [САР, V: 347].

Подчеркнем еще раз, что в качестве иллюстрации «старинного знаменования» в «Словаре Академии Российской» приводится все тот же единственный пример о Всеславе Брячиславиче и Изяславе Ярославиче. Почему же лексикографы конца XVIII столетия именно так поняли данный фрагмент? Старое значение глаголов *свататися* / *сватитися*, подразумевающее как переговоры о браке, так и установление родства между двумя главами семей по браку их подопечных, в живом языке XVIII в., судя по всему, было уже утрачено. Составители словаря, по-видимому, не имели под рукой материалов для его восстановления или хотя бы для какой-то лингвистической рефлексии на сей счет: в Никоновской летописи, которая была для них основным источником по истории Руси домонгольского времени, в отличие от летописи Ипатьевской, например, больше нет никаких описаний матримониальных переговоров с использованием глаголов *свататися* / *сватитися* (так, в ней попросту отсутствуют рассказы о том, как вступили в свойствó Всеволод Большое Гнездо и Святослав Черниговский или Роман Мстиславич и Владимир Галицкий).

Новое, привычное для узуса XVIII в., значение — «предлагать свое желание, давать свое согласие вступить с кем в супружество» — очевидным образом, никак не подходило к ситуации, описанной в летописи под 1073 г., поскольку Изяслав и Всеслав едва ли могли желать брака друг с другом. Соответственно, составителям словаря приходилось отыскивать какой-то иной семантический вариант. Возможно, на их понимание летописного примера повлияло одно из поздних пере-

[1] См., напр.: [Карамзин, II: 46; Голубовский 1881: 71; Данилевич 1896: 69; Пресняков 1993: 44; Свердлов 2003: 459–460]. В. А. Кучкин [1985: 19–35], обсуждая упоминавшуюся нами выше гипотезу Л. В. Алексеева, считает неправдоподобным, что помолвка Ярополковны послужила причиной для изгнания Изяслава Ярославича из Киева. Однако из текста его работы не совсем ясно, признает ли он факт помолвки в 1073 г. как таковой и трактует ли глаголы *свататися* / *сватитися* в этом контексте как «матримониальные». В целом исследователь полемизирует с точкой зрения А. А. Шахматова, считавшего, что этот фрагмент летописи был записан по «горячим следам» и вошел в летописный свод 1073 г. В. А. Кучкин полагает, что это свидетельство было составлено несколько позже, в эпоху Всеволода Ярославича, и главной задачей летописца в данном случае была реабилитация Всеволода в истории изгнания его старшего брата из Киева.

носных значений глагола *свататься*, сохранившееся в диалектах: «договариваться о торговой сделке, иметь дело, вести дела с кем-либо» [СРНГ, XXXVI: 217]. Это значение тоже не вполне отвечало контексту, но, с другой стороны, оно явно не выглядело современным и общеупотребительным (об этом свидетельствует помета «в старин. знаменовании»), что позволяло разрешить то режущее глаз противоречие, когда один летописный персонаж мужского пола сватается с другим.

Весьма вероятно, что составителям «Словаря Академии Российской» не пришлось проделывать эту операцию самостоятельно, поскольку они могли попросту воспользоваться готовым авторитетным решением, уже предложенным в исторических трудах М. М. Щербатова и В. Н. Татищева, где при рассказе о событиях 1073 г. говорится о «тайном согласии», договоре, но отнюдь не о брачных планах князей ([Татищев 1768–1848, II: 116]; ср. также: [Щербатов 1770–1791, II: 20]). Соответствующая трактовка значений глагола «свататься» была перенесена и во второе издание «Словаря Академии Российской»[1].

И. И. Срезневский привлек для статьи о глаголах *свататися* / *сватитися* весьма обширный летописный материал, дабы выявить основные составляющие значения этих глаголов в древности и не смешать это старое значение с тем, которое один из наших глаголов (*свататься*) приобрел позже. Однако при издании материалов И. И. Срезневского было сочтено нужным сохранить и нематримониальное значение данного слова, — ошибочно, на наш взгляд, выделенное в «Словаре Академии Российской». Таким образом, окончательно сложился своего рода порочный круг, когда желающие уточнить понимание этого фрагмента историки обращались к словарям и находили там специально выделенное значение «сговариваться», а лексикографы, в свою очередь, обращались к историческим трудам и находили в них подтверждение неверной словарной интерпретации.

[1] Оно-то, вероятнее всего, и послужило ориентиром при издании материалов И. И. Срезневского, поскольку для основного значения глагола *свататься* среди прочих здесь используется пример из книги Бытия, появившийся именно во втором издании «Словаря Академии Российской». Ср.: «С в а т а т ь с я, с о с в а т а т ь с я <…> 1) Предлагать свое желание, давать свое согласие вступить с кем в супружество (*Свататься на богатой невесте. Сосватайтеся с нами, дщери ваши дадите нам*, Быт. 84. 9). 2) В старинном знаменовании: сговариваться, соглашаться (*Изяславъ сватается со Всеславомъ, мысля на насъ*. Никон. Лет. Ч. I, стр. 167)» [САР 1806–1822, IV: 46–47].

Глава 4

Опасные связи: о возможных мотивах одного политического убийства

Гибель Ярополка Изяславича в ноябре 1086 г. стала первой после кончины Бориса, Глеба и Святослава смертью Рюриковича от руки подосланного убийцы. Смерть эта, по крайней мере, в перспективе летописца, безусловно сополагалась с мученичеством сыновей Владимира Святого, однако эти события разделяло шесть с лишним десятилетий, когда в династии не происходило ничего подобного. Князь мог погибнуть на поле битвы, в результате междоусобицы, как это случилось, например, с отцом Ярополка, Изяславом Ярославичем, но хотя братоубийственная война оценивалась, разумеется, негативно, такого рода смерть все же вписывалась в некий мыслимый порядок вещей. Достаточно упомянуть здесь примирительную реплику из письма Мономаха, скорбевшего о своем погибшем сыне, но отмечавшего при этом, что «дивно ли ѡже мужь оумерлъ в полку ти лѣпше суть измерли и роди наши» [ПСРЛ, I: 254].

Вероломное же преступление, жертвой которого стал Ярополк, не могло расцениваться как заурядное событие в рамках какой бы то ни было этической нормы, будь то обиход христианских государей, которыми успели сделаться Рюриковичи, или повседневная жизнь некрещеных предводителей военных дружин, каковыми они были до обращения. Более того, дошедшие до нас летописные свидетельства об этом событии по сей день сохраняют детективную интригу: мы знаем имя непосредственного исполнителя преступления, некоего Нерадца, однако очень мало или почти ничего не можем сказать о его заказчике, да и вся ситуация как до убийства, так и после него остается весьма туманной. В. Н. Татищев охарактеризовал в свое время Нерадца как служителя Ярополка, однако и в этом мы не можем быть уверены. Мы знаем только, что у него была возможность верхом подъехать к князю, лежащему в дороге на санках, и проткнуть его саблей:

> Ꙗрополкъ же сѣде Володимери . и пересѣдев мало дн҃и . иде Звенигороду . и не дошедшю ѥму града . и прободенъ бы҃ѥ ѿ проклатаго Нерадьца . ѿ дьꙗвола наоученьꙗ . и ѿ злыхъ чл҃вкъ . Лежащю и ту на возѣ саблею с кона прободе и . м҃ца . ноꙗмбра . въ . к҃в .

дн҃ь . И тогда въздвигнувъса Ꙗрополкъ . въторгну изъ себе саблю . и возпи великъı҃ гл҃мь ѡхъ тот ма враже оулови [ПСРЛ, I: 206].

В летописи весьма лаконично сообщается также, что, совершив это убийство, Нерадец не был схвачен и как будто бы беспрепятственно бежал в Перемышль к Рюрику Ростиславичу. Последнее вроде бы позволяет именно в Рюрике видеть автора злодейского замысла, однако летописец не говорит об этом напрямую.

Помещенный под 1097 г. рассказ об ослеплении Василько Теребовльского, одного из братьев Рюрика, еще более усложняет интересующую нас коллизию. Здесь происходит многоэтапное нагнетание интриги вокруг убийства Ярополка. Святополка, младшего брата погибшего князя, пытаются убедить, что он не будет в безопасности, если те, кто к этому убийству причастен, сговорятся между собой. Такие речи ведет его кузен — Давыд Игоревич, но инициатива исходит не от него, и мысль о давешнем злодеянии на страницах летописи вложена не в его уста, а в уста неких мужей из его окружения — им же такие мысли внушил не кто иной, как дьявол. Драматизм этой сложной конструкции усиливается еще и тем обстоятельством, что Святополк колеблется, не может решить, верить или не верить услышанному, причем его сомнения могут относиться как к существованию нынешнего заговора, так и к виновности Василько в гибели брата. Текст летописи не позволяет однозначно решить, знает он или не знает его убийц[1].

Вообще говоря, если судить исключительно по летописи, ссора с Ростиславичами, которым удалось ненадолго завладеть Владимиром-Волынским, не была последним династическим конфликтом, в котором принимал участие Ярополк; более актуальным, пожалуй, было его противостояние с родным дядей, киевским князем Всеволодом Ярославичем, и его сыном Владимиром Мономахом. Именно против дяди

[1] «...и влѣзе сотона [въ сер^а^це] нѣкоторы҃ муже҃ . и почаша гл҃ати к Дв҃дви Игоревичю . рекуще сице ꙗко Володимеръ сложилса єсть с Василко҃ на Ст҃ополка и на та . Дв҃дъ же ємъ вѣру лживы҃ слово҃ . нача молвити на Василка гла . кто є҃ оубилъ брат[а] твоюго Ꙗрополка . а нынѣ мыслить на ма и на та . и сл^о^жилса є с Володимеро҃ . да промышлаи ѡ своеи головѣ . Ст҃ополкъ же сматеса оумо҃ . река єда се пр^а^во буде҃ . или лжа не вѣдѣ . и ре҃ Ст҃ополкъ к Дв҃дви . да аще право гл҃еши Бг҃ ти буди послу҃ . да аще ли завистью молвишь Бг҃ буде҃ за тѣмъ . Ст҃ополкъ же сжалиси по братѣ своє҃ . и ѡ собѣ нача помышлати єда се право буде҃ . и ꙗ вѣру Дв҃дви . и прелсти ж Дв҃дъ Ст҃ополка» [ПСРЛ, I: 257].

Ярополк попытался выступить незадолго до гибели и именно кузен Мономах вынудил его спешно бежать в Польшу, оставив в Луцке, фактически в руках своих противников, мать, жену и детей. Из Польши Ярополк вернулся довольно быстро и, заключив мир, получил обратно свой город Владимир, куда Всеволод посадил было Давыда Игоревича. Возвращение это и условия мира сами по себе остаются довольно загадочными — оказывается, в сущности, что выступление против дяди не нанесло династической судьбе Ярополка особенного урона. Не получив большего, он отнюдь не лишился того, чем владел прежде, и, недолго просидев во Владимире, он с не вполне ясными целями отправляется в Звенигород.

Все это позволяет включить Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха в круг подозреваемых. Быть может, не случайно несколько лет спустя пресловутые «мужи» Давыда Игоревича, стремившиеся настроить родню убитого князя против Василько Теребовльского, подчеркивают стремление последнего объединиться с Мономахом. Нельзя, впрочем, забывать и о фигуре самого Давыда Игоревича, который, на краткий срок заполучив Владимир-Волынский, потерял его столь же быстро, когда Ярополк вернулся из Польши, и впоследствии принужден был вести долгую борьбу за этот город. Не пытался ли он, обвиняя Василько, обелить самого себя?

Характерно при этом, что летописец в панегирическом слове Ярополку Изяславичу как будто бы не стремится к прояснению ситуации, говоря о том, что князь «многы бѣды приемь без вины изгонимъ ѿ бра^т^ꙗ своꙗ . ѡбидимъ и разграбленъ . наконець и см҃рть горку приꙗ» [ПСРЛ, II: 198]. Речь идет, таким образом, не о каком-то конкретном злодее, но, скорее, о несправедливостях, претерпленных от родичей-князей вообще. Если же учесть, что в предыдущих погодных статьях упоминается, как именно Мономах привел семью Ярополка в Киев и отобрал все его имущество, то его никоим образом нельзя исключить из числа тех гонителей убитого князя, о которых говорит повествователь.

Общую атмосферу сомнительности всей ситуации в целом усугубляет и то обстоятельство, что после убийства Ярополка не было предпринято, в сущности, никаких видимых мер, инициатором которых должен был бы выступить киевский князь. В самом деле, Всеволод, Владимир и Ростислав с почетом и скорбью встречают и хоронят тело Ярополка в Киеве, в церкви св. Петра, но за всем этим не следует

ни поиска, ни осуждения виновных в его гибели. В летописной статье мы читаем краткое упоминание о походе Всеволода к Перемышлю, однако цели и результаты этого предприятия остаются неясными, а Ростиславичи, насколько можно судить из дальнейшего, не лишаются этого города.

Итак, данный трагический эпизод в династической истории XI в. в полной мере остается детективной загадкой, когда подозревать можно многих, но обвинение ни против кого не выдвинуто. Как это нередко случается с классическими детективными историями, невозможно сказать, остаемся ли в неведении только мы, читатели летописного текста, или те же сомнения и трудности испытывал сам летописец? Пытался ли он затушевать нечто, ему хорошо известное, или вся интрига разворачивалась в такой тайне, что русский книжник и его аудитория так и не узнали заказчика убийства Ярополка Изяславича? Или, быть может, Нерадец действовал один и совершил это преступление по каким-то личным мотивам? Последнее, впрочем, представляется наименее вероятным.

Разумеется, если перед нами не политическое убийство, то реконструкция его причин представляет слишком широкое поле для догадок, которые достаточно лаконичный летописный материал не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть. Если же предположить более правдоподобный сценарий политического убийства, то у нас, как кажется, есть возможность выдвинуть новую гипотезу о его мотиве. В самом деле, почему «злым советникам» именно в 1085 г. удалось убедить Ярополка в необходимости и возможности выступить против своего «стрыя», киевского князя, обладавшего к тому времени достаточно неоспоримым родовым старшинством? Почему Ярополк, вернувшийся из Польши, оказался фигурой настолько опасной, что для его нейтрализации пришлось прибегнуть не к обычным средствам вроде военного похода, но к заказному убийству? Каким образом этот князь, как будто бы не получивший от поляков военного подкрепления, смог беспрепятственно вернуться на свой стол во Владимире?

Конечно, существенную роль в этом последнем событии играло то положение, которое он занимал в княжеской иерархии. Будучи старшим и законным из живущих сыновей Изяслава, по родовому счету Ярополк уступал своему дяде Всеволоду Ярославичу, но превосходил Мономаха и прочих своих кузенов. Именно ему предназначался старший стол после кончины Всеволода, последнего из оставшихся в живых сыновей Ярослава Мудрого. Однако это преимущество Ярополка было очевидным с тех пор, как погиб в битве на Нежатиной Ниве его собственный отец Изяслав. Что же изменилось к 1085 г.?

Для того чтобы предложить свою версию ответа на этот вопрос, нам необходимо обратиться, с одной стороны, ко времени несколько более раннему и, с другой стороны, существенно более позднему, отстоящему от убийства Ярополка на семь с лишним десятилетий. Начнем с последнего.

3 января 1158 г. в Киеве на 84-м году жизни умирает дочь Ярополка Изяславича [ПСРЛ, II: 492–493]. Из этого сообщения, отличающегося необычным для русского летописания вниманием к хронологическим вехам и биографическим подробностям жизненного пути скончавшейся княгини, мы узнаем, что она была вдовой полоцкого князя Глеба Всеславича и вдовство ее длилось около 40 лет. В летописи мы не обнаружим точной даты ее замужества, однако, по всей видимости, ее выдали (или, во всяком случае, просватали) за Глеба при жизни отца.

В самом деле, скончавшаяся в 1158 г. княгиня была, скорее всего, старшей дочерью (но отнюдь не единственным ребенком) Ярополка и Кунигунды. Вскоре после смерти мужа Кунигунда покинула Русь, взяв с собой ту из дочерей, которая впоследствии была выдана замуж за кефернбургского графа Гюнтера [Назаренко 2001: 524–528]. По всей видимости, старшей дочери была бы уготована сходная судьба (ведь ей к моменту гибели отца было не более 13 лет), если бы ее матримониальная участь не была бы уже предопределена и связана с Русью.

С другой стороны, естественно допустить, что брак Ярополковны и Глеба Всеславича не мог состояться и намного раньше 1086 г. По крайней мере, в дальнейшем русские князья имели склонность дожидаться для вступления брак канонически допустимого возраста, если в противном не было крайней политической необходимости. Это тем более вероятно, что для Глеба Всеславича брак с Ярополковной, судя по всему, был не первым, а традиции браков взрослых людей с маленькими детьми на Руси, кажется, не существовало: преждевременные, с канонической точки зрения, союзы представлялись допустимыми, коль скоро юными были оба брачующихся.

Иначе говоря, женитьба или сговор Глеба и Ярополковны должна была состояться очень незадолго до внезапной кончины отца невесты. Мы предполагаем, что между этими событиями существует не только хронологическая близость, но и непосредственная причинно-

следственная связь. Вспомним, что речь идет о самом первом (во всяком случае, из известных нам) внутридинастическом браке в доме Рюриковичей — этот мощнейший политический инструмент, игравший столь кардинальную роль в мирной и военной стратегии династии в течение, по крайней мере, двух последующих столетий, был впервые опробован на деле.

Как мы знаем из дальнейшего, подобные матримониальные соглашения станут весьма эффективным средством для объединения интересов различных ветвей весьма разросшегося рода. В данном же случае объединялись две ветви, разошедшиеся с самого начала, да еще в переговорах участвовали такие их представители, которые могли претендовать на старшинство в собственной семье. Поскольку, как уже отмечалось, Глеб Всеславич был взрослым человеком, а его невеста — совсем юной, то центр тяжести при заключении этого союза, скорее всего, определялся соглашением между зятем (Глебом) и тестем (Ярополком), хотя наверняка в деле должен был так или иначе фигурировать и отец Глеба, Всеслав Брячиславич, глава полоцкого дома.

Ветвь Ярослава Мудрого, к каковой принадлежали Ярополк, его отец и родные дядья, по родовому счету была младше ветви полоцких князей, потомков Изяслава Владимировича. К 80-м годам XI столетия конфликты, сотрясавшие династию в середине этого века, отнюдь не ушли в прошлое. Всеслав был единственным наследником своего отца, Ярополк — старшим в своем поколении Ярославичей. Женитьба сына одного из них на дочери другого в определенном смысле объединяла бы и усиливала их претензии на тотальное старшинство в династии и оставляла бы далеко позади притязания всех прочих членов рода. Весь клан полоцких князей получал немедленную поддержку в лице Глебова тестя, сам же этот тесть, Ярополк, приобретал, в свою очередь, дружбу и помощь Всеслава и Всеславичей. Очевидно, что такого рода сотрудничество, как и все союзы, основанные на браке, разом объединяло в себе тактику и стратегию. В дальней перспективе Ярополк мог рассчитывать, что полоцкие князья, во-первых, не станут соперничать с ним за киевский стол, как соперничали в свое время с его отцом и дядьями, и, во-вторых, родовые права и военная сила этих свойственников пойдут ему на пользу в грядущем противостоянии с его собственными кузенами. В перспективе же ближней, поддержка зятя и всей его родни позволяла Ярополку потребовать от дяди (Всеволода Ярославича) большего, чем ему досталось при первоначальном разделе,

и недвусмысленно заявить всему роду о своих будущих правах, о тех новых основаниях старшинства, которые приобрела теперь его семья.

Опасность этой созданной Ярополком матримониально-генеалогической конструкции ясно читалась остальными Рюриковичами. Коль скоро он договорился со Всеславичами, то воевать с ним, а тем более — умалять его права на династическое старшинство, оказывалось весьма затруднительным. Благодаря такой почти шахматной комбинации, родовые преимущества Ярополка могли показаться неуязвимыми ни для чего, кроме внезапной гибели. Этот-то ответный ход и был сделан.

Напомним еще раз, что союз Ярополковны и Глеба Всеславича был первым в истории Рюриковичей внутридинастическим браком. Не исключено, что князья отчасти даже переоценивали степень нерушимости и серьезность угрозы, исходящей от такого союза. На протяжении XII в. у них была возможность убедиться, что отношения между тестем и зятем или двумя сватами отнюдь не всегда оказывались столь безоблачно устойчивыми, как они задумывались при заключении брака, что переменчивость политических интересов подчас оказывается сильнее уз свойствá. Однако в последней трети XI в. это новое, еще не испытанное оружие представлялось, по-видимому, неким абсолютно действенным инструментом, способным перечеркнуть все старые средства и связи и раз и навсегда изменить ход династической истории.

Именно к такому выводу нас подталкивает ситуация, сложившаяся зимой 1073 г., когда произошел конфликт между родными братьями, сыновьями Ярослава Мудрого, и отец нашего Ярополка вынужден был оставить киевский стол. Напомним, что непосредственным поводом, заставившим Всеволода Ярославича выступить против самого старшего из своих братьев, было исходящее от Святослава Ярославича известие о том, что Изяслав «сватитсѧ со Всеславомъ . мъслѧ на наю» [ПСРЛ, I: 182–183]. Иными словами, одного только известия о переговорах Изяслава и Всеслава Полоцкого о браке их детей хватило для того, чтобы разрушить триумвират Ярославичей. Эффективность грядущего матримониального союза кого-то из отпрысков Изяслава с представителем полоцкой ветви Рюриковичей представлялась настолько всеобъемлющей, что грозила перечеркнуть и давнюю упорную вражду Ярославичей со Всеславом, и узы кровного родства, объединявшие братьев, так что потребовалось незамедлительное изгнание Изяслава, дабы предотвратить эту опасность (см. выше: ч. I, гл. 3, с. 50–55 в наст. издании).

На то, чтобы сгладить конфликт между Всеволодом и Изяславом Ярославичами, ушли годы. Наследники же Святослава Черниговского, в сущности, так и не смогли примириться со своими дядьями, что и привело к гибели Изяслава в битве на Нежатиной Ниве. В 70-е гг. XI в. этот нежелательный для большинства представителей Ярославовой ветви брак со всей очевидностью удалось предотвратить, однако сама по себе соблазнительная возможность вступить в матримониальный союз с представительницами полоцкого дома осталась. Напомним, что, с канонической точки зрения, только среди них и могли искать себе брачных партнеров остальные Рюриковичи как в 70-е, так и в 80-е гг., а все прочие внутридинастические комбинации еще оставались невозможными, так как остальные члены разросшейся семьи Рюриковичей были еще в слишком близком родстве.

Иными словами, в семье Ярополка осуществилось то, что не дано было довести до конца его отцу Изяславу Ярославичу. При этом Изяславу пришлось за свой брачный проект расплатиться киевским столом, а Ярополку Изяславичу, если наша гипотеза верна, собственной жизнью. Можно было бы, попытавшись реконструировать мотив политического убийства, попробовать указать и на его бенефициаров. Мы, однако, предпочли бы воздержаться от прямых обвинений, так как восстанавливаемая нами ситуация была нежелательна для всех потомков Ярослава Мудрого, не принадлежавших к линии Изяслава. Представляется несомненным, вместе с тем, что в наибольшей степени угрозе подвергались династические планы Всеволода Ярославича и его сыновей.

Небезынтересно, разумеется, оборвалась ли жизнь Ярополка в ту пору, когда его дочь была уже отдана за Глеба, или же предусмотрительные убийцы пытались, подобно тому как это было проделано в 70-е гг., разрушить такой матримониальный проект на стадии сватовства. Как мы знаем из дальнейшего, договор о династическом браке был лишь немногим менее значим для его участников, чем самая свадьба, и Ярополк, строго говоря, мог выступить против своего дяди, не дождавшись того момента, когда его дочь будет уведена в полоцкие земли. Однако сколько-нибудь определенные ответы на все эти вопросы из летописи извлечь не удается.

Глава 5

Близкородственный брак в домонгольской Руси: ограничения и возможности

(*Святослав Вщижский и Андреевна. — Роман Галицкий и Предслава Рюриковна. — Рюрик Ростиславич и Анна Юрьевна. — Глеб Святославич и Рюриковна*)

Русские князья домонгольской поры были склонны соблюдать церковные запреты, накладывающие существенные ограничения на браки между кровными родственниками. Такое утверждение, будучи верным в своей основе, вызывает к жизни сразу несколько вопросов и, соответственно, требует определенных оговорок.

Прежде всего, существует некоторая неоднозначность в структуре самих запретов и ограничений. Известно, например, что во второй половине XII в., когда в матримониальной стратегии Рюриковичей особую роль приобретают браки внутридинастические, т. е. женитьба на представительницах собственного рода, византийская каноническая традиция последовательно проводит запрет на браки между лицами, состоящими в 7-й степени родства. Запрет этот так или иначе фигурировал в патриарших постановлениях уже в XI столетии, но отсутствовал в более древних законодательных памятниках, таких как Эклога, Прохирон или Василики, где недопустимыми считались лишь браки в 6-й степени родства[1].

Если же судить по статистике русских внутридинастических браков домонгольского времени, Рюриковичи, в духе древнего византийского законодательства, не считали 7-ю степень родства препятствием для брака; своеобразным порогом для них оказывалась, таким образом, степень 6-я. Вопрос о том, как, несмотря на присутствие на Руси греческих митрополитов и епископов, могло возникнуть такое различие между Киевом и Константинополем, чрезвычайно интересен сам по себе, но в данном случае значение его для нас второстепенно. Нас интересуют, скорее, факты нарушения реально существующей на Руси

[1] Ср.: «Запрещается же сочетаться браком тем <…>, кто считается состоящим друг с другом в кровном родстве, т. е. родителям с детьми, братьям с сестрами и их детям, так называемым двоюродным братьям и их детям и только» [Липшиц & Сюзюмов 2006: 54, титул II, § 2]. О 6-й и 7-й степенях родства в византийском брачном праве см. подробнее: [Zhishman 1864: 238–241, 241–252].

границы в области брачных отношений, т. е. отступления от запрета жениться на кровных родственниках в 6-й степени[1].

Количество этих отступлений, учитывая многочисленность и актуальность внутриродовых браков для русских князей, относительно невелико. Показательно, например, что в самых первых по времени эпизодах внутридинастических матримониальных союзов соответствующее брачное ограничение выдерживается[2]. Князья как бы вы-

[1] Мы сознательно ограничиваем данное исследование рассмотрением браков внутридинастических, т. е. тех, которые планировались в пределах Руси и осуществлялись при участии местного духовенства. Что же касается близкородственных междинастических браков, то они зачастую вызваны к жизни другими интересами и расчетами, не говоря уже о том, что механизмы их регуляции и санкционирования были устроены иначе, заведомо выходя за рамки собственно русской практики и юрисдикции Восточной церкви. Так, матримониальный союз между состоявшими в родстве Болеславом III и Сбыславой Святополковной потребовал, как известно, санкции не только краковского епископа Балдуина, но и папы Пасхалия II [Назаренко 2010: 176–177], а состоявшееся почти полтора века спустя бракосочетание Василько Романовича со своей троюродной сестрой было дозволено специальной буллой папы Иннокентия IV [Тургенев 1841: 67, № LXXVI]. Поэтому нам представляется целесообразным сначала рассматривать междинастические и внутридинастические браки такого типа по отдельности и лишь затем переходить к их сопоставительному анализу. Данный подход оправдан еще и тем, что, как станет ясно из дальнейшего изложения, с точки зрения хронологии, у Рюриковичей междинастические и внутридинастические браки между троюродными находятся в отношениях дополнительной дистрибуции: для второй половины XII в., на которую приходится большинство (если не все) союзов между троюродными внутри династии, столь близкородственные междинастические альянсы нехарактерны. Скорее всего, сложные изменения в династической матримониальной стратегии не отрицают существования хотя бы некоторых общих принципов в организации внутри- и междинастических браков, однако здесь необходим несколько иной уровень соположения доступных нам фактов. Многое в этой области было сделано в работах А. В. Назаренко, опубликованных за истекшее десятилетие (см., прежде всего: [Назаренко 2001: 559–584; 2009: 127–146]).

[2] Как уже говорилось в предыдущих главах, один из самых ранних межсемейных союзов Рюриковичей был заключен между родственниками в 8-й степени — дочь Ярополка Изяславича и ее муж, Глеб Всеславич Минский, были праправнуками Владимира Святого по мужской линии. Что касается их матрилинейной генеалогии, то здесь, как это весьма нередко случается с русскими князьями, наши сведения куда более скудны и неопределенны. Матерью невесты была Кунигунда, дочь майсенского маркграфа Оттона. О том же, кем была мать жениха, Глеба Всеславича, никаких данных в источниках не сохранилось, но маловероятно, однако, чтобы она состояла в близком родстве с Кунигундой; делать же какие-то выводы

жидают, когда различные ветви рода разойдутся достаточно далеко, чтобы можно было выбирать партнера для брака, соблюдая церковные правила. «Трудности» в этом отношении возникают не ранее 1117 г., но, возможно, и гораздо позже: именно тогда в брак вступают Агафья, дочь Владимира Мономаха, и некий князь по имени Всеволодко, которых часть исследователей считает троюродными братом и сестрой[1].

Каждый казус подобного нарушения требует, по-видимому, самостоятельного анализа, который позволил бы определить, почему оно стало возможным. При этом особое внимание следует, как кажется, уделять наиболее ранним примерам отступлений от брачного права, поскольку мы знаем, что в династическом обиходе русских князей

о ее кровных связях с Рюриковичами не представляется возможным. Решительно ничего не известно и о том, кем была бабка Глеба Всеславича по отцу: хотя она упомянута в летописи, но ни имени, ни происхождения полоцкой княгини, родившей сына «от волхвования», мы не знаем. В свою очередь, бабкой невесты по отцу была, без всякого сомнения, польская принцесса Гертруда, дочь Мешко II. Таким образом, близкородственной связи Ярополковны и Глеба через женщин в источниках вроде бы не просматривается. Более того, несмотря на ощутимые лакуны в наших сведениях на сей счет, мы можем признать эти связи крайне маловероятными, ибо они могли иметь место лишь в том случае, если бы Рюриковичи с самого начала не соблюдали вовсе никаких ограничений на близкородственные браки и женились на своих родственницах в 3-й и 4-й степенях, что решительно не вписывается в известную нам картину их матримониальной стратегии XI в. 7-я степень родства (т. е. допустимая с точки зрения русского княжеского обихода) была между Ярославом Святополчичем, внуком Изяслава Ярославича, и его женой, дочерью Мстислава Великого, внучкой Владимира Мономаха, которые вступили в брак в 1112 г.: Ярослав был правнуком Ярослава Мудрого, тогда как Мстиславна — праправнучкой. При этом матерью Мстиславны была шведская принцесса Кристина (Христина), не состоящая в ближайшем родстве с русскими князьями. Что же касается матери Ярослава, то относительно ее происхождения мнения исследователей расходятся. Возможно, Ярослав, подобно своему брату Мстиславу, был рожден от наложницы. Еще более вероятно, что его мать была законной женой Святополка, однако этот брак не был внутридинастическим, поскольку она была дочерью одного из европейских правителей: по предположению А. В. Назаренко [2001: 576], чешского князя Спытигнева II. Как бы то ни было, и в том, и в другом случае едва ли можно обнаружить кровное родство матери Ярослава с Мономашичами. Аналогичным образом дело обстоит и с бабкой Ярослава Святополчича по линии отца, — будь то Гертруда или неизвестная по имени наложница Изяслава Ярославича, она не могла состоять в столь близком кровном родстве с Мономашичами, чтобы это послужило препятствием для женитьбы ее внука.

[1] Подробнее об этом см. ниже: с. 71–72 наст. издания.

особую роль играла ориентация на близкие семейные образцы. Необычный прецедент, возникший в силу специфических обстоятельств, в дальнейшем мог если не тиражироваться многократно, то, во всяком случае, служить оправданием для аналогичных действий, предпринимаемых уже в новых обстоятельствах, людьми, принадлежащими к следующим поколениям той же семьи.

Святослав Вщижский и Андреевна. — В этом отношении для исследователей очень ценна история брака не самого заметного из русских князей домонгольской поры, Святослава Владимировича Вщижского, внука Давыда Святославича и правнука Святослава Ярославича. В Ипатьевской и Лаврентьевской летописях надежно зафиксирован брак этого князя с дочерью Андрея Боголюбского:

> …тогда же Андрѣевну приведоша за С҃тослава . за Володимира <Х. воло*ди*мирича, П. воло*ди*мерича> въ Вьщижь [ПСРЛ, II: 509].

Владимир Давыдович, отец Святослава, состоял в браке с некой княжной, которая в летописи именуется *Всеволодковной*. Этот матримониальный союз был заключен, согласно летописям, в 1144/1445 г. ([ПСРЛ, II: 317]; ср. также: [ПСРЛ, I: 350]). В 1151 г. Владимир погибает [ПСРЛ, I: 334; II: 438], именно его вдова обозначается в источниках как мать Святослава, а поведение их сына в конце 50-х гг. XII в., постоянно действовавшего заодно со своим дядей Изяславом (причем именно последний выбирает и сватает за него невесту), как нельзя лучше соответствует династическому облику осиротевшего юного князя 13–15 лет отроду. Таким образом, матерью вщижского князя могла быть исключительно интересующая нас Всеволодковна[1].

[1] Все эти оговорки необходимы потому, что, судя по предполагаемому возрасту Владимира Давыдовича, брак с Всеволодковной в 1144/1445 г. мог быть для него не первым, хотя никаких данных о его предыдущих или последующих женитьбах в источниках не обнаруживается. Так или иначе, Святослав не мог быть рожден в предшествующем браке, так как в противном случае едва ли вдова Владимира могла именоваться матерью Святослава и уж тем более ее новый муж (подробнее о нем см. ниже) не мог бы называться отчимом молодого князя [ПСРЛ, II: 501]. С другой стороны, весьма маловероятно, чтобы между 1144/1445 и 1151 гг. Владимир успел бы овдоветь, жениться вновь и обзавестись сыном, который уже в 1157 г. был настолько взрослым, что охранял Чернигов и не пускал туда своего могущественного родича Святослава Ольговича [ПСРЛ, II: 490]. Таким образом, факт рождения Святослава от Всеволодковны можно считать не подлежащим сомнению.

В летописи специально подчеркивается, что эта Всеволодковна и ее сестра были внучками некоего Владимира:

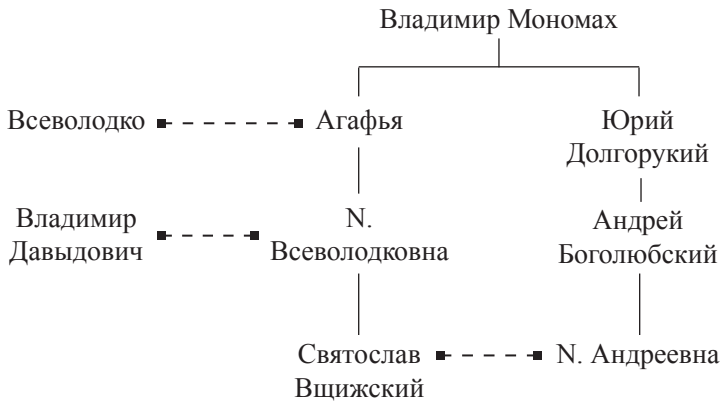
> …тои же зимѣ Всеволодъ ѿда двѣ Всеволодковнѣ . Володимери вноуцѣ . единоу за Володимира за Дв҃двича . а другоу за Ꙗрославича . за Дюрдѧ . ѡбѣ ѡдинои недѣлѣ [ПСРЛ, II: 317].

У исследователей не возникало сомнений, что в данном случае имеется в виду не кто иной, как Владимир Мономах, причем наиболее убедительным выглядит общепринятое построение, согласно которому он был дедом этих княжон по материнской линии. Иначе говоря, дочь Владимира Мономаха Агафья, которую в 1117 г., согласно летописи, выдали замуж за Всеволодка [ПСРЛ, II: 284], была матерью обеих Всеволодковен[1]. Коль скоро супруга Владимира Давыдовича

[1] В свое время В. Н. Татищев предположил, что отцом двух этих княжон был новгородский и псковский князь Всеволод-Гавриил, сын Мстислава Великого [Татищев, II: 278], а к Агафье Владимировне они не имеют, таким образом, прямого отношения. Эта гипотеза помогает избежать ряд трудностей, связанный с последующими близкородственными браками ближайших потомков наших княжон (см. о них ниже), однако сама по себе она создает еще целый ряд терминологических и генеалогических проблем и противоречий, на наш взгляд, куда более неразрешимых. Упомянем сначала наименее существенные из них. 1) Обе невесты Всеволодковны оказываются не внучками, а правнучками Владимира Мономаха, однако такое терминологическое смещение (напомним, в летописи они названы *внуцѣ*), строго говоря, является допустимым для летописного узуса; 2) именование Всеволода-Гавриила Мстиславича *Всеволодком* является необычным для летописной традиции, в то время как муж Агафьи назван в сообщении об их браке именно так. Куда более значимы, однако, неувязки генеалогического характера. Всеволод Мстиславич был женат на дочери Святослава Давыдовича Черниговского, который именуется в летописи его *тестем* [ПСРЛ, III: 19, 203]. Если бы наши княжны Всеволодковны были дочерьми Всеволода Мстиславича от этого союза, это означало бы, что Владимир Давыдович взял в жены свою внучатую племянницу, т. е. родственницу в 4-й степени, что для XII в. на Руси было бы беспрецедентным нарушением канона. Упоминание о женитьбе Всеволода-Гавриила в летописи находится под 1123 г. [ПСРЛ, III: 21, 205]. Можно допустить, вслед за В. Н. Татищевым, что это был второй брак князя. Однако, не говоря уже о спорности подобной реконструкции, даже и в этом случае оказывается, что Владимира Давыдовича связывала бы с его супругой Всеволодковной 4-я степень свойства́,

приходилась внучкой Мономаху, то их сын, наш Святослав Владимирович Вщижский, закономерным образом оказывается родным правнуком этого князя.

Однако правнучкой Мономаха, вне всякого сомнения, была и уже известная нам жена Святослава Вщижского, дочь Андрея Боголюбского, поскольку Андрей, сын Юрия Долгорукого, по отцовской линии был Мономаховым внуком. Таким образом, мы с большой степенью вероятности имеем дело с браком, заключенным между лицами, состоящими в 6-й степени родства (между троюродными братом и сестрой)[1].



Как такое могло случиться? Казус этот ценен для нас по двум причинам: во-первых, в источниках не только ясно зафиксирован данный брак, но достаточно подробно изложены предшествующие ему события. Более того, события эти имеют отчетливо военно-политический характер, а связь между ними и устройством матримониального союза непосредственно проводится в самом тексте летописи. Это второе

что также является крайне раритетным для Рюриковичей нарушением канона. Таким образом, отцовство Всеволода Мстиславича следует, не сбрасывая со счетов полностью, признать крайне маловероятным.

[1] Разумеется, в 6-й степени родства состояли не только троюродные братья и сестры, но и, например, двоюродная внучатая племянница с кузеном своего деда. Однако, если дело касается брачных отношений, то наиболее частотна именно возможность союза между троюродным братом и сестрой. Именно такие браки и наблюдаются у Рюриковичей в качестве отступления от церковных предписаний.

обстоятельство весьма немаловажно, поскольку зачастую исследователи склонны априори принимать княжеский брак исключительно как средство создания или скрепления военного союза и сталкиваются поэтому с необходимостью подбирать политические сюжеты под матримониальные факты, или, наоборот, реконструировать тот или иной брак, основываясь на известиях о совместно предпринятых князьями военных действиях.

На наш взгляд, ближайшие военные задачи отнюдь не всегда являются целью и первопричиной внутридинастического брака (ср.: [Литвина & Успенский 2011: 163–167]), однако в данном случае дело обстоит именно таким образом, причем речь идет не об отдаленных стратегических замыслах, а о немедленном разрешении уже существующей и нарастающей угрозы. Святослав Владимирович, будучи ближайшим и безусловным союзником своего дяди Изяслава Давыдовича (который накануне описываемых событий потерял киевский стол и не преуспел в попытке получить стол черниговский), оказывается осажден в своем городе Вщиже целой коалицией русских князей — Ольговичами, соединившимися с Мономашичами. Изяслав спешит на помощь своему племяннику, в городе которого он лишь недавно сам находил пристанище, однако, чувствуя недостаток своих сил, посылает к князю Андрею Боголюбскому сватов, одновременно испрашивая у того как военной помощи для себя и племянника, так и дочь в жены последнему[1].

Андрей Боголюбский помощь посылает немедленно, отрядив к Святославу своего сына Изяслава «съ всимъ полком своимъ», дочь же отправляет во Вщиж позже, когда осада была снята. Характерно, что в летописи Андрей упреждающим образом именуется *тестем* Святослава буквально с того момента, как сговор был совершен и военная помощь выслана — Святослав приобретает как бы симметричную поддержку непрямого кровного родича (дяди) и ближайшего старшего свойственника (тестя)[2]. Поддержка эта настолько сильна, что не по-

[1] «Тои же зимы . ѿтудѣ иде на Смоленьскую волость . Изѧславъ и повоевавъ . и тамо много зла створиша . Половци . взѧша дш҃ь боле тмы а иныꙗ исѣкоша ·∴· Изѧславъ же ѿтолѣ . посла къ Дюргевичю къ Андрѣевичю испроси оу него дщерь . за сн҃овца своего за Ст҃ослава . и испроси оу него помочь» ([ПСРЛ, II: 508]; ср.: [ПСРЛ, I: 350]).

[2] «…и посла <Андрей Боголюбский. — *А. Л. Ф. У.*> к нему сн҃а своего Изѧслава . съ всимъ полкоѩ своимъ . и Муромьскаꙗ помочь . с нимъ зане пришли бѧху Рускии кн҃зи на Ст҃ослава на Володимирича . и ѡступили бѧху въ Вщижи бы҃ашеть

требовалось даже и битвы: два Изяслава, Давыдович и Андреевич, не успели дойти до Вщижа, когда княжеская коалиция сняла осаду и отступила, как будто бы примирившись со Святославом.

Итак, представляется совершенно очевидным, зачем этот союз понадобился молодому Святославу Вщижскому: он избавлял его от немедленной и вполне осязаемой военной опасности. Необходимость такого рода могла заставить его преступить канонические ограничения и решиться на брак с троюродной сестрой. Но что же, в таком случае, двигало Андреем Боголюбским, что заставляло его — вроде бы без особой на то необходимости — решиться на близкородственный союз?

Вопрос этот, учитывая особое внимание Андрея к церковным делам, не имеет однозначного ответа. Если говорить о его ближайшей политической тактике, то, как видно из дальнейшего, она не была связана непосредственно с самим Святославом. В сиюминутной перспективе будущего тестя интересовал по преимуществу старший родич вщижского князя, с которым и велись переговоры о свадьбе, — претендовавший на Киев Изяслав Давыдович. Во всяком случае, именно с ним Андрей устраивает встречу на Волоке, одной из целей которой была договоренность о новгородском княжении. Свадьба, скорее, повод для этих переговоров, по крайней мере, устроив «снем» с Изяславом, Андрей вовсе не торопится вторично прийти на помощь к тому, кто стал его зятем. Княжеская коалиция, придя под Вщиж вторично, полностью преуспевает в своих замыслах и мирится со Святославом Владимировичем на том, что тот целует крест к своему двоюродному дяде Святославу Ольговичу и отныне берет его «въ ѿца мѣсто» ([ПСРЛ, II: 509]; ср. также: [ПСРЛ, I: 350])[1].

же с ними из города . ѡжидаѩ Изѧслава стрыѩ своего с помочью . и ѿтъцте своего ѿ Андрѣѩ» [ПСРЛ, II: 508–509].

[1] В историографии можно встретить точку зрения, согласно которой была всего одна осада Вщижа, а двукратный рассказ о ней в Ипатьевской летописи связан с тем, что описание этого события было позаимствовано сводчиком из двух разных источников [Бережков 1963: 332–333, прим. 96–97]. Предполагается, таким образом, что составитель Ипатьевского свода не опознал в двух этих эпизодах изображение одного и того же военного предприятия, однако такое допущение требует довольно сложных реконструктивных усилий и заметных перестановок при определении хронологической последовательности всех сопутствующих событий, и усилия эти, на наш взгляд, излишни. Мы полагаем, что в Ипатьевской летописи имеются два описания похода на Вщиж именно потому, что осада Вщижа предпринималась дважды, при несколько различных обстоятельствах и, что самое

Характерно, что Изяслав Давыдович и прежде состоял в свойстве с домом Юрия Долгорукого, так как в 1155/1156 г. он выдал свою дочь за сына Юрия (и, соответственно, брата Андрея Боголюбского) — Глеба, и в истории этого брака мы имеем дело с настолько причудливым соотношением матримониальных и политических связей, что говорить о простой зависимости одного от другого, по-видимому, не приходится[1]. Так или иначе, едва ли можно утверждать, что Андрей и Глеб в ту пору, когда осаждался Вщиж, действовали во всем заодно, достаточно отдаленное же свойствó Изяслава и Андрея могло служить лишь поводом для поиска союзнических отношений. Для дальнейших переговоров и взаимодействия потребовалось своего рода обновление и значительное усиление этого свойствá.

С другой стороны, в перспективе более длительной, для Андрея Боголюбского решающее значение могло иметь место его будущего

существенное, с различными результатами: в первом случае весть о приближающихся войсках Боголюбского заставила коалицию заключить вынужденный мир и отступить, однако, дождавшись ухода Андреевой помощи, князья вновь взялись за осаду города и, в конце концов, заставили Святослава Владимировича принять их условия. Подчеркнем, тем не менее, что ни та, ни другая трактовка событий под Вщижем не влияет принципиально на интерпретацию военно-политических причин и обстоятельств брака Святослава и дочери Андрея.

[1] В самом деле, Глеб Юрьевич помогал Изяславу Давыдовичу еще в ту пору, когда интересы Изяслава и Глебова отца, Юрия, были диаметрально противоположны. Именно из рук Изяслава Глеб, еще не будучи связан с ним узами свойствá, получил княжеский стол в Переяславле [ПСРЛ, II: 476]. Лишь позднее, сидя в Киеве и стремясь примириться с Изяславом Давыдовичем, Юрий Долгорукий женит сравнительно недавно овдовевшего Глеба на дочери последнего [ПСРЛ, II: 482]. Какие бы политические цели ни преследовались в устройстве этой свадьбы, она как будто не дает ощутимых результатов ни в ближней, ни в дальней перспективе: по свидетельству летописи, Изяслав очень скоро стал замышлять военный поход против своего свата Юрия [ПСРЛ, II: 488–489], и лишь смерть Долгорукого нарушила эти планы. Более того, парадоксальным образом брак этот как будто бы навсегда перекрывает канал для военно-политического сотрудничества между тестем и зятем, Изяславом и Глебом, оставляя, впрочем, место для собственно семейной поддержки. Так, Глеб не отказывает в приюте своей теще, жене Изяслава Давыдовича: «кнѧгини же бѣжа к зѧти Глѣбови Переѩславлю . и ѿтудѣ ѣха на Городокъ . та на на Глѣбль . та на Хороборъ . та на Ропескъ» [ПСРЛ, II: 502], однако он больше никоим образом не помогает своему тестю во всех перипетиях его борьбы за Киев с потомками Мстислава Великого, не присоединяясь при этом и к его противникам. В определенный момент Изяслав почти насильно требует от него содействия в военном походе, специально для этого подступив к Переяславлю, но и тогда Глеб отказывает ему [ПСРЛ, II: 514].

зятя в родовой системе. В самом деле, наше восприятие Святослава Вщижского во многом детерминировано тем, что он умер рано [ПСРЛ, II: 525, под 6675 г.], в сущности, мало успев самостоятельно проявить себя на политической сцене. Между тем, на рубеже 50–60-х гг. XII в. его будущность могла представляться в совершенно ином свете. Он был не только единственным племянником князя, несколько раз занимавшего киевский стол, но и вообще единственным наследником всей ветви князей Давыдовичей, потомков Давыда Святославича, которые были старше Ольговичей по изначальному родовому счету[1]. Таким образом, в будущем в нем можно было видеть одного из серьезных претендентов как на династическое старшинство, так и на киевский стол. Не исключено, что, помимо ближайшей военной тактики, Андрей Боголюбский имел в виду и дальнюю стратегию родства с этим последним представителем дома Давыдова[2].

[1] В летописи недвусмысленно зафиксировано, что Олег Святославич был младшим братом Давыда Святославича.

[2] Возможно, что несколько позже, когда расстановка сил изменилась (не в пользу линии Давыда), Андрей Боголюбский счел нужным породниться и с линией Ольговичей, хотя бесспорными данными на сей счет мы не располагаем. Во всяком случае, в Ипатьевской летописи под 6675 г. обнаруживается следующее сообщение: «Том же лѣ҃ оумре Андрѣевна . за Ѡлгомъ за С҃ославичеѩ» [ПСРЛ, II: 527]. В работах по генеалогии Рюриковичей этот брак иногда игнорируется вовсе [Baumgarten 1927], а порою упоминается очень коротко, с различной персональной атрибуцией его участников и, как правило, без какой-либо аргументации в пользу той или иной версии их идентификации. Очевидно, что упомянутый здесь Олег Святославич — это сын Святослава Всеволодича и внук Всеволода Ольговича, хотя иногда муж этой Андреевны ошибочно отождествляется с другим Олегом Святославичем, сыном Святослава Ольговича и внуком Олега Святославича [Донской 2008: 501, № 314, 516, № 342]. Однако этот последний Олег был в ту же пору женат на Агафье Ростиславне [ПСРЛ, II: 524–525, 528] и, таким образом, быть мужем Андреевны не мог. Кем же была скончавшаяся Андреевна? Список кандидатов на роль ее отца достаточно ограничен: она могла быть или дочерью Андрея Боголюбского, или дочерью его дяди, Андрея Владимировича Доброго, причем первое куда более вероятно, чем второе. В самом деле, ее муж, Олег Святославич, сын Святослава Всеволодича, появился на свет не ранее 1144 г. (его отец женился в 1143 г. [ПСРЛ, I: 310; II: 313], а скорее даже несколько позже, если Владимир Святославич, как традиционно полагают исследователи, был его старшим братом). Иными словами, он не слишком сильно отличался по возрасту от своего родича, Святослава Вщижского. Соответственно, одна из дочерей Боголюбского подходила Олегу и по годам, и по счету поколений, и по соображениям родства и свойства́ — они были родственниками лишь в 7-й степени, что не противоречило княжеским брачным обычаям, да и свойство́ между ними было в ту пору достаточно отдаленным. Если же предположить, что женою Олега Святославича была дочь Андрея Доброго, то это потребует от нас слишком многих допущений. Во-первых, это был бы еще один брак между родственниками в 6-й степени; во-вторых, чтобы не быть намного старше своего предполагаемого мужа, она должна была бы появиться на свет непосредственно в год смерти своего отца или даже после его кончины в 1142 г. Помимо всего прочего, дочь Андрея Доброго по общеродовому счету оказалась бы на поколение старше своего предполагаемого жениха. Таким образом, тестем Олега Святославича, сына Святослава Всеволодича, был, скорее всего, именно Андрей Боголюбский.

Судя по всему, отправляясь на киевский стол после смерти Юрия Долгорукого, Изяслав Давыдович собирался закрепить за племянником черниговское княжение: он оставил Святослава в этом городе, где прежде — к неудовольствию Ольговичей — княжил его отец, Владимир Давыдович. Разумеется, в отличие от своего отца, Святослав не имел преимущества в родовом счете по отношению к своему двоюродному дяде Святославу Ольговичу, и потому после переговоров он вынужден до поры оставить Чернигов, но династическая заявка на старшинство в своем собственном поколении была, таким образом, уже сделана [ПСРЛ, II: 490]. В пользу высокого потенциала Святослава Вщижского в родовой иерархии свидетельствует, на наш взгляд, и последующее настойчивое стремление представительной княжеской коалиции не вытеснить его из Вщижа, но непременно и прежде всего добиться от него признания зависимости от Святослава Ольговича. Называя *отцом* не родного дядю (Изяслава), а двоюродного (Святослава), вщижский князь предстает уже не как единственный наследник Давыдовичей, а лишь как один из весьма многочисленных представителей младшей линии Ольговичей. Он как бы наперед отрекается тем самым от старшинства среди потомков основателя черниговской ветви Рюриковичей, Святослава, сына Ярослава Мудрого.

Несколько упрощая дело, можно сказать, что важнейшая цель женитьбы Святослава заключалась в том, чтобы избежать такого рода понижения династического статуса. При этом следует принять во внимание, что Боголюбский к 1159/1160 г. отнюдь не имел еще тех возможностей манипулировать чужими княжескими столами и позициями в родовой иерархии, каковые он демонстрирует десятилетие спустя, и, соответственно, в большей мере нуждался в свойственниках, легитимно претендовавших на верховную власть. Как мы помним, все

эти надежды не оправдались, и Святослав не только не успел заявить претензий на киевский или даже черниговский стол, но скончался, по-видимому, не оставив мужского потомства. Характерно, однако, что в известии об этом событии летописец находит нужным упомянуть, что князь был внуком Давыда[1], подчеркивая то обстоятельство, что более прямых наследников в этой линии не оставалось, и племя Давыдовичей, игравшее столь значительную роль в первой половине столетия, окончательно сошло со сцены.

Итак, постепенно перед нами вырисовываются тактические и стратегические причины этого матримониального союза между родственниками в 6-й степени и, соответственно, яснее становится династический облик князя, который мог заключить столь уязвимый, с канонической точки зрения, брак. Как кажется, в этом династическом облике, помимо черт уникальных или сиюминутных, можно найти и черты, так сказать, типические, позволяющие понять, как и почему в домонгольской Руси заключались и другие княжеские браки подобного рода.

Оговоримся, впрочем, сразу же, что ни одна из таких типических черт не является обязательной и не обладает безусловной объяснительной силой. Тем не менее, на наш взгляд, представляется немаловажным, например, что наш Святослав Вщижский рано осиротел и при этом оказался главным наследником своего отца (он был, напомним, еще и единственным наследником целой родовой ветви, но это обстоятельство скорее принадлежит к числу уникальных параметров именно данной матримониальной ситуации).

Существенно также и не совсем обычное положение матери Святослава, которая отнюдь не является пассивным наблюдателем в судьбе своего сына, однако едва ли имеет возможность принимать непосредственное участие в обустройстве его свадьбы, поскольку она не только не осталась жить при нем (как это нередко случалось с овдовевшими княгинями), но, вопреки обычной практике, вышла замуж вторично, причем брак этот решительным образом выводил ее из привычного церковно-семейного обихода Рюриковичей: вторым мужем княгини, как уже говорилось, стал половецкий князь Башкорд[2]. Не

[1] Этим сообщением открывается летописная статья в Ипатьевском списке под 6675 г.: «Оумре С҃ославъ Володимиричь . въ Вщижи внукъ Двдв҃въ» [ПСРЛ, II: 525].

[2] «приде же Изѧславу болши помочь к Бѣлугороду приде бо к нему Башкордъ въ к҃ . тысѧчь ѿчи^ꙗ^ Мьславль <sic! Переправлено въ *мьстиславль*: *сти* приписано

будь этого обстоятельства и при более мирном течении дел, Всеволодковна, внучка Владимира Мономаха, которая как никто другая могла быть осведомлена о своем родстве с Андреем Боголюбским и его потомками, принимала бы куда более непосредственное участие в свадебном сговоре своего сына. Роль посредника в сватовстве с большой вероятностью играл бы и кто-то из ее кровных родственников-муж-

надъ строкой>. Володимирича . бѣ бо мт҃и его бѣжала в Половци . и шла за нь» [ПСРЛ, II: 500–501]. Правильное написание имени князя («вотчим Святославль Володимиричя») см. в: [ПСРЛ, XXV: 65]. Как мы помним, русский князь домонгольского времени не мог жениться на вдове другого русского князя, и потому овдовевшая княгиня, побывавшая замужем за кем-либо из Рюриковичей, вынуждена была оставаться вдовою или выходить замуж за пределами Руси, за представителей иных знатных родов (см. выше ч. I, гл. 1, с. 13–21 наст. издания; ср. также: [Литвина & Успенский 2010: 48–55]). Чаще такое случалось с иностранками, однако вдова Владимира Давыдовича, как мы постарались продемонстрировать выше, была урожденной Рюриковной, и именно в этом отношении ее случай является уникальным подтверждением общего матримониального правила. Прежде всего, весьма характерно, что указание на брак в летописи строится с помощью глагола «бѣжала» — по-видимому, на Руси попросту не существовало никакого механизма выдачи вдовы Рюриковича замуж, и единственным способом осуществления этой процедуры был уход, бегство. С другой стороны, для нас не менее любопытно, что княгиня и ее новый муж явно сохранили самые тесные контакты с остававшимся на Руси сыном Всеволодковны от первого брака — Башкорд именуется *отчимом* Святослава, что, вообще говоря, является своеобразным гапаксом, так как это единственный случай употребления данного термина свойства́ применительно к князю домонгольской поры в древнейших русских летописях. Что еще более удивительно, весьма тесные союзнические отношения связывают половецкого князя с бывшим деверем его новой жены, дядей Святослава Владимировича Изяславом. Дядя и племянник действуют заодно, но главенствующая роль, разумеется, принадлежит Изяславу, и как видно из приведенного свидетельства, именно ему приводит на помощь свои войска князь Башкорд. Изяславу Давыдовичу в этом случае (как и много раз прежде) помогала и другая, независимая, группа половцев [ПСРЛ, II: 500]; вообще говоря, нам представляется весьма вероятным, что он был женат на половчанке, однако это тема отдельного разыскания. Так или иначе, неправдоподобным в этом свете выглядит допущение Д. Домбровского, согласно которому интересующая нас Всеволодковна могла бежать к половцам и от живого мужа, князя Владимира Давыдовича [Dąbrowski 2010: 362–363]. Невозможно вообразить, чтобы после такого скандального бегства Башкорд и Изяслав, брат оставленного супруга, поддерживали столь близкие дружественные связи. Кроме того, в данном допущении нет решительно никакой нужды и с точки зрения хронологии: Владимир Давыдович, как мы знаем, погибает в 1151 г., тогда как упоминание о браке его вдовы с Башкордом отстоит от этого события приблизительно на 7 лет.

чин[1], но как в силу ее необычного повторного брака, так и благодаря молниеносно развертывавшейся картине военных действий, эта сторона блюстителей генеалогической традиции оказывается как бы выведенной из игры и, следовательно, не может нести ответственности за несоблюдение брачных правил.

Разумеется, главными, кто должен был следить за соблюдением канонов, были не сами князья, но венчавшие их духовные лица. Однако и здесь Святослав Вщижский волею судеб попадает в некоторый вакуум. Сватовство затеял, как мы помним, его дядя Изяслав Давыдович, прежде не только обладавший черниговским столом, но и успевший посидеть на столе киевском. В более благополучные времена каноническая регуляция такого брака должна была исходить от высших духовных иерархов, будь то киевский митрополит или черниговский епископ. Однако возможность участия кого-либо из них заметно осложнялась не только военными действиями и осадой Вщижа (не говоря уже о крайне неопределенных на тот момент властных привилегиях Изяслава), но и тем, что Русь в тот момент переживала финальный этап церковной смуты.

Только что скончался в Чернигове неугодный могущественному Мстиславу Изяславичу митрополит Константин, жив и здравствует некогда смещенный со своей кафедры митрополит Клим Смолятич, а из Константинополя еще не успел прибыть на Русь новый митрополит Феодор, поставленный благодаря компромиссу между князьями, достигнутому еще при живом Константине[2]. Черниговский же епископ Антоний, грек по происхождению, который впоследствии играл весьма деятельную роль во внутриклановой борьбе Ольговичей

[1] На примере других, более подробных описаний сватовства и брака, можно убедиться, что в этой многоступенчатой процедуре задействовалась едва ли не целая система семейных связей, в которую вовлекались кровные родственники и свойственники с обеих сторон. Так, в свое время сватом со стороны князя Рюрика Ростиславича, задумавшего женить своего сына Ростислава на дочери Всеволода Большое Гнездо, выступает шурин Рюрика, т. е. брат его жены, туровский князь Глеб Юрьевич [ПСРЛ, II: 658]. Свадебный же поезд Верхуславы Всеволодовны возглавляют сын не названной по имени сестры Всеволода, Яков, со своей женой [Там же]. Изяслав Мстиславич, взявший жену «изъ Ѡбезъ», отправляет встречать будущую мачеху своего старшего сына Мстислава [ПСРЛ, I: 341; II: 468].

[2] О княжеском решении просить Константинополь о присылке нового митрополита см.: [ПСРЛ, II: 503–504], о кончине Константина — [ПСРЛ, I: 349], а о прибытии митрополита Феодора — [ПСРЛ, II: 514–515].

([ПСРЛ, II: 522–523]; подробнее об этом эпизоде см. ниже ч. I, гл. 6, с. 127 наст. издания), едва ли мог принять участие в свадьбе Изяславова племянника после только что предпринятой Изяславом неудачной осады Чернигова.

Скорее всего, таким образом, венчать Святослава пришлось местному вщижскому духовенству, или, что тоже вполне вероятно, он венчался «съ своими попы», как некогда поступил его родич, тезка и теперешний недруг Святослав Ольгович. Как мы знаем из описания женитьбы этого старшего из Святославов, такого рода священники могли согласиться на то, чего не желал терпеть и признавать епископ[1].

Во всей этой ситуации в целом важна, как кажется, специфическая расстановка акцентов. Мы не хотели бы утверждать, например, что мать Святослава Владимировича ничего не знала о браке своего сына или что духовенство, находившееся во Вщиже, вовсе не было осведомлено о запрете на союз между троюродными братом и сестрой. Мы лишь стремимся продемонстрировать, что вся совокупность семейных, церковных и политических обстоятельств этого брака сложилась так, что стимулы для данного союза были очень велики, а барьеры — весьма ослаблены.

Иначе говоря, более чем наглядные и конкретные военно-политические выгоды интересующего нас брака дают нам возможность прояснить как некоторые специфические черты династического облика князя, вступающего в брак, весьма сомнительный с точки зрения канонов, так и параметры более общей ситуации. Династический потенциал жениха весьма высок, при этом его положение отчасти дефектно, с точки зрения нормального осуществления родовой традиции: отца его нет в живых, а мать (в известном смысле) выведена из родового контекста, самый же брак заключается на пике общединастического раздора и на фоне вопиющих сбоев ритма церковно-канонической жизни Руси.

[1] Мы можем лишь гадать о том, каковы были причины отказа новгородского архиепископа Нифонта венчать князя Святослава, но зато располагаем точными сведениями и о самом отказе, и о том, каким образом князь пренебрег этим запретом: «В то же лѣто оженися Святославъ Олговиць в Новѣгородѣ, и вѣнцася съ своими попы у святого Николы; а владыка Нифонтъ его не вѣнца, ни попомъ, ни чернцмъ не да на свадбу ити, глаголя: “не достоить ти ея пояти”» [ПСРЛ, III: 209].

Роман Галицкий и Предслава Рюриковна. — С точки зрения истории брачных отношений, сравнительно близким подобием Святослава Вщижского является куда более знаменитая персона — князь Роман Мстиславич Галицкий, который примерно двумя десятилетиями позже также заключил брак со своей троюродной сестрой, Предславой, дочерью Рюрика Ростиславича. В случае с Романом нет ни малейших сомнений в том, что этот матримониальный союз нарушает канонический запрет на браки с родственниками в 6-й степени[1], поскольку в родстве состояли отцы брачующихся и их деды по мужской линии, причем патрилинейная генеалогия этих потомков Мстислава Великого не содержит никаких лакун или слабых звеньев:

Отец Романа Галицкого, Мстислав Изяславич, недаром носил имя своего прославленного деда, Мстислава Великого: в своем поколении он, бесспорно, был самым ярким из его прямых потомков. Уже во времена киевского княжения своего отца Мстислав был деятельным и весьма успешным его помощником, а позднее именно благодаря Мстиславу киевский стол удалось заполучить Ростиславу Мстиславичу, его дяде. Впоследствии киевским князем станет и сам Мстислав Изяславич, хотя на этом поприще успех сопутствовал ему в меньшей мере, чем прежде, когда он добывал столы для других. Умереть ему пришлось во Владимире-Волынском, договорившись с братом Ярославом Луцким, чтобы тому «не подозрѣти волости подъ дѣтми его» [ПСРЛ, II: 559][1].

[1] Неканоничность этого брака отмечается в исследованиях по истории права, по крайней мере, с середины XIX в. Ср., напр.: [Неволин 1857: 192, прим. 658].

Для интересующей нас матримониальной ситуации существенно, что эти дети, потомки Мстислава Изяславича, по родовому счету имеют преимущество перед потомками сыновей Ростислава, будь то сыновья Романа, Давыда, Мстислава Ростиславичей или Рюрика Ростиславича[2], потому что их дед, Изяслав, был старшим братом Ростислава Смоленского. Как мы попытались показать выше, эти родовые преимущества были существенно усилены самой личностью Мстислава Изяславича, в свое время сотрудничавшего и спорившего на равных со своим дядей Ростиславом.

Однако Роман Мстиславич, в отличие от Святослава Вщижского, не был единственным сыном своего отца. Какое же место Роман занимал среди братьев? Вопрос о старшинстве сыновей Мстислава Изяславича вызывает немало споров. Очевидно, что умерший в Берестье, вскоре после кончины своего отца, Владимир (?) Мстиславич был младше Романа [ПСРЛ, II: 562], практически не вызывает сомнений, что младше был и Всеволод Белзский [ПСРЛ, II: 682–683]. Весьма проблематичным остается порядок появления на свет Романа и Святослава. Кроме того, высказывались предположения, что первенцем Мстислава мог быть еще один, неизвестный нам по имени княжич. Вызывала сомнение и законность происхождения Святослава Мстиславича (эта проблема приобретает особую значимость, если исходить из того, что он старше Романа). Для нас, однако, существенно не первородство в семье Мстислава Изяславича, а выяснение того обстоятельства, каков был родовой статус Романа к моменту его женитьбы на троюродной сестре, Предславе Рюриковне[3].

[1] В Лаврентьевской и Новгородской первой летописях сообщение о смерти Мстислава Изяславича помещается под 1170 г. [ПСРЛ, I: 362; III: 33, 222].

[2] Потомство Святослава Ростиславича в источниках не упоминается. Остается предположить, что наследников мужского пола у этого князя не было.

[3] Едва ли не основным источником о семейной истории братьев Мстиславичей в этот временной отрезок является, как известно, фрагмент «Польской хроник» Винцентия Кадлубека. Однако из-за отсутствия в нем дат и крайней скудости имен текст этот весьма труден для интерпретации и верификации. Согласно Кадлубеку, Казимир II (брат Агнешки, матери Романа) нападает на город Берестье, «решив вернуть его первородному сыну своей сестры, неоправданно изгнанному братьями из-за того, что мать, по причине скрытой ненависти, наклеветала, будто

Дело, однако, осложняется еще и тем, что время заключения этого брака Романа и Предславы в летописях не указывается. Основанием для его датировки служит, с одной стороны, время замужества его дочери Феодоры (1188 г.), с другой — предполагаемый брачный возраст Предславы и время возвращения Романа из Польши. В частности, Н. Баумгартен [1909: 6] полагал, что этот союз мог быть заключен между 1183 и 1185 гг., а Д. Домбровский [2002: 29–30] — между 1178 / 1179 и 1185 г., считая, впрочем, наиболее вероятной датой 1182 г. Нам же, по соображениям, которые мы подробнее изложим ниже, 1182–1183 гг. представляется самым ранним и при этом самым

он [ей] не сын, а был подложен, когда не было надежды на потомство. Это обстоятельство, хотя и не предрешавшее вопроса, как то было на самом деле, в глазах многих показалось порочащим его имя». На помощь осажденному Берестью приходит «белзский князь Всеволод с князьями владимирскими, с галицкими боярами». Однако Казимир, которому удалось добиться «и города, и победы», ставит в Берестье того князя, которого собирался поставить изначально. «Но спустя совсем немного времени поставленный князь умирает от яда, поднесенного ему своими же. Область умершего Казимир предоставляет владимирскому князю Роману, рассчитывая на ответную уступчивость» [Назаренко 2010: 311–313]. Обзор различных трактовок данного свидетельства см. в работах: [Щавелева 1990: 127–129, прим. 2–3; Dąbrowski 2008: 248–253]. Если не разделять сомнений М. Грушевского в общей достоверности этого известия Кадлубека [Грушевський, II: 574–577], то одним из главных предметов обсуждения остается идентификация не названного по имени первородного сына Агнешки. Неопределенность касается сразу двух пунктов: во-первых, был ли он и в самом деле рожден польской княжной, или же приведенная здесь загадочная история свидетельствует о том, что он был незаконным сыном Мстислава и появился на свет вне этого брака; во-вторых, возможно ли отождествить его с кем-либо из упомянутых в летописи сыновей Мстислава (в таком случае, наиболее вероятно кандидатурой оказывается Святослав Мстиславич) или от такого отождествления, за недостатком сколько-нибудь надежных данных, следует отказаться вовсе. Последний путь в свое время избрал О. Бальцер, полагавший, что нет никаких надежных оснований считать Святослава первенцем Агнешки [Balzer 2005: 321–322]. С другой стороны, ряд современных исследователей идентифицирует князя, посаженного в Берестье, как Святослава Мстиславича, и в то же время, буквально следуя источнику, считают его законнорожденным сыном Агнешки, признавая за ним, таким образом, полноправное старшинство среди братьев Мстиславичей (из последних работ, где сформулирована именно эта точка зрения, см. комментарии А. В. Назаренко [2010: 311–312, прим. 100–101, 106] и выводы Д. Домбровского [2008: 248–253]). Очевидно при этом, что, не ставя под сомнение показания источника о законном происхождении посаженного в Берестье князя, нет оснований сомневаться и в истинности слов Кадлубека о том, что смерть этого Мстиславича последовала незамедлительно за вокняжением на берестейском столе.

вероятным временным отрезком, на который мог приходиться брак Романа и Предславы.

Не позднее этого же (1182) года погибает тот, кого Винцентий Кадлубек называет первородным сыном матери Романа (многие исследователи, напомним, отождествляют его со Святославом Мстиславичем) ([Назаренко 2010: 311 и прим. 100]; см. также прим. 3 на с. 84 наст. издания). Таким образом, даже если мы принимаем все «максимально невыгодные» для династических прав Романа допущения, которые могут быть реконструированы на основании свидетельства Кадлубека[1], то оказывается, что к моменту брака с Предславой он практически наверняка обладал всеми преимуществами старшего из живущих сыновей Мстислава Изяславича. Иначе говоря, и в этом отношении положение Романа во многом напоминало положение Святослава Владимировича Вщижского.

Кроме того, здесь уместно вспомнить, что еще при жизни отца Роман Мстиславич не просто играл особую роль среди своих братьев, но и оказался в некотором смысле символической фигурой в конфликте Мстислава Изяславича с кузенами Ростиславичами и целой коалицией князей впридачу: именно Романа Мстислав послал княжить в Новгород, что и послужило своего рода последней каплей в разгоравшемся раздоре, приведшем к потере Мстиславом Киева.

С другой стороны, если судить по имянаречению, изначальный замысел Мстислава Изяславича относительно династических функций этого сына мог быть и прямо противоположным: он получает имя одного из своих старших двоюродных дядьев Романа Ростиславича (а его брат Святослав становится тезкой другого двоюродного дяди, Святослава Ростиславича). Такие шаги были, по-видимому, призваны скрепить союз двух ветвей потомков Мстислава Великого, хотя когда речь идет о наречении племянника именем дяди, не всегда легко определить, имеем ли мы дело со стремлением почтить или вытеснить старшего родича из семейной иерархии [Литвина & Успенский 2006: 71–110]. Характерно, однако, что имена двоюродных братьев были для Мстислава Изяславича, нетривиальным образом, гораздо актуальнее, чем имена братьев родных. По всей вероятности, эта актуальность

[1] Напомним, что под сомнение ставилось практически все — подлинность самого рассказа, его хронологическая приуроченность, связь с Берестьем, законное происхождение упоминающегося здесь княжеского первенца, его отождествление со Святославом Мстиславичем, и т. д.

была оценена и противоположной стороной — Рюрику Ростиславичу, будущему тестю Романа, без сомнения, были памятны и обстоятельства выбора имени для племянника, и новгородское княжение Романа, когда новгородцам неожиданно удалось отразить натиск целой княжеской коалиции.

Выдав за Романа свою дочь, Рюрик не просто объединял две, то тесно взаимодействующие, то противостоящие друг другу ветви семьи, но символически отождествлял отношения свойствá с отношениями прямого родства, именуя зятя *сыном* и перенимая, тем самым, права родового старшинства, которые принадлежали потомкам Изяслава в большей степени, чем потомкам Ростислава. Зять мог столь полно и буквально уподобляться сыну потому, что у него к тому моменту не было не только родного отца, но не осталось, по всей видимости, ни родных дядьев, ни родных старших братьев.

Таким образом, у старшего из родичей, Рюрика Ростиславича, был весьма существенный стимул для нарушения запрета на браки между родственниками в 6-й степени. Для самого Романа этот стимул, по-видимому, мог быть еще более весомым. Со времен смерти Мстислава Изяславича его юные сыновья надолго превратились в князей совершенно второстепенных, и одних только преимуществ рождения и поддержки польских родичей было явно недостаточно для того, чтобы поправить дело — коль скоро на Руси не осталось могущественных родственников, следовало искать опору в свойствé. Довольно длительное время Романа, судя по всему, вполне устраивала перспектива, согласно которой могущественный Рюрик трактовался как его отец, а Ростислав Рюрикович, который генеалогически приходился ему братом троюродным, попросту как брат.

Как и в случае со Святославом Вщижским, поколение родителей со стороны жениха едва ли могло воспрепятствовать такого рода несоблюдению брачного канона — не только потому, что отца Романа уже не было в живых, но и из-за того, что его мать, рано овдовевшая польская княжна, оставалась во многом чужой для семейно-церковного обихода Рюриковичей и едва ли могла бы настаивать на строгом исполнении их традиций и церковных правил там, где это непосредственно противоречило интересам ее сына[1].

[1] Если принимать буквально свидетельство Кадлубека, то, видимо, она желала обеспечить как можно больше привилегий именно Роману, объявляя другого своего отпрыска незаконным. Тем больше уверенности, что Агнешка не препятствовала заключению выгодного для Романа брака.

Что же касается стороны невесты, Предславы Рюриковны, то здесь существовало еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, которое, помимо всех указанных выше династических выгод, значительно облегчало ее родителям, Рюрику и Анне, возможность решиться на нарушение канонов. Дело в том, что сами они, судя по всему, приходились друг другу троюродным братом и сестрой (об этом союзе см. ниже). Таким образом, в браке своей дочери Рюрик и Анна в известном смысле воспроизводили ситуацию своего собственного брака, некогда уже получившего санкцию старших родичей и Церкви.

Вполне вероятно, что этот прецедент обладал определенной аргументативной силой и для духовников княжеской семьи, которые играли весьма важную роль в ее церковной жизни. Какова же, однако, могла быть позиция в этом деле высших церковных иерархов? Предположительная датировка венчания Романа и Предславы весьма недалеко отстоит от времени первого упоминания в летописи митрополита Никифора II (1183 г.) [ПСРЛ, II: 627–628][1]. Как это нередко бывает, мы не знаем, сколь долго Никифор уже пробыл на Руси к тому моменту, когда его имя появляется в этой погодной статье в связи с поставлением нового игумена Печерского монастыря, однако нам представляется весьма вероятным, что именно при нем был заключен брак Романа с дочерью Рюрика.

В самом деле, с достаточной долей уверенности можно утверждать, что именно в его время была обвенчана в Киеве родная сестра Предславы, которая также вышла за своего троюродного брата, князя Глеба Святославича[2] (об этом союзе мы скажем ниже). С другой стороны, именно к Никифору гораздо позднее Роман, поссорившись с тестем, обращается за посредничеством в примирении [ПСРЛ, II: 687–688]. Естественно предположить, что никогда не княживший в Киеве сын Мстислава Изяславича именно потому и прибегнул к помощи киевского митрополита в конфликте с отцом своей жены, что тот в свое время как-то участвовал в деле устройства их брака, если не непосредственно венчал эту чету.

[1] Под 6690 г. Относительно датировки 1183 г. см.: [Бережков 1963: 195].

[2] Обратим внимание, что сообщение о браке двух сыновей Святослава Всеволодича, Глеба и Мстислава, открывает ту погодную статью в Ипатьевской летописи, где мы обнаруживаем первое упоминание митрополита Никифора II.

Кроме того, известно наверняка, что Никифору случалось проявлять определенную толерантность к некоторым отклонениям от брачного канона. Так, именно при нем был заключен союз между Ростиславом Рюриковичем и восьмилетней дочерью Всеволода Большое Гнездо [ПСРЛ, I: 407; II: 658]. В летописи отмечается и эпизод, когда этому митрополиту на ранних этапах своей деятельности пришлось отступить перед волею князей в деле поставления епископа (хотя самое это описание позволяет увидеть, что митрополит подчинился отнюдь не сразу и весьма неохотно) [ПСРЛ, I: 390–391; II: 629–630][1].

Позднее, по-видимому, Никифор действовал в полном согласии с князьями, во всяком случае, с Рюриком Ростиславичем, когда дело касалось выбора кандидатуры на епископскую кафедру — поставление Андриана, духовного отца Рюрика, в епископы Белгорода может служить наглядным тому подтверждением[2]. В целом из всей совокупности летописных упоминаний этого митрополита вырисовывается облик иерарха, принимавшего деятельное участие не только в собственно церковной, но и в княжеской жизни, хорошо ориентировавшегося в местных условиях и обычаях и склонного скорее следовать им, нежели искоренять их.

С точки зрения хронологии, возможно допустить, впрочем, что и брак Предславы Рюриковны, и даже брак ее сестры (что менее вероятно) были заключены непосредственно перед приездом Никифора на Русь и, стало быть, обустроены, подобно женитьбе Святослава Вщижского,

[1] Как известно, в Лаврентьевской летописи действия митрополита трактуются таким образом, что он противился рукоположению княжеского кандидата Луки, поскольку уже поставил другого епископа, Николая Гречина, за плату («на мьздѣ»). Если допустить, что перед нами не тенденциозность источника, а отражение действительного положения дел, то толерантность святителя в деле заключения неканонических браков предстает в несколько ином свете и оказывается чрезвычайно легко объяснимой.

[2] Текст летописного сообщения не оставляет никаких сомнений в том, что поставление свершилось по воле князя: «Того же лѣ҃ престависѧ еп҃пъ Бѣлогородьскии Максимъ . Рюрикъ же в него мѣсто постави еп҃пмъ ѡ҃ца своего дх҃внаго игоумена с҃тго Михаила . Андрѣѩна Въдобычиского» [ПСРЛ, II: 666]. Мы знаем также, что позднее митрополит Никифор специально приезжал в Белгород, чтобы участвовать вместе с Андрианом в освящении церкви, выстроенной Рюриком, который также присутствовал на торжествах вместе с женой и детьми [ПСРЛ, II: 706]. Сам же Андриан приезжал в Киев, чтобы освятить с митрополитом церковь, возведенную Рюриком / Василием во имя своего патронального святого [Там же].

в отсутствие главы местной Церкви. В таком случае, Никифор попросту счел нужным поддержать то, что нашел уже свершившимся, и в течение долгих лет — даже в ситуации фактического разрыва между Романом и Предславой — стремился скорее сохранить, а не упразднить этот брак (об обстоятельствах распада указанной княжеской четы см.: [Литвина & Успенский 2012]).

Так или иначе, в истории заключения данного матримониального союза, помимо всех обстоятельств, роднящих его с историей женитьбы Святослава Владимировича Вщижского, немалую роль, по-видимому, играл прецедент как таковой, специфика брака родителей невесты, ведь именно ее сторона, при отсутствии полноценной родовой опоры у рано осиротевшего жениха, несла значительную ответственность за легитимность заключаемого союза.

Рюрик Ростиславич и Анна Юрьевна. — Будь в нашем распоряжении известие лишь о двух уже рассмотренных княжеских браках между родственниками в 6-й степени (Святослава Вщижского с Андреевной и Романа с Предславой), мы могли бы утверждать, что знаем едва ли не все о причинах такого рода нарушения канонов у Рюриковичей, — столь многое сближает два этих эпизода и так много в них политических и семейно-династических обстоятельств, подталкивающих к подобному нарушению. Однако существуют, по крайней мере, еще два матримониальных союза такого же типа, далеко не столь разительно схожих с теми, что мы рассмотрели выше, и потому заметно осложняющих картину брачной жизни русских князей XII в.

Как уже упоминалось, один из таких союзов — это брак Рюрика Ростиславича и Анны Юрьевны, родителей Предславы[1]. Самый акт его заключения в летописи не зафиксирован. По предположению исследователей, они поженились, по-видимому, не позднее 1169 или 1170 г. и не ранее середины 60-х гг. XII столетия. Первая из этих дат вычис-

[1] Тот факт, что все дети Рюрика были рождены в браке именно с Анной, давно не вызывает сомнений у исследователей. Хотя в источниках она не именуется напрямую матерью кого-либо из них (такие указания, как известно, достаточно редки для древнейших русских летописей), но именно Анна названа бабкой Евфросинии Измарагд, дочери Ростислава Рюриковича [ПСРЛ, II: 708]; там же как тетка новорожденной княжны охарактеризована Предслава Рюриковна. Более подробную аргументацию, устанавливающую связь Анны Юрьевны с ее детьми, см., напр., в работе: [Dąbrowski 2008: 418–419; Домбровский 2015: 441–442].

ляется на основании возраста детей Рюрика и Анны: Ростислав Рюрикович появился на свет, как известно, в апреле 1172 г. [ПСРЛ, II: 567], а та его сестра, которая, согласно летописи, была выдана замуж в 1183 г., скорее всего, была несколько старше. Предслава же Рюриковна, точного времени замужества которой мы, как уже говорилось, не знаем, по всей видимости, незначительно отличалась от них по возрасту, так как дата ее брака, вероятно, недалеко отстояла от свадьбы сестры (см. выше) — малолетняя дочь Предславы уже в 1188 г. была выдана замуж. При этом Рюрик едва ли мог жениться на Анне ранее 1164–1165 г., так как в 1162/1163 г. состоялся его предыдущий брак с дочерью половецкого князя Белука [ПСРЛ, II: 522].

Таким образом, у нас нет точных данных о том, были ли живы родители Рюрика к моменту его женитьбы на Анне, ведь о матери этого князя ничего не известно вовсе, а отец скончался в 1167 г. [ПСРЛ, I: 353; II: 532]. Можно ли предположить, что Рюрик успел осиротеть прежде своего повторного брака? В пользу этого допущения свидетельствует, например, отсутствие упоминания о его свадьбе в летописях (оставайся он еще сыном правящего киевского князя, такое упоминание было бы ожидаемым), однако фиксация в летописи княжеских браков велась далеко не так последовательно, чтобы какие бы то ни было лакуны могли служить надежным доказательством той или иной версии.

Возможно, более знаменателен другой факт: незадолго до своей смерти Ростислав Мстиславич собирает целую княжескую коалицию для похода к Каневу, а затем объезжает ряд своих родственников и свойственников [ПСРЛ, II: 527–529]. Однако ни отец Анны, ни ее многочисленные братья не упомянуты ни среди участников похода, ни в числе родни, с которой успел повидаться Ростислав. Подобная невключенность в семейные и политические предприятия Ростислава была бы труднообъяснимой, если бы к тому времени туровские князья успели вступить с ним в отношения близкого свойства́. Таким образом, нам представляется более вероятным, что второй брак Рюрика был заключен после кончины его отца, а не при жизни Ростислава.

Существенно также, что у нас нет определенных данных и о том, был ли жив к моменту заключения брака отец невесты — князь Юрий Ярославич Туровский (внук Святополка Изяславича). Последнее упоминание о нем мы находим в связи со свадьбой другой его дочери, Мальфрид Юрьевны, которая состоялась в 1166/1167 г. (6675) ([ПСРЛ, II: 527]; ср.: [Домбровский 2015: 289]). Зато хорошо известно, что теща Рюрика, жена Юрия Ярославича, была жива и два с лишним десятилетия спустя, на рубеже 1190–1191 гг., а зять и внуки поддерживали с ней и ее сыновьями весьма близкие отношения. Учитывая эту близость, а также весьма тесные последующие связи Рюрика со своими шурьями[1], можно допустить, что именно они — мать и братья — выдавали Анну Юрьевну замуж за Рюрика. Соответственно, Юрий Ярославич ушел из жизни довольно скоро после замужества Мальфрид Юрьевны.

Иначе говоря, в целом мы склонны несколько сузить предложенные первоначально хронологические границы и предположить, что свадьба Рюрика и Анны состоялась в ту пору, когда жених и невеста лишились своих отцов, т. е. приходилась приблизительно на 1168–1170 гг., что, как было показано выше, хорошо согласуется с хронологией появления на свет их детей и, кроме того, легко вписывается в схему двух

[1] Судя по летописным сообщениям, Рюрик был весьма близок с братьями своей жены. Двоих из них он хоронит в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, построенном их прадедом Святополком / Михаилом: «Престависѧ кнѧзь Стополкъ снъ Гюргевъ . шюринъ Рюриковъ . мцца . априлѧ . въ . ѳі . дньь . и положенъ бы во црькви стго Михаила . Златовѣрхаго» [ПСРЛ, II: 665] — с этим князем Рюрик ходил в военные походы в пору юности, не только до женитьбы на его сестре Анне, но еще до своего первого брака с половецкой княжной [Там же: 521]; «Тое же зимы престависѧ блговѣрнъıи кнѧзь Глѣбъ Тоуровьски шюринъ Рюриковъ . снъ Гюргевъ мца марта . и привезоша и в Кыевъ . и стрете и митрополитъ Киевьскъıи . игоумени вси . и кнзь великъıи Рюрикъ Кыевъскъıи и тако проводиша со ѡбычнъıми пѣми . и пожалова Рюрикъ шюрина своего . бѣ бо любимъ емоу . и спрѧтавше тѣло его . положиша во црькви стго Михаила Златовѣрхого» [Там же: 694]. Характерно, что свойство́ Глеба Юрьевича с киевским князем Рюриком упомянуто здесь перед указанием на то, что покойный был сыном Юрия Ярославича. С другой стороны, и для самого Рюрика свойство́ с турово-пинскими князьями, судя по частоте его упоминания в летописи, играло довольно существенную роль. Именно Глеб Юрьевич в свое время ездил сватом к Всеволоду Большое Гнездо, обустраивая брак своего племянника Ростислава, сына Рюрика [Там же: 658]. Сам Рюрик вместе с сыном Ростиславом гостил в Пинске у своей тещи и шурьев, на свадьбе еще одного брата своей жены, Ярополка: «Ростиславъ же […] в борзѣ еха къ ѿцю въ Вроучии . ѡць бо ѥго бѧше пошелъ на Литву и бы в Пинески оу тещи своеѩ и оу шюрьи своеѩ тогда бо бѧше свадба . Ѩрополча…» [Там же: 672]. В качестве еще одного (но косвенного) доказательства связи детей Рюрика с турово-пинскими князьями исследователи приводят летописное сообщение о том, что Роман Мстиславич Галицкий в ту пору, когда его брак с Предславой Рюриковной был еще в силе, потеряв Галич и отправившись за помощью в Польшу, «женоу поусти во Вроучии . с Галичанъками . на Пинескъ» [Там же: 661].

браков Рюрика Ростиславича, не требуя от исследователя допущений, будто бы он в первый раз овдовел, едва успев жениться, и немедленно вступил в новый брак.

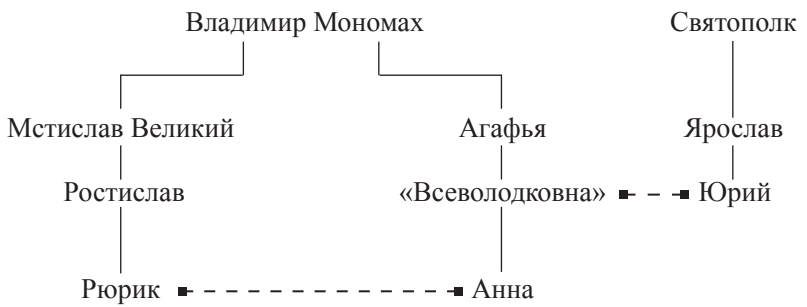
О матери Рюрика не известно решительно ничего, и потому мы при всем желании не можем определить ее роли в деле заключения матримониального союза ее сына с Анной. Кроме того, если учесть, что во всем весьма подробном рассказе Лаврентьевской летописи о кончине Ростислава Мстиславича, его погребении и взаимодействии с сыновьями незадолго до смерти ничего не говорится о его жене (хотя сестра Ростислава, например, не только фигурирует в этом рассказе, но даже названа по имени), то, скорее всего, мать Рюрика умерла прежде своего мужа. Если наши догадки верны, то оказывается, что основным прямым старшим родичем, своеобразным хранителем и воплощением семейной традиции, ответственным за заключение этого брака, была мать невесты, вдова (?) Юрия Ярославича.

Существенно, однако, что именно происхождению этой княгини и обязаны Рюрик и Анна своим чрезмерно близким для мужа и жены родством. Матерью Анны, по все видимости, была не кто иная, как еще одна «Всеволодковна», дочь Агафьи Владимировны и родная сестра матери Святослава Вщижского, одного из главных героев нашего исследования. Как мы помним, обе сестры Всеволодковны были выданы замуж «ѡдинои недѣлѣ» [ПСРЛ, II: 317, под 6652 г.] на рубеже 1144–1145 гг., одна — за Владимира Давыдовича, а другая — за Юрия Ярославича Туровского. Обе они были внучками Владимира Мономаха (об этом см. выше в настоящей главе), и, соответственно, их дети, как Святослав, так и Анна, приходились Мономаху правнуками.

Правнуком Мономаха был, со всей очевидностью, и Рюрик Ростиславич, внук Мстислава Великого, и, следовательно, перед нами вновь брак между троюродными братом и сестрой.

Если взглянуть на все эти факты в другой генеалогической перспективе, то получается, что родной племянник тещи Рюрика Ростиславича некогда уже нарушил каноническое установление, заключив брак в 6-й степени родства, а теперь она и свою дочь Анну — кузину «нарушителя» — отдает замуж таким же образом. Данное обстоятельство является, по-видимому, самым достоверным и, на наш взгляд, едва ли не наиболее существенным во всей ситуации, связанной с браком Рюрика. В самом деле, верны или нет наши допущения относительно времени кончины остальных старших родичей брачующихся, но

участие туровской княгини (урожденной Рюриковны, пользовавшейся неизменным почетом у своих детей, зятя и внуков много лет спустя после интересующих нас событий) в обустройстве этой свадьбы никаких сомнений не вызывает. При этом именно в ее семье мы находим образец (или, лучше сказать, прецедент), самим фактом своего существования смягчающий недопустимость замысла брака между родственниками в 6-й степени.



С этой точки зрения, совершенно неважно, был ли Святослав Вщижский жив к моменту женитьбы Рюрика на Анне — в цепочке родовых образцов родичи умершие играли отнюдь не меньшую роль, чем родичи живые, — важно, что факт его женитьбы на троюродной сестре уже однажды имел место. Помимо всего прочего, следует еще раз подчеркнуть, что в структуре княжеского сватовства, свадебных приготовлений и свадьбы как таковой роль родства и родственных связей через женщин предельно актуализируется и даже гипертрофируется: роль сына тетки, например, или дяди по матери оказывается одной из самых значимых, достаточно вспомнить здесь более подробно описанную в источниках процедуру заключения брака между сыном Рюрика и дочерью Всеволода Большое Гнездо (см. выше, прим. 1 на с. 91 наст. издания).

Разумеется, исходя из того, что нам известно о других браках между родственниками в 6-й степени, можно допустить, что этот союз сулил какой-либо из сторон заметные преимущества в текущей политической ситуации. Однако в данном случае не стоит, на наш взгляд, слишком настойчиво привлекать их для объяснения близкородственного брака; поскольку нам ничего не известно о конкретном времени

его заключения, объяснения из области сиюминутной прагматики будут заведомо обречены на чрезмерную реконструктивность[1].

Что же касается более длительной династической стратегии, то здесь, на наш взгляд, необходимо учитывать, что в свое время Юрий Ярославич Туровский был одним из самых упорных и при этом весьма независимых и успешных врагов всей линии наследников Мстислава Великого. Напомним, в частности, что в 6657 г. он, по свидетельству летописи, выступал яростным противником примирения между Юрием Долгоруким и племянниками последнего, прежде всего, Изяславом Мстиславичем, но, по-видимому, и Ростиславом Мстиславичем [ПСРЛ, I: 323, 326; II: 388, 392]. Эта вражда продолжалась долгие годы[2]. Ростиславу Мстиславичу, при всей его политической гибкости, удалось заключить мир с туровским князем лишь в 6670 г., на третий год своего повторного киевского княжения. Очевидно, что поддержание столь нелегко давшегося мира отнюдь не теряет актуальности для наследников Ростислава Смоленского и Юрия Туровского[3].

Наиболее существенными же представляются «географические» преимущества, проистекающие от этого союза. Овруч, являющийся,

[1] Привлекательность высокого династического статуса жениха или невесты в данном случае не является столь очевидной причиной брака между троюродными, как, например, в матримониальной истории Романа Галицкого или Святослава Вщижского, хотя, разумеется, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. В самом деле, отец Рюрика умер киевским князем, поэтому для родни его невесты, туровских правнуков Святополка Изяславича, этот союз был предприятием достаточно многообещающим, однако нечто подобное можно сказать едва ли не о большинстве внутридинастических браков у русских князей в XII в. Рюрик, помимо всего прочего, не был старшим сыном своего отца, более того, ко времени женитьбы он далеко уступал по положению в династии и реальным властным возможностям своему кузену, Мстиславу Изяславичу.

[2] Заметно позднее Юрий Долгорукий отправляет именно Юрия Туровского на Мстислава Изяславича, сына Изяслава Мстиславича [ПСРЛ, I: 345; II: 479]. Впоследствии целое объединение князей затевает военные экспедиции, пытаясь отнять у Юрия Ярославича Туров, но не преуспевает в этом [ПСРЛ, II: 491–492, 510]. Непосредственным участником одной из таких экспедиций был и молодой Рюрик Ростиславич.

[3] Любопытно, что первый брак Рюрика Ростиславича состоялся на следующий год после заключения мира с Юрием Ярославичем, однако, как мы помним, отец женил его на половецкой Белуковне, а отнюдь не на туровской княжне. Возможно, такое предпочтение объясняется попросту большей важностью перемирия с половцами или тем, что ни одна из незамужних дочерей Юрия не вошла еще в брачный возраст. Не исключено, впрочем, что при жизни отцов женитьба сына киевского князя на троюродной сестре казалась неприемлемой.

по-видимому, неотъемлемым наследственным владением Рюрика и служивший ему резиденцией на разных этапах его переменчивой судьбы, находился в непосредственной близости от Туровского княжества, родового владения отца Анны и ее братьев. Если учесть ту особую приверженность, которую Рюрик питал на протяжении всей жизни к своему Овручу, и роль своеобразной транспортно-стратегической оси, пролегающей через этот город (от Киева к Турову и Пинску), то преимущества эти видятся весьма немаловажными. Весьма значима также и ничем не омрачаемая на протяжении долгих лет дружба с соседями-свойственниками, братьями Анны Юрьевны, приобретенная благодаря этому союзу[1]. Подчеркнем еще раз, что данный брак мог сулить и куда более весомые немедленные политические результаты, но мы о них попросту ничего не знаем. Обустройство же этого союза, о начале которого в источниках не сохранилось никаких сведений, заведомо зиждется, как уже говорилось, на существовании семейного образца, брака между родственниками в 6-й степени родства.

Глеб Святославич и Рюриковна. — Итак, мы знаем, что двое родных внуков Агафьи Владимировны, Святослав и Анна, и ее родная правнучка, Предслава, вопреки каноническому запрету вступили в брак с троюродными. Показательно, однако, что еще один из весьма немногочисленных, достоверно известных союзов между родственниками в 6-й степени был заключен, как ранее упоминалось, еще одной родной правнучкой Агафьи, сестрой Предславы Рюриковны.

Этот брак надежно зафиксирован в Ипатьевской летописи под 6690 г. (1183/1184) ([ПСРЛ, II: 624–625]; о дате см. также: [Бережков 1963: 201]). Политические стимулы для его заключения совершенно очевидны и очень высоки, «смягчающие» же обстоятельства в данном случае сведены, казалось бы, к минимуму. Перед нами довольно типичная для 80-х гг. XII столетия ситуация, когда женитьба детей скрепляет мирное соглашение между старшими[2], да еще какими

[1] Своеобразный сбой в отношениях с турово-пинскими свойственниками впервые происходит, по-видимому, лишь в ту пору, когда братья Анны уже сходят со сцены и Туров принадлежит ее племянникам, Святополчичам, а сама она пребывает в великой схиме [ПСРЛ, I: 429].

[2] Иначе говоря, союз устанавливается, в первую очередь, «по горизонтали», между родителями жениха и невесты, а не между старшим и младшим свойственником (как это было в случае с Рюриком и Романом Мстиславичем). Характерно,

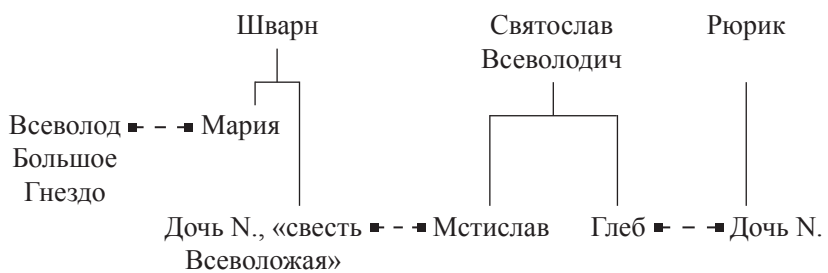
старшими! Две свадьбы, совершаемые одновременно, служат залогом дружественных отношений между тремя наиболее могущественными ветвями рода Рюриковичей — княжащий в Киеве Святослав Всеволодич, глава черниговского дома, сватает за одного из своих сыновей дочь Рюрика Ростиславича, потомка Мстислава Великого, тогда как другому сыну просит в жены свояченицу Всеволода Большое Гнездо, наследника младшей линии Мономашичей, и «бы҃ же бракъ великъ»[1].

Непосредственная связь между политическими договоренностями и данными матримониальными союзами эксплицитно выделяется в летописном тексте. Рюрик, признавая не родовое, но возрастное старейшинство Святослава («…бѣ бо С҃ославъ старѣи лѣтъı»), уступает тому Киев, оставляя за собой всю Русскую землю, и «оутвердившеса кр҃тмъ ч҃тнъımъ . и тако живаста оу любви . и сватьствомь ѡбоуємшеса» [ПСРЛ, II: 624]. Этот план мог быть реализован благодаря практически одновременно происходившему примирению Святослава Всеволодича с Всеволодом Большое Гнездо: тот отпускает из плена Глеба Святославича, которому предстоит стать зятем Рюрика, и заключает договор с самим Святославом, сватая за другого его сына (Мстислава) находящуюся у него на попечении сестру своей жены.

Трудно переоценить значение того равновесия, которое достигалось благодаря договору и свойству́, возникшему между столь могуще-

что Глеб Святославич всегда остается под покровительством своего отца Святослава и сравнительно редко пользуется непосредственной поддержкой своего тестя Рюрика. При столкновении интересов Рюрик явно отдает предпочтение другому своему зятю, Роману, и не способствует возвышению Глеба. Помимо всего прочего, отношения свойства́ между Рюриком и Глебом гораздо реже актуализируются в летописи с помощью специальных терминов (*тесть*, *зять*), тогда как Рюрик и отец Глеба Святослав регулярно именуются *сватами* (подробнее см. ниже в настоящей главе, прим. 2 на с. 97).

[1] Приведем соответствующую таблицу:

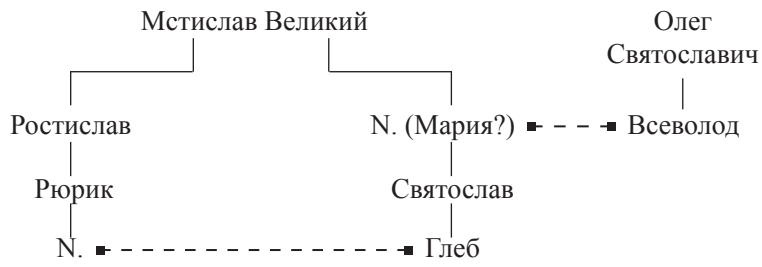


ственными ветвями правящего дома (напомним, что примерно в ту же пору зятем Рюрика Ростиславича становится еще и будущий галицкий князь Роман Мстиславич). Вопрос заключался лишь в его продолжительности. Однако и здесь в течение довольно долгого времени дело обстояло относительно стабильно. Особенно же прочными казались отношения между Святославом и Рюриком, причем свидетельства об их совместных предприятиях достаточно регулярно сопровождаются в летописи напоминанием о том, что они состояли между собой в тесном свойстве́. Так, в частности, с апелляции к таким отношениям развертываются многочисленные замыслы князей относительно экспедиции против половцев; любопытно, что иной раз летописец представляет дело так, будто свойство́ побуждает Святослава Всеволодича к подобному походу, а родство препятствует[1]. Эти же напоминания о свойстве́ служат своего рода средством примирения в ту пору, когда между Рюриком и Святославом возникают конфликты и противоречия, никогда не приведшие, впрочем, к окончательному разрыву[2].

[1] Мы имеем в виду эпизод, когда князья лютой зимой преследуют половцев, разорявших черниговские земли, и Ярослав Всеволодич (родной брат интересующего нас Святослава) не хочет идти далее, тогда как Рюрик призывает воспользоваться чрезвычайно удобным случаем и напасть на неприятеля, находящегося всего в полудне пути, причем предлагает своему свату совершить такой бросок вдвоем, даже если остальные князья не решатся на это («…брате и сватоу . намъ было . сего оу Б҃а просити»). Святославу же, по словам летописца, «любо бы҃ и ре҃ ємоу . азъ єсмь брате готовъ єсмь всегда . и нынѣ», однако он просит Рюрика уговорить и Ярослава, в чем тот, несмотря на длительные убеждения, так и не преуспел. Продолжение похода не состоялось: «С҃ославъ же хотѣ ити с Рюрикомъ . но не ѡста брата Ꙗрослава . и возвратишася во своꙗси» [ПСРЛ, II: 653–654].

[2] Ср., напр.: «…и радъ бы҃ ємоу С҃ославъ . такъ же и *Рюрикъ сватъ єго*» [ПСРЛ, II: 651]; «Сдоумавъ кнѧзь С҃ославъ . со *сватомъ своимъ Рюрикомъ* . поити на Половцѣ…» [Там же: 652]; «Тоѣ же зимы С҃ославъ сославъса с *Рюрикомъ* . *сватомъ свои҃* . и сдоумаста ити на Половцѣ…» [Там же: 653]; «Рюрикъ же поча слати ко С҃ославоу поноуживаꙗ єго . река ємоу брате и *сватоу*…» [Там же: 654]; «С҃ославъ бо тѣмь прѧшедъ т҃са . брате и *сватоу* . ꙗзъ с҃на своего послалъ . не на та поводитъ королѧ . но ꙗзъ послалъ на свое ѡроудье . аже хочеть [“хочешь” в Хлебниковском и Погодинском списках] ити на Галичь . да се азъ с тобою готовъ» [Там же: 663]; «Того же лѣта С҃ославъ . *сватомъ своимъ с Рюрикомъ* . оутишивъша землю Роускоую . и Половци примиривша в волю свою . и сдоумавша и идоста на ловы . по Днепрю в лодьꙗхъ . на оустьꙗ Тесмени. и тоу ловы дѣꙗвша . и ѡбловишася множествомъ звѣрѣи . и тако наглоумистася . и во любви пребыста . и во весельи по вса дн҃и . и возвратишася во своꙗси» [Там же: 668]; «ѡнъ же (Свято-

Очевидно, однако, что их дети, Глеб Святославич и не названная по имени дочь Рюрика, состояли в 6-й степени родства, поскольку Глеб был внуком Всеволода Ольговича и его жены, дочери Мстислава Великого, и, соответственно, приходился Мстиславу правнуком. Невеста же Глеба была внучкой Ростислава Мстиславича Смоленского, следовательно, Мстислав Великий был и ее прадедом:



Весьма существенно, что в отличие, например, от разбиравшихся выше эпизодов с Романом Галицким и Святославом Вщижским, все старшие родичи были налицо, жены Рюрика и Святослава по происхождению принадлежали к княжескому роду, и, таким образом, все могли участвовать в обустройстве этого брака, считаясь родством. Иными словами, отсутствие или неведение ни для кого из родственников брачующихся не могло послужить хотя бы формальным оправданием.

Брак Глеба заключался в Киеве, в мирный период, на виду у всего духовенства. Практически наверняка митрополичья кафедра в ту пору не пустовала, так как интересующее нас летописное известие о двух свадьбах помещено под одним годом с сообщением о том, что митрополит Никифор собственной рукой совершил пострижение Василия, ставшегося игуменом Печерского монастыря [ПСРЛ, II: 628]. Хорошо осведомленным о семейной ситуации Рюрика был, несомненно, и его духовник Андриан, пользовавшийся на протяжении многих лет заботами и почетом со стороны своего духовного сына (ср. выше в настоящей главе, прим. 2 на с. 88). Напомним, кроме того, что примерно в тот же период, когда Глеб женился на своей троюродной сестре, еще одна

слав Всеволодич. — *А. Л., Ф. У.*) […] вела сѧ постричи в черньци . и посла *по свата по Рюрика* и престависа . м^{е}ца иоулѧ» [Там же: 680].

дочь Рюрика, Предслава, также была выдана замуж за своего троюродного брата, Романа Мстиславича.

Мы полагаем, что в этой (уже достаточно поздней по времени) ситуации браков между родичами в 6-й степени речь шла как раз о прекрасном знании собственной семейной истории, и именно она, в сущности, и санкционировала эти канонические нарушения. Помимо всего прочего, брак одной из сестер мог служить дополнительным прецедентом для дозволения замужества второй из них[1]. Таким образом, в семейно-родовой перспективе Анны, а во многом и ее мужа Рюрика, события развивались в виде своеобразного каскада: сначала на троюродной сестре женили ее кузена Святослава Вщижского, затем за троюродного брата выдали ее саму, и, наконец, в браки с троюродными вступили одна за другой две ее дочери.

Разумеется, в деле участвовали не одни только родители невесты. Напомним, однако, что отец жениха в процессе затеваемого сватовства получал не что иное, как Киев, давний предмет его политических устремлений. Такое приобретение, чрезвычайно ценное само по себе, нуждалось, помимо всего прочего, в надежном закреплении, и свадьба детей служила привычной (хотя, разумеется, далеко не абсолютной) гарантией стабильности положения князя на киевском столе, некогда принадлежавшем его отцу Всеволоду Ольговичу.

Что касается жены Святослава, то мы располагаем весьма редким для русского летописания свидетельством, согласно которому эта княгиня не была сосредоточена исключительно на обиходной и церковной повседневности в жизни своей семьи, но во многом разделяла честолюбивые военно-политические замыслы мужа, возможно, и провоцируя их. Во всяком случае, в свое время решение перейти Днепр ради мести за своего сына Глеба, захваченного Всеволодом Большое Гнездо, и вытеснения Рюрика и Давыда за пределы Русской земли Святослав принимает «сдоумавъ с кнѧгинею своєю . и с Кочкаремь . милостьникомъ» [ПСРЛ, II: 614–615], в обход той части своего окружения, с которой князю обыкновенно надлежало советоваться.

Естественно предположить, что в тот момент, когда вся ситуация готова была разрешиться едва ли не к наибольшей выгоде Святосла-

[1] Поскольку существовала практика отправления невесты к жениху, свадьбы сестер едва ли могли состояться в одном и том же месте и ровно в одно и то же время, хотя, как мы попытались продемонстрировать выше, хронологическая дистанция между ними могла быть очень невелика.

ва, и его сын получал свободу, а он сам — примирение с Всеволодом и Рюриком и киевский стол впридачу, княгиня поддержала такое развитие событий и не возражала против свадьбы Рюриковны и Глеба, подводившей фундамент свойства́ под всю эту достаточно сложную комбинацию.

Иначе говоря, создается впечатление, что в данном случае в замысле брака были задействованы все возможные участники, лица как светские, так и духовные, и все они согласились пойти на нарушение нормы, предписанной и канонами, и общеродовой практикой. Целью такого консенсуса было, со всей очевидностью, не только получение сиюминутных тактических выгод каждым из князей, но и установление долгосрочного мира во всех русских землях. Не последнюю роль, по-видимому, играло здесь и высвобождение сил для борьбы с половцами. Очевидно, в частности, что большинство совместных действий, предпринятых сватами Рюриком и Святославом в наиболее счастливый (первоначальный) период их взаимодействия, направлены именно на активное противостояние с кочевниками.

В качестве же внутреннего довода, подкрепляющего и оправдывающего все эти соображения икономии, могла быть предъявлена лишь своеобразная микротрадиция браков с троюродными, существовавшая в семье невесты.

* * *

Мы склонны весьма высоко оценивать роль семейных прецедентов в обиходе княжеской династии: действие предка, спровоцированное стечением нетривиальных, а подчас и случайных обстоятельств, часто совершенно не зависевших от его воли, нередко воспринималось потомком — сыном или внуком, дочерью или племянницей — как закономерный образец поведения, который может воспроизводиться в различных, меняющихся от случая к случаю ситуациях. Сила воздействия таких примеров распространялась и на явления, подлежащие планированию, и на события, лишь отчасти поддающиеся регуляции, и даже на сферу, казалось бы, вовсе неподвластную человеческому вмешательству. Достаточно вспомнить, например, что Святослав Всеволодич полагал, что ему суждено умереть в день свв. Маккавеев, потому что именно на этот праздник приходилась кончина его отца и деда ([ПСРЛ, II: 679–681]; см. подробнее об этом эпизоде: [Литвина & Успенский 2010: 138–151]). С другой стороны, князь Ярослав Ярославич, возможно, стал тезкой своего отца, поскольку некогда отцовское имя получил его дед по матери, Мстислав Мстиславич Удатный, хотя тот, скорее всего, был посмертным ребенком, тогда как Ярослав появился на свет, когда его отец был жив (см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 314–318]). Таким же образом ситуация, сложившаяся с женитьбой рано осиротевшего отпрыска Давыдовичей, Святослава Вщижского, могла использоваться его близкими родственниками по женской линии в качестве прецедента для заключения подобных браков в относительно сходных, но иногда и существенно отличающихся обстоятельствах.

Как бы ни относиться к предлагаемой нами «теории семейного прецедента», налицо очевидный факт — во всех более или менее надежно устанавливаемых внутридинастических браках между родственниками в 6-й степени, заключенных в XII столетии, один из партнеров является прямым потомком Агафьи Владимировны: в союзы такого рода в разное время оказываются вовлечены ее внук и внучка, а также две правнучки (см. сводную таблицу в конце настоящей главы)[1].

[1] В такой перспективе невольно возникает вопрос: не была ли сама Агафья Владимировна замужем за своим троюродным братом? Или, говоря иначе, не был ли неизвестный по отчеству Всеволодко, за которого Владимир Мономах отдал свою дочь [ПСРЛ, II: 284], ее родственником в 6-й степени? Если, вслед за целым рядом исследователей, отождествлять его со Всеволодом Давыдовичем, сыном Давыда Игоревича и внуком Игоря Ярославича, то так оно и выходит. Однако против такого отождествления выступил А. В. Назаренко ([2009: 124–146], с указанием литературы и историей вопроса), который полагает, что происхождение мужа Агафьи было иным, и с наибольшей вероятностью его отцом является Ярослав Ярополчич, внук Изяслава Ярославича. При этом в своей аргументации исследователь основывается не только на генеалогических расчетах, но и на предполагаемой локализации Городенского княжеского стола, которым владел зять Мономаха. Мы же, со своей стороны, не можем усмотреть в обстоятельствах брака Агафьи Владимировны со Всеволодком каких-либо специфических предпосылок, которые заставили бы Мономаха уклониться от церковного запрета на брак между троюродными, и не хотели бы достраивать эти причины, беря за образец позднейшие внутридинастические матримониальные эпизоды. В противном случае, наша аргументация в пользу существования «семейных прецедентов», со всей очевидностью, рискует замкнуться в порочный круг. Таким образом, о генеалогии Всеволодко Городенского и о том, стояла ли у истока интересующего нас семейного обычая именно Агафья Владимировна, на основании обсуждаемых нами закономерностей мы судить не беремся.

Помимо всего прочего, это позволяет констатировать, что исключения из правила, согласно которому Рюриковичи старались не вступать в браки со столь близкими родственниками, не имеют произвольного характера, но выстраиваются в определенную последовательность. Соответственно, оказывается и в самом деле правомерным говорить о существовании общего правила и исключениях из него, которые сами по себе могут быть описаны как определенная закономерность. Даже если в эту пору имел место и еще какой-либо неучтенный нами матримониальный союз между троюродными (а такую возможность нельзя игнорировать в силу изобилия лакун в наших сведениях о генеалогии Рюриковичей), он не отменяет этой тенденции, отчетливо представленной четырьмя браками потомков Агафьи[1].

Еще более существенно, однако, что, в отличие от многих других сторон княжеского обихода (таких, как выбор династического имени,

[1] Здесь уместно вспомнить о нескольких княжеских браках между родственниками в 6-й степени, обсуждавшихся в историографии в последние годы. Так, в относительно недавней работе А. Г. Плахонина [2004: 322] мы находим указания на четыре близкородственных брака такого рода. Два из них (Предслава ↔ Роман; дочь Рюрика Ростиславича ↔ Глеб Святославич) мы рассмотрели выше. Еще один (союз между Анной Святополковной и Святославом Давыдовичем) не подтверждается никакими летописными данными, как, впрочем, и самое существование у Святополка Изяславича дочери по имени *Анна*, а потому едва ли он должен быть принят к рассмотрению. И, наконец, четвертый брак, отмеченный исследователем, зафиксирован в летописи следующим образом: «Том же лѣ҃ престависѧ Софьꙗ . Ꙗрославна . Ростиславлѧꙗ . Глѣбовича» [ПСРЛ, II: 489]. Предполагается, что отец Софьи и мать Ростислава были двоюродными братом и сестрой, и, соответственно, Софья состояла со своим мужем в 6-й степени родства [Баумгартен 1911: 44–46; Baumgarten 1927: 10, табл. II, № 19; 32, табл. VIII, № 12]. Однако генеалогия обоих супругов (в особенности Софьи) содержит целый ряд заметных лакун. Неясно, в частности, кто именно из князей по имени *Ярослав* является ее отцом, так что предположение о близком родстве Софьи и Ростислава Глебовича относится к числу гипотез, которые труднее подтвердить, нежели опровергнуть (см. подробнее: [Назаренко 2009: 153–154], с неточностью в передаче патронима жены Глеба Всеславича, дочери Ярополка Изяславича: на с. 153 княгиня ошибочно названа «Святополковной»). Таким образом, эту последнюю возможность брака между троюродными, не сбрасывая полностью со счетов, на данный момент мы вынуждены считать маловероятной. Упоминание о том, что не названная по имени дочь Мстислава Великого состояла со своим мужем Ярославом Святополчичем в 6-й степени родства, встречающееся в работе А. В. Назаренко [2009: 48, 95, 129, прим. 28], следует считать результатом недоразумения: между этими супругами была в действительности 7-я степень кровного родства (см. прим. 2 на с. 69 в настоящей главе), что и отмечалось ранее самим исследователем [Назаренко 2001: 578–579].

например), брачные запреты и предпочтения у Рюриковичей напрямую взаимодействовали с письменными церковными ограничениями. Иными словами, семейная традиция, начавшая было складываться в определенной линии рода, казалось бы, должна облегчать заключение всякого следующего союза между троюродными братом и сестрой, поскольку с каждым разом накапливались авторитетные прецеденты, но в то же время она вступала в противоречие с церковным запретом, и накопление этих противоречий лишь делало их более зримыми и наглядными.

Правда, противостояние этих тенденций до поры до времени, быть может, смягчалось тем, что запреты на браки между родственниками в 6-й степени принадлежали к числу тех, что задаются не Св. Писанием, не постановлениями Вселенских соборов и не трудами отцов Церкви, а лишь позднейшей церковной традицией, и потому могут быть как предметом обсуждения, так и объектом уступок. Однако ни одна Церковь, будь то в Западной Европе или в Византии, ни в XII, ни в начале XIII вв. не считала браки между троюродными делом дозволенным. Каждый такой династический союз требовал особого разрешения и, если речь шла о практике западноевропейской, был чреват разводом.

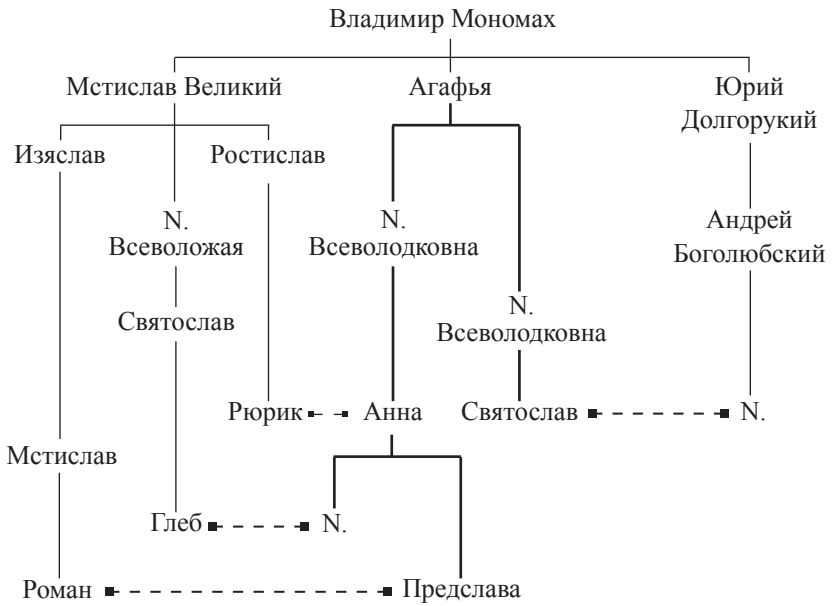
Как известно, для Руси мы не располагаем никакими сведениями о механизме церковной санкции на близкородственный брак и можем лишь пытаться реконструировать реакцию церковных властей на заключение таких союзов. При этом мы знаем, что вплоть до начала XIII в. ни один из известных нам браков подобного типа не оканчивался разводом. Таким образом, местная княжеская династия, судя по всему, была незнакома со своеобразной тактикой манипулирования брачным правом, когда одно и то же матримониальное событие объявлялось то приемлемым, то недопустимым, и уже свершившийся брак подлежал расторжению, хотя родословная супругов все это время оставалась, разумеется, неизменной.

Тем не менее, и на Руси противоречие между локальным семейным обычаем, с одной стороны, и церковным запретом, подкрепляемым общеродовой практикой, с другой, оказывалось небезопасным и, в конце концов, разрешилось в начале XIII в. своеобразным взрывом, когда сразу два таких близкородственных супружества, длившиеся перед тем несколько десятилетий, были расторгнуты по воле одного из их участников. Мы имеем в виду знаменитый эпизод внезапного захвата Рюрика Ростиславича, его жены Анны и дочери Предславы князем Романом Галицким и последовавшее затем принудительное постри-

жение всех троих в монахи ([ПСРЛ, I: 420–421, 425–426; II: 717; III: 240; VII: 108–109; XXV: 101]; подробнее об этом эпизоде см.: [Литвина & Успенский 2012]).

Роману удалось, таким образом, легитимизировать свой новый матримониальный союз, и его законными наследниками считались отныне сыновья, рожденные от второй жены; продолжавшийся более 30 лет брак Рюрика и Анны не был восстановлен даже после смерти Романа, так как, несмотря на настояния вернувшегося в мир Рюрика, его жена не только не захотела сложить с себя монашеские обеты, но и приняла великую схиму.

В дальнейшем мы не обнаруживаем уже более примеров, чтобы прямые потомки Агафьи Владимировны вступали между собой в близкородственные браки. Можно сказать, что этот обычай, несмотря на все проистекавшие из него выгоды и преимущества, был раз и навсегда оборван. Необходимо учитывать, впрочем, что в эту пору династический обиход Рюриковичей в целом претерпевал существенные сдвиги: испытанию на прочность подвергались и куда более распространенные и не противоречащие предписаниям Церкви практики, принятые в княжеском роду.



Глава 6

Браки между близкими свойственниками: ограничения и возможности

Как уже упоминалось в предшествующей главе, XII столетие в истории династии Рюриковичей можно считать эпохой внутриродовых браков. Иначе говоря, в целом наиболее частотными в это время оказываются такие матримониальные союзы, когда русский князь берет в жены урожденную русскую княжну. Это не означает, разумеется, что все прочие брачные комбинации полностью вытесняются из семейного обихода. Напротив, союзы с половчанками, женитьбы на иноземных наследницах, да и браки с представительницами местных знатных родов играют существенную роль в хитросплетениях политической жизни династии, однако доминируют в этом сложном узоре, несомненно, браки между «своими».

При этом на общем фоне актуальности внутридинастических союзов можно заметить несколько хронологических отрезков, когда они становятся особенно важны, когда династию охватывают своеобразные спазмы всеобщей родственно-свойственной близости. Один из таких отрезков приходится на 80-е — начало 90-х гг. XII в., другой же, более ранний, о котором по преимуществу и пойдет речь в настоящей главе, длится примерно с середины 40-х до начала 50-х гг. того же столетия. Наметив эти границы, оговоримся сразу, что сколько-нибудь жесткая периодизация матримониальной истории династии не только невозможна, но в определенном смысле и нежелательна, поскольку по самой своей природе династические браки были одновременно шагами тактическим и стратегическим, направленными (с бóльшим или меньшим успехом) как на сиюминутное настоящее, так и в отдаленное будущее. Именно поэтому, стремясь реконструировать цели и намерения участников той или иной брачной ситуации, мы обречены анализировать не только обстоятельства женитьбы, но и всю историю отдельно взятого брака, а иногда и историю женитьб детей и ближайших родичей брачующихся.

В самом деле, русские князья, как известно, достаточно последовательно соблюдали запреты на близкородственные и близкосвойственные браки, а соблюдение такого рода запретов делает каждое новое решение, принятое в области матримониальной стратегии, особенно

весомым, ведь оно сопряжено не только с теми или иными выгодами и преимуществами, но и с отсечением целого ряда брачных и политических возможностей в дальнейшем. У двух семей в этом и двух следующих поколениях есть, в сущности, лишь один шанс породниться, не нарушая соответствующих церковных установлений, и этот шанс надо использовать максимально эффективным образом.

Вообще говоря, самое начало XII в. предоставляло еще относительно мало возможностей для внутридинастических браков, так как большинство русских князей находилось все еще в слишком близком родстве между собою. В 10-х — первой половине 20-х гг. мы наблюдаем первое «скопление» браков между отдаленными родственниками и свойственниками, в которые вовлечены в качестве одной из сторон дети и внуки Владимира Мономаха. Характерно, что в летописи мы далеко не всегда находим сообщения о самом факте этих (да и более ранних, единичных) внутриродовых свадеб, а о существовании таких союзов мы порой узнаем лишь благодаря применению соответствующих терминов свойствá («тьсть», «зать» и т. п.).

На 30-е гг. XII в. приходится своеобразная естественная пауза в заключении внутридинастических союзов[1]. О ее политических причинах можно лишь догадываться, предполагая, например, что конец киевского княжения Мономаха, а затем последовательное правление его сыновей Мстислава Великого и Андрея Доброго сформировали достаточно устойчивую и сбалансированную систему междукняжеских отношений, как бы не требующую дополнительной поддержки. Совершенно очевидны, однако, и канонические причины этого явного затишья родовых матримониальных союзов: допустимые с точки зрения Церкви возможности были на время исчерпаны, и династия должна была расшириться, по крайней мере, еще на одно поколение, чтобы родились и подросли те, чья кровная и свойственная близость была достаточно отдаленной для брака. Так или иначе, в середине, но в особенности в конце 40-х гг. XII в. матримониально-политические отношения свойствá (как внутриродовые, так и междинастические) становятся чрезвычайно актуальными. Своеобразным лингвистическим сигналом роста этой актуальности становится появление в летописном узусе термина «сватъ», о котором нам еще предстоит сказать ниже.

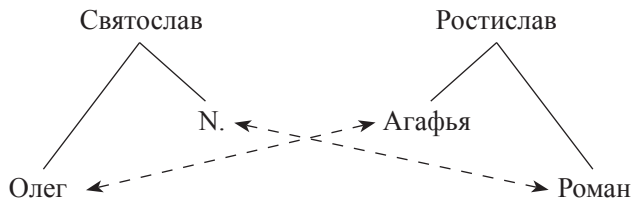
[1] Необходимо учитывать, что время заключения значительной части княжеских браков нам попросту неизвестно, поэтому любые статистические подсчеты и оценки частотности в этой сфере неизбежно носят приблизительный характер.

Чем же в целом характеризовалась матримониальная стратегия Рюриковичей в интересующий нас период с середины 40-х до начала 50-х гг. XII в., каковы были ее немедленные результаты и отдаленные последствия? До сих пор мы подчеркивали известную пунктуальность в исполнении Рюриковичами канонических предписаний относительно дозволенных и запрещенных браков. Однако в этой вполне системной последовательности мы наблюдаем и ряд сбоев и нарушений. Как это нередко бывает, исследование подобных нарушений способно больше поведать нам о характере и эволюции матримониальной системы в тот или иной период, нежели простое перечисление случаев безупречного следования норме.

Казус, о котором здесь пойдет речь, имел место в 60-е гг., однако истоки его, несомненно, лежат на рубеже 40-х и 50-х гг., а его результаты и последствия еще фиксируются летописью в повествовании о событиях, относящихся к последней трети века. Казус этот никогда не становился объектом самостоятельного исследования, хотя его несоответствие каноническим запретам на союзы со свойственниками наглядно и разительно. Так называемые перекрестные браки (а именно такой и имел место в интересующем нас случае), когда брат и сестра из одной семьи поочередно вступают в матримониальные союзы с сестрой и братом из другой семьи, безусловно, принадлежали к числу недопустимых в большинстве тех традиций, где свойствó вообще принималось в расчет при выборе партнера. Для княжеской традиции домонгольской Руси подобные женитьбы весьма и весьма редки, — в сущности, если говорить о браках внутридинастических, нам известен только один надежно зафиксированный в источниках пример[1].

[1] Браки междинастические, как уже говорилось в предыдущей главе, стоит анализировать отдельно, поскольку зачастую их следует рассматривать с учетом, по крайней мере, двух систем канонического права, восточной и западной. В целом, можно сказать, что и здесь перекрестные браки нельзя назвать явлением частотным. В качестве наиболее достоверного примера такого союза можно упомянуть женитьбу двух детей Святополка Изяславича, Сбыславы и Ярослава, на двух отпрысках польского князя Владислава / Германа — Болеславе III (Кривоустом) и его неизвестной по имени сестре, соответственно. Союз Болеслава и Сбыславы потребовал, как мы знаем, специального папского дозволения из-за близкого родства между брачующимися [Галл Аноним: 328–329, кн. II, гл. 23]. В чем именно состояло это родство, Галл Аноним, современник событий, не сообщает. Согласно предположениям исследователей, они могли быть в 6-й, недозволительной для брака, степени кровного родства. При этом у Яна Длугоша сообщается, что

Речь идет при этом не о синхронном заключении «парных» союзов, а о женитьбе князя на сестре того, кто стал его зятем (мужем сестры) много лет назад. Именно таков был второй брак Олега Святославича, сына Святослава Ольговича, который в 1164 г. взял в жены Агафью, дочь Ростислава Мстиславича Смоленского [ПСРЛ, II: 524–525]. Собственная сестра Олега еще в 1149 г. была выдана замуж за родного брата Агафьи, Романа Ростиславича[1]. Таким образом, брачующиеся исходно состояли в 4-й степени свойствá друг с другом.



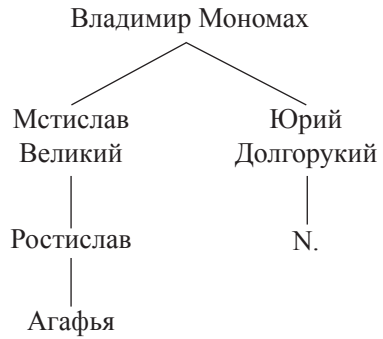
Кроме того, Агафья Ростиславна, которая была второй женой Олега, состояла в 5-й степени кровного родства с его первой женой, дочерью Юрия Долгорукого, и, соответственно, по этой линии она приходилась своему мужу свойственницей в 5-й степени.

Можно сказать, таким образом, что свойствó Олега со своей новой женой оказывалось дважды слишком близким: судя по общей картине внутридинастических браков Рюриковичей, союз между свойственниками в 5-й степени считался нежелательным, 4-я же степень свойствá

Болеслав и Сбыслава состояли в 4-й степени р о д с т в а (…quamvis alter alterum quarto consanguineitatis gradu eque contingerent) [Щавелева 2004: 293]. Если к моменту женитьбы Болеслава Кривоустого его сестра уже состояла в браке с Ярославом Святополчичем, то между Сбыславой и Болеславом была бы именно 4-я степень с в о й с т в á. Поскольку свойствó, как известно, терминологически зачастую приравнивалось к кровному родству, не исключено, что необходимость папского разрешения связана с перекрестным браком. Надо учитывать, однако, что на точность сведений Длугоша не всегда можно полагаться, и, с другой стороны, гипотеза о смешении обозначений родства и свойствá, сколь бы частым оно ни было, в каждом случае нуждается в дополнительной верификации.

[1] «В то же веремѧ Ростиславъ Смоленьскии. проси дчери оу Ст҃ослава. оу Ѡлговиꙗ за Романа сн҃а своего. Смоленьскоу. и ведена бы҃ из Новагорода в неꙗлю по водохр҃щахъ. мс҃ца геньварѧ въ ѳ҃ дн҃ь» [ПСРЛ, II: 368].

между супругами, обусловленная перекрестным браком, как уже говорилось, не обнаруживается среди браков Рюриковичей друг с другом нигде, кроме данного казуса.



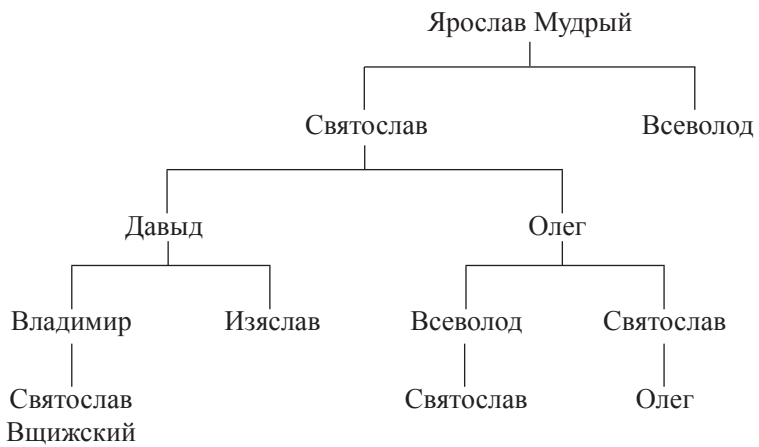
Чем же объяснить столь редкое и вместе с тем не вызывающее сомнений нарушение канонических запретов на браки между близкими свойственниками?

Отчасти здесь срабатывают те же механизмы, что и в случаях несоблюдения запретов на браки с кровными родичами. С одной стороны, чрезвычайно велика потребность жениха в могущественном свойственнике, который мог бы восстановить его попранные династические интересы. С другой стороны, препятствие для заключения подобного брака со стороны старших родичей жениха и духовенства, в известном смысле, сведены к минимуму (о некоторых случаях такого рода ситуативного ослабления брачных запретов нам уже приходилось говорить выше). Для нас весьма существенно, что и то, и другое объяснение — политические стимулы к браку и редукция препятствий к нему — не нуждаются в сложной умозрительной реконструкции, а недвусмысленным образом представлены в пространстве самого летописного текста.

Примерно за год до своей женитьбы на Агафье Олег Святославич осиротел: умер его отец, Святослав Ольгович, а вместе с ним ушли из семьи не только малосбыточные надежды заполучить киевский стол, но и совершенно реальные права на стол черниговский. Действительно, Святослав Ольгович после убийства его брата Игоря в 1147 г. оказался старшим из потомков Олега Святославича и, что не менее существенно, старшим из наследников своего брата, киевского князя

Всеволода. С тех пор же, когда в 1161 г. не стало его кузена Изяслава Давыдовича, Святослав Ольгович становится старшим в целой родовой ветви, восходящей к Святославу Ярославичу, сыну Ярослава Мудрого. Ветвь эта в династической иерархии Рюриковичей, строго говоря, занимала место выше ветви Мономашичей, потомков Всеволода Ярославича, который был лишь четвертым сыном Ярослава Мудрого, тогда как Святослав Ярославич — третьим.

Борьба за преимущества такого рода составляла весьма существенную долю внутриродовых конфликтов Рюриковичей в XII столетии. Старшинство среди потомков Святослава Ярославича, естественным образом, значило в этой борьбе очень и очень многое. Неудивительно поэтому, что немедленно после кончины Святослава Ольговича его наследие стало предметом интриги и прямого противостояния.



С точки зрения древней родовой иерархии, на это наследие, в первую очередь, могли претендовать два племянника умершего, родной и двоюродный (оба, неслучайным образом, также носившие имя *Святослав*) — Святослав Всеволодич, сын Всеволода Ольговича, и Святослав Владимирович Вщижский, сын Владимира Давыдовича Черниговского[1].

[1] По существу, по происхождению бóльшими правами обладал Святослав Вщижский, последний отпрыск дома Давыдова, старшей по отношению ко всем Ольговичам линии наследников Святослава Ярославича. С другой стороны, отец Святослава Всеволодича княжил в Киеве, а ранее он первым из представителей своего поколения успел заполучить Чернигов, выгнав оттуда своего дядю Ярослава: вся эта предыстория, разумеется, повышала династический статус его старшего сына. Права Олега Святославича, родного сына только что скончавшегося Святослава Ольговича, по родовому счету были несравненно более скромными, чем у его кузена, Всеволодича, не говоря уже о троюродном брате, Владимировиче.

Практически же Святослав Вщижский едва ли мог в ту пору беспрепятственно заполучить черниговский стол[1]. Весьма вероятно, этот князь мог бы со временем как-то включиться в борьбу за передел черниговского наследства, но, как мы помним, его ранняя смерть, последовавшая в 1165 г., раз и навсегда исключала Давыдовичей из числа претендентов на Чернигов.

Непосредственно же после кончины Святослава Ольговича для участников событий едва ли не главным казалось не только и не столько преимущество в родовом счете, но и простое преимущество во времени, в скорости реакции, и здесь основными конкурентами оказывались родной сын умершего, Олег, и родной племянник, Святослав Всеволодич, каждый из которых имел своих деятельных сторонников в Чернигове. Святослав Вщижский участия в этой гонке принять не мог.

Тем не менее, решающим в борьбе двух соперников, как мы знаем из летописи, оказалось все-таки родовое старшинство: Олег Святославич, хотя и прибыл в Чернигов первым, вынужден был все же уступить город своему кузену [ПСРЛ, II: 523]. При этом между двоюродными братьями был заключен договор о наделении Святославичей волостями, однако Святослав Всеволодич отнюдь не спешил исполнить все свои обещания по отношению к Олегу и ничего не выделил Игорю и Всеволоду, его младшим братьям [ПСРЛ, II: 523–524].

Таким образом, Олег Святославич (при жизни отца не терявший, по-видимому, надежды перенять Чернигов и все права князей чернигов-

[1] Как уже говорилось выше, Святослав Владимирович не преуспел в своих иерархических притязаниях даже при жизни родного дяди, Изяслава Давыдовича, и еще тогда оказался вынужден на словах смириться со старшинством дяди двоюродного, Святослава Ольговича. Трудно было ожидать, что в Чернигове у него найдутся прямые сторонники, так как времена, когда его отец, Владимир Давыдович, владел этим городом, минули почти полтора десятилетия назад, а сам Святослав, как кажется, имел дело с тамошней дружиной и знатью лишь будучи ребенком. Последние же годы, насколько мы можем судить по летописи, он не претендовал на что-либо большее, нежели давно выделенный ему Вщиж.

ской ветви) вынужден был искать, осиротев, могущественных союзников, которые помогли бы ему если не возвратить эти надежды, то хотя бы сохранить тот минимальный княжеский статус, который принадлежал ему и его братьям по праву рождения. Именно в таких условиях и состоялся его брак с дочерью киевского князя Агафьей Ростиславной, нарушавший церковные правила относительно дозволенных для женитьбы степеней свойствá.

С одной стороны, данный матримониальный союз Олег заключает, будучи человеком взрослым, с другой — смерть отца, столь пагубно сказавшаяся на его династических перспективах, дала ему возможность выбирать себе новых свойственников самостоятельно. Однако чтобы лучше рассмотреть причины заключения этой поздней, не отвечавшей церковным установлениям женитьбы, необходимо, на наш взгляд, обратиться к эпохе конца 40-х — начала 50-х гг., когда совершались браки, благодаря которым вторая женитьба Олега и оказалась не вполне каноничной.

Первый брак Олега и свадьба его сестры с Романом Ростиславичем отделены друг от друга сравнительно небольшим временным промежутком и приходятся на период ожесточенного противостояния сыновей и внуков Владимира Мономаха: Романа женили в самом начале 1149 г. [ПСРЛ, II: 368], а Олега — в 1150 г. [Там же: 394]. Это время, как уже говорилось, было чрезвычайно важным для истории свойствá у Рюриковичей: род разросся настолько, что внутридинастический брак стал обычным делом, а не редким исключением. Подобные союзы могут теперь задавать целые микросистемы междукняжеских отношений, которые выстраиваются при этом по нескольким разным моделям.

Так, именно в эту эпоху начинает распространяться относительно новая для Руси модель внутридинастических отношений, которую можно условно обозначить «сват ↔ сват», когда брак между детьми служит, в первую очередь, интересам их отцов. Весьма характерно, что с момента свадеб двух дочерей Юрия Долгорукого в летописном узусе заметным образом распространяется самый термин «сватъ», употребляемый по отношению к князьям[1]. Разумеется, трудно усомниться в том, что на восточнославянской территории это слово было прекрас-

[1] В Ипатьевской летописи он появляется впервые в статье под 6656 г. и употребляется по отношению к иностранному свойственнику Изяслава Мстиславича Болеславу [ПСРЛ, II: 384].

но известно до середины XII в., однако лишь в это время, по-видимому, подобный тип свойствá приобрел столь ключевое значение для княжеских семейных отношений, чтобы проникнуть в летописный текст и укорениться в нем.

Более старая модель «тесть ↔ зять», согласно которой союзнические отношения закладываются между представителями разных поколений, зачастую приобретает отныне новую окраску: в полной мере она разворачивается лишь в тех случаях, когда младший свойственник оказывается лишен покровительства кровных родичей и тесть функционально замещает собой родного отца (правда, такое замещение, как правило, не только конвенциально, но и ограничено во времени). Яркий пример относительно поздней реализации такого рода модели — разбиравшийся выше брак Романа Мстиславича, будущего князя Галицкого, и дочки Рюрика Ростиславича.

Приблизительно в это же время формируется и структурно более сложная модель «тройственного союза», — в частности, союза между несколькими старшими князьями, заключаемого путем двух одновременных браков между их детьми. У истоков подобной комбинации стоит, как правило, киевский князь или тот, кому киевский стол должен отойти по договору. Такого типа альянс может быть более или менее равновесным, т. е. в равной мере ориентированном на интересы всех трех сторон, или он может строиться по преимуществу вокруг фигуры одного из участников ситуации[1].

Едва ли случайно, что модель двух синхронно заключаемых матримониальных союзов первоначально была отработана на отношениях с половцами. Половецкие браки, не являясь, разумеется, для русских князей внутридинастическими, благодаря длительности и тесноте контактов, близки к ним по некоторым параметрам. Так, еще в 1108 г., после победы над кочевниками, трое Рюриковичей — Владимир Мономах, которому предстояло сделаться киевским князем, и двое братьев Святославичей, Давыд и Олег (дед и полный тезка нашего Олега Святославича) — отправляются к половцам заключать мир, причем двое из них женят там своих малолетних сыновей:

[1] Именно такой тройственный союз с помощью браков подопечных был заключен между Святославом Всеволодичем, Рюриком Ростиславичем и Всеволодом Большое Гнездо (подробнее см. ч. I, гл. 5, с. 95–100 наст. издания).

…иде Володимеръ . и Дв҃дъ . и Ѡлегъ . къ Аєпѣ . и [ко] другому Аєпѣ . и створиша миръ . и поꙗ Володимеръ за Юргѧ . Аєпину дщерь . Ѡсеневу внуку . а Ѡлегъ поꙗ за сн҃а . Аєпину дчерь . Гиргеневу внуку . м҃ца генва҃р . вı . дн҃ь [ПСРЛ, I: 282–283].

Здесь, как мы видим, в союз вовлечены даже не три, а четыре группы актантов. При этом летописец уделяет особое внимание генеалогии половецких невест, тщательно оговаривая имена их отцов и дедов, дабы подчеркнуть их знатность и принадлежность к разным половецким родам, известным на Руси. Благодаря такому договору, удается одновременно установить особые отношения с двумя могущественными кланами кочевников, и, с другой стороны, сразу два князя приобретают независимое свойство́ и поддержку среди половцев. Немаловажно также, что Олег и Владимир, двоюродные братья, пережившие столь много столкновений друг с другом, в данной ситуации действуют заодно и заключают, так сказать, симметричные брачные союзы для своих сыновей.

Первое летописное сообщение о двух одновременно состоявшихся внутридинастических княжеских свадьбах относится к 1144/1145 г., когда киевский князь Всеволод Ольгович отдал замуж двух своих свойственниц, внучек Владимира Мономаха по женской линии (тех самых, в родовой линии которых будет так много браков между троюродными):

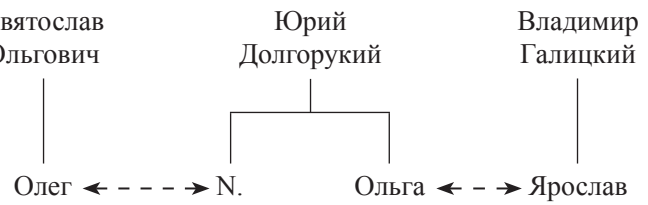
…тои же зимѣ Всеволодъ ѿда двѣ Всеволодковнѣ . Володимери вноуцѣ . единоу за Володимира за Дв҃двича . а другоу за Ꙗрославича . за Дюрдѧ . ѡбѣ ѡдинои недѣлѣ [ПСРЛ, II: 317].

Как следует из текста, опекун юных княжон, лишившихся отца, Всеволод, приходился им отдаленным родственником и относительно близким свойственником (они были двоюродными сестрами его жены, дочери Мстислава Великого). Князья же, за которых они были выданы, со всей очевидностью уже обладали всей полнотой родовых прав и не нуждались в патронаже для заключения матримониального союза. Перед нами, таким образом, скорее реализация модели «тесть ↔ зятья» (хотя Всеволод Ольгович и не был родным отцом невест), а не результат договоренности между старшими.

Непосредственным политическим результатам этих браков не суждено было проявиться в полной мере: вскоре умирает Всеволод

Ольгович (в 1146 г.), не слишком долго прожил после женитьбы и Владимир Давыдович, убитый в 1151 г. Что же касается еще одного участника этой матримониальной коллизии, Юрия Ярославича, то он после кончины Всеволода Ольговича сделался надежнейшим союзником другого своего свойственника — родного дяди собственной жены, Юрия Долгорукого.

Матримониальный же эпизод 1150 г., в который вовлечен интересующий нас Олег Святославич, является одним из самых важных и весьма выразительных примеров создания внутридинастической коалиции нескольких старших князей с помощью двух одновременно совершающихся свадеб: Юрий Долгорукий выдает одну из дочерей за сына Святослава Ольговича Черниговского, а другую — за сына Владимира Галицкого.



Эти союзы, организованные родителями молодоженов, не влекли за собой (насколько мы можем судить по имеющимся у нас данным) каких-либо канонических нарушений[1], а политически они были весьма актуальны для всех сторон, участвующих в этой матримониальной ситуации. Отцы обоих зятьев надолго становятся достаточно активными союзниками Юрия. Тем не менее, несмотря на изначальное сходство, эти два одновременно свершившихся брака в длительной перспективе развиваются отнюдь не по идентичному сценарию. Можно сказать, что

[1] Олег и дочь Юрия Долгорукого находились в 8-й (дозволенной для женитьбы) степени кровного родства и в 7-й степени свойства́ (через союз «дочь Мстислава Великого ↔ Всеволод Ольгович» и через союз «сестра Олега, Мария ↔ Ярополк Изяславич, внук Мстислава Великого»), также не служившей у Рюриковичей препятствием для брака. В свою очередь, Ярослав Осмомысл и дочь Юрия Долгорукого состояли в 9-й степени кровного родства и в 6-й степени свойства́, поскольку тетка Ярослава Осмомысла была замужем за Романом, братом Юрия Долгорукого [ПСРЛ, II: 276].

один из них — женитьба Ярослава Владимировича Галицкого — являлся предприятием, обусловленным конкретной политической необходимостью и, соответственно, с исчезновением этой необходимости закончившимся, тогда как другой — брак Олега Святославича — не знает столь бурных всплесков и драматических поворотов.

В самом деле, в первые годы роль Владимира Галицкого, отца Ярослава, в союзнических отношениях с Юрием Долгоруким оказывается, быть может, более значительной и последовательно выдерживаемой, хотя и Святослав Ольгович, как правило, берет сторону Юрия, а не его оппонента Изяслава Мстиславича. Характерным образом, именно Владимир чаще называется *сватом* Юрия, нежели Святослав[1]. После смерти отца Ярослав Галицкий действует заодно с отцом своей жены Ольги и, соответственно, регулярно именуется *зятем* Долгорукого (см., например: [ПСРЛ, II: 479, 481, 485–488]), хотя в описании событий, происходивших при жизни Владимира Галицкого, этот термин к нему не применялся.

Существенно, однако, что когда из жизни уходит и сам Юрий, брак Ярослава и Ольги Юрьевны начинает разваливаться и в конце концов завершается фактическим разводом (что в династии Рюриковичей, несомненно, было редкостью). Еще более показательно в этом смысле стремление Ярослава лишить собственного сына от брака с Ольгой

[1] Лаврентьевская летопись, в которой термин *сватъ* вообще употребляется довольно скупо, обозначает таким образом только отношения между Юрием Долгоруким и Владимиром Галицким [ПСРЛ, I: 325, 333], не применяя его вовсе к Святославу Ольговичу. Что же касается летописи Ипатьевской, где сам этот термин куда более частотен, то мы наблюдаем здесь довольно любопытное распределение. Вплоть до статьи, помещенной под 6660 г., так именуется исключительно Владимир Галицкий, и ни разу — Святослав Ольгович. Лишь начиная с 6660 г., эта характеристика эксплицируется по отношению к Святославу, который, разумеется, был свойственником Юрия и прежде, но летописец, повествуя о совместных действиях этих князей, не подчеркивал их семейных отношений подобным образом. Именно в статье под 6660 г. мы обнаруживаем в Ипатьевской летописи сообщение о смерти Владимира Галицкого, которое синхронизировано с тем рассказом о военных действиях Святослава и Юрия, где Святослав впервые назван сватом Долгорукого [ПСРЛ, II: 456, 461–465]. Таким образом, хотя оба князя, галицкий и черниговский, одновременно женили своих сыновей на дочках Юрия Долгорукого, в летописном узусе наблюдается известная иерархия: поначалу сватом Юрия именуется только Владимир, и лишь в год его смерти этот «титул» переходит к Святославу.

прав на Галич и устранить, таким образом, едва ли не главный династический результат своей ранней женитьбы.

Судя по летописи, приверженность Ярослава дому Долгорукого и в молодости не лишена была колебаний: во всяком случае, сразу после внезапной кончины отца он в первый момент намеревался перейти под покровительство отнюдь не своего тестя Юрия, а его племянника и главного соперника, Изяслава Мстиславича [ПСРЛ, II: 464–465].

Что же касается союзнического взаимодействия между двумя другими сватами, Святославом Ольговичем и Юрием Долгоруким, то оно началось, как известно, за несколько лет до брака между их детьми. Более того, оно-то и послужило одним из поводов раздора между Долгоруким и его племянниками. Подрастающему Олегу в этих отношениях отводилась особая, явно выделенная роль. Так, в летописи специально отмечается его участие в поездке отца в Москву на встречу с Юрием, отдельно упоминается и о том, что Олег был отправлен вперед, чтобы подарить Юрию «пардуса», а во время церемониального обеда он и сам получил ответные дары [ПСРЛ, II: 340]. Вполне вероятно, таким образом, что его заранее прочили в зятья Юрию.

При всем том после женитьбы независимые функции самого Олега (как поначалу и функции его свояка, Ярослава Осмомысла) в коалиционных связях между старшими, по-видимому, были сведены к минимуму. Летопись не дает в наше распоряжение никаких упоминаний о его самостоятельных действиях в помощь тестю. Характерным образом, его отношения с Юрием никак специально не терминологизируются: мы не обнаружим применительно к этим князьям именований *тьсть* или *зать*, в то время как Святослав Ольгович несколько раз, как уже отмечалось, именуется *сватом* Юрия. Возможно, так происходит потому, что родной отец Олега умер позже его тестя и последнему не пришлось перенимать обязанности кровного родича.

Так или иначе, пока все трое старших князей — Осмомысл, Долгорукий и Ростислав — были живы, их альянс, скрепленный браками детей, функционировал вполне эффективно. С точки зрения же «матримониальной карьеры» Олега Святославича, для нас весьма немаловажно то обстоятельство, что и в первый, и во второй раз он берет в жены дочь киевского князя — Юрий Долгорукий к моменту его брака как раз успел занять этот стол.

Заключенный же немногим ранее брак дочери Святослава Ольговича и Романа Ростиславича в привычной перспективе военно-поли-

тических интересов оказывается куда менее тривиален, чем женитьба ее брата Олега. Самое сообщение об этой свадьбе Романа и Святославны в Ипатьевской летописи синхронизировано с рассказом о политических событиях, казалось бы, весьма неблагоприятных для возможности каких-либо союзнических отношений Ростислава или его сына с Ольговичами: так, Святослав Ольгович, несмотря на крестное целование, не приезжает к Ростиславову брату Изяславу на «снем» и, таким образом, демонстративно не поддерживает готовящееся объединение княжеских сил против Юрия Долгорукого[1]. С того же момента, когда черниговский князь женит сына на дочери Долгорукого, может показаться, что этим новым свойствóм старый союз как будто перечеркивается.

Ростислав и Святослав, отцы жениха и невесты, в летописи никогда не именуются *сватами*, равно как Роман и Святослав не называются *тестем* и *зятем*. В летописном повествовании, если речь идет о первом десятилетии после заключения этого брака, мы не обнаружим свидетельств о каких-либо совместных действиях двух старших князей. Роман как будто и вовсе никогда не проявляет особенного расположения к отцу своей жены. В частности, одна из немногих ситуаций, когда при жизни тестя Роман Ростиславич, действуя по поручению своего дяди и отца, каким-то образом вмешивается в черниговские дела, для Святослава Ольговича оказывается крайне невыгодной, ибо его зять способствует вокняжению на черниговском столе отнюдь не своего старшего свойственника, но, напротив, Святославова кузена и соперника Изяслава Давыдовича [ПСРЛ, II: 439–440][2]. Несколько упрощая дело, можно сказать, что, если бы в летописи отсутствовали совершенно четкие указания, кем был тесть Романа Ростиславича, то исследователям, глядя на первые годы его брака, едва ли пришло бы в голову представить на этом месте черниговского князя Святослава Ольговича.

При всем том матримониальный союз Романа со Святославной принадлежал к числу весьма долговременных. Насколько мы можем судить по летописным данным, никакой иной жены у князя не было, и, соответственно, именно Святославне суждено было родить ему, по крайней мере, троих детей и оплакать его кончину, последовавшую три с лишним десятилетия спустя после свадьбы [ПСРЛ, II: 616–617, под 6688 г.]. Так что же перед нами? Побочный продукт краткого стечения политических обстоятельств? Пример брачного союза, вовсе лишенного какой-либо военно-политической подоплеки? Или нечто иное?

В самом деле, вероятнее всего, договоренность о браке Романа была достигнута на весьма своеобразном витке отношений Ольговичей с сыновьями Мстислава Великого, когда между ними состоялось крестоцелование, призванное водворить мир и остановить мщение за обиды, связанные с убийством князя Игоря Ольговича. Как мы уже упоминали выше, это объединение Святослава Ольговича с Изяславом Мстиславичем распалось, едва успев состояться, и очень скоро Святослав оказывается в лагере Юрия Долгорукого, главного оппонента Изяслава.

Иными словами, брак Романа может показаться тактически непродуктивным. Во всяком случае, именно так будет выглядеть картина данного матримониального союза, если исходить из того, что отец Романа, Ростислав Мстиславич, был полным политическим дублером своего старшего брата Изяслава. Однако в действительности его роль в династической ситуации середины столетия была отнюдь не столь однозначна. Коль скоро речь в летописи идет о событиях, происходивших при жизни Изяслава, мы, в сущности, не обнаруживаем здесь никаких упоминаний о противоречиях между братьями и, соответственно, не находим известий о каких-либо совместных действиях Ростислава или Романа с их свойственником Святославом Ольговичем. При этом у нас есть определенные основания предполагать, что еще при жизни старшего брата Ростислав Мстиславич был не столь непримирим по отношению к родичам-соперникам, как Изяслав Мстиславич. Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые сообщения о междукняжеских договорах, приводимые в Ипатьевской летописи. Здесь, правда, мы вынуждены считаться со специфической формульностью такого

[1] «…и ре҃ . Изѧславъ Володимиру Дв҃двичю и братоу его Изѧславоу . ѡже бра҃ Ст҃ославъ и сестричичь мои а ко мнѣ не пришла а въı есте вси хр҃стъ цѣловали на томъ . аже кто боуде҃ мнѣ золъ . то вамъ на того быти со мною» [ПСРЛ, II: 367]. В тот момент брак между детьми Юрия и Святослава еще не был заключен, но, как уже отмечалось ранее, этим будущим сватам уже доводилось действовать совместно против Мстиславичей и Давыдовичей [ПСРЛ, II: 338–339].

[2] После поражения в битве на Руте Святослав, пытаясь бежать в Чернигов, высылает вперед своего племянника Всеволодича. Тот же «пригна къ перевозу ко Деснѣ . и ту бы ему вѣсть . ѡже оуже Изѧславъ Дв҃двичь и Романъ Ростиславличь оуѣхаста в Черниговъ и то слъıшавъ и побѣже ѡпѧть а противу строеви посла река не ѣзди сѣмо . но туда поѣди к Новугороду . здѣ ти въѣхалъ оуже Изѧславъ Дв҃двичь . и Романъ Ростиславли҃ и то слъıшавъ . Ст҃ославъ . и побѣжаста к Новугороду» [ПСРЛ, II: 440].

рода свидетельств, когда заверения о давно установившейся братской приязни должны приниматься с определенной осторожностью и не всегда трактоваться буквально.

Тем не менее, следует, как кажется, обратить внимание на то обстоятельство, что после кончины своего брата Изяслава Мстиславича Ростислав относительно легко заключает договор с их дядей и недавним противником, Юрием Долгоруким, намеревающимся вновь заполучить Киев (отняв его у Изяслава Давыдовича). Известие об этом событии в летописи сопровождается своеобразным противопоставлением двух братьев Мстиславичей — живого и умершего:

> В то же верема . Гюрги поиде . к волости Ростиславли . Ростиславъ же слъшавъ то . и тако скупа вота своа многое множьство . исполца полкъı своа . и поиде противу ему к Зарою . ту же и ста Ростиславъ же ту стоа . посласа къ Дюргеви проса оу него мира . река ѿц҃е кланяю ти са . тъı переди до мене добръ бълъ еси . и азъ до тебе . а нн҃ѣ кланяю ти са стръıи ми еси ꙗко ѡц҃ь Гюрги же ре҃ ф҃ право сн҃у съ Изаславомъ есмь не моглъ бъıти . а тъı ми еси свои бра҃ и сн҃ъ не помана злобъı брата его . ѿда ему гнѣвъ . и тако целоваста межю собою хр҃стъ на всеи любви . Гюрги же поиде Киеву . а Ростиславъ оу свои Смоленескъ [ПСРЛ, II: 476–477][1].

Когда же Юрий вскорости получает киевский стол, Ростиславу удается примирить с ним и своего младшего брата Владимира Мачешича и своих племянников Изяславичей [ПСРЛ, II: 480–481].

В этой перспективе следует вспомнить, по-видимому, что и существенно раньше, когда Изяслав Мстиславич был жив, в летописном повествовании, передающем переговоры двух Мстиславичей относительно возможного примирения с черниговскими князьями, Ростислав, во всем полагающийся на волю брата, представлен при этом как изначальный поборник мира с родичами-черниговцами [ПСРЛ, II: 365]. Таким образом, то обстоятельство, что именно его сын берет в жены дочку Святослава Ольговича, кажется отнюдь не спонтанным. Возможно, такое свойство́ даже и в первые, неблагополучные для сближения

[1] Ср. также: «Юрги же посла посла по сн҃овца своего . по Ростислава Смоленьску . река ему сн҃у мнѣ с кимъ Рускую землю оудержати с тобою . а поѣди сѣмо» [ПСРЛ, II: 479].

этих княжеских домов, годы подспудно обеспечивает Ростиславу, более гибкому из двух братьев, особое положение в борьбе различных родовых ветвей династии Рюриковичей[1].

В полной мере результаты этой длительной стратегии Ростислава проявятся еще позже, когда после смерти Юрия Долгорукого Ростиславу удастся склонить свата, Святослава Ольговича, на свою сторону в противостоянии с Изяславом Давыдовичем, хотя по рождению Святослав был гораздо ближе Давыдовичам, приходясь им двоюродным братом. Тем не менее, довольно долго не разрывая полностью со своим кузеном, Святослав Ольгович как будто бы предпочитает тому своих сватов: сначала — Юрия Долгорукого, а затем — Ростислава Мстиславича. Известие об окончательном водворении Ростислава в Киеве в 6668 г. сопровождается весьма детализированным рассказом о встрече Ростислава и Святослава в Моровийске, о последовавших за тем пирах и церемониальном обмене дарами[2]. Любопытно, что первый дар

[1] Весьма характерно, в частности, отражение в летописи позиции Ростислава Мстиславича в церковном конфликте, касавшемся легитимности пребывания на митрополичьем престоле Клима Смолятича. Как известно, Клим был рукоположен по инициативе Изяслава Мстиславича, без санкции Константинополя [ПСРЛ, I: 315; II: 340]. Пока в летописях излагаются события, происходившие при жизни этого князя, мы не находим никаких упоминаний о том, что Ростислав был в этом деле хоть в чем-то не согласен с братом. Однако позднее, в 1158/1159 г., когда вопрос о правах на митрополичью кафедру оказывается едва ли не главным в переговорах князей о киевском столе, Ростислав категорически не желает признавать кандидатуру Клима и поначалу настаивает на том, что митрополитом по-прежнему останется присланный Климу на смену Константин [ПСРЛ, II: 503–504]. Показательно, что когда Ростиславу и его племяннику, Мстиславу Изяславичу, удается прийти к компромиссу, договорившись просить Константинополь о поставлении нового митрополита, Константин укрывается не где-нибудь, а в Чернигове, у Святослава Ольговича [ПСРЛ, I: 349]. Это неизбежно подталкивает нас к мысли, что сваты, Ростислав и Святослав, занимали в то время более или менее единую позицию в вопросе о главе Русской церкви. Немаловажно, с другой стороны, что еще позже, когда присланный по просьбе русских князей митрополит Феодор скончался, Ростислав находит Клима не только приемлемой, но и желательной фигурой для занятия митрополичьего престола, и отправляет посольство в Константинополь «хота ѡправити Клима . въ митрополью» [ПСРЛ, II: 522]. Не преуспев в этом, князь смиряется с приездом митрополита Иоанна.

[2] «Том же лѣ҃ снимаса Ростиславъ съ С҃ославомъ Ѡлговичемъ . Моровииски . м҃ца мая въ а҃ дн҃ь бъı҃ же съѣздъ ею . на великую любовь . тогда же Ростиславъ позва С҃ослава к собѣ на ѡбѣдъ . С҃ославъ же ѣха к нему безо всакого извѣта . и бъı҃ же радость во тъ дн҃ъ межю има . и дарове мнози . да бо Ростиславъ С҃ославу со-

Святослава Ольговича воспроизводит тот, что он преподнес почти 15 лет назад Юрию Долгорукому — Святослав дарит своему свойственнику «пардуса», копируя, таким образом, ситуацию, предшествовавшую первому браку его сына.

Не менее существенно, конечно, что Ростислав, как в свое время и Юрий Долгорукий, уже при жизни Святослава Ольговича проявляет особенный интерес к его старшему сыну Олегу (главному герою этой главы), пытаясь не только сделать того своим близким союзником, но даже и оставить на какое-то время при себе в Киеве[1]. Попытка эта, как известно по летописи, не удалась, однако внезапный отъезд Олега из Киева отнюдь не привел к ссоре его отца с Ростиславом Мстиславичем[2].

Вообще складывается впечатление, что в ту пору Олега пытаются привлечь на свою сторону и свойственники, и кровные родственники. Ростислав, как мы видим, поначалу не преуспел в этом, тогда как его сопернику, двоюродному дяде Олега, Изяславу Давыдовичу, это вполне удалось. Тем не менее, отец Олега, Святослав, в очередной раз не захотел участвовать в предприятии своего кузена Изяслава Давыдовича против Ростислава Мстиславича, хотя к Давыдовичу в тот момент присоединились и родные племянники Святослава, и его собственный сын [ПСРЛ, II: 514]. Ростислав же, как это было, по-видимому, ему вполне свойственно, не сумев немедленно «завербовать» наследника Святослава Ольговича, лишь отложил этот замысел, а не отказался от него вовсе.

Не менее любопытен (в перспективе взаимоотношений двух свойственников) подробный летописный рассказ о том, как Ростислав Мстиславич воспринял известия о кончине своего свата. Именно это сообщение наводит Ростислава на мысль, так и неосуществленную

болми и горностаими . и чернъıми кунами . и песци и бѣлъıми волкъı . и рыбьими зубъı . на заоутрие же . позва . Ст҃ославъ . Ростислава к собѣ на ѡбѣдъ . и тако . бъıста весела па҃ вчерашнего дн҃и да Ст҃ославъ Ростиславу пардусъ . и два конѧ борза . оу ковану сѣдлу . и тако розидостасѧ оу своѩси» [ПСРЛ, II: 504].

[1] Ср.: «Том же лѣ҃ посла Ростиславъ къ Ст҃ославу река ему пусти ко мнѣ дѣтѧ Ѡлга . ать познаеть Киѩнъı лѣпшиѩ и Берендичѣ . и Торкъı Ст҃ославъ же безо всѧкого извѣта пусти ему . сн҃ъ свои . Ѡлегъ» [ПСРЛ, II: 512, под 6669 г.].

[2] «…злии члв҃ци не хотѧче добра межи бра҃ею видити тако створиша . Ростиславъ же пусти Ѡлга къ ѿц҃ю Ѡлегъ же пришедъ къ Черниигову не ѩви того ѿцю» [ПСРЛ, II: 513].

до самой смерти, о пострижении в монашество или, по крайней мере, о сложении с себя власти и удалении от мирской жизни [ПСРЛ, II: 529–531]. Его беседы об уходе из мира с печерским игуменом Поликарпом явно демонстрируют, что Ростислав, если так можно выразиться, мерил собственную жизнь по жизни Святослава Ольговича, и внезапная смерть последнего заставила его задуматься о близости собственного конца, о возможности «напраснъıѩ смр҃ти»[1].

Обыкновенно, насколько мы можем судить по летописям, такое уподобление судеб было возможно, когда в качестве образцового мыслился жизненный путь кого-либо из князей, принявших мученическую кончину, или речь шла о самых близких кровных родственниках, отце или деде[2]. Таким образом, в случае с союзом, некогда заключенным между сыном Ростислава Мстиславича и дочерью Святослава Ольговича, мы имеем дело, по-видимому, с отношениями, лежащими не только и не столько в области немедленной военно-политической тактики (хотя и она в свое время не сбрасывалась со счетов), но с длительной, глубинной стратегией межсемейных родовых связей, то сугубо подспудно, то более явно влиявших на династическую жизнь Рюриковичей. Как кажется, именно союзы такого рода не допускали окончательного и бесповоротного разрыва между ветвями династии, несмотря на всю силу текущих конфликтов.

Как мы попытались продемонстрировать, для Ростислава женитьба овдовевшего Олега Святославича на его дочери позволяла восстановить ту основательную и устойчивую связь с линией Ольговичей, которая в значительной степени была подорвана смертью Святослава Ольговича. Жена Романа, уже 15 лет назад отделившаяся от своей черниговской родни и остававшаяся с мужем в Смоленске, теперь не могла, по-видимому, служить достаточно надежным соединительным звеном между своими братьями и Киевом. Благодаря же замужеству Агафьи, киевский князь, помимо всего прочего, обеспечивал себе естественное старшинство над главными представителями чернигов-

[1] Ср. «…молвѧше бо Ростиславъ часто то слово . къ игумену Печерьскому . Поликарпу тогда игумене ѿ пострижениѩ егда же приде ми вѣсть . и Щернигова . ѡ Ст҃ославли смр҃ти Ѡлговича» [ПСРЛ, II: 529].

[2] Ср., напр., описание кончины Святослава Всеволодича, когда он соотносит собственную смерть с днем свв. Маккавеев, поскольку именно к этому празднику оказались приурочены кончины его деда и отца (об этом эпизоде см. подробнее: [Бережков 1963: 138–151]).

ского дома. Святослав Всеволодич приходился ему родным племянником по сестре, и коль скоро Олег становился теперь его зятем, Ростислав мог брать на себя роль своеобразного третейского судьи над всеми Ольговичами.

Выше уже отмечалось, что еще более выгодным (если не сказать — жизненно необходимым) этот союз был для Олега Святославича. С одной стороны, в новой, куда менее комфортной для него династической ситуации, Олегу удается как бы еще раз подтвердить свой родовой статус, сделавшись зятем очередного киевского князя, одного из Мстиславичей, некогда противостоявших Юрию Долгорукому. С другой стороны, он получает, что еще более существенно, практическую поддержку могущественного тестя. В том, что эта поддержка была вполне осязаемой, мы узнаем из известий, помещенных в летописи буквально под следующим годом после сообщения о свадьбе Олега и Агафьи Ростиславны.

В этом году разворачивается новый этап несогласия кузенов, Святослава Всеволодича и Олега Святославича: во Вщиже умирает их троюродный брат, Святослав Владимирович, последний представитель линии Давыдовичей, и сидящий в Чернигове Святослав Всеволодич отдает Вщиж вовсе не нашему Олегу, а его полному тезке — собственному сыну Олегу Святославичу. При этом некую «лепшую волость» (по-видимому, Стародуб) Святослав Всеволодич передал своему родному брату Ярославу, и произошло это снова в обход кузенов, прежде всего интересующего нас Олега. Согласно показаниям летописи, Ростислав принял в этом конфликте сторону зятя и много раз посылал к племяннику, «велѧ ему оу правду надѣлити Ѡлга . и добра имъ хотѧ» [ПСРЛ, II: 525].

Поначалу Ростиславовы уговоры ничего не дали, и соперники перешли к военным действиям, причем Всеволодичи в какой-то момент затеяли поход на Новгород-Северский. Однако посредничество киевского князя, по-видимому, все же возымело определенный результат: войско Ярослава Всеволодича не дошло до Новгорода, — Ростислав, узнав о болезни Олега, велел зятю мириться с двоюродными братьями. Для Олега мир этот оказался небесплоден, потому что при его заключении он получил от Святослава некие четыре города и «правда» (хотя бы отчасти) была восстановлена.

Ситуация в летописи представлена таким образом, что Ростиславу не было нужды прибегать к военному вмешательству, скорее, он берет

на себя миротворческие функции отца, улаживающего дела своих подросших подопечных. Еще в большей степени эта интенция проступает в рассказе о поездке, предпринятой Ростиславом накануне смерти, когда он поочередно объезжает родных сыновей и зятя, Олега, причем его поездка сопровождается как церемониальными мероприятиями, так и разрешением текущих конфликтов [ПСРЛ, II: 528–529]. Нетрудно убедиться, что в этом описании роль зятя немногим отличается от роли родных сыновей киевского князя, хотя в летописи мы не найдем указаний на то, чтобы Ростислав именовал Олега *сыном*, а тот его *отцом*, подобно тому как много лет спустя будут именовать друг друга *отцом* и *сыном* Рюрик Ростиславич и его зять Роман [Литвина & Успенский 2012: 142–144]. Тем не менее, можно утверждать, как кажется, что в отношениях Ростислава и Олега реализуется, пусть и в ослабленном виде, такая модель княжеских взаимоотношений, когда для зятя, не имеющего ни родного отца, ни родных дядьев, ни родных старших братьев, свойство́ хотя бы на время приравнивается к кровному родству и, соответственно, тесть берет на себя отцовские функции.

Однако Ростислав, который, по меркам той эпохи, был уже весьма немолод, умирает, как уже говорилось, всего лишь несколько лет спустя после свадьбы Олега и Агафьи (напомним, что, согласно летописи, мысли о возможной кончине все чаще посещали его после смерти родного отца Олега, Святослава Ольговича). Был ли в таком случае союз Олега с Ростиславной сугубо тактической затеей, рассчитанной лишь на немедленную помощь в противостоянии с кузенами? Сохраняет ли Олег сколько-нибудь тесные отношения с мужской частью семьи Ростислава Мстиславича после его смерти?

Казалось бы, всех ближе Олегу мог быть Роман Ростиславич, второй участник перекрестного брака, много лет женатый на родной сестре Олега. Тем не менее, никаких данных, указывающих на особенную близость, ни до женитьбы Олега на Агафье, ни долгое время после мы в летописи не находим, разве что в 6668 г. им пришлось участвовать в одном и том же походе на Вщиж, но речь шла о мероприятии, предпринятом довольно обширной группировкой князей, а отнюдь не об их личном замысле [ПСРЛ, II: 509]. Другие братья Агафьи тоже довольно долго не упоминаются в связи с Олегом Новгород-Северским.

Однако это забвение связей по свойству́ лишь кажущееся. О том, что отношения между двумя семьями постоянно поддерживались, можно судить, например, по действиям Игоря, младшего брата и преданного союзника Олега, о котором нам еще предстоит упомянуть ниже. Плоды

для Святославичей эта связь по свойству́ принесет лишь позднее. Довольно много лет спустя после кончины Ростислава, когда кузен и давний соперник Олега, Святослав Всеволодич, по-прежнему владеющий черниговским столом, вступает в борьбу за стол киевский, выясняется, что противостояние между ними не забыто, как не забыто и свойство́ Олега с домом Ростислава. В 1174 г. Олег, вероятно, воспользовавшись благоприятным моментом, разоряет владения Святослава, Святослав же, вернувшись в Чернигов, отплачивает Олегу разорением его волостей ([ПСРЛ, II: 579]; о датировке событий см.: [Бережков 1963: 190]). Приблизительно через год Олег снова пытается пойти на Чернигов или, по крайней мере, заполучить Стародуб, но теперь, как сообщает летопись, он посылает за помощью к своим шурьям Ростиславичам, и те в самом деле такую помощь оказывают.

Таким образом, мы можем заключить, что усилия Святославичей не пропали даром, и потомки Ростислава все эти годы в той или иной степени продолжали поддерживать те союзнические отношения, которые были заложены их отцом. Самый характер их помощи Олегу заставляет предположить, что она не простиралась далее тех границ, которые были намечены Ростиславом: они пожгли Лутаву и Моровийск, но предпочли не идти ни к Чернигову, ни даже к Стародубу, помирившись со Всеволодичами, которые, напомним, приходились им кузенами, будучи сыновьями их тетки.

Очевидно, Ростиславичи считали достаточно незыблемыми границы черниговских владений Святослава Всеволодича, определившиеся при жизни их отца, но при этом находили возможным помогать своему шурину военной силой в соперничестве с ним[1]. Характерно, что именно в этой ситуации впервые — спустя десятилетие после женитьбы Олега на их сестре — Ростиславичи именуются *шуринами* новгород-северского князя [ПСРЛ, II: 599].

Эти события, на наш взгляд, лишний раз подтверждают, что брак Олега был важнейшим звеном в стратегических построениях Ростислава Мстиславича относительно Ольговичей, — построениях, которые подолгу могли быть незаметны для внешнего наблюдателя, но

[1] Немаловажно, разумеется, что старший из Ростиславичей, Роман, как и Святослав Всеволодич, претендовал в ту пору на киевское княжение и был заинтересован в своеобразной демонстрации своих военно-политических возможностей, но едва ли был готов к серьезной войне со Всеволодичем на территории, принадлежавшей последнему.

срабатывали, едва лишь к тому появлялась возможность. История перекрестного свойства́ двух семей демонстрирует, таким образом, что внутридинастический брак мог быть не только орудием сиюминутной военно-политической тактики, но и средством настройки более сложных и существенных династических механизмов.

Как мы уже упоминали, препятствия к политически соблазнительному, но нарушающему церковные каноны браку Олега с Агафьей оказались сниженными. Свою роль здесь сыграли, по меньшей мере, два фактора. Олег со времени смерти своего отца пребывал в ссоре с тогдашним черниговским епископом Антонием, тем самым иерархом, который мог бы осуществлять высший надзор за соблюдением канонов при женитьбе одного из князей черниговского дома и, будучи архиереем из Византии, безусловно, был хорошо знаком с соответствующими запретами на близкородственные или близкосвойственные браки.

Однако, как известно из летописи, в конфликте двух кузенов Антоний не просто принял сторону Святослава Всеволодича, но сделал это, так сказать, в особенно изощренной форме, преступив клятву и нарушив обещание, данное матери Олега и дружинникам его только что скончавшегося отца [ПСРЛ, II: 522–523]. Очевидно поэтому, что у Олега, на ком бы он ни женился, едва ли была другая возможность обвенчаться, кроме как обратившись к местному духовенству в Новгороде-Северском или в одном из подвластных ему мелких городов. Возможно также, что его второй брак венчал кто-то из находившихся при нем священников. Отца Олега, при котором ситуация со свадьбой приняла бы, возможно, иное течение и состоялась бы, скорее всего, в Чернигове, как мы знаем, не было в живых.

Что касается матери Олега Святославича, столь деятельно пытавшейся передать Чернигов своему сыну после кончины мужа, то ее толерантность ко вступлению Олега в брак со слишком близкой свойственницей могла объясняться не только совершенно явной и несомненной заинтересованностью в политическом успехе собственных сыновей (напомним, что Олег должен был отстаивать как свои властные привилегия, так и права младших братьев, Игоря и Всеволода), но и спецификой ее личного матримониального опыта. Дело в том, что ее брак со Святославом Ольговичем был заключен в Новгороде в 1136 г. вопреки прямому волеизъявлению тамошнего архиепископа Нифонта:

> …владыка Нифонтъ его не вѣнца, ни попомъ, ни чернцмъ не да на свадбу ити, глаголя: «не достоить ти ея пояти» [ПСРЛ, III: 24, 209].

Мы ничего не знаем о происхождении будущей жены Святослава, но, судя по тому, что, согласно летописи, запрещая этот брак, Нифонт использует в качестве прямой цитаты слова Иоанна Крестителя, обращенные к царю Ироду, взявшего в жены вдову своего убитого брата (*Мф*. 14, 4) [Schweier 1995: 44; Литвина & Успенский 2010: 43], реакция архиепископа могла быть спровоцирована нарушением некоего церковного запрета в области браков со свойственниками (аргументацию см. подробнее в работе: [Литвина & Успенский 2013: 79–80]). Таким образом, перед глазами Олега Святославича был самый непосредственный из всех возможных семейных прецедентов — его собственные родители были обвенчаны с нарушением неких правил, хотя на нарушение это публично указал епископ. Святослав, как известно, обвенчался тогда «своими попы»[1]. Тем легче было его сыну, вступавшему, как и отец, во второй брак, действовать не вполне каноническим образом, и тем меньше оснований было у вдовы Святослава возражать против такой свадьбы[2].

Итак, относительно «стороны Олега» у нас нет ни малейших сомнений в том, что брак с Агафьей Ростиславной был ему необходим, препятствия же к этому союзу представлялись куда меньшими, чем это могло быть в обычной ситуации княжеского сватовства[3]. Насколько

[1] Характерно, что роль собственного духовенства в жизни Святослава Ольговича отмечается в летописании неоднократно. Так, в Ипатьевской летописи мы находим упоминание о том, что в качестве посланника с обличительной речью к кузенам Давыдовичам Святослав отправляет «попина своего» (духовного отца, по предположению Н. М. Карамзина [Карамзин, II: 128, гл. 12]) [ПСРЛ, II: 332]. Знаменательно, кроме того, что свое княжение в Новгороде Святослав начинает со строительства (?) и освящения церкви во имя своего патронального святого, игравшей, по-видимому, для него роль домового храма, где он и был обвенчан [ПСРЛ, III: 24, 209].

[2] Как уже говорилось, еще одного потенциального участника свадебного сговора, а именно, матери Агафьи, в ту пору, возможно, уже не было в живых (подробнее см. выше, ч. I, гл. 5, с. 90–92 наст. издания). Поскольку княгиня и — не в меньшей степени — ее родня обычно играли большую роль в обустройстве свадеб, то частичное сиротство невесты, из-за которого принятие решений целиком и полностью отдается отцу, могло упрощать заключение канонически неправомочного брака.

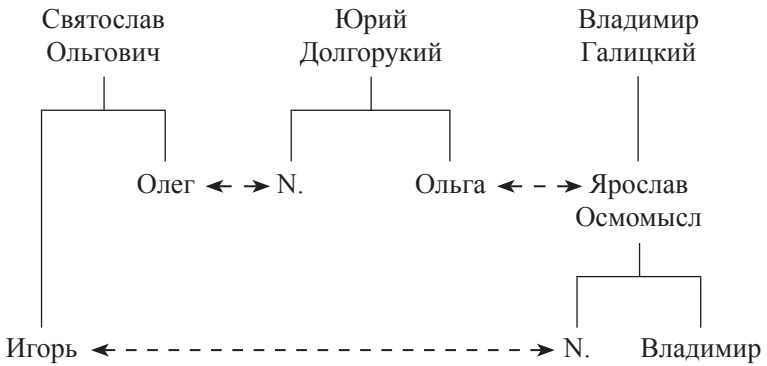
[3] Можно было бы предположить, что у «стороны Агафьи» также существовал свой собственный, смягчающий остроту нарушения церковного правила семейный прецедент. Дело в том, что родной племянник Ростислава Мстиславича, сын его брата Изяслава, был женат на польской княжне, дочери Болеслава Кривоустого. При этом в исследовательской литературе со времен О. Бальцера (1895 г.)

в этой семье считали возможным пренебречь нежелательно близким свойством при выборе брачного партнера, насколько важен был для

сложилось мнение, согласно которому дочка Изяслава состояла в браке с сыном Болеслава Кривоустого Мешко III [Balzer 2005: 324–327]. При таком понимании дела оказывается, что племянники Ростислава состояли в перекрестном браке с членами польского правящего рода. Нельзя ли предположить, что эта ситуация послужила своего рода образцом для действий Ростислава Мстиславича, который счел допустимым перекрестный брак и для своих собственных детей — Романа и Агафьи? Несмотря на кажущуюся близость двух матримониальных ситуаций, нам такое объяснение представляется весьма спорным. С одной стороны, междинастические браки являли собою самостоятельную систему, во многом не пересекающуюся с системой браков внутридинастических. Так, матримониальное поведение русских княжон, выданных замуж за пределы Руси, могло весьма радикально отличаться от поведения их родственниц, вступивших в брак на родине. Во многом здесь срабатывала тактика «отрезанного ломтя»: за исключением тех случаев, когда Рюриковна, выйдя замуж за иностранного династа, по тем или иным причинам вынуждена была вернуться в отцовскую семью, ее судьба как бы выпадала из пределов компетенции ее русской родни. Несколько иными были и, так сказать, узуальные нормы в области свойствá и родства, что, впрочем, неудивительно, особенно в тех случаях, когда речь шла о браках между представителями не только разных династий, но и разных конфессий. Иными словами, в целом едва ли можно говорить о прямом переносе моделей междинастических браков на браки внутридинастические. В конкретном случае с детьми Изяслава и Ростислава Мстиславичей можно было бы принять во внимание особую тесноту контактов двух этих семей и своеобразные отношения союзничества / соперничества, установившиеся между двумя группами кузенов, которые в семейном обиходе охотно воплощались в сознательном копировании определенных схем. В таком случае допущение, что польские браки детей Изяслава повлияли на русские браки детей Ростислава, выглядело бы более правдоподобным. Однако главным препятствием для такого рода построений служит тот факт, что ни в одном источнике, ни русском, ни польском, не указывается, что женой Мешко III была дочь Изяслава Мстиславича, как неизвестна и дата этого брака. Происхождение второй жены польского князя реконструируется исследователями на основании сообщения о том, что она была дочерью некоего «короля Руси» (т. е., скорее всего, киевского князя) и вышла замуж предположительно в 50-е гг. XII в. На роль ее отца, таким образом, «подходит» целый ряд русских князей, попеременно занимавших киевский стол в это бурное время. Д. Домбровский, например, самой вероятной считает кандидатуру Юрия Долгорукого ([Dąbrowski 2008: 677–686], с указанием литературы; впрочем, в русской версии этой работы данное предположение подвергается значительной корректировке: [Домбровский 2015: 715–725]). Иначе говоря, самое существование перекрестного брака в семье Изяслава Мстиславича достаточно сомнительно, и, соответственно, учитывая всю неоднозначность соотношения между внутридинастическими и междинастическими браками русских князей, его едва ли следует указывать в качестве непосредственного образца для действий Ростислава Мстиславича.

сыновей Святослава Ольговича всякий шанс внешней поддержки; как они стремились копировать матримониальную стратегию своего отца, можно судить, помимо всего прочего, по браку родного брата Олега, Игоря Святославича. Как мы уже упоминали, Рюриковичи предпочитали не вступать в брак со свойственниками не только в 4-й, но и в более отдаленной степени — 5-й. Женитьба же Игоря была одним из немногих отступлений от этой нормы.

Этот князь взял в жены родную сестру Владимира Ярославича Галицкого, хотя первая жена его брата Олега, дочь Юрия Долгорукого, приходилась супруге Игоря родной теткой, так как Владимир Галицкий и эта его сестра были детьми Ярослава Осмомысла и Ольги, еще одной дочки Юрия Долгорукого.



Игорь был намного моложе своего брата[1], и время женитьбы для него пришло, вероятно, вскоре после смерти отца. Трудно сказать, успела ли его мать устроить этот брак до своей кончины или матримониальными делами своего брата занимался уже Олег, «виновник» нежелательного свойства́. В любом случае, данный пример демонстрирует, как братья, обделенные своим кузеном Святославом Всеволодичем и претерпевшие значительное понижение династического статуса, искали союзников где только возможно, стремясь использовать образцы, некогда зарекомендовавшие себя как успешные. Святослав Ольгович в свое время женил старшего из своих сыновей на дочке

[1] Игорь Святославич появился на свет в 1151 г. [ПСРЛ, II: 422].

Юрия Долгорукого, младший же теперь становится мужем его внучки. Юрий Долгорукий некогда весьма выгодно породнился с галицкими князьями, теперь же братья Святославичи, потерявшие Чернигов, стремятся воспроизвести и этот стратегический ход.

Однако в новую эпоху события развиваются уже по иному сценарию, и не Владимир Ярославич, шурин Игоря, оказывает ему поддержку в борьбе за черниговское наследие, но, напротив, Игорь, судя по показаниям летописи, стал единственным, кто долгие годы спустя приютил у себя изгнанника Владимира, поссорившегося с отцом. Любопытно, впрочем, что отношения Игоря со своим тестем, Ярославом Осмомыслом, оставались, по-видимому, куда лучшими, чем взаимоотношения последнего с собственным сыном, поскольку Игорь выступал посредником в деле их примирения и добился в этом хотя бы временного успеха [ПСРЛ, II: 633–634]. Таким образом, указанный неканонический брак также оказался достаточно результативен с точки зрения долгосрочных династических выгод, правда, не тех, на которые, по-видимому, рассчитывали Святославичи во времена его заключения[1].

Насколько для всех братьев был важен брак старшего из них, Олега, и насколько актуальной была поддержка Олеговых шурьев, становится очевидным, помимо всего прочего, и из наречения еще одного Игорева сына. Речь идет о Романе, появившемся на свет в 70-е гг. XII в. (скорее всего, в первой их половине, в 1171–1174 гг.)[2], в ту пору, когда Ростислава, могущественного тестя Святославичей, уже не было в жи-

[1] Для них выгоды (или, по крайней мере, немаловажные последствия) этого брака проявились гораздо позднее, когда Владимира Ярославича уже не стало. В Черниговском княжестве, как известно, нашел убежище *кормиличич* Владимира, Володислав, и он же долгое время спустя, уже после гибели другого галицкого князя, пытался склонить галицкое боярство к тому, чтобы они приняли на княжение сыновей Игоря Святославича Новгород-Северского, приходившихся Владимиру Галицкому родными племянниками по сестре [ПСРЛ, II: 718]. Подобная попытка получения стола на основании родства через женщин — явление весьма нечастое в династии Рюриковичей. Меру ее успешности оценить трудно, так как Игоревичи, поначалу принятые благосклонно, были впоследствии повешены горожанами. Такого рода казнь князей — событие, пожалуй, еще более уникальное, чем наследование стола через женщин. Трудно сказать, как далеко простирались с самого начала планы их отца и дяди в ту пору, когда затевался брак Игоря с галицкой княжной. Однако редкостная весомость этого свойства́ и возникшего в качестве его результата кровного родства более чем очевидна.

[2] См. подробнее ниже: ч. III, гл. 2 (§ 3), с. 306–307 наст. издания.

вых. Имя *Роман* не было абсолютно чуждым для черниговских князей, однако не появлялось в этой ветви династии довольно долго. Если иметь в виду предков, то последним так звали Романа Святославича, внука Ярослава Мудрого, убитого собственными половецкими союзниками. Странным образом, его братья это имя при наречении своих детей не использовали, тем самым для внуков Святослава Ярославича, насколько мы можем судить по летописям, оно попросту оказалось не задействовано, как нет его и среди правнуков[1].

Иначе говоря, неожиданное воскрешение в семье Игоря имени двоюродного прадеда, погибшего давным-давно, без малого за сто лет до рождения ребенка, требовало, по-видимому, каких-то особых причин. Скорее всего, при наречении Романа Игоревича имелась в виду не столько фигура этого отдаленного кровного родича, сколько образ живого свойственника — старшего сына покойного Ростислава Мстиславича, Романа. Выбор имени для ребенка мог быть сделан в преддверии той военной помощи, которую свойственники Олега окажут ему и его братьям, но мог быть и непосредственным актом благодарности за нее. О том, что отца новорожденного, князя Игоря, достаточно рано связывали с Ростиславичами особые отношения, свидетельствует и еще одно обстоятельство: в 1171 г., после победы над половцами, Игорь, по сообщению Ипатьевской летописи, везет им к празднику *саугат* — подарки, выбранные из военных трофеев [ПСРЛ, II: 569].

По всей видимости, родные братья Святославичи — Олег, Игорь и Всеволод — были весьма тесно связаны друг с другом. Этот родственный союз сомнений не вызывал и специальных регулярных подтверждений не требовал. Однако для укрепления своих позиций они нуждались во внешней поддержке, и здесь им приходилось рассчитывать исключительно на свойство́, которое они вполне последовательно подкрепляли и актуализировали традиционными династическими средствами, от даров до имянаречения.

[1] В следующем же поколении черниговского дома, помимо нашего Романа Игоревича, есть и еще один *Роман* — Роман Глебович Рязанский, однако его родство с Ольговичами является весьма отдаленным: он происходит от младшего из сыновей Святослава Ярославича, Ярослава. Степень генеалогической дистанцированности Романа Глебовича от потомков Олега проявляется хотя бы в том, что он мог, не нарушая канонических установлений, жениться на его правнучке [ПСРЛ, II: 614], которая приходилась Роману кровной родственницей в 8-й степени, дозволенной для женитьбы.

Так или иначе, в этой семье черниговских князей мы встречаемся с достаточно ярко выраженной каскадностью нарушений церковных запретов: отец вступает в непозволительный (с точки зрения новгородского архиепископа) брак, а впоследствии для двух его сыновей оказывается возможным жениться на заведомо слишком близких свойственницах. «Дурной» семейный прецедент играет здесь не меньшую роль, чем в случае с нарушениями запретов на браки между кровными родственниками.

* * *

Существуют, на наш взгляд, и другие — более общие, хотя и не столь непосредственные — причины, спровоцировавшие неканонические браки Святославичей. На рубеже 40-х — 50-х гг., как мы попытались показать выше, сформировался целый ряд весьма продуктивных моделей, имеющих отношение к внутридинастическому браку, причем модели эти ассоциировались с самыми разными сторонами политической и обиходной жизни династии. Сложились даже своего рода церемониальные образцы: как, например, князьям черниговского дома следует затевать сватовство с представителями других ветвей рода. Что еще более существенно, воочию была продемонстрирована надежность и эффективность союзнических отношений между сватами — князьями, породнившимися благодаря браку своих детей или подопечных.

В этом отношении весьма характерна фигура Юрия Долгорукого, главы огромного семейства, сделавшегося своеобразным «гением русского свойства́». Семейная стратегия его племянника и соперника, Изяслава Мстиславича, основывалась на приемах, успевших на протяжении XI и начала XII столетий сделаться традиционными, поскольку дома он стремился предельно педалировать и актуализировать все уже существующие связи кровного родства [Лавренченко 2012: 61–66; Лавренченко 2012а], а союзников по свойству́ искал и находил за пределами Руси.

Матримониальная же стратегия Юрия была не столь очевидна. О браках значительной части весьма многочисленного потомства Долгорукого у нас попросту нет никаких надежных генеалогических сведений. На этом фоне тем более ценна та информация о женитьбах его близких, которую составители летописей сочли нужным зафикси-

ровать. Мы уже говорили о том, что свёкры его дочерей были едва ли не главным ресурсом Юрия в борьбе за киевский стол, успел проявить себя в качестве его деятельного помощника и один из зятьев, муж Ольги Юрьевны.

Не менее любопытна в перспективе исследования свойствá и та несомненная и последовательная преданность, которую выказывал по отношению к Долгорукому Юрий Ярославич Туровский, муж одной из Всеволодковен. Юрий Ярославич к моменту своей женитьбы не имел непосредственной опоры в лице ближайших кровных родственников: у него не было ни родных братьев, ни могущественного отца или дяди. При таком дефиците родства функции старшего покровителя могли перейти на тестя, однако невеста Юрия Ярославича также лишилась отца еще до свадьбы, а вскоре после заключения их брака умер и ее опекун, Всеволод Ольгович.

В сущности, никого более близкого из старших, чем родной дядя Всеволодковны, т. е. Юрий Долгорукий, у супругов попросту не осталось. Зато его личное могущество и династические чаяния были настолько велики, что относиться к этому не столь уж близкому свойственнику как к отцу и тестю было в высшей степени естественно и выгодно. Вместе с тем, князь, владевший Туровом, едва ли мог считаться «бедным родственником», а потому Юрий охотно исполнял по отношению к этому своему тезке функции тестя-отца. При такой трактовке становится понятнее, почему Долгорукий столь легко отправляет Юрия Ярославича с поручениями и в то же время явно прислушивается к его советам в переговорах с Мстиславичами, сыновьями своего единокровного брата. Таким образом, хотя и не сам Долгорукий организовывал брак своей родственницы с туровским князем, он сумел эти отношения свойствá усилить и извлечь из них максимальную пользу. Условно говоря, собственные племянники долгое время были для него врагами, случались у него конфликты и с родными сыновьями, тогда как муж племянницы оставался его верным помощником.

В целом, очевидно, что в своей династической борьбе Юрий Долгорукий опирался, в первую очередь, на свойствó, приобретенное на Руси. Эта тактика оказалась весьма перспективной: сваты и младшие свойственники на всем протяжении жизни Юрия были для него не менее надежными союзниками, чем кровные родичи для его племянника Изяслава Мстиславича. На будущее был задан своеобразный идеал отношений свойствá как образца нерушимой договоренности, безупречно устойчивой, по крайней мере, до тех пор, пока живы те, кто этот союз обустраивал. Если вспомнить, например, что Мстислав Великий успел навсегда рассориться с двумя из трех своих зятьев Рюриковичей, то успех матримониальных построений 40-х — начала 50-х гг. оказывается еще более наглядным. Своеобразным «последним аккордом» матримониальной стратегии Долгорукого можно считать события 1155 г., когда он в одну зиму женил сразу двух своих сыновей, Мстислава и Глеба: одного — на знатной новгородке[1], а другого — на дочери черниговского князя Изяслава Давыдовича[2].

[1] Поддержка новгородской знати для князя, который стремился усидеть в Киеве, а сына по традиции держать в Новгороде, значила очень многое. Во всяком случае, тесть Мстислава Юрьевича назван в летописи по имени, и его роль в процедуре свадебных переговоров была, по-видимому, весьма заметной. Вообще говоря, браки детей Юрия, заключаемые на Руси с людьми некняжеского происхождения, нуждаются в отдельном исследовании. Мы можем с достаточной уверенностью предположить, что такой матримониальный союз был устроен, по крайней мере, для одной из дочерей Юрия, причем ее сын от этого брака рассматривался, по-видимому, как вполне достойный родич. Именно он стал главой свадебного посольства, когда его кузину, дочь Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, отдавали замуж за сына Рюрика Ростиславича. Мы полагаем, что и жена самого Всеволода Большое Гнездо, Мария Шварновна, была дочерью местного боярина Шварна, а не иностранкой, но в исследовательской литературе присутствует и другая точка зрения. См. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 368–381; Литвина & Успенский 2006а: 334–347].

[2] Хронологически события 1155 г. выходят за пределы периода, обсуждаемого в нашей работе, но было бы не совсем корректно вовсе оставить без внимания самую, пожалуй, рискованную часть этой матримониальной комбинации, устроенную Юрием на родине. Речь идет о браке Глеба Юрьевича с дочкой Изяслава Давыдовича [ПСРЛ, II: 482], ставшего после смерти Изяслава Мстиславича основным конкурентом Юрия. Результаты этого межсемейного альянса оказались не столь стабильными, как договоренности, существовавшие благодаря замужеству дочерей и племянницы Долгорукого, что вполне объяснимо — уж слишком противоположны были в данном случае интересы князей-отцов. Существенно, однако, что поначалу благоприятные последствия союза Изяслава и Юрия давали о себе знать: они предотвратили готовившуюся между этими князьями войну. Кроме того, Изяслав, Юрий и Святослав Ольгович совместно заключили мир с половцами [ПСРЛ, II: 485]. Первое охлаждение между сватами летописец объясняет советами другого свойственника Долгорукого, его зятя Ярослава Осмомысла. Перед нами разворачивается своего рода конкуренция между свойственниками, подобно тому как в других ответвлениях династии Рюриковичей то и дело возникает ситуация конкуренции между кровными родственниками. В дальнейшем стремление Изяслава Давыдовича добиться киевского стола и организация им военного по-

Однако задав столь эффектный и эффективный образец, Юрий одновременно лишил множество своих династических родичей шанса легитимно следовать ему в ближайшее время: всякая интенсификация отношений внутриродового свойства́, всякий внутридинастический брак, как мы помним, закрывает каноническую возможность женитьбы для довольно широкого круга лиц, связанных с брачующимися. Замужества Всеволодковен, внутридинастические женитьбы детей Юрия и Святослава Ольговича как бы исчерпали наперед запас браков как инструмента примирения между Мономашичами и черниговскими Рюриковичами, например. В обстановке острейшей борьбы за киевский стол князья естественным образом были более озабочены вопросами тактики и, в лучшем случае, ближайшей стратегии, нежели длительной родовой перспективой. Поскольку род к тому моменту достаточно разросся, княжеские семьи приспособились разными путями извлекать немалую пользу из браков между своими, не нарушая при этом церковных установлений. Однако 10–15 лет спустя новые внутридинастические конфликты (быть может, не столь острые в общеисторическом масштабе, но не менее насущные для их участников) вновь подталкивали русских князей прибегать к столь хорошо зарекомендовавшему себя средству, как внутридинастический брак, хотя желательного числа дозволенных «вакансий» для таких союзов еще не накопилось.

Иными словами, канонические нарушения, до тех пор вовсе нехарактерные для династии Рюриковичей, в самом конце 50-х — 60-е гг. XII в., в известном смысле, оказались почти неизбежными последствиями династической войны предшествующего периода. Именно

хода против Юрия, казалось бы, несколько дезавуируют абсолютную успешность матримониальной стратегии последнего. Однако и это не совсем так, поскольку никакого похода и никакой битвы между Изяславом Давыдовичем и Юрием так и не состоялось: весть о кончине Долгорукого пришла к Изяславу в тот самый день, когда он собрался выступить на Киев. В летописи мы находим специальное упоминание о том облегчении, которое испытал Изяслав, избавившись от необходимости воевать со сватом: «ѡнъ же прослезивъсѧ . и руцѣ въздѣвъ к Бу҃ и ре҃ блг҃нъ еси Гі҃ ѡже мѧ еси росудилъ с нимъ . смр҃ть а не кровопролитьемъ» [ПСРЛ, II: 489]. Замысел же этого похода в очередной раз демонстрирует, что кровные родичи Долгорукого (племянник Ростислав и внучатый племянник Мстислав Изяславич) были готовы примкнуть к его недругу, тогда как свойственник, Святослав Ольгович, остается ему верен, пренебрегая ради этой верности даже собственным кровным родством (Изяслав Давыдович приходился ему двоюродным братом).

на эти годы приходятся два первые из известных нам случая женитьб между кровными родственниками в 6-й (запретной для брака) степени: свадьба Святослава Владимировича Вщижского с дочерью Андрея Боголюбского (1159/1160 г.) и союз его кузины, Анны Юрьевны Туровской, с Рюриком Ростиславичем. Присовокупив к этим случаям интересовавший нас инцидент перекрестного брака, а также случай женитьбы между свойственниками в 5-й степени, мы получаем картину хотя и умеренного, но достаточно частотного нарушения брачных запретов в эпоху с конца 50-х по конец 60-х гг. XII в.

Нарушения эти, однако, отнюдь не превратились у Рюриковичей в регулярную практику. В истории XII столетия они шли, так сказать, волнами, и вторая волна наступила лишь примерно через два десятилетия после первой — в 80-е гг., когда русским князьям понадобилась вся технология отношений свойства́, выработанная прежде.

Глава 7

Княжеская сноха в прошлом, настоящем и в будущем

Интерес к терминологии свойства́ для лингвиста традиционно связан с тем, что этот пласт лексики является одним из древнейших, в нем можно отыскать элементы общеславянского или праиндоевропейского фонда, обнаружить весьма ранние заимствования из других языков. На этом фоне обычно представляется полезным собрать воедино все значения того или иного термина во всех славянских литературных языках и диалектах, где только удастся его обнаружить, рассмотрев их вместе со всеми сколько-нибудь значимыми случаями появления этих слов в древних текстах. Такой синтетический путь позволяет сформировать перспективу, достаточно широкую и в то же время — объемную, именно он дает надежду добраться до глубокой архаики в бытовании слова.

Однако объединяя все и вся в поисках этой архаики, мы рискуем упустить те тонкие, но довольно существенные различия в значениях термина свойства́, каковые существуют в двух близкородственных языках или постепенно возникают в рамках одного и того же языка на протяжении нескольких столетий. Почему, к примеру, древнейшие рус-

ские летописи не знают слова *невестка*? Кого в домонгольской Руси могли называть *ятровью*? Чем отличается древнерусское употребление слова *зять* от его функционирования в различных восточнославянских говорах новейшего времени? Какое лицо может быть поименовано *снохой* в том или ином древнем тексте?

Для того чтобы ответить на все эти вопросы, нужны совсем иные, дифференцирующие подходы к семантике и узусу терминов свойства́, в первую очередь, тех, что с течением веков никуда не делись, но зачастую претерпели существенные сдвиги в своем смысловом наполнении. Точное понимание значения этих слов в конкретную эпоху и в конкретном типе источников имеет ценность не только лингвистическую: зачастую исключительно на присутствии термина *тесть* или *сноха* в тексте приходится реконструировать существование обширных семейно-политических союзов или выстраивать хронологию тех или иных событий. Очевидно, в частности, что в представлениях о мире человека Древней Руси родовые связи играют огромную роль, а терминология родства наделяется целым спектром как прямых, так и переносных значений. Как отделить здесь символику и метафорику от непосредственного указания на тот или иной тип родственных отношений? Всегда ли такое разделение оправданно при анализе древнерусских текстов?

Если мы обратимся к древнейшему летописанию, то увидим, что термин *сноха* появляется здесь заметно реже, чем большинство из терминов, обозначающих свойственников-мужчин (таких, например, как *тесть*, *зять* или *сват*), но при этом слово *сноха* — отнюдь не раритет для летописи. Можно даже составить некий условно-обобщенный портрет женщины, которая в Ипатьевской, Лаврентьевской и в Новгородской первой летописях именуется *снохой*.

Прежде всего, это княгиня. Такого рода социальная ограниченность характеризует, впрочем, не столько функционирование термина как такового, сколько специфику этого типа нарратива, который сосредоточен, в первую очередь, на родовой истории князей Рюриковичей.

Отношения свойства́, как и отношения кровного родства, естественным образом носят двунаправленный характер, и если некий персонаж именуется чьим-то *зятем*, то для его контрагента существует соответствующий парный термин *тесть* или *шурин*. Казалось бы, то же самое должно происходить и со *снохой*, однако в древнейшем летописании мы вовсе не обнаружим парного ей термина *свёкр*, а *свекровь*

встречается лишь единожды, во вводной части «Повести временных лет», где речь идет не о конкретных лицах, а о должном и недолжном в семейном обиходе целых народов:

> Полѧне бо своихъ ѡц҃ь ѡбычаи имѧху . тихъ и кротококъ . и стыдѣньє къ снохамъ своимъ . и къ сестр҃амъ и къ матеремъ свои҃м . и снохы къ свекровамъ своимъ . и къ дѣверемъ велико стыдѣньє имущ҃є . и брачныи обычаи имѣаху . не хожаше женихъ п҃о невѣсту . но привожаху вечеръ . а заоутра приношаху что на неи вдадуче . а Деревлѧни живѧху звѣрьскымъ ѡбразомъ . жівуще скотьскы . и оубиваху другъ друга . ꙗдуще все неч҃то . и браченьꙗ в нихъ не быша . но оумыкаху оуводы дв҃ца . а Радимичи и Вѧтичи . и Северо . ѡдинъ ѡбыча҃и имѧху . живѧху в лѣсѣ ꙗко же всѧкыи звѣр . ꙗдуще все неч҃то . и срамословьє в нихъ предъ оц҃и и пре҃д снохами [ПСРЛ, II : 10].

Разумеется, это вовсе не означает, будто древнерусский узус вовсе не знаком со словом *свёкр* — в нормативных или дидактических текстах оно встречается достаточно регулярно, причем часто *сноха* и *свёкр* фигурируют в рамках одной правовой синтагмы, что только подчеркивает перманентную двунаправленность отношений свойства́; ср., например:

> Аще свекорь съ снохою блоуд*и*ть, митрополитꙋ м҃ гриве*н*, а ѡпите*м*(и)ю прїимоу*т* по законꙋ [Щапов 1976: 88].

Летописца же, коль скоро он повествует о конкретных событиях, по-видимому, просто не интересуют ситуации, где в качестве точки отсчета выступает младшая женщина. Вообще говоря, своеобразный фокус родовой терминологии, как правило, сосредоточен на мужчине, отсчет родовых отношений ведется именно от него[1]. Так, если мы

[1] Не случайно в древнейших летописях за пределами все того же фрагмента из вводной части «Повести временных лет» (см. выше) нигде не встречается и термин *деверь*. Причина отсутствия этого термина ясна: применяется он к мужчине (прежде всего, к брату мужа), однако точкой отсчета в этих отношениях свойства́, очевидным образом, всегда выступает женщина. Напротив, его зеркальный коррелят, термин *шурин* (брат жены), в изобилии присутствует в летописном нарративе.

встречаем термин *зять*, то обычно речь идет о муже дочери или сестры или племянницы некоего князя, а не княгини или княжны. Однако если уж мы заговорили о своеобразной точке отсчета — о лице, по отношению к которому исчисляется родство, — то здесь термин *сноха* скорее выделяется из общего ряда, благодаря некоторой своей смещенности в сторону женской перспективы; рассказчик может употреблять слово *сноха* не только в таких ситуациях, когда речь идет о жене сына какого-либо князя, но и в тех случаях, когда центром повествования является княгиня, фигурирующие же здесь *снохи* — это именно ее снохи:

> …Мьстислав же бѣжа Новугороду . а Ꙗрополкъ Рѧзаню . а Ростиславлюю мт҃рь их . с снохома приꙗша Володимерци [ПСРЛ, I/2: 377]

> …и бѣжа Всеволодъ . и Мстиславъ . и вси людьє бѣжаша в Печернии городъ . а єпс҃пъ Митрофанъ . и кнѧгъıни Юрьєва . съ дчерью . и с снохами . и со внучатъı . и прочиѣ кнѧгини . Володимерѧꙗ с дѣтми . и множство много боꙗръ . и всего народа люди . затворишасѧ в цр҃кви ст҃ыꙗ Бц҃а . и тако ѡгнем҃безъ милости запалени бъıша [ПСРЛ, I: 463]

Можно ли утверждать, что в летописи *сноха* — это всегда и исключительно жена сына? Едва ли, потому что оба элемента этой характеристики нуждаются в оговорках.

Во-первых, хотя и редко, но *снохой* может именоваться не жена сына, а жена младшего брата:

> …и ре҃ Изѧславъ брату своему . Володимеру брате Бъ҃ ти помози . ѡже сѧ еси потрудилъ моеꙗ дѣлѧ чс҃ти и своеꙗ но здѣ пакъı моеи сносѣ . а твоеи женѣ оудолжилос҃ [ПСРЛ, II: 407].

Существенно, что это происходит в такой ситуации, когда отца обоих братьев уже нет в живых, разница в возрасте между ними весьма значительна и старший брат явно выполняет по отношению к младшему, по крайней мере, часть отцовских функций, обустраивая, например, его женитьбу. С другой стороны, нельзя не отметить, что этот старший брат никогда в летописи не именуется *отцом* брата младшего,

хотя переносное использование термина *отец* по отношению к прочим родственникам и свойственникам для этого типа источника — явление вполне обычное.

Во-вторых, термин *сноха* (и в данном отношении он далеко не исключение среди других обозначений свойства́) может употребляться упреждающим образом, еще прежде, чем женщина стала чьей-либо женой; точно так же функционируют в летописи слова *тесть*[1], *зять*[2], *сват*[3] или *мачеха*[4]. Однако временные рамки подобного использования всех этих слов здесь далеко не безграничны. Русские князья могли именоваться свойственниками друг друга не ранее того момента, как был заключен договор о браке, по всей видимости, накладывающий на обе стороны немалые обязательства (см. выше: ч. I, гл. 3, с. 44 наст. издания). Примеры подобного рода упреждающего именования, которые мы обнаруживаем в летописном тексте, говорят о том, что промежуток между договором о браке и самим браком едва ли мог быть

---

[1] Вспомним эпизод из многократно упоминавшегося рассказа о женитьбе Святослава Владимировича Вщижского на дочери Андрея Боголюбского. Прежде чем отправлять свою дочь к Святославу, Андрей высылает к нему военную помощь, причем летописец уже именует его *тестем* Святослава: «…и посла <Андрей Боголюбский. — *А. Л., Ф. У.*> к нему <Святославу Вщижскому. — *А. Л., Ф. У.*> сн҃а своего Изѧслава . съ всимъ полком҃ своимъ . и Муромьскаꙗ помочь . с нимъ зане пришли бѧху Рускии кн҃зи на Ст҃ослава на Володимирича . и ѡступили бѧху въ Вщижи бьꙗшеть же с ними из города . ѡжидаꙗ Изѧслава стръıꙗ своего с помочью . и ѿтъ цте своего ѿ Андрѣꙗ» [ПСРЛ, II: 508–509].

[2] В рассказе о злоключениях Владимира Ярославича Галицкого его племянник, Святослав Игоревич, которому только предстоит жениться на дочери Рюрика Ростиславича, именуется *зятем Рюрика*: «…и на третьєє лѣто <Игорь Новгород-Северский. — *А. Л., Ф. У.*> введе и <Владимира Ярославича Галицкого. — *А. Л., Ф. У.*> в любовь . со ѡц҃мь єго <Ярославом Осмомыслом. — *А. Л., Ф. У.*> . и посла с нимъ (с нимъ) сн҃а своєго . зѧтѧ Рюрикова Ст҃ослава» [ПСРЛ, II: 634].

[3] Вячеслав Владимирович соглашается на мирные предложения, переданные ему Владимиром Володаревичем Галицким, а тот именуется *сватом* Вячеслава, хотя Вячеславовой племяннице еще только предстоит выйти замуж за Ярослава Осмомысла, сына Владимира Галицкого: «кн҃зь же Вѧчеславъ послуша брата своего и свата . Володимира . приемъ въ срⷣци слова его . потъкнусѧ к рѧду и к любви . бѧшеть бо кн҃зь Вѧчеславъ незлобивъ срⷣцемъ» [ПСРЛ, I: 340].

[4] Мстислав Изяславич отправляется встречать будущую жену своего отца, дабы привезти ее в Киев, где еще только предстоит совершиться свадьбе: «На ту же ѡсень посла ѝ ѡц҃ь с вои . противу мачесѣ . с Володимеромъ съ Андрѣєвиче҃ . и с Берендѣи . и ходиша до Ѡлешьꙗ . и не ѡбрѣтше ѥє възвратишасѧ ѡпѧт҃» [ПСРЛ, I: 340].

слишком долгим, во всяком случае, упреждающее употребление такой терминологии лишь при особых обстоятельствах могло растягиваться на несколько лет.

Небезграничен, разумеется, и самый перечень родственников, чьи жены могли именоваться *снохами*. В летописи мы не знаем случаев, чтобы так была названа, к примеру, жена племянника, внука или двоюродного брата, не говоря уже о женах старших родичей. Это утверждение не столь тривиально, как может показаться на первый взгляд, потому что некоторые другие термины свойства́, обозначающие женщин, обладают здесь куда более широкой сферой референции. Так, слово *ятровь* может быть применено к жене родного, двоюродного или троюродного брата, а также к супруге двоюродного дяди[1]. При этом племянник князя может именоваться его *сыном* (ср., например: [ПСРЛ, II: 418]), а вот жена этого племянника *снохой*, как уже говорилось, отнюдь не называется.

Сохраняется ли за женщиной именование *снохи* после того, как одно из действующих лиц, некогда вовлеченное в данные отношения свойства́, ушло из жизни?

Если говорить о трех древнейших русских летописях и их описаниях событий домонгольского времени, то свойство́ здесь терминологизируется лишь в таких положениях, когда все участники ситуации — женщина, ее муж и хотя бы кто-то из его родителей — живы. Отношения свойства́ значимы, как будто, только в некотором «актуальном настоящем». Ради контраста следует отметить, что термины кровного родства в летописном узусе (как, впрочем, и в узусе современном) функционируют совсем иначе. Человек достаточно регулярно именуется *сыном*, *дочерью*, *внуком* или даже *правнуком* какого-либо лица, не только если это лицо живо, но и в тех случаях, когда его уже давно нет на свете. Соответственно, актуальными остаются по отношению к умершим родственникам и именования *отец*, *дед*, *прадед*. Более того, при имени недавно скончавшегося князя весьма нередко указываются имена его давно скончавшихся отца и деда.

[1] Приведем примеры употребления слова *ятровь* по отношению к жене родного брата и к жене брата троюродного. О князе Святославе Ольговиче сообщается, что он вместе со своей семьей увез и жену своего плененного родного брата Игоря Ольговича: «и тако побѣже Сѯславъ из Новагорода Корачевꙋ дроужина же его ѡни по неи҃ идоша . а дроузии ѡсташа его . и жена дѣти с нимъи ꙗтровъ свою Игоревоую поꙗ сособою [ПСРЛ, II: 335]. Вдова Романа Мстиславича Галицкого неоднократно именуется ятровью венгерского короля Андраша II, которому ее покойный супруг приходился троюродным братом (через их общего прадеда Мстислава Великого): «Приде король в Галичь . и приведе ѧтровь свою . великоую кнѧгиню Романовоую . и боѧре Володимерьскъіи Инъгваръ приде из Лоуч҆ка инии кнѧзи свѣтъ створи со ѧтровью своею . и с боꙗры Володимерьскъіми . ре҃ Володи(меръ.)славъ кнѧжитсѧ . а ѧтровь мою въігналъ . ꙗтоу же бывшю Володиславоу» [ПСРЛ, II: 727–728]. Примеры употребления этого термина по отношению к жене двоюродного брата и двоюродного дяди см. ниже в настоящей главе, стр. 145.

Иными словами, прямое кровное родство ни в коей мере не утрачивает своей актуальности для летописца, если кого-то из участников этих родственных отношений уже нет в живых и даже в тех случаях, когда на свете не остается никого из них. Связь же по свойству́ может актуализироваться с помощью специального термина *сноха* лишь начиная с того момента, как состоялась договоренность о ее будущем браке, и только в ту пору, пока все участники ситуации живы.

Так обстоит дело в древнейших русских летописях. Однако за пределами сугубо летописного узуса родовой обиход подразумевает, по-видимому, и другие возможности использования термина *сноха* — более широкие, чем в летописном нарративе, и, с другой стороны, вероятно, более сложные, чем в современной языковой практике.

Первые приметы подобной широты в использовании слова *сноха* заметны уже благодаря включенному в состав Лаврентьевской летописи не собственно летописному тексту — письму Владимира Мономаха князю Олегу Святославичу. Пытаясь преодолеть междукняжеский конфликт, приведший к гибели Мономахова сына Изяслава в битве с Олегом, который, помимо всего прочего, приходился убитому не только двоюродным дядей, но и крестным отцом, Владимир Всеволодич просит отпустить к нему молодую вдову, столь недавно сочетавшуюся браком с Изяславом Владимировичем. Мономах называет ее именно *снохой*, хотя ее мужа уже нет в живых:

> …а сноху мою послати ко мнѣ . зане нѣ҆ в неи ни зла ни добра . да бы҇ ѻбуимъ . ѡплакалъ мужа єꙗ . и ѡны сватбы ею . въ пѣ҆нии мѣ҆ . не видѣхъ бо єю первѣє радости . ни вѣнчаныꙗ ею за грѣхы своꙗ а Ба҃ дѣлѧ пусти ю ко мнѣ . вборзѣ с первы҇ словомь да нес нею кончавъ слезы . посажю на мѣстѣ и сѧде҇акы горлица . на сусѣ древѣ желѣючи [ПСРЛ, I: 253].

Как кажется, из этого поэтичного фрагмента можно заключить, что молодая княгиня так или иначе останется на попечении отца своего

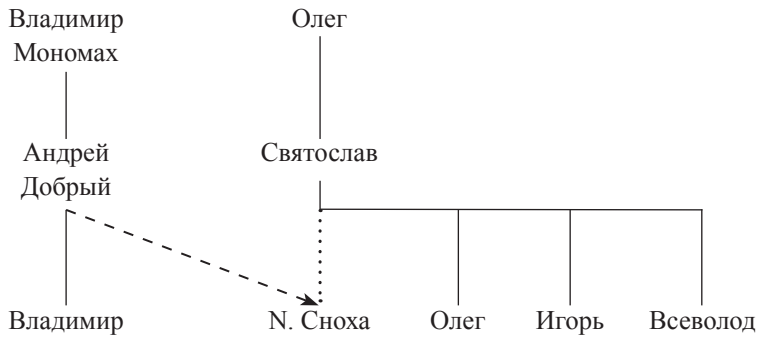
покойного мужа, но какова была обычная практика в таких случаях и с этим ли намерением (принять на себя заботу об участи молодой вдовы) связан тот факт, что Владимир продолжает именовать ее *снохою*, судить достаточно трудно. Характерно, впрочем, что подобное словоупотребление не вызывает ни малейшего отторжения у современного читателя летописи. То обстоятельство, что некто именует недавно овдовевшую жену своего сына собственной *снохой*, кажется совершенно естественным, как естественно было бы подобное словоупотребление в данной ситуации и в устах третьих лиц.

Однако в нашем распоряжении есть и более выразительные казусы, демонстрирующие, насколько далеко за хронологические рамки брака мог простираться термин *сноха* в древнерусских нелетописных текстах. Здесь можно упомянуть два примера, отделенные друг от друга почти тремя с половиной сотней лет, почерпнутые из источников разного типа, но при этом обладающие неким внутренним единством. Термин *сноха* употреблен здесь для описания таких отношений между старшим и младшим свойственником, которые распространяются далеко за пределы земной жизни одного из участников ситуации.

Тот факт, что княгиня приходилась *снохой* некоему князю, оказывается актуален не только в ту пору, когда уже не было в живых ее мужа, но и если самый брак ее был заключен после кончины мужниного отца. При жизни же они не успели, что называется, побыть *снохой* и *свёкром*, а быть может, даже никогда и не видели друг друга. Именно такая ситуация фиксируется, по-видимому, в надписи из Киевского Софийского собора, где сообщается следующее:

ВОЛОДИМИРАА
[С]Є БЫЛА МНОГОПЄЧАЛНА[А?]
А[Н]ДРѢЄВА СНОХА ОЛЬГОВА С
Є[С]ТРА И ИГОРѢВА И ВСЕВ[О]
ЛОЖА НАПСАЛЪ [В]АНИК
О ПОПЪ ЧЛВЄКО ВЛДК[И]
[Р]АБАТЪБ – – [Высоцкий 1985: 25]

Согласно убедительной версии С. А. Высоцкого, исходившего по преимуществу из генеалогических данных, *Володимеряя* — это не кто иная, как вдова Владимира Андреевича Дорогобужского, а Андрей, *снохой* которого она именуется, — это Андрей Добрый, один из младших сыновей Владимира Мономаха:



Если такая реконструкция верна, то оказывается, что актуальность ее свойствá с Андреем Добрым не утрачивается и годы спустя после кончины последнего. В том, что надпись появилась не при жизни Андрея Владимировича, у нас нет никаких сомнений: он умер относительно молодым в 1141 г., задолго до того, как Игорь и Всеволод, братья его предполагаемой снохи — центральной фигуры этого текста — появились на свет[1].

Весьма вероятно, что и мужа этой княгини уже не было в живых к моменту составления данного текста. Во всяком случае, эпитет *многопечальная* как нельзя лучше соответствует тем злоключениям, которые, согласно летописи, выпали на ее долю в 1170 г., после кончины супруга, князя Владимира Дорогобужского. Едва он успел умереть, как его вдова оказалась в эпицентре междинастического конфликта. Сразу два князя, Владимир Мстиславич и Давыд Ростиславич, именуют ее своей *ятровью*[2] и всячески проявляют показную заботу об ее интересах, но один из них изгоняет ее из города, а другой отказывается дать приличествующий случаю отряд провожатых, так что овдовевшая княгиня в течение трех недель не может довезти тело своего мужа до Киева, где ему надлежало быть похороненным [ПСРЛ, II: 546–548].

Однако даже если надпись была составлена при жизни княгининого мужа, то едва ли его отец, Андрей Добрый, успел организовать для своего сына этот брак с дочерью Святослава Ольговича. Во всяком

[1] Игорь Святославич родился в 1151 г. [ПСРЛ, II:422], точная дата рождения Всеволода неизвестна, но он был, со всей очевидностью, младшим братом Игоря.

[2] Владимир Мстиславич приходился ее мужу двоюродным братом, а Давыд Ростиславич — двоюродным племянником.

случае, все без исключения известные нам дети Святослава достигли брачного возраста много позже кончины Андрея[1]. Таким образом, «многопечальная Володимеряя», скорее всего, как уже говорилось, попросту не успела при жизни Андрея Доброго побыть его *снохой*, и тем не менее автор граффити — коль скоро она состояла в браке с Андреевым сыном — счел нужным охарактеризовать ее именно так.

Ситуативные рамки функционирования термина свойствá здесь существенно раздвинуты по сравнению с тем, что мы наблюдаем в летописи. Более того, они шире того, что мы можем представить в узусе современном. В самом деле, если муж некой женщины умер, то ее можно продолжать именовать *снохой* его отца. Даже если и самого этого отца нет в живых, его невестка может быть охарактеризована как *сноха N. N.*, однако для этого необходимо все же, чтобы брак данной женщины и сына N. N. был заключен при жизни самого N. N. Если же человек осиротеет ребенком или подростком, то едва ли ту, с которой ему много лет спустя случится вступить в брак, кому-либо придет в голову именовать *снохой* его покойного отца: никакого языкового запрета здесь, пожалуй, не наблюдается, но на практике такое словоупотребление будет выглядеть искусственным (в лучшем случае, можно представить, что к ней будет применена некая описательная конструкция, вроде *жена сына N. N.*).

Между тем, для Древней Руси такое применение термина *сноха*, связывавшее старших членов рода со свойственниками, которых они не застали при жизни, оказывается вполне естественным и неслучайным. Мы можем убедиться в этом, взглянув на ситуацию, подобную той, что мы наблюдали в киевском граффити, но как бы с другой стороны, на этот раз используя текст, составленный от лица старшей свойственницы.

Этот второй пример принадлежит самому началу XVI столетия, в нем речь идет о завещании вдовствующей волоцкой княгини Ульянии. В указанном документе упоминаются некие две княгинины с н о х и, и оба этих упоминания несут в себе определенную загадку. В первом случае эта загадка связана с окончательной идентификацией лица, которое упомянуто в завещании в качестве жены княгининого сына Федора Борисовича. Во втором же случае (и именно он нас будет сейчас интересовать) подобная идентификация оказывается принципиально невозможной, так как слово *сноха* появляется здесь в составе следующей формулировки:

> А дасть Б(о)гъ, с(ы)нъ мои Іва*н* женитца, и ꙗз бл(а)гославлꙗю сноху свою, Іванову жону, трои серги, двои ѧхонты, а тре*т*(ь)и лалы… [ДДГ: 349, № 87].

Быть может, перед нами такой же пример упреждающего употребления термина свойствá, с какими мы сталкивались в древнейших летописных сводах? Полностью исключить этой возможности нельзя, однако, на наш взгляд, здесь мы имеем дело с упреждением существенно иного рода.

В самом деле, древнейшие летописи иной раз именуют *сватами*, *зятьями* и *снохами* людей, чьи отношения свойствá еще не получили твердого основания в виде уже состоявшегося брака. Однако речь всегда здесь идет о вполне конкретных лицах, вовлеченных во вполне конкретные договоренности о свадьбе, и свадьба эта, так сказать, не за горами. Княгиня же Ульяния в своей духовной грамоте не называет никакого конкретного имени, идея женитьбы сформулирована здесь предельно обще и безадресно. Ни слова о том, что у молодого князя, очень ненадолго пережившего свою мать, была сговоренная невеста[1], мы не находим и в Житии Иосифа Волоцкого, где обстоятельства кончины Ивана Рузского изложены весьма подробно [Невоструев 1865: 31–33]. Никаких данных о готовившейся свадьбе мы не обнаружим и в завещательном распоряжении самого Ивана Борисовича [ДДГ: 351–353, № 88].

[1] Так, самый старший из сыновей Святослава Ольговича, Олег, женился в 1150 г. [ПСРЛ, II: 394], а его сестра (старшая из известных нам по летописям дочерей Святослава) — в 1149 г. [ПСРЛ, II: 368].

[1] В летописях сообщается, что Иван Борисович заболел на свадьбе своего старшего брата Федора и скоропостижно умер в монастыре своего крестного отца Иосифа Волоцкого; о Федоре же Борисовиче в летописи говорится, что он женился (со всей очевидностью, вторым браком) после кончины матери [ПСРЛ, VI: 49; XXVIII: 337]. Исследователи предполагают, что два этих события — кончина княгини Ульянии и свадьба ее сына Федора — имели место в течение одного месяца, в ноябре 1503 г. [Зимин 1948; Николаева 1970: 373–374; Казаков 2015]. Так или иначе, младший брат Федора, Иван, между кончиной матери и столь злополучной для него свадьбой брата сам заведомо женой не обзавелся.

Одним словом, все сохранившиеся свидетельства о жизни и кончине этого князя недвусмысленно говорят о том, что к моменту составления завещания его матери, невесты у него попросту не было, и завещательница имела в виду не какое-то определенное лицо, а лишь ту женщину, которой некогда предстояло заполнить соответствующую ячейку в родовой схеме свойства́. Княгиня могла не знать ее вовсе, однако не только завещала ей некую часть своего имущества, но и наперед почитала своей близкой свойственницей (ср. в этой связи: [Беляев 1897: 32]). Отношения свойства́ в этой клаузуле завещания, в сущности, уравниваются с отношениями кровного родства — подобно тому как потомки того или иного лица будут именоваться его *внуками*, даже если дед или бабка не застали их при жизни, так и неведомая будущая жена получает именование *снохи*.

Не будь в нашем распоряжении Софийского граффити XII в. и опирайся мы только на сопоставление источника начала XVI в. с рассказами древнейших русских летописей о домонгольском времени, можно было бы заподозрить, что разнице в функционировании слова *сноха* мы обязаны некой культурно-языковой динамике, эволюции осмысления свойства́ и, соответственно, эволюции словоупотребления, совершавшихся на протяжении нескольких столетий. Однако хотя некоторая эволюция такого рода и имела место, в данном случае дело, по-видимому, не в ней.

Определяющим здесь оказывается, скорее всего, тип источника и биографический контекст. Для летописного нарратива родство кровное — это своеобразная стратегическая ось, соединяющая прошлое и будущее, тогда как свойство́ — в большей мере элемент тактики, скоротечного и актуального настоящего, который есть смысл специально оговаривать преимущественно лишь в тех случаях, когда из него проистекает прямая и непосредственная польза или угроза. Однако следы более фундаментального значения княжеского свойства́, снова и снова объединяющего невероятно разросшийся род Рюриковичей, можно заметить и в летописи.

Словоупотребление же в граффито делает эту функцию свойства́ наглядной и очевидной: княгиня приезжает в Киев, где покоятся предки ее мужа, а, по-видимому, уже погребен и он сам. Именно к их роду она стала принадлежать по браку, живы они или умерли, что и зафиксировано в надписи, однако другая часть текста вовлекает в эту семейную связь и ее собственных живых кровных родственников. Недаром здесь упомянут не отец княгини (по всей видимости, уже покойный), а ее родные братья, новгород-северские князья Олег, Игорь и Всеволод, которые в течение многих лет надеялись на помощь Киева в отстаивании своих родовых прав. Детей мужского пола у «многопечальной Володимерей», судя по всему, не оставалось; она, таким образом, лишь носитель неких отношений свойства́, но не продолжательница рода, — семейная линия Андрея Доброго на ее муже пресеклась.

В перспективе княгини Ульянии, у которой есть бездетный старший сын и неженатый младший, именно восприятие свойства́ как чего-то вневременного и незыблемого позволяет конструировать будущее семьи волоцких князей, создает некое условное пространство, где у нее еще могут быть внуки мужского пола. Пространству этому, как известно, не суждено было воплотиться: младший сын княгини так и не успел обзавестись женой, а старший — потомством.

Возможно, иными словами, что в обоих этих случаях значимость свойства́ проявляется столь рельефно именно потому, что оно ни для кого не перешло в кровное родство, т. е. не дало того следующего поколения, для которого с н о х а сделается м а т е р ь ю , а р о д и т е л и е е м у ж а — д е д о м и б а б к о й . Завещание и граффито, выполненное духовным лицом, в сущности, являются последней попыткой обеспечить связь семейного настоящего: в одном случае — с прошлым, в другом — с будущим.

Попытки эти, помимо всего прочего, не чужды известного символизма в восприятии родовой жизни. Ярче всего такой символизм проступает в самом раннем из известных нам случаев употребления термина *сноха* в оригинальном древнерусском сочинении. Речь идет о похвальной части «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, произнесенном в середине XI столетия. Иларион строит третью (заключительную) часть своего «Слова» как панегирик правящему роду. Центральной фигурой, своеобразной точкой отсчета здесь становится креститель Руси, покойный князь Владимир Святой, отец здравствующего и обладающего всей полнотой княжеской власти Ярослава Мудрого. Замечательно при этом, что Иларион в своем прославлении вспоминает и некрещеных предков Владимира, князей Игоря и Святослава, указывая, что Владимир одному из них приходится в н у к о м , а другому — с ы н о м :

Похвалимъ же и мы . по силѣ нашеи . малыими похвалами . великаа и дивнаа сътворьшааго . нашего оучителѧ и наставника . великаа-

го кагана нашеа земли володимера . вънѫка старааго игорѧ. сн҃а же славнааго свѧтослава [Молдован 1984: 91].

Разумеется, особое место в панегирике Илариона уделено и Ярославу Мудрому, а также его сыновьям и внукам, но показательным образом охарактеризованы они как внуки и правнуки Владимира. Соответственно, жена Ярослава Мудрого напрямую названа *снохой* Владимира Святославича:

Да видиши . какоѧ тѧ чьсти г҃ь тамо съподобивъ . и на земли не беспамѧтна ѡставилъ сн҃омъ твоимъ . въстани виждь чадо свое геѡргїа[1] . виждь оутробѫ свою . виждь милааго своего . виждь его же г҃ь изведе ѿ чреслъ твоихъ . виждь красѧщааго столъ земли твоеи . и възрадуисѧ и възвеселисѧ . къ семѫ же виждь и блговѣрнꙋю снохѫ твою еринꙋ . виждь въноукы твоа и правноукы . како живѫть . како храними соуть гд҃емь . како блговѣрїе держать . по прѣдаѩнїю твоемꙋ… [Молдован 1984: 98].

Точная дата брака Ярослава и Ингигерд (Ирины), дочери шведского конунга Олава, в источниках не указывается. Обычно исследователи относят его к 1019 г.,[2] Владимир же скончался, как мы знаем, в 1015 г. Таким образом, при жизни он, скорее всего, не встречался с этой женой своего сына и едва ли мог знать (во всяком случае, знать наверняка), что указанный брак вообще когда-либо состоится. При этом, данный пример употребления термина свойства́ и похож, и одновременно не похож на историю княгини Ульянии или на эпизод с Андреем Добрым.

В самом деле, Иларион прибегает к приему, который будет еще столетия спустя неоднократно использоваться в русской гомилетической традиции, когда проповедник обращается к покойному как к живому, всячески подчеркивает его способность видеть ныне живущих, участвовать в их делах и наслаждаться их процветанием. Коль скоро Владимир репрезентируется в проповеди как живой и в то же время наиболее значимый член семьи, нет ничего удивительного в том, что

[1] *Георгий* — имя Ярослава Мудрого, полученное им при крещении.

[2] Обзор различных точек зрения на датировку брака Ярослава и Ингигерд см. в работе: [Джаксон 2012: 336–337]. Сама исследовательница (на наш взгляд, обоснованно) считает, что брак имел место в 1019 г.

это представление отражается в терминах свойства́, а жена сына называется его *снохой*.

Немаловажно, кроме того, что здесь мы сталкиваемся с весьма характерным и для последующей истории княжеской династии слиянием христианских и родовых представлений. С одной стороны, Иларион подчеркивает, что кончина Владимира — не смерть, а лишь краткий сон, предшествующий воскресению, и что именно благодаря принятому крещению он столь близко соприкасается со своими живыми потомками[1]. С другой стороны, однако, и его некрещеные предки тоже не исключены из цепи семейной преемственности. В определенном смысле все умершие родичи, принадлежавшие, по крайней мере, к трем ближайшим поколениям, присутствуют в жизни живых, и в случае надобности это присутствие может быть актуализировано.

В летописи мы обнаруживаем эту актуализацию по преимуществу на уровне кровного родства: умершие предки князя присутствуют не только в его генеалогической характеристике — они, к примеру, даже не будучи причислены к лику святых, могут и на том свете возносить особые молитвы о его спасении или победе (ср.: [Комарович 1960; Сазонов 1995]). В некоторых же нелетописных памятниках это присутствие умерших в жизни рода может актуализироваться и на уровне свойства́ — родства, приобретаемого благодаря браку.

[1] «Въстани ѡ честнаа главо . ѿ гроба твоего . въстани . ѿтрѧси сонъ . нѣси бо оумерлъ нъ спиши . до ѡбьшааго всѣмъ въстанїа . въстани . нѣси оумерлъ . нѣс бо ти лѣпѡ оумрѣти . вѣровавшꙋ въ х҃са живота всемоу мироу . ѿтрѧси сонъ . възведи ѡчи . да видиши…» [Молдован 1984: 98].

ЧАСТЬ II

НАБРОСКИ К НАРРАТИВНОМУ ПОРТРЕТУ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ

Глава 1

Именины в пространстве летописного нарратива

Обычай праздновать именины, по-видимому, очень рано и весьма прочно укореняется в русской княжеской среде. Во всяком случае, столетие спустя после крещения страны он, подобно свадьбам, постригам и похоронам, воспринимается как некая неотъемлемая часть династического обихода. Разумеется, каждое из этих повторяющихся событий родовой жизни Рюриковичей являет собой сложное сочетание целого ряда компонентов, причем дело не ограничивается переплетением собственно христианского и языческого или славянского со скандинавским, не сводится оно и к наложению практик сугубо семейных на потребность публичной манифестации власти, хотя все это мы можем наблюдать в интересующей нас именинной традиции. Весьма любопытным здесь может оказаться не только описание действ, из которых непосредственно состоит празднование, будь то церковная служба, непременный обед, съезд ближайших или более отдаленных родичей, обмен дарами, но и те события, которые к этому празднованию сознательно и целенаправленно приурочиваются, а это может быть поставление митрополита, начало военного похода или политическое убийство.

Нельзя не учитывать, однако, что на все эти явления исторической реальности мы волей-неволей вынуждены смотреть сквозь призму реальности повествовательной. В самом деле, если факты церковного строительства или сфрагистические данные способны снабдить нас разнообразной информацией относительно фигуры конкретного святого, на день памяти которого приходились именины того или иного Рюриковича, то об обстоятельствах празднования как такового мы узнаем почти исключительно из летописного нарратива.

В свою очередь, для конструирования нарратива укорененность самого обычая этого празднования и целого ряда сопряженных с ним действий играет немалую роль: именно подобная укорененность делает летописный рассказ не всегда прозрачным для современного читателя. Так, христианское имя князя и день памяти его патронального святого для аудитории средневекового летописца зачастую принадлежали, по-видимому, к числу фоновых знаний, ежегодно актуализирующихся в его памяти. Существовали, судя по всему, и устойчивые представления о том, что́ князю или человеку из его окружения надлежит делать на именины или в их канун. Соответственно, такого рода «нормальные» факты и поступки относительно редко становятся предметом специальной рефлексии в летописи.

Не про всякое, даже и достаточно заметное событие в жизни князя мы можем сказать, было ли оно приурочено к его именинам. Так, мы знаем, что освящение церкви св. Николая на Дворище в Новгороде было совершено 5 декабря 1136 г. по прямой инициативе князя Святослава Ольговича [ПСРЛ, III: 24, 209], а поскольку в крещении этот князь был *Николаем*[1], мы с большой долей уверенности можем говорить о самой непосредственной связи этого события с его именинами (6 декабря отмечается празднование памяти Николая Мирликийского). В перспективе интересующей нас темы еще более любопытно (хотя и менее прозрачно) указание на то, что родной брат Святослава, Всеволод Ольгович, 9 июня заложил в Каневе церковь св. Георгия [ПСРЛ, II: 317]. На 9 июня приходится празднование памяти св. Кирилла Александрийского, а тот факт, что крестильным именем Всеволода было *Кирилл*, весьма надежно восстанавливается по целому ряду косвенных данных (см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 504–505]).

[1] Крестильное имя князя зафиксировано в уставной грамоте церкви Св. Софии в Новгороде (см.: [Щапов 1976: 148]).

Таким образом, в нашем распоряжении оказываются данные, свидетельствующие, что князь мог приурочивать знаменательные даты церковного строительства к собственным именинам, — вне зависимости от того, возводил ли он церковь во имя своего собственного патрона или других, не тезоименитых ему, но особенно почитаемых в семье святых. Обратим внимание, однако, что в обоих указанных случаях мы не находим в летописях какого-либо эксплицитно выраженного сообщения об именинах князя, и современному исследователю приходится прибегать здесь к некоторым дополнительным, хотя и элементарным выкладкам.

Еще более обширен круг таких случаев, когда у нас нет никаких показаний источника о связи того или иного благочестивого деяния князя с собственными именинами, или, во всяком случае, построения, к которым мы прибегаем для восстановления этой связи, неизбежно отличаются многоступенчатостью и, соответственно, относительно малой надежностью. Так, в XI — первой половине XII вв. в одной и той же ветви рода Рюриковичей появляются трое князей, обладателей христианского имени *Андрей*: Всеволод Ярославич, который, судя по многочисленным косвенным данным, был *Андреем* в крещении (см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 507–508]), его внук, Андрей Владимирович Добрый, и его правнук Андрей Юрьевич Боголюбский, для которых имя *Андрей* совмещало, по всей видимости, функции родового и крестильного. Мы знаем о многочисленных фактах особого почитания ими самими и их ближайшими родственниками целого ряда святых тезок по имени *Андрей*: апостола Андрея, Андрея Стратилата, Андрея Критского и Андрея Юродивого. Известно, в частности, что в Переяславле, где довольно длительное время княжили Всеволод / Андрей Ярославич и отец Андрея Доброго, Владимир Мономах, была возведена церковь св. Андрея, однако ни точная дата ее закладки, ни точная дата ее освящения в источниках не указаны[1]. Соответственно, у нас остается широкое пространство для гипотез относительно того, с каким именно из князей Андреев ее возведение было связано, с одним или несколькими святыми Андреями она была соотнесена и осознавалось ли ее строительство как приуроченное к рождению и/или именинам кого-либо из Рюриковичей.

[1] Ср.: [Раппопорт 1993: 38, 42; Раппопорт 1993а: 262], автор предполагает, что церковь была посвящена св. Андрею Стратилату.

Вопросы подобного рода, касающиеся не только церковного строительства, но и самых разнообразных актов княжеского благочестия, воплощенных или не воплощенных в тексте, в значительной степени и формируют поле деятельности исследователя XI–XII столетий, — именно в силу того, что летопись не дает на них однозначных ответов.

В самом деле, источники не предоставляют в наше распоряжение ни одного сколько-нибудь развернутого рассказа о том, как проистекали «нормальные» княжеские именины. Мы знаем очень мало или почти ничего о протяженности этого события во времени, о его церемониальной структуре и тем более — о восприятии этой важнейшей составляющей княжеского обихода современниками. Даже различные генетические и типологические параллели, а также данные о том, как именины правителя могли отмечаться в ту эпоху за пределами Руси, в других частях христианского мира[1], не могут быть использованы в полную силу, поскольку не так просто судить о том, сколь далеко может заходить в этом отношении своеобразие древнерусской династической традиции.

Иными словами, мы в очередной раз сталкиваемся с довольно распространенной в истории культуры ситуацией, когда ни существование того или иного явления, ни его укорененность в традиции не вызывает сомнений, но, чтобы подступиться к его целостной характеристике — будь то характеристика исторического факта или характеристика его использования в нарративе — мы вынуждены использовать некие неожиданные, причудливые ракурсы рассмотрения, потому что самая укорененность явления обусловливает острый дефицит в описании нормы.

Так, на общем фоне недостатка детализированных рассказов о благополучных именинах контрастно выделяется целая группа летописных примеров, когда под пером повествователя проступает связь именин отнюдь не с благочестивым поступком или традиционным праздничным действом, но с неким «безобразием», эксплицитным нарушением норм поведения, совершением действий, заведомо не подобающих ни христианину вообще, ни правителю или его приближенному в особенности. Рассказы об этих бесчинствах и нарушениях появляются

[1] О феномене именин в христианской традиции см.: [Dürig 1954]; ср. также: [Mitteraurer 1993: 142–146, 330–345, 351–367, 474, прим. 336], с указанием литературы.

уже в составе «Повести временных лет»; в сущности, они фиксируются столь же рано, как и упоминание именин как таковых, хотя самый термин *именины* отнюдь не всегда в них присутствует.

Чрезвычайно характерен в этом отношении случай неподобающего поведения князя, связанный с «чужими» именинами, которые, тем не менее, к нему самому имеют более чем непосредственное отношение. Речь идет о нападении Олега Святославича на его двоюродного племянника, Мстислава Владимировича: оно совершается в ходе военных действий, вызванных княжеской междоусобицей. Летописец отмечает, что Олег приготовился атаковать Мстислава уже в процессе мирных переговоров, причем Мстислав выступил их инициатором, а Олег, как подчеркнуто в рассказе, согласился принять в них участие лишь для вида:

> Ѡлег же побѣже к Мурому . а Мстиславъ приде Суждалю и сѣдѧ ту посылаше к Ѡлгови мира просѧ . гл҃ѧ азъ ѥсмъ мнии тебе слисѧ к ѡц҃ю моєму . а дружину юже ѥси заꙗлъ вороти . а ꙗзъ тебе во все҃м послушаю . Ѡлег же посла к нему с лестью хотѧ мира [ПСРЛ, I: 238].

Мстислав принимает на веру мирные намерения Олега (фальшивые, как читатель знает с самого начала) и не только распускает дружину, но даже и не выставляет охраны вокруг своего лагеря. Поэтому весть о том, что Олег с войском уже стоит на Клязьме, приходит к нему внезапно, — в тексте специально отмечается, что до последнего момента Мстислав Владимирович ничего не знал о его военных приготовлениях («…приде ѥму вѣсть ꙗко Ѡлегъ на Клѧзмѣ . близь бо бѣ пришелъ без вѣсти» [ПСРЛ, I: 239]).

Вообще говоря, рассказ о том, как правитель-военачальник, применив некий тактический маневр, сумел внезапно подойти с войском к лагерю другого правителя, проявляющего воинскую беспечность и неосторожность, в русских летописях (как, пожалуй, и во многих других средневековых хрониках) повторяется неоднократно и может считаться своеобразным «общим местом» как для исторической реальности, так и для исторического нарратива. Важную роль, однако, в структуре таких эпизодов играет оценка повествователя, выражаемая им непосредственно или высказываемая от лица некоей «третьей силы» — каких-либо других участников или свидетелей события.

Так, в более позднем рассказе о соперничестве младшего брата Мстислава, Юрия Долгорукого, с племянником, сыном Мстислава, Изяславом, мы находим эпизод, когда Изяславу с союзными войсками венгров удается незаметно и внезапно захватить Белгород и подступить к Киеву. Юрий, лишь в последний момент получивший предупреждение от своего сына Бориса, «не може собѣ ничимъ же помочи» [ПСРЛ, II: 416]. При этом оценку действий каждого из соперников мы узнаем из дальнейшего повествования. Трудно усомниться, что именно Изяслав Мстиславич в данной ситуации воспринимается как умелый стратег и достойный правитель. Об этом свидетельствует самый характер сообщения о его вокняжении в Киеве, где выделяются разноуровневые признаки княжеской состоятельности Изяслава, от наследственного характера прав на старший стол до всеобщего веселья, царящего на обеде, устроенном им для киевлян и своих союзников-венгров[1].

Что же касается Юрия Долгорукого, то гневную оценку его действий мы обнаруживаем в речи того союзника, на которого он более всего рассчитывал, причем неумение уследить за маневрами противника трактуется здесь едва ли не как проявление княжеской профессиональной непригодности в целом. Согласно летописи, Владимир Галицкий говорит его сыну, Андрею Боголюбскому:

> …како есть кн҃жение свата моего . аже рать на нь из Володимера идеть а како того не оувѣдати . а тыі сн҃ъ е҃ сѣдиши в Пересопници . а дрꙋгъіи Бѣлѣгородѣ . како того не оустеречи . и ре҃ съ гнѣвомъ къ Андрѣеви Гюргевичю . ѡже тако кн҃жите съ своимъ ѿц҃мъ а правите сами а ꙗ не могу на Изѧслава ѡдинъ поити [ПСРЛ, II: 416–417].

Таким образом, «правым» признается именно тот полководец, кто напал внезапно, а отнюдь не тот, кто проявил беспечную доверчивость.

Возвращаясь же на полстолетия с лишним назад, к эпизоду столкновения Олега и Мстислава, нетрудно убедиться, что — несмотря на целый ряд совпадений (вплоть до лексических) в параметрах описания ситуации — оценки и акценты расставлены здесь совершенно иначе.

---

[1] «Изѧславъ же . въ Кыевѣ сѣде . на столѣ дѣда своего и ѿц҃а своего . с честью великою много изъимаша дружинъ Гюргевъі по Киеву . Изѧславъ же ѿ ст҃оѣ Софьи . поѣха и съ братьею на Ꙗрославль дворъ и Оугръі позва со собою на ѡбѣдъ и Киꙗнъі и ту ѡбѣдавъ с ними . на велицемъ дворѣ на Ꙗрославли и пребыша оу велицѣ весельи» [ПСРЛ, II: 416].

Правда почему-то оказывается на стороне беспечного. И дело здесь не в том, что летописец настроен благожелательно исключительно к Мономаховой ветви рода и недоброжелательно — к Олегу и другим Святославичам. Дабы убедиться в этом, достаточно обратиться к более широкому контексту истории интересующей нас княжеской междоусобицы. На первом этапе конфликта действия Олега оцениваются как совершенно правомерные:

> Ѡлегъ же надѣꙗсѧ правду на свою . ꙗко правъ бѣ всѣмъ . и поиде к городу с вои [ПСРЛ, II: 227].

Едва ли можно счесть решающим и то обстоятельство, что тактический план Олега Святославича, план внезапного нападения, в конце концов, провалился. В самом деле, этот провал стал очевиден далеко не сразу, его предваряла целая вереница взаимосвязанных событий, в частности, большое сражение, где друг другу противостояли две пары братьев: Олег и Ярослав — с одной стороны, и их двоюродные племянники Мстислав и Вячеслав — с другой. Едва ли не решающую роль в победе Мономашичей играет помощь, присланная отцом молодых князей, а также их своеобразная военная хитрость: использование в битве стяга Владимира Мономаха, по-видимому, заставляющего противника верить в его личное участие в сражении.

Однако прежде чем все это произойдет, прежде чем мы получим в свое распоряжение описание второго — невыгодного для Олега — тура мирных переговоров и предшествующей ему битвы с достаточно подробными характеристиками расстановки сил и маневров противоборствующих сторон, мы уже знаем, кто окажется правым в данной ситуации внезапного нападения. Летописец, сообщив о том, что сторожа не были расставлены и никаких известий о передвижении противника поначалу не было, сразу же снабжает это указание явно оценочным маркером («…но Бъ҃ вѣсть избавлѧти бл҃гочс҃твыꙗ своꙗ ѿ льсти»). При этом он, по всей видимости, обыгрывает омонимию существительного *вѣсть* и глагола настоящего времени *вѣсть* и строит весь пассаж так, что корень *-вѣст-* повторяется трижды, дважды ассоциируясь с событиями человеческой жизни, а в третий раз — с Божьим промыслом:

> …а Мстиславу сѣдѧщю на ѡбѣдѣ . приде ѥму вѣсть ꙗко Ѡлегъ на Клѧзмѣ . близь бо бѣ пришелъ без вѣсти . Мстислав же єму имъ вѣру не постави сторожовъ . но Бъ҃ вѣсть избавлѧти бл҃гочс҃твыꙗ своꙗ ѿ льсти [ПСРЛ, I: 239].

В чем же, однако, заключается *лесть* («обман», «хитрость», «коварство») Олега? Сводится ли все дело к тому, что он успел для виду ввязаться в мирные переговоры, — впрочем, еще не пришедшие, судя по тексту, к сколько-нибудь определенным результатам?

Обратим внимание, что коварное нападение совершается не сразу, и при этом оно датировано подвижным праздником, характеризующимся по имени определенного святого — Феодорова неделя и Феодорова суббота. Для этой части летописи подобная датировка событий, с помощью указаний праздников или дат памяти святых, отнюдь не является чем-то регулярным и типичным, повторяющимся из статьи в статью. Тем более нетипичным оказывается упоминание княжеского обеда (по всей видимости, продолжительного и праздничного), в связи с данной датировкой. Очевидно, таким образом, что упоминание Феодоровой субботы — это не нечто рутинное, а конструктивный элемент повествования. Иными словами, совершенно закономерен вопрос, почему для описания нападения Олега понадобились эти нетривиальные хронологические уточнения.

К счастью, относительно князя Мстислава Владимировича мы располагаем вполне надежными данными, позволяющими строить предположения относительно смысла этих нарративных элементов. Мы знаем, что в крещении Мстислав носил имя *Феодор* [Литвина & Успенский 2006: 581–582], и наиболее вероятно, что из всех святых Феодоров месяцеслова он, в первую очередь, был связан с Феодором Тироном. С другой стороны, именно память Феодора Тирона специальным образом отмечается в первую субботу Великого поста, а в домонгольское время именно этот святой давал имя и всей первой великопостной седмице. По-видимому, данный подвижный праздник для культа Феодора Тирона имел не меньшее (возможно, и большее) значение, чем «фиксированная» память святого, приходящаяся на 17 февраля; во всяком случае, Феодорова неделя упоминается в летописи куда чаще, нежели соответствующая неподвижная календарная дата.

Трудно сказать наверняка, с каким из этих дней связывался выбор патронального святого для Мстислава Владимировича. Еще меньше данных у нас о том, как вели себя князья в тех случаях, когда память их святого патрона праздновалась в году не единожды. Если учитывать

характерную для домонгольского времени общую тенденцию почитания всех тезоименитых святых месяцеслова (например, всех святых Феодоров или всех святых Андреев), то закономерно допустить, что уж ни один из дней, непосредственно посвященных личному небесному покровителю (в нашем случае, два празднования Феодору Тирону), князь не оставлял без внимания.

Таким образом, скорее всего, Мстислав был застигнут известием о приближении противника в тот самый момент, когда он праздновал свои именины. Очевидно, что для летописца и его аудитории эта особая связь Мстислава с Феодоровой субботой принадлежала к числу фоновых знаний, поскольку почитание князем собственного патронального святого (а зачастую и его тезок) было делом заведомо публичным.

Однако коварство Олега Святославича не ограничивалось тем, что он напал на двоюродного племянника в день его святого. Обращает на себя внимание, в частности, особенная мягкость и готовность Мстислава идти на переговоры с этим своим родичем, в сущности, относительно отдаленным. Подобный пацифизм можно было бы отнести исключительно на счет нарративной стратегии летописца, симпатизирующего этому князю, а потому подчеркивающего его христианские и княжеские добродетели. Тем не менее, за этой толерантностью и готовностью к миру стоят и вполне конкретные, биографические обстоятельства. По счастью, они дошли до нас благодаря письму Владимира Мономаха своему кузену Олегу, сохранившемуся в составе Лаврентьевского свода [ПСРЛ, I: 252].

Как явствует из этого текста, Олег был крестным отцом Мстислава, а потому военный конфликт с ним естественно воспринимался крестником как нечто вынужденное и недолжное. Тем контрастнее оказывается, с другой стороны, вероломное поведение Олега Святославича, ибо кому как не крестному было знать о дне именин своего крестника и насколько расчетливым и неподобающим предстает нападение на него именно в этот праздник.

Именинник в данной ситуации является, так сказать, не виновником, а жертвой «безобразия», а рассказ на этом отрезке строится вокруг извращения естественного порядка вещей. Действительно, именины, помимо всего прочего, призваны служить напоминанием о событии крещения во имя определенного святого, соответственно, крестный — одна из важнейших фигур в таинстве и празднестве крещения — должен был бы в нормальной ситуации оставаться таким же олицетворением благочестия и духовного отцовства и в день именин. На деле Олег совершает нечто прямо противоположное.

Нашим современникам для того, чтобы оценить «именинную соль» этого сюжетного построения, необходимо сопоставить его с нелетописными источниками, содержащими известие о крестильном имени Мстислава Владимировича и духовном родстве с Олегом Святославичем. Современники летописца в таких ухищрениях, по-видимому, не нуждались. Княжеские личные праздники были у них на слуху, и сюжет о злодействе князя Олега прочитывался без труда и сразу. У нас нет оснований полагать, что текст летописи в этой своей части существенно отклонялся от фактов исторической реальности, и при этом рассказчик выстраивал их наиболее эффектным для повествования образом.

История о бесчинствах внука Мстислава Великого, учиненных в самом начале 1203 г., в данном отношении устроена несколько иначе, хотя, с другой стороны, по ряду параметров она напоминает описание тревожных именин деда в 1096 г. Снова речь идет о княжеской усобице, есть в происходящем и элемент внезапности. Рюрик Ростиславич захватывает Киев в ту пору, когда у него, казалось бы, нет необходимых для этого ресурсов, а наиболее могущественные в тот момент русские князья, Всеволод Большое Гнездо и Роман Мстиславич, только что сговорились и посадили там своего ставленника Ингваря Ярославича. Тем не менее, этот фактор внезапности не педалируется в летописном тексте и не эти обстоятельства важны для повествователя в первую очередь.

Прежде чем говорить подробнее об особенностях нарратива в данном фрагменте, оговоримся сразу же, что в целом летописное повествование о событиях рубежа XII–XIII вв. заметно отличается от «Повести временных лет» в том, что касается способа датировки. К этому времени сообщение точного дня с отсылкой к имени святого, чья память праздновалась в тот день, и для Лаврентьевской, и для Новгородской первой летописи становятся делом вполне обычным. Соответственно, гораздо больше в нашем распоряжении оказывается точных дат закладки церквей и других актов княжеского благочестия, соотнесенных с месяцесловом. С другой стороны, все чаще обнаруживаются в летописи и указания христианских имен тех или иных Рюриковичей. Совпадения какого-либо события с именинами князя или их кануном могут становиться предметом специальной рефлексии летописца, как

это происходит, например, в статье Ипатьевской летописи, где отмечается, что Владимир / Дмитрий Всеволодич, сын Всеволода Большое Гнездо, родился на именины отца:

> Того же лѣт оу великого кнѧзѧ Всеволода родисѧ сн҃ъ до заоутренѧꙗ ст҃го Дмитрѣа дн҃е и именины же тогда бѧхоуть. Всеволодъ же велѣ оучинити сн҃ви своемоу во свое имѧ Дмитрѣи въ ст҃мь крсщнии а кнѧжее имѧ оучини емоу Володимиръ дѣда своего имѧ Мономаха Володимѣра [ПСРЛ, II: 674–675].

Подобные изменения не были, судя по всему, исключительно отражением личных вкусов и пристрастий того или иного составителя летописного свода. Они отвечали некой общей тенденции — церковный календарь играл, по-видимому, все бóльшую роль в повседневном обиходе княжеской семьи и ее окружения, и, с другой стороны, культ святых патронов рода Рюриковичей не только становился более публичным и «наглядным», но и приобретал все бóльшую разветвленность и многоступенчатость.

Князь мог, как и в старину, построить церковь во имя своего собственного небесного тезки и освятить ее на день памяти, который одновременно являлся и его именинами. Он мог также приурочивать возведение того или иного храма к рождению наследника и освящать его во имя того святого, по которому этот наследник был наречен в крещении, запечатлевая тем самым день его именин в памяти окружающих. Кроме того, теперь он мог, в качестве демонстрации особой приязни и союзнических намерений, возвести церковь в честь кого-либо из святых патронов своих ближайших свойственников — родственников, обретенных не в силу рождения, но по собственной воле, благодаря браку кого-либо из княжеских детей. Имена и именины этих новых союзников оказывались, таким образом, всегда перед глазами жителей того города, который он держал.

Рюрик Ростиславич охотно пользовался этим усовершенствованным и разнообразным языком имен и дат, выступая, так сказать, и в роли адресата, и в роли адресанта различных материально-символических на нем высказываний. В летописи напрямую сообщается, что в крещении Рюрик звался *Василием* (как, например, и его прадед Владимир Мономах, прапрапрадед Владимир Святой и целый ряд других родичей) [ПСРЛ, I: 708; II: 707]. Когда в Киеве княжил Рюриков сват, Святослав Всеволодич, тот, женив своего сына Глеба на дочке Рюрика[1], построил в честь нового свойственника церковь св. Василия, причем митрополит Никифор освятил ее на 1 января, на день памяти Василия Великого [ПСРЛ, II: 634]. Сам Рюрик занимался поновлением Выдубицкого Михайлова монастыря, что стало поводом для появления пространного панегирика ему и его семье в составе Киевской летописи [ПСРЛ, II: 709–715]. Напомним, что *Михаилом* в крещении был не только родной отец, но и старший сын Рюрика[2], присутствовавший на огромном пиру, который Рюрик устроил в честь завершения строительных работ для своих приближенных, насельников монастыря и всех, кому случилось там оказаться.

В честь собственного небесного покровителя, св. Василия, Рюрик возвел храм в Овруче, городе, который был его наследственным владением и излюбленной резиденцией [Раппопорт 1972: 82–97; Раппопорт 1993а: 94–95]. Наиболее торжественным же, по-видимому, было строительство и освящение церкви св. Василия на Новом дворе в Киеве, которую князь «созда… во имѧ свое». Она, как и церковь, некогда возведенная Святославом Всеволодичем, тоже была освящена на 1 января, причем на этот раз в освящении участвовал не только митрополит Никифор, но и епископы Белгородский и Юрьевский [ПСРЛ, II: 707].

Таким образом, именины этого князя никак не могли изгладиться в сознании обитателей Киева, где он просидел долгие годы. Не мог остаться этот день неведомым и для клира церквей и монастырей в тех многочисленных русских городах, где сидели родственники, союзники и ставленники Рюрика, занимавшего тот стол, который на Руси, несмотря на все политические перипетии, сохранял в ту пору хотя бы символическое старшинство.

При этом в 1203 г. начало января князь Рюрик Ростиславич отметил, как уже упоминалось, совершенно иначе, чем в те годы, когда он или его сват Святослав мирно и благополучно сидели в Киеве. Эти дни были ознаменованы захватом Киева и чудовищным, по оценке летописцев, разорением города. Составитель соответствующей статьи Новгородской первой летописи несколько более лаконичен, тогда как автор летописи Лаврентьевской, который мог быть свидетелем этих

[1] Об этом браке см. подробнее выше: ч. I, гл. 5, с. 95–100 наст. издания.

[2] Оба они были при этом обладателями княжеского имени *Ростислав* (см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 600–601]).

событий (или, по крайней мере, близко соприкасаться с их очевидцами), подробно описывает «велико зло в Русстѣи земли» — разграбление Св. Софии, Десятинной церкви и всех монастырей:

> …и иконы ѡдраша . а инылѣ поимаша . и крс҃ты чс҃тныꙗ . и ссуды свщ҃ныꙗ . и книгы и порты блж҃ных҃ь первы х҃ кнѧзьи . єже бѧху повѣшали в цр҃квахъ ст҃хъ на памѧт҃ собѣ то положиша все собѣ в по҃нь.

Грабеж сопровождается убийством и пленением монахов, священников и их семей, когда одни погибают, а другие достаются половцам:

> …черньци . и черници . старыꙗ иссекоша . и попы старыє слепыꙗ и хромыꙗ . и слоукыꙗ . и трꙋдоватыꙗ . та всѧ иссекоша . а что черньцо҃ инѣх и черниць . инѣх . и поповъ и попадеи . и Кинꙗны . и дщери их и сн҃ы их . то все ведоша иноплеменици в вежи к собѣ [ПСРЛ, I: 419].

Кульминацией этого нападения становится захват князя Мстислава Владимировича[1], которого уводит к себе в Сновск Ростислав Ярославич, один из Ольговичей, союзников Рюрика.

Вообще говоря, главным орудием бесчинств, согласно летописному нарративу, скорее являются «поганые половцы» и Ольговичи. Тем не менее, летописец недвусмысленно демонстрирует участие и главенство Рюрика во всем этом предприятии. Достаточно привести здесь начало и конец соответствующей летописной статьи Лаврентьевского свода:

> Взѧтъ бы с҃ Кыєвъ . Рюрикомъ и Ѡлговичи . и всею Половецьскою землею <…> великии кн҃зь Всеволод . не помѧноу зла Рюрикова . что єсть сотворило оу Рꙋсте земли . но да и ємоу ѡпѧт Києвъ [ПСРЛ, I: 418–419].

[1] Этот относительно малоизвестный князь Мстислав был сыном Владимира Мстиславича Мачешича и явно состоял с Ольговичами в некотором свойстве́ [ПСРЛ, II: 604], но издавна колебался между ними и Ростиславичами, которые приходились ему двоюродными братьями по отцу. Впрочем, сидевший в тот момент в Киеве Ингварь Ярославич тоже приходился Мстиславу кровным родственником, а именно — двоюродным племянником.

Существенны при этом даты, под которыми составители летописей помещают указанное событие. В Лаврентьевской летописи речь идет о 2 января — «на памѧт҃ . ст҃а . Силивестра папы Римьскаго» [ПСРЛ, I: 418], тогда как Новгородская летопись указывает на «1 день генваря, на святого Василья» [ПСРЛ, III: 45, 240]. Как совершенно справедливо отмечал еще исследователь хронологии русского летописания Н. Г. Бережков, перед нами один из тех случаев, когда разнобой в датах не следует приписывать ошибке одного из источников. Очевидно, самое событие занимало, по крайней мере, два дня: скорее всего, штурм Киева был начат 1 января, а разграбление, подробно описываемое в Лаврентьевском своде, пришлось на 2 января [Бережков 1963: 315, прим. 84].

Таким образом, едва ли можно усомниться, что Рюрик Ростиславич, прежде задававший многодневные и многолюдные пиры в Киеве, на этот раз приурочил к своим именинам совсем иное событие. Стремление восторжествовать над противниками и вернуть себе город, по-видимому, сочеталось со своего рода местью киевлянам, которые после стольких лет его, казалось бы, благополучного и успешного княжения, так легко отпали от него и согласились принять дотоле малоизвестного и малозначительного князя, не имевшего собственной военной силы, чтобы защищать город. Кровавый пир с участием половцев, возможно, должен был служить зловещим напоминанием о былых мирных обедах.

В этом смысле, несовпадение фокуса датировок в более детализированном и в более дистанцированном рассказах двух разных сводов по-своему показательно. В перспективе составителя Лаврентьевской летописи в большей степени существенны последствия взятия Киева для церквей и клира, при том что связь начала января с именинами Рюрика была для этого клира и всех, кто с ним соприкасался, в высшей степени очевидной. Полагаясь на описание других церемониальных праздничных событий, которые устраивал Рюрик, рискнем предположить, что княжеские именины отмечались не один день, и все первые числа января были окрашены этим празднованием. Таким образом, символический подтекст нежданного возвращения Рюрика и сопряженных с ним бедствий и так был достаточно ясен.

Что же касается показаний Новгородской первой летописи, то ее составитель, дабы подчеркнуть этот символизм (видимо, менее наглядный для его аудитории), выделял ключевую дату и акцентировал повествование на совпадении взятия города с именинами князя. Ха-

рактерным образом, в эту же погодную статью Новгородской летописи включено сообщение о том, что Рюрик, ставший причиной гибели и пленения множества чернецов и черниц, сам вскорости был насильно пострижен в монахи в недавно разграбленном им Киеве:

> В лѣто 6711 <1203>. Рюрикъ съ Олговици и с погаными Половци, Кончакъ и Данила Кобяковиць, взяша град Кыевъ на щитъ, въ 1 день генваря, на святого Василья; а кого доидет рука, чернца или черничю, или попа или попадью, а тых ведоша в поганыя; а что гостии, иноземца всякого языка, а тѣ затворишася въ церквахъ, и вдаша имъ живот, а товаръ с ними роздѣлиша на полы; а что по манастыремъ и по всѣмъ церквамъ, всякыя узорочья и иконы одраша и везоша в поганѣи в землю свою; а град пожгоша. Тогда же ходиша рустѣи князи на Половци: Рюрикъ, Романъ, Мьстиславъ и инии князи мнози; тогда же зима бысть люта; и взяша мног полонъ и стада их отгониша. Того же лѣта посла Романъ Вячеслава, веля ему Рюрика пострици в чернци [ПСРЛ, III: 240][1].

Подобное неполное совпадение фокусировки при близости дат можно наблюдать и в уже упоминавшихся летописных свидетельствах о рождении у Всеволода / Димитрия Большое Гнездо сына Владимира, также ставшего *Димитрием*, тезкой своего отца по христианскому имени (см. выше в настоящей главе, с. 162). Лаврентьевская летопись, чей составитель, по всей видимости, был непосредственным свидетелем повседневной жизни Всеволодова двора, сообщает лишь, что ребенок появился на свет 25 октября [ПСРЛ, I: 411–412], на память свв. Маркиана и Мартирия, в канун св. Димитрия, и был наречен в крещении *Димитрием*. То обстоятельство, что Всеволода Большое Гнездо тоже звали *Димитрием* и что на 26 октября приходились его именины, представлялось ему, вероятно, настолько очевидным, что не требовало экспликации: это была та часть совпадения, которую его аудитория могла без всякой подсказки достроить самостоятельно.

[1] О насильственном пострижении Рюрика см. подробнее: [Литвина & Успенский 2012]. Как кажется, нет оснований полагать, что Новгородская первая летопись младшего извода в этом фрагменте являет собой лишь сокращенный пересказ соответствующей статьи из летописи Лаврентьевской. Во всяком случае, здесь налицо отсутствующие в пространном рассказе Лаврентьевского свода свидетельства о том, как нападавшие поступили с иноземными купцами, что могло представлять определенную значимость для новгородской аудитории.

Что же касается Киевской летописи, вошедшей в Ипатьевский свод, то здесь столь изящная точность датировки не требовалась, зато потенциальному читателю необходимо было как следует продемонстрировать, в чем именно заключается нечаянное совпадение и как Всеволод Большое Гнездо счел нужным его использовать. Не уклоняясь от истины, летописец сообщает, что ребенок появился до заутрени, т. е., в сущности, до наступления дня св. Димитрия, но при этом не отвлекается на упоминания святых, чья память праздновалась в предшествующий день. Напротив, он прямо говорит о том, что на св. Димитрия приходились именины отца княжича и что не кто иной, как отец, распорядился дать сыну свое собственное крестильное имя, а в качестве княжеского мальчик получил имя деда («Мономаха Володимѣра»).

Как кажется, такие же различия в актуальном членении, в распределении очевидного и нуждающегося в привлечении внимания, присутствуют и в обсуждавшихся выше рассказах о торжестве и «бесчинстве», которые Рюрик Ростиславич намеренно приурочил к своим именинам — оно-то и определяет неполное совпадение фиксируемых дат.

История о Рюрике — не единственное упоминание о своеобразном «антиповедении» на собственные именины, о том, как некое лицо взамен мирного празднования и/или благочестивых деяний на свои именины совершает некое из ряда вон выходящее злодейство (напомним, что нападение на Киев в январе 1203 г. летописец характеризует с помощью своеобразной формулы беспрецедентности: «…и створисѧ велико зло в Русстѣи земли . ꙗкого же зла не было . ѿ крщ҃еныꙗ надъ Кыєвомь . напасти были и взѧтыꙗ не ꙗкоже нынѣ зло се сстасѧ» [ПСРЛ, I: 418]). В качестве столь же беспрецедентного нарушения всех мыслимых норм трактуются в летописных сводах и действия заговорщиков, убивших князя Андрея Боголюбского.

Субъектом злодеяния выступает в данном случае не князь, а его приближенные, и, тем не менее, здесь используются весьма сходные повествовательные модели. В различных летописных версиях «начальником» убийц объявляется Петр, Кучков зять[1]. В перечислениях заго-

[1] В роли инициатора преступления может упоминаться и свойственник Петра, Иоаким Кучкович.

ворщиков, которые мы обнаруживаем в древнейших летописных сводах, он обычно фигурирует на первом месте:

> ...началникъ же оубиицамъ . бы҃ Петръ Кучьковъ . зѧть Анбалъ Ꙗсинъ ключникъ . Ꙗкимъ Кучьковичь . а всихъ невѣрныхъ оубиицъ . к҃ . числомъ . иже сѧ бѧху снѧли на ѡканьныи свѣтъ . томь дн҃и оу Петра оу Кучкова . зѧтѧ постигъши бо ночи суботнии . на памѧть . свѧтую ап҃лу Петра и Павла . вземьше ѡружье . ꙗко звѣрье диви . пришедшимъ имъ к ложници . идеже блж҃ныи кнѧзь Андрѣи лежить [ПСРЛ, II: 586; I: 369].

Источники едины и относительно того, что окончательно заговор сложился, когда все его участники сошлись на память свв. апостолов Петра и Павла у Петра, Кучкова зятя. Многократные соположения датировки по памяти свв. Петра и Павла, упоминание имени Кучкова зятя и указание на то, что именно в его доме было принято судьбоносное решение, трудно счесть простой случайностью.

В самом деле, при незначительном разнобое в летописных датировках они явным образом не выходят за пределы трех календарных чисел — 28, 29 и 30 июня[1]. Всюду упоминаемая суббота приходилась как раз на 29 июня, непосредственно на праздник свв. Петра и Павла, т. е. основной «правильной» датой следует считать именно это число. Можно допустить, что, как и в истории захвата Киева, разнобой в датировках отчасти связан с тем, что события, хотя и разворачивались стремительно, все же заняли более одного дня, причем кульминация их пришлась на вечер 29 и ночь с 29 на 30 июня[2]. Даже если в том или ином летописном своде этот день ошибочно ассоциируется с 28-м числом, то так или иначе подчеркивается, что речь идет о дне памяти свв. апостолов Петра и Павла или о его кануне [ПСРЛ, III: 468]. Петр и Павел являются, так сказать, титульными святыми всякой версии данного

[1] В этом отношении показательно повествование Ипатьевской летописи, где при некотором отклонении от четкой хронологической последовательности событий все же вполне ясно упомянуто, что в пятницу Иоаким получает известие о том, что «брата его кнѧзь велѣлъ казнить» [ПСРЛ, II: 585], в субботу они собираются на совет у Петра, Кучкова зятя, в ночь с субботы на воскресение совершается убийство [Там же: 586], а в воскресение их злодеяние обнаруживается [Там же: 589].

[2] О соотношении различных летописных версий об убиении Андрея Боголюбского см.: [Кучкин 2003: 61–65].

нарратива, именно с ними каждый повествователь соотносит окончательное сложение заговора[1].

Таким образом, у злоумышленников был более чем благовидный повод, чтобы собраться у Кучкова зятя: в этот день он, обладатель имени *Петр*, со всей очевидностью, был именинником[2]. С другой стороны, самый факт, что празднование именин перерастает в убийство князя, совершенное его приближенными той же ночью, а именинный пир превращается в кровавое пиршество, должен был, по-видимому, производить впечатление на составителей летописи и усиливать эффект рассказа для их аудитории[3].

[1] Сложение заговора и убийство князя Андрея, как известно, охватывают вечер и ночь, и в связи с этим возникает традиционный для исследования русского летописания вопрос, на какой именно день, в перспективе русского книжника, каждое из этих событий приходится. Конец одного дня и начало другого могли определяться целым рядом параметров, использование которых давало различные результаты. Здесь актуальными могли быть, например, конец литургического дня, наступление дня светового, время ритуализированных завтраков и обедов, не говоря уж о сознательном стремлении повествователя отождествить, «подтянуть» канун или отдание праздника к самой праздничной дате. В нашем же случае самое существенное — это соотнесение имен святых с событием, Петра и Павла с фактом сложения заговора. В этом отношении весьма показательны начало и конец изложения указанного событийного ряда в версии Лаврентьевской летописи: «**Оубьѥн же бы҃ . м҃цѧ . июнѧ . въ . к҃ѳ . дн҃ь на памѧт҃ . ст҃ою ап҃лу . Петра . и Павла . в су҃ту на ночь** <…> оубьѥн же бы҃ в су҃ту на ночь . и ѡ свѣте заоутра мертвъ в не҃лю . **на памѧть . в҃і . ап҃лу**» [ПСРЛ, I: 369].

[2] Разумеется, в отличие от князей Рюрика Ростиславича или Мстислава Владимировича, о Петре, убийце Боголюбского, не сохранилось данных, какого именно из святых Петров он особенно почитал и, соответственно, на чью память в точности приходились его именины. Однако апостол Петр был, несомненно, самым популярным из тезоименитых святых, и вероятность того, что Петр, Кучков зять, был крещен именно в его честь, весьма высока. Во всяком случае, читателю летописи трудно было бы интерпретировать иначе то обстоятельство, что на день свв. апостолов Петра и Павла в его доме собралось не менее двадцати мужей, достаточно близких ко двору князя.

[3] Возникает вопрос о сюжетной роли упоминания Собора 12 апостолов, праздника, приходящегося на 30 июня, т. е. на тот день, когда было обнаружено убийство князя. Насколько значим для повествования тот факт, что в числе прочих апостолов был и Андрей, чьим тезкой является Боголюбский? Полностью исключить возможность символического осмысления этого совпадения невозможно, но здесь, как кажется, мы вступаем в зону риска, связанную с избыточной интерпретацией источника. В самом деле, хотя мы не знаем наверняка, кто из святых Андреев был личным патроном князя, но прямой патронат апостола Андрея представляется

Как уже отмечалось выше, использование термина «именины» было отнюдь не обязательным для повествования о событиях, случившихся на именины. Любопытно, тем не менее, что первое появление данного слова в русских летописях связано, хотя бы отчасти, не с благополучным и благочестивым празднованием, но с заговором, обманом, злодейством, нарушением княжеской этики. Грядущие княжеские именины становятся своеобразным пусковым механизмом для целого ряда событий, которые, так же как и разграбление Киева Рюриком, отмечены в летописи формулой беспрецедентности, вложенной в уста Владимира Мономаха: «…сего не бывало є҆с҆ в Русьскѣи земьли . ни при дѣдѣх҆ наши х҆ . ни при ѡц҃ихъ наши х҆ сѧкого зла» [ПСРЛ, I: 262].

Речь, конечно же, идет о пленении и ослеплении Василько Теребовльского. Стратегия летописного рассказа об этом трагическом происшествии не так проста: элементы агиографического канона переплетаются здесь с показаниями очевидца если не самого преступления, то его последствий, который открыто и напрямую заявляет о собственном статусе непосредственного свидетеля (что, вообще говоря, относительная редкость для русского летописания) [ПСРЛ, I: 265]. Лишь с определенной долей условности можно говорить о том, что Давыд Игоревич представлен в рассказе как инициатор злодеяния, а Святополку достается роль правителя, вовлеченного в это злодеяние хитростью[1].

менее вероятным, чем, скажем, патронат Андрея Критского или Андрея Юродивого. Кроме того, 30 июня заведомо не принадлежит к числу главных праздников этому святому. Что еще более существенно, ни в данном эпизоде, ни в пространстве летописного повествования в целом мы не находим случая, когда с 30 июня связывались бы некие специфические действия самого Андрея Боголюбского, его окружения или чтивших его память потомков. И, наконец, отметим еще раз, что для этой части летописи датирование событий по праздникам, в отличие от «Повести временных лет», — явление заурядное, а апостол Андрей в интересующей нас датировке никак не выделен из числа других апостолов.

[1] Рассказчик с самого начала строит более сложную цепь последовательно совершаемого навета и обмана. В самом деле, Святополк «ꙗ вѣру Давыдови . и перельсти Давыдъ Ст҃ополка», однако, согласно летописному тексту, еще прежде сам Давыд «имъ вѣры лживымъ словесемь» некоторых мужей (Туряка, Лазаря и Василия?), которые наговаривали ему на Василько Ростиславича. В начале же этой цепочки стоит, разумеется, сатана [ПСРЛ, II: 231–232]. Такое построение повествования дает летописцу возможность отразить всю сложность конфликта, где есть злодеяние, жертва, дурные поступки, но есть и необходимость распутать этот междукняжеский конфликт и найти для него некоторое благополучное разрешение, в рамках которого каждый Рюрикович останется при некоем княжеском столе.

Так или иначе, тайное противостояние Давыда и Святополка с ничего не подозревающим Василько Теребовльским складывается незадолго до Святополчьих именин, но Святополк все же уговаривает своего двоюродного племянника не уезжать и принять участие в праздновании этих именин («присла Ст҃ополкъ река . не ходи ѿ именинъ моихъ» [ПСРЛ, I: 258]). Это заставляет заподозрить, что первоначально существовал план схватить Василько прямо на именинном пиршестве, однако летописный текст не дает однозначных оснований для того, чтобы такое подозрение переходило в уверенность. Рассказчик скорее демонстрирует, как Давыд ловко использует отказ Василько дождаться именин старшего родича в качестве решающего доказательства виновности в заговоре. Этот отказ призван заставить Святополка окончательно поверить, что Василько готовится захватить его города и лишить его возможности княжить в Киеве.

Подобная тактика оказывается вполне успешной, и теперь уже Святополк совершенно определенно становится «носителем лести» и проявляет мнимую уступчивость, как будто поверив в объективную невозможность для Василько дождаться его именин, и зовет того на некое, так сказать, предименинное общее пиршество князей, на самом деле, заранее спланированное ради захвата родича:

> …и послуша ѥго Ст҃ополкъ . и посла по Василка гл҃ѧ . да аще не хощешь ѡстати до именинъ моихъ . да приди нынѣ цѣлуѥши мѧ . и посѣди х҆ вси с Дв҃дмъ . Василко же ѡбѣщасѧ прити не вѣдыи лсти юже имѧше на нь Дв҃дъ [ПСРЛ, I: 258].

Характерным для русского летописания образом, при описании подобных ситуаций рассказ обрастает интереснейшими бытовыми подробностями, темп повествования заметно замедляется, события каждого дня приобретают самостоятельную значимость[1], хотя далеко не обязательно каждый день четко датирован и отделен от предыдущего особой ремаркой. Так, мы знаем, что Василько приехал и остановился в Михайловом Выдубицком монастыре 4 ноября, скорее всего, во второй половине дня. Именины Святополка приходились на 8 ноября, поскольку именно в этот день празднуется Собор Архистратига Миха-

[1] Ср., напр., рассказ об убийстве половецких князей Китана и Итларя при дворе Владимира Мономаха [ПСРЛ, I: 217–219].

ила. О том, что Святополк Изяславич был *Михаилом* в крещении, упоминается в летописи [ПСРЛ, II: 275; I: 289], однако отнюдь не в этом фрагменте. Здесь автор опускает и дату Михайлова дня, и христианское имя киевского князя, скорее всего, как информацию целиком избыточную, более чем очевидную для его аудитории. Собственно, имя *Михаил* появляется лишь в связи с указанием посвящения Выдубицкого монастыря.

Таким образом, у нас есть возможность взглянуть на еще одну модель распределения фоновой и актуальной информации в летописном периоде и убедиться, что коль скоро речь шла о святом, тезоименитом великому князю, то для летописца и его аудитории было вполне достаточно одного из датирующих компонентов: упоминание княжеских именин делало, в определенном смысле, необязательным приведение точной даты их празднования и имени патронального святого. С другой стороны, зачастую вполне достаточно было назвать дату и имя соответствующего святого, чтобы эксплицитное упоминание термина *именины* стало излишним — читатель и так понимал, с каким празднованием связано это число.

Не менее существенен рассказ о Василько Теребовльском и для понимания характера датировок, связанных с большими празднествами, устраиваемыми князьями или знатными, близкими ко двору правителя людьми. Становится очевидным, в частности, что княжеский съезд в таких случаях начинался за некоторое (впрочем, заведомо небольшое) время до точной даты именин. Несколько заранее могла начинаться и вереница приуроченных к именинам пиров, при этом всякий пир (включая, судя по всему, и пир именинный) легко распространялся на следующий день. Характерным образом, Василько, уже отправившего обозы домой, уговаривают остаться хотя бы до утра и участвовать в специально организуемом — тоже, вероятно, праздничном — завтраке родичей. Тем самым, аура именин, имея вполне строгую хронологическую приуроченность, распространялась на несколько дней, предыдущих и последующих, и именно так это празднование запечатлевалось в умах его участников и свидетелей.

Вместе с тем, за описанием празднества и переговоров о нем прослеживается устоявшийся церемониально-этикетный порядок, множество деталей которого ускользают от нас как раз в силу очевидности их для летописца. Тем не менее, благодаря летописным диалогам Святополка, Давыда и Василько, не возникает сомнений, например, в

том, что участие в именинном пиршестве старшего родича было делом почти обязательным для приглашенных родичей младших. Во всяком случае, отказ от него, пусть и под благовидным предлогом, воспринимался как нежелание соблюдать иерархические отношения, собственно родовые и властно-княжеские:

> Василко же ѿпрѣсѧ река . не могу ждати єда буде҃ рать дома . и присла к нему Дв҃дъ не ходи брате не ѡслушаисѧ брата старѣишаго . и не всхотѣ Василко послушати . и ре҃ Дв҃дъ Ст҃ополку . видиши ли не помнить тебе ходѧ в твоєю руку . аще ти ѿидеть в свою волость . да оузришь аще ти не заиметь гра҃ твоихъ . Турова и Пиньска . и прочи҃ гра҃ твои҃ . да помѧнешь мене . но призвавъ Киѧнъı и ємъ и дажь мнѣ . и послуша ѥго Ст҃ополкъ [ПСРЛ, I: 258].

Вообще говоря, указание точной даты (4 ноября) и места, куда приехал Василько Теребовльский, может подчеркивать то обстоятельство, что князь, не имея дурных намерений, которые приписывал ему Давыд, и в самом деле не соблюдает неких требований, налагаемых на него княжеской иерархией; так, приехав в Киев, он не готов подождать и тех 3–4 дней, что остаются до именин киевского князя, хотя и останавливается в Выдубицком Михайловом монастыре, который, в силу своего посвящения, с этим празднованием, вероятнее всего, был связан[1].

Разумеется, утверждение о том, что пиры правителя в эпоху Средневековья были одним из важнейших средств репрезентации власти, отнюдь не ново. Тем не менее, история Василько Теребовльского позволяет на некоем новом витке еще раз вернуться к тому, с чего мы начинали эту главу. Уже к концу XI в. празднования именин встроены в круговорот княжеских ритуалов, им принадлежит весьма значительное место в династическом обиходе как таковом. С другой стороны, уже определен и круг ассоциирующихся с этим днем подобающих

[1] Напомним, что речь идет о монастыре, который был построен Всеволодом Ярославичем, а опорная стена в нем, столетие спустя после описываемых событий, будет возведена Рюриком Ростиславичем (см. выше в настоящей главе, с. 163). Михайлова Златоверхого монастыря, собственной постройки Святополка, к середине 90-х гг. XI в. еще не существовало. Разумеется, мы не можем сказать, какой из киевских храмов в данный период воспринимался Святополком как главный во время празднования собственных именин, но очевидно, что Выдубицкий Михайлов монастырь не мог быть в эти дни обойден княжеским вниманием.

князю благочестивых поступков, хотя этому кругу в дальнейшем еще предстоит несколько расширяться и усложняться. Именно поэтому всякое отклонение от такого двойного и взаимодополняющего порядка столь заметно для наблюдателя и столь эффектно в повествовании.

Глава 2

Князь Святослав и царь Иезекия: К интерпретации статей «Повести временных лет» под 1075 и 1076 гг.

В «Повести временных лет» можно обнаружить фрагменты текста, которые, не являясь, быть может, самыми загадочными с точки зрения описываемых в них событий, при более пристальном взгляде позволяют обнажить некоторые внутренние законы композиции летописного повествования и вскрыть неявные, имплицитно присущие летописному стилю приемы, а заодно и обнаружить некоторые особенности той родовой перспективы, которая нас так занимала в предыдущих главах.

К числу таких летописных эпизодов принадлежит хорошо изученное и подробно прокомментированное описание визита немецких послов к князю Святославу Ярославичу, помещенное в летописях под 1075 г.:

> В се же лѣто придоша сли из нѣмец къ Ст҃ославу Ст҃ославъ же, величаѧсѧ показа имъ бт҃ьство своѥ ѡни же видѣвше, бещисленоє множьство злато и сребро и паволокы и рѣша се ни въ чтоже ѥсть се бо лежить мертво сего суть кметѥ луче мужи бо сѧ доищють и болше сего сице сѧ похвали и Иезекии цѣрь Июдѣиск к Соломону цѣрѧ Асурииска ѥгоже всѧ взѧта быша в Вавилонъ тако и по сего смр҃ти все имѣньє расыпасѧ разно [ПСРЛ, I: 198–199; II: 189–190][1].

Перечислим бегло ряд особых черт, которые выделяют этот эпизод в составе летописного повествования. Прежде всего, бросается в глаза его явная анахронистичность: не нужно быть специалистом в области летописной текстологии, чтобы определить, что свидетельство

[1] В Новгородской первой летописи данный рассказ отсутствует.

о немецком посольстве не является обычной погодной записью. В самом деле, в нем рассказывается о том, что после кончины Святослава Ярославича все его имение «расыпасѧ разно», в то время как о смерти князя как историческом событии говорится только в статье, помещенной под следующим, 1076 г. Рассказ о немецком посольстве оказывается своего рода некрологом, подводящим итог не только конкретному событию, но и всей жизни князя в целом, причем некрологом, так сказать, упреждающим, забегающим вперед относительно хронологической фиксации событий.

Кроме того, данный отрывок, как известно, дает нам возможность «бинокулярного видения» тех фактов, о которых повествует летописный текст, так как мы можем соотнести их и с другими показаниями: свидетельствами западных хроник, в первую очередь — «Анналами» Ламперта Херсфельдского, где события, связанные с этим немецким посольством, описываются сходным и одновременно несходным образом:

> Немного дней спустя по приезде в Майнц к нему <Генриху IV> прибыл король Руси по имени Димитрий, привезя ему бесчисленные сокровища в виде золотых и серебряных сосудов и чрезвычайно драгоценных одежд, с просьбой оказать ему помощь против его брата, который силой изгнал его из королевства и, подобно свирепому тирану, сам завладел королевской властью. Для переговоров с ним об обидах, которые он причинил своему брату, король, не медля, отправил Бурхарда, настоятеля Трирской церкви, который должен был предупредить его, чтобы он оставил не по праву захваченный трон, иначе ему придется испытать силу оружия Германского королевства. Этот [Бурхард] оказался подходящим для такого посольства по той причине, что тот, к кому он отправлялся, был женат на его сестре, и Бурхард активно ходатайствовал перед королем, чтобы против того пока не предпринималось никаких более серьезных мер. Король же Руси по возвращении посольства был поручен королем [Генрихом] заботам маркграфа саксонского Деди, в сопровождении которого он ранее и прибыл [Назаренко 2001: 509][1].

[1] Paucis post diebus Mogontiam venit, ibique occurit ei Ruzenorum rex Demetrius nomine, deferens ei inestimabiles divitias in vasis aureis et argenteis et vestibus valde

Вместе с тем, в интересующем нас небольшом фрагменте летописи упомянуты и некоторые специфические особенности родового обихода Рюриковичей, например, существование личных княжеских сокровищниц в Киеве. Не исключено также, что данный эпизод имеет некоторое отношение к практике почти беспрепятственного разграбления этих сокровищ после кончины князя[1].

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что русский летописец максимально абстрактно и отвлеченно говорит о причинах и последствиях встречи немецких послов со Святославом, и в этом заключается еще одна особенность интересующего нас текста: вполне конкретные со-

pretiosis, petiitque, ut auxilio sibi foret contra fratrem suum, qui se per vim expulisset et regnum tirannica immanitate occupasset. Missus est protinus a rege Burchardus Teverensis aecclesiae prepositus agere cum illo de iniuriis, quas fratri intulerat, et commonere, ut regno, quod iniuste invasisset, ultro decederet, alioquin auctoritatem et arma Teutonici regni propediem experturum fore. Is legationi huic propeterea opportunus videbatur, quod ille, ad quem mittebatur, sororem eius in coniugio habebat, et ipse hac de causa apud regem, ne quid in illum interim gravius decerneretur, summis precibus obtinuerat. Ruzzenorum rex Dedi marchioni Saxonico, cuius ductu eo advenerat, a rege commissus est servandus, donec legati reverterentur [Lampert: 202, sub anno 1075]. О фигуре Бурхарда, шурина князя Святослава, возглавившего немецкое посольство на Русь, см. подробнее: [Назаренко 2001: 507–513; Литвина & Успенский 2010: 9–20].

[1] Возможно, этот обычай связан с общеевропейской архаической традицией сполий (от *лат*. spolio — «раздевать, похищать, лишать»), являющейся частью той легальной анархии, которая наступает на некоторое время после смерти правителя [Бойцов 2002; Писаренко 2006: 243–248]. Необходимо, впрочем, учитывать, что в летописном материале, относящемся к домонгольскому времени, есть, как кажется, всего лишь один корректный пример такого рода описания (в работе Ю. Писаренко, кстати, оставшийся нерассмотренным): мы имеем в виду бесчинства и расхищение киевлянами имущества Юрия Долгорукого [ПСРЛ, II: 489]. Остальные летописные свидетельства (в частности, рассказ о кончине Владимира Святого или Андрея Боголюбского) могут быть поняты именно таким образом только при некоторой реконструирующей интерпретации. В нашем эпизоде под 1075 г. к подобной реконструкции подталкивает фраза «расыпасѧ разно». Не исключено, хотя и необязательно, что она указывает на имевшее место посмертное разграбление княжеского добра. В самом деле, у Святослава Ярославича были сыновья, которые могли бы унаследовать это имущество, и был брат Изяслав, вернувшийся на киевское княжение, который также мог бы заполучить его целиком. Тем не менее, конструкция «расыпасѧ разно» вряд ли может служить описанием как той, так и другой ситуации: она бы больше подошла к беспорядочной раздаче или расхищению сокровищ посторонними, не членами рода. Ср., однако, в этой связи упоминание о раздаче личного достояния Вячеслава Владимировича его племянником и нареченным сыном Ростиславом, явно не имеющей ничего общего с разграблением и расхищением [ПСРЛ, II: 473].

бытия описываются с помощью готовых и относительно жестких повествовательных клише разного уровня.

Об одном из них — формуле «се ни въ чтоже ѥсть се бо лежить мертво сего суть кметѥ луче мужи бо сѧ доищють и болше сего» — нам уже приходилось писать (подробнее см.: [Литвина & Успенский 2007: 135–188; Литвина & Успенский 2018: 8–71]). С помощью этого речения князь Святослав Ярославич сравнивается со своим родным дедом, Владимиром Святославичем, которому летопись приписывает следующие слова: «сребром и злато^м^ не има^м^ налѣсти дружины а дружиною налѣзу сребро и злато ꙗкоже дѣдъ мои и ѡц҃ь мои доискасѧ дружиною злата и сребра» [ПСРЛ, I: 126]. Вместе с тем, в этом сопоставлении присутствует, несомненно, и фигура прадеда и тезки нашего князя, Святослава Игоревича, который, согласно летописи, в свое время демонстрировал пренебрежение к драгоценным дарам византийского посольства и, не глядя, раздавал их своей дружине. Этот повторяющийся микротекст (судя по всему, скандинавский по происхождению) создает в пространстве летописи устойчивый костяк княжеских характеристик.

Если говорить об еще одной немаловажной для нас теме, теме фиксации в летописи устных высказываний, то в данном случае совершенно очевидно, что, с точки зрения формы, немецкие послы вряд ли произнесли буквально такую фразу. В самом деле, подобного рода формулы целиком принадлежат русско-варяжской традиции и совершенно нехарактерны для немецких источников того времени. Кроме того, подобного рода речение едва ли уместно с точки зрения дипломатического обихода, коль скоро посольство не носило заведомо враждебного характера.

Иными словами, летописец мог употребить это речение только с оглядкой на внутренние, собственно родовые и собственно русские смыслы и ассоциации. С другой стороны, если он обладал достаточной осведомленностью, не исключено, что здесь косвенным образом подразумеваются и вполне прагматические задачи немецкого посольства: как мы знаем, будущий император Генрих нуждался в деньгах Святослава, и именно благодаря им он смог расплатиться со своим войском (так сказать, со своими «кметями») и продолжить войну[1].

[1] Ср. слова Ламперта Херсфельдского: «…огромные расходы на последнюю войну опустошили королевскую казну, тогда как войско выражало сильное не-

Как бы то ни было, при непосредственном взгляде на летопись создается впечатление, что немецкие послы являлись к Святославу ровно за тем, чтобы посмотреть на те сокровища, которыми он похвалялся, и выразить негативную оценку его жизненной стратегии. О практических целях, которые на самом деле преследовали обе стороны, не сказано ни слова, никак не упомянуто даже такое немаловажное обстоятельство, что вся затея с немецким посольством спровоцирована приездом к королю Генриху князя Изяслава Ярославича, соперника Святослава. Подобная драматургия текста связана с действием второго повествовательного клише, которое и будет более всего интересовать нас в дальнейшем.

Исследователями давно уже отмечалось, что события 1075 г. излагаются с явной ориентацией на тот нарративный образец, который задан в рассказе о царе Иезекии, вавилонских послах и пророке Исаие[1]. Давно отмечалось также и то, что соответствие библейскому тексту в летописи не вполне точное. Неточности эти объяснялись, — на наш взгляд, вполне правдоподобно, — тем, что летописец использовал библейский текст по памяти (см.: [Лихачев 1996: 503]). Если это предположение верно, то своеобразные «точки забывания» летописца дают нам возможность составить некое представление о том, насколько он был осведомлен в библейском тексте, что помнил из него и каким образом с ним работал.

Как уже было отмечено выше, клише «сего суть кметѥ луче…» почерпнуто из иной, небиблейской культурной сферы, а поэтому его можно временно исключить из рассмотрения. В чем же заключаются другие неточности и отступления летописного повествования от библейского образца? Путаница затрагивает преимущественно названия царств и имена царей. Так, согласно ветхозаветным текстам, Иезекия демонстрирует свои сокровища послам царя вавилонского, тогда как у летописца — послам царям ассирийского. Однако если мы несколько расширим рамки обзора библейского сюжета, то легко убедимся, что о приезде послов царя ассирийского к Иезекии речь идет в предше-

довольство, настойчиво требуя платы за только что завершившийся поход» (пер. А. В. Назаренко) [Назаренко 2001: 529].

[1] *4 Цар*. 20, 12–19; *Ис*. 39, 1–8. Ср.: [Шахматов 2003: 830; Назаренко 2001: 530; Максимович 2004: 121, прим. 15].

ствующих главах 4 Книги Царств и/или Книги пророка Исаии[1]. Иными словами, летописец не смешивает какие-то произвольные названия и события библейской истории, а связывает между собой, как это нередко бывает при пересказе по памяти, соседние эпизоды.

Таким образом, в памяти у него, так или иначе, присутствует вся ветхозаветная история царя Иезекии, во всяком случае, бóльший ее раздел, чем то, что непосредственно упоминается в летописи. Если это и в самом деле так, мы, кажется, сможем ответить на еще один не вполне тривиальный вопрос: на чем держится летописное уподобление Святослава Ярославича именно иудейскому царю Иезекии, а заодно и предположить, почему летописец выбирает именно такое повествовательное клише для описания немецкого посольства.

В самом деле, с точки зрения сухой фактографии, разительного сходства между этими фигурами и уподобляемыми событиями, на первый взгляд, нет. Сокровища и власть из рода Рюриковичей отнюдь не переходят к немцам (как это случается с наследием Иезекии, отошедшим к вавилонянам), и летописец явно не имеет намерений предречь, что так произойдет в сколь угодно отдаленном будущем. Таким образом, кульминационный момент библейского эпизода никак не откликается в русской истории, и, что еще более существенно, не кладется в основу повествовательного сопоставления.

Именно с этим несовпадением, как кажется, и связана аберрация памяти летописца, смешавшего ассирийцев и вавилонян. Действительно, в библейском тексте все трагически логично: Иезекия показывает все до одного свои сокровища вавилонским послам, и в Вавилон все его богатство и будет взято. Летописец же не имеет в виду ничего подобного, и потому для него нерелевантна ошибка, ведущая к известному логическому противоречию: в летописи Иезекия показывает сокровища ассирийским послам, а уйдет все это имущество вовсе не в Ассирию, но, как и сказано в Библии, в Вавилон. Иными словами, здесь срабатывает хорошо известный механизм путаницы в тех деталях, которые несущественны в перспективе рассказчика.

Но почему же все-таки для сопоставления избирается царь Иезекия?

[1] *4 Цар*. 19, 8–14; *Ис*. 36, 2–6. Кроме того, царь ассирийский, угрожавший Иудейскому царству, упоминается и в 20 главе 4 Книги Царств, т. е. непосредственно в той главе, где рассказывается о послах царя вавилонского.

С одной стороны, для русского летописания он явно не был, так сказать, такой титульной фигурой, как Давид или Соломон, которым мог уподобляться практически всякий русский князь. Насколько мы знаем, в древнерусских текстах Иезекия, если и фигурировал в сравнениях и уподоблениях, то, скорее всего, в составе некоего списка и перечня, где его имя связывалось с горячей молитвой и упованием на Божью волю[1]. С другой стороны, русская риторика далеко еще не вступила в ту, скажем образно, барочную эпоху своего развития, когда ценятся и практикуются парадоксальные сближения, уподобление всего и вся.

На этом фоне данная фигура уподобления кажется не то чтобы недопустимой, а несколько произвольной, но главное — невыразительной. Однако, поскольку мы осведомлены о том, что повествователь знал не только эпизод о вавилонских / ассирийских послах, то, проделав уже примененную нами однажды операцию расширения рамок обзора, можно получить более наглядное объяснение, почему летописец уподобил Святослава Иезекии и чем русский князь напомнил ему ветхозаветного царя.

[1] Упоминание Иезекии мы находим, например, в Изборнике 1076 г., который традиционно именуется Изборником Святослава. Такая хронологическая и «просопографическая» близость могла бы сказать о многом, однако в контексте Изборника царь Иезекия ничем не выделен среди других библейских персонажей, и его упоминание здесь едва ли может объяснить наше летописное сближение: «Въстени акы мытаръ прибѣгни акы блоудьныи оумили сѧ акы ахаавъ <плачи сѧ> акы п<етръ> зови акы ханаан<ыни> прѣдъстои ꙗко въдовица [мо]ли сѧ акы иезекиѧ съмѣри сѧ акы манаси…» [Изборник 1076 г.: 250–251]. В подобного рода перечне фигурирует имя царя Иезекии и в «Памяти и похвале Иакова мниха»: «Подобяся царемъ святымъ блаженый князь Володимеръ Пророку Давиду, царю Езекѣю и преблаженному Иосѣю и великому Костянтину, иже избраша и изволиша Божий законъ боле всего и послужиша Богу всѣмъ сердцемъ и получиша милость Божию и наслѣдиша рай и приаша царство небесное и почиша съ всѣми святыми, угожьшими Богу: такоже и блаженый князь Володимеръ, послуживъ Богу всѣмъ сердцемъ и всею душею» [Голубинский, I/1: 243]. Если же говорить об оригинальных древнерусских текстах, созданных позже, то прямое сопоставление некоего князя и Иезекии мы находим в таком текстологически сложном источнике, как «Слово Даниила Заточника», но здесь оно, очевидным образом, появляется под прямым или косвенным воздействием летописи: «Паволока бо испестрена многими шолкы и красно лице являеть; тако и ты, княже, многими людми честенъ и славенъ по всѣмъ странам. Яко же бо похвалися Езекіи царь посломъ царя Вавилонскаго и показа им множество злата и сребра; они же рѣша: нашь царь богатѣи тебе не множеством злата, но множеством воя; зане мужи злата добудуть, а златом мужеи (не) добыти. Яко же рече Святославъ князь, сынъ Олъжинъ, ида на Царьград с малою дружиною, и рече: братіа! намъ ли от града погинути или граду от нас пленену быти?» [Зарубин 1932: 16–18, 60].

В следующей погодной статье, той самой, где прямым и стандартно оформленным образом сказано о кончине князя Святослава Ярославича, сообщена и причина его смерти. Как довольно точно выразились авторы одной из современных энциклопедий, он умер вследствие неудачной хирургической операции, т. е., говоря словами летописи, «от рѣзаньꙗ желве» [ПСРЛ, I: 199; II: 190], т. е. опухоли, нарыва. Глава 20 4 Книги Царств начинается с рассказа о смертельной болезни Иезекии и о том, как, благодаря своей молитве, царь получил пророчество об исцелении. Само чудо исцеления от недуга описано следующим образом: «И сказал Исайя: Возьмите пласт смокв, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел»[1]. Далее в Книге Царств и следует рассказ о знамении солнечной тени, занимающий стихи с 8-го по 11-й и продолжающий тему пророчества об исцелении царя. Непосредственно же в 12-м стихе и начинается пресловутый рассказ о послах вавилонских и о сокровищах Иезекии.

Итак, именно н а р ы в , о п у х о л ь является мотивацией и скрытой основой риторического сближения / противопоставления двух персонажей: Иезекия чудесным образом избавляется от болезни, излечив нарыв, тогда как Святослав при попытке избавиться от «желве» умирает. При этом нельзя не отметить, что на русской почве летопись — не единственный источник, где сообщается о специфическом недуге князя. В «Сказании о святых мучениках Борисе и Глебе» мы обнаруживаем следующий эпизод:

> …и цѣловаша святааго Бориса главу, а святааго Глѣба руку. Възьмъ же, Георгий митрополитъ благословяше князѣ Изяслава и Всеволода. И пакы Святославъ, имъ руку митрополичю и дрьжащю святааго руку, прилагааша къ вреду, имьже боляше на шии, и къ очима, и къ темени, и по семь положи руку въ гробѣ. Начаша же пѣти святую литургию. Святославъ же рече к Бьрнови: «нѣчьто мя на головѣ бодеть». И съня Бьрнъ клобукъ съ князя, и видѣ нъгъть святааго, и съня съ главы и въдасти и Святославу. Онъ же прославя Бога о благодарении святою [Абрамович 1916: 56].

[1] Соответственно, в Книге Пророка Исаии болезни и исцелению Иезекии посвящена глава 38-я, где также речь идет о н а р ы в е .

Очевидно, что здесь упомянуты не только интересующее нас внешнее проявление болезни как таковой, но и попытка исцеления от нее с помощью руки новопрославленного святого, родича князя, обладателя имен *Глеб* и *Давид*. Нельзя, разумеется, не отметить, что в другой версии, представленной в «Чтении о святых мучениках», речь идет о руке св. Бориса, эпизод с ногтем, оставшимся на голове Святослава, изложен более лаконично, а нарыв («вред») никак не упомянут. В летописном же рассказе о перенесении мощей Бориса и Глеба данный эпизод отсутствует вовсе. Никоим образом не затрагивая вопрос о соотношении различных текстов Борисоглебского цикла, подчеркнем лишь одно существенное для нас обстоятельство: история о попытке чудесного исцеления Святослава так или иначе фигурировала в литературном контексте конца XI столетия.

В целом же, если наш анализ данного риторического уподобления в летописи верен, то оказывается, что весь упреждающий некролог, помещенный под 1075 г., строится на принципе несоответствия Святослава Ярославича всему хорошему, что есть в образцовых правителях. Он, в отличие от своего деда Владимира, не щедр в отношении к своей дружине, в отличие от своего прадеда Святослава, не выдерживает некоего неписаного этикета, проигрывая в «дипломатическом» поединке с послами, и, наконец, в отличие от библейского царя, он не получает исцеления от нарыва и оказывается подобен своему прототипу, Иезекии, лишь в недолжном.

Разумеется, такая интерпретация предполагает в авторе XI в. не просто знание, но и достаточно свободное владение библейской историей (хотя бы в том, что касается царя Иезекии и пророка Исаии). В таком случае, невозможно обойти вопрос, ставший традиционным для исследователей в последнее время: каковы были источники осведомленности летописца в ветхозаветных сюжетах? Если говорить о тех переведенных на славянский язык, вторичных по отношению к Библии текстах, в которых мы зачастую обнаруживаем образцы для тех или иных построений летописца, отсылающих к ветхозаветной истории (таких, например, как Хроника Георгия Амартола), то здесь столь существенная для нас детализация рассказа о симптомах болезни Иезекии отсутствует[1]. У Амартола, в частности, нет никакого упоминания

[1] О болезни и исцелении Иезекии у Георгия Амартола упоминается в следующих выражениях: «тогда бо въ болѣзнь въвержеса», «видѣвъ възвращениє слньчноє въ недоузѣ Ієзекиина» [Истрин 1920: 165], «…и погоуби книгы ты Иєзекиꙗ цсрь, зане, цѣлбы недоугомъ ѿ тѣхъ книгъ приємлюще, людиє презирахоу цѣлбы просити ѿ ба» [Там же: 145] и т. п. Что касается рассказа о послах Вавилона, то он приведен у Амартола достаточно подробно, однако здесь нет, разумеется, ни путаницы царей ассирийского и вавилонского, ни сколько-нибудь существенных лексических совпадений с русской летописью, ни, тем более, рассуждений послов о преимуществах воинов над богатством, словом — ни одной яркой приметы, свидетельствующей о непосредственном заимствовании из одного текста в другой: «…исправиса Иєзекиꙗ всѣми дѣлы своими, и тако къ сломъ Вавоулоньскымъ, посланымъ к немоу послоушати ѿ него конець, иже бысь на землі и ѡстави єго гсь искоушати єго да вѣдати соущаꙗ въ срци єго. показа бо сломъ весь домъ свои и скровища, и реч Исаиꙗ к немоу словомь гснемь: зане показа имъ вса, се днєє градоуть, и възмоутсь в домоу твоємь вса, єлико събраша ѡци твои, изнесоутсь въ Вавоулоньскомоу. подобаєть оубо и радости и печали вышьшю быти и кротъкоє с кознью коємоуждо терпѣти шествованиє» [Там же: 165].

[1] Ср., напр.: [Рибарова & Хауптова 1998: 45–46, 432]. 4 Книга Царств входила и в четьи сборники, однако древнейшие славянские переводы такого рода текстов, как известно, не старше середины XIV столетия.

о нарыве или опухоли, которое могло бы подтолкнуть русского автора к разобранному нами сопоставлению.

Помимо всего прочего, бросается в глаза и резкий контраст между риторической прагматикой в хронике Амартола и русской летописи: ошибочность поведения правителя перед лицом посольства трактуется в этих источниках в совершенно различном ключе. Георгий Амартол, в связи с рассказом о посольстве, развивает две темы — коварство замыслов Мародаха, снарядившего посольство, и недостаток смирения у Иезекии, только что исцелившегося от болезни. Ни того, ни другого мы не находим в летописном фрагменте: Святослав, как мы помним, виновен не столько в отсутствии смирения, сколько в том, что он копил богатства, не одаривая ими, вопреки родовому обычаю, воинов.

Все это невольно наводит на предположение, что летописец был знаком с каким-то другим изложением библейского текста или даже непосредственно с 4 Книгой Царств и / или Книгой Пророка Исаии. Как такое знакомство могло осуществиться практически?

Глава 38-я из Книги пророка Исаии, повествующая о болезни царя Иезекии, входила в состав паремийных чтений, однако на службе произносились, по-видимому, лишь стихи с 1-го по 6-й, где о болезни царя сказано лишь в самых общих выражениях (без упоминания о п у х о л и или н а р ы в а)[1]. Таким образом, остается предположить, что познания летописца не ограничивались кругом этих образцовых текстов.

Подобная гипотеза требует, конечно же, определенной осторожности, тем не менее, явление, с которым мы сталкиваемся в «некрологе» Святославу, не является случайным и изолированным: в раннем русском летописании обнаруживается ряд библейских реминисценций, которые не могут быть объяснены воздействием известных нам изложений ветхозаветной истории, бытовавших на славянском языке. Означает ли это, что уже в конце XI в. летописец мог быть напрямую знаком с неслужебными библейскими текстами?

Вопросов здесь пока гораздо больше, чем ответов. Так, в частности, мы не можем сказать, в каком языковом воплощении (славянском, греческом или каком-то ином) могли быть представлены эти тексты на Руси XI в. Насколько сам летописец или его коллеги-книжники были осведомлены в греческом и какую роль в книжной образованности того времени могли играть приезжавшие на Русь византийцы? Фрагмент, где князь Святослав уподобляется царю Иезекии, едва ли содержит в себе какие-либо окончательные решения, однако, будучи собраны вместе, подобные летописные эпизоды, чье происхождение более чем очевидно, но конкретный путь и источник рецепции не обнаружены, могут пролить дополнительный свет на состав «библиотеки древнерусского книжника».

Глава 3

Драматургия имянаречения: небесные и земные тезки в домонгольской Руси

Не вызывает сомнений, что со времен христианизации Руси каждый человек, принимая крещение, получал христианское имя. Хотя имена эти отнюдь не всегда были употребительны в быту, мы располагаем достаточно внушительным корпусом таких антропонимов, позволяющим делать наблюдения над тем, как они выбирались в домонгольской Руси. Немаловажно при этом, что мы имеем дело не только с крестильными именами, но и с именами иноческими. Правда, для начальных этапов христианизации мы не всегда располагаем сведениями о том, каким образом крестильные и монашеские имена соотносились друг с другом, и была ли уже в XI в., например, обязательной смена имени при постриге[1].

Когда мы говорим о выборе имени в знатных родах, в особенности в правящей династии Рюриковичей, мы, в первую очередь, обращаем внимание на тот факт, что христианские имена потомков воспроизводят имена предков, что набор таких аристократических или династических имен в каждой семье довольно ограничен и повторяется из поколения в поколение. Значение этого обстоятельства трудно переоценить. Наречение в честь предков позволяет понять, как христианские имена, поначалу чуждые родовой традиции, постепенно встраиваются в нее и медленно, но неуклонно вытесняют имена исконные, некалендарные, сами принимают на себя функцию имен родовых (об этом см. подробнее: [Литвина & Успенский 2002; Литвина & Успенский 2006]).

Иными словами, отвечая на вопрос, какое христианское имя считалось пригодным для князя, можно ограничиться самым общим утверждением: такое, которое прежде уже носил кто-либо из его предков. Разумеется, из этого правила находится некоторое количество исключений, но дело не только в них. Выявление принципа наречения христианским именем в честь предка, при всей полезности, никак не помогает нам в разрешении проблемы, почему те или иные имена были отобраны знатными родами из всего обширного христианского именослова в эпоху крещения Руси. Откуда взялись имена тех предков, которыми впоследствии в течение столетий будут нарекать потомков, как были отобраны такие имена, как *Андрей*, *Василий*, *Георгий*, *Давид*, *Дмитрий*, *Иоанн*, *Михаил*, *Роман*, *Федор*? Почему некоторые из календарных имен закрепились преимущественно в качестве иноческих, тогда как другие могли равно использоваться родичами и как светские, и как монашеские?

Разумеется, в научной литературе накоплен некоторый фонд данных и версий, относящихся к мотивам и специфике рецепции тех или иных христианских имен в X–XIII вв., хотя в целом тема эта остается не слишком разработанной. Одним из главных направлений исследования является поиск внешних образцов, на которые могли ориентироваться люди Древней Руси (прежде всего, князья) при выборе патрональных святых для себя и своих детей. Прежде чем сформиро-

[1] Об этой и других проблемах, связанных с изменением имени в монашестве, см. также: [Успенский & Успенский 2017].

валась собственная традиция, прототипы для имянаречения могли отыскиваться в Византии или в какой-либо из династий, обратившейся в христианство прежде Рюриковичей и связанной с ними узами союзничества или родства (реального или виртуального). Так, на выбор имени для Владимира Святого, очевидно, повлияла фигура византийского императора Василия II, ставшего свойственником русского князя. Христианские имена сыновей крестителя Руси, Бориса / Романа и Глеба / Давида, вероятно, хотя бы отчасти связаны с христианским именословом болгарской династии.

Однако далеко не все случаи имянаречения правителей мы можем объяснить ориентацией на династические образцы других христианских стран. Более того, у русских князей мы не обнаруживаем сколько-нибудь последовательной, тщательной ориентации на византийский императорский антропонимикон. Здесь, скорее, есть смысл говорить об относительно многочисленных, но все же частных заимствованиях, каждое из которых нуждается в особом объяснении.

В качестве еще одного мотива, который мог повлиять на антропонимические пристрастия у первых поколений обращенных Рюриковичей, иногда указывается изобразительный канон, сложившийся в христианской традиции. Иконы, монеты, печати, несущие на себе образы святых и их имена, — все это могло так или иначе повлиять на выбор святого покровителя, а соответственно, и на выбор крестильного имени для княжича. Так, облик воина с оружием и доспехами мог делать особенно привлекательной, подобающей для князя фигуру того или иного святого. Не исключено, что именно поэтому вскоре после крещения Руси в княжеский именослов проникает немалое количество имен святых воинов — Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, архистратига Михаила, а несколько позднее Федора Тирона и Федора Стратилата.

Существенно, однако, что изобразительный ряд, особенно значимый в среде людей, не умеющих или почти не умеющих читать, с распространением грамотности очень быстро начинает связываться с повествовательным рядом. Воздействие иконографии чрезвычайно трудно отделить от воздействия агиографии — на выбор имен могут влиять не только зрительные образы, но и тесно связанные с ними сюжеты, почерпнутые из письменного текста.

Мы далеко не всегда знаем, какие житийные памятники были в распоряжении образованных людей на Руси вскоре после крещения. Тем

не менее, не стоит и преувеличивать меру нашего неведения: на протяжении XIX и XX столетий значительная часть усилий историков русской культуры была сосредоточена именно на том, чтобы определить круг чтения древнерусского книжника. Таким образом, в нашем распоряжении есть довольно обширный материал, позволяющий судить о воздействии агиографии на выбор имени. При этом, если мы сумеем выработать адекватный метод для работы с таким материалом, специфика имянаречения, в свою очередь, может расширить наши представления о том, какие житийные источники были в ходу в Древней Руси.

Нам представляется вполне правдоподобным, что уже к середине XI в., а тем более в XII в. степень вовлеченности образованного человека на Руси в христианскую культурную традицию была весьма высока. Условно говоря, князь не только знал ряд житийных текстов, но у него могли возникать достаточно сложные ассоциации, провоцируемые этими текстами, он и его окружение могли порождать определенную культурную игру, на этих текстах основанную. Разумеется, в еще большей мере сказанное может относиться к русским духовным иерархам (во всяком случае, к некоторым из них).

В отношении, так сказать, культурной эволюции, проделанной династией Рюриковичей за весьма короткий отрезок времени, чрезвычайно показательна дистанция в образованности между прадедом и правнуком — Владимиром / Василием Святославичем и Владимиром / Василием Всеволодичем Мономахом. Если прадед предстает в летописи человеком, не умеющим читать и лишь слушающим евангельские тексты, то правнук оставляет потомкам сочинение, свидетельствующее о детальном знакомстве с письменными текстами самых разных жанров и о свободе обращения с самыми разными источниками.

Как мы пытались продемонстрировать в наших работах, выбор имени был актом весьма многоплановым, призванным собрать воедино или учесть одновременно целый ряд тенденций родовой истории (см. прежде всего: [Литвина & Успенский 2006]). Неудивительно поэтому, что когда к выбору имен так или иначе подключались христианские тексты и христианская история, то и они могли применяться довольно сложным, изощренным образом.

Исследование системы родовых некалендарных имен русских князей показывает, что одной из основ имянаречения служит уподобление потомка предку. Потомок может осмысляться как живое воплощение умершего предка, а происходящие с ним события — как по-

вторение и отголосок тех событий, что происходили во времена его прежде живших родичей. Разумеется, такой подход не был исключительной принадлежностью родового мира Руси; он не только является универсальным, но легко находит точки соприкосновения с христианской традицией осмысления истории. Имя — это всегда хотя бы отчасти средство отождествления человека с неким прототипом, будь то предок или патрональный святой. В перспективе христианина связь со своим патрональным святым могла выражаться в том, что он охотно помещал изображение своего покровителя-тёзки на принадлежащих ему предметах (в первую очередь, на тех, которые — как, например, княжеские печати — особым образом репрезентируют его личность), читал житие своего патрона и, в зависимости от своих возможностей, заказывал иконы, рукописи или строил церкви, ему посвященные.

Все эти признаки знакомства с иконографией и агиографией общеочевидны, однако, говоря о влиянии агиографии на именослов, о них нельзя забывать, но ими нельзя и ограничиваться. Мы можем с достаточной степенью уверенности утверждать, что Андрей Боголюбский, учредивший на Руси праздник Покрова Богородицы, был знаком с Житием Андрея Юродивого, где описывается сюжет, давший начало этому празднованию, но мы не можем утверждать, что те, кто в свое время выбирал для Андрея Юрьевича имя, ориентировались исключительно на образ Андрея Юродивого и не принимали во внимание, скажем, Андрея Критского, Андрея Первозванного или Андрея Стратилата (ср.: [Голубинский, I/2: 400–406; Воронин 1965: 210; Лосева 2001: 107; Лосева 2001а: 131; Успенский 2004а: 95–99]).

Еще более несомненно знакомство деда Андрея Юрьевича, Владимира / Василия Всеволодича / Андреевича, с сочинениями своего небесного тёзки — св. Василия Великого, так как в «Поучении» мы обнаруживаем не только упоминание этого отца Церкви, но и прямые отсылки к его трудам. Тем не менее, маловероятно, что выбор имени в данном случае определялся житием и творением этого святого: нарекающим было вполне достаточно и того обстоятельства, что *Василием* в крещении был прославленный прадед ребенка, Владимир Святославич.

Чтобы говорить о реальном влиянии агиографии на выбор имени, необходимо, на наш взгляд, не только отыскать факты, свидетельствующие о знакомстве с житийными или богослужебными текстами, но и обнаружить некие выстроенные на основе этого знакомства соответствия на более высоком уровне, так сказать, сюжетном, когда, по крайней мере, два действующих лица из русской истории уподобляются (прямо или косвенно) своим тёзкам из древнехристианской истории. Иными словами, нам особенно интересно воспроизведение или имитация на Руси отношений, связей между действующими лицами агиографических сочинений. В особенности мы хотели бы обратить внимание на ситуации, когда риторическое уподобление, риторическая практика, основанная на житиях и библейских текстах, разыгрывается в пространстве личных имен Рюриковичей, по-своему мотивируя выбор имени для того или иного представителя династии.

Очевидно, что наши сведения о христианских именах (а отчасти и о круге чтения книжников) более полны для рубежа XII–XIII вв., чем для начального этапа христианизации Руси. Поэтому на подступах к проблеме мотивации наречения христианским именем кажется полезным двигаться от более позднего времени к более раннему, учитывая при этом, что за полтора-два столетия обычаи и традиции вполне могли изменяться и утрачиваться.

Начнем с примера, имеющего отношение не к крестильным, а к иноческим именам. К рубежу XII–XIII вв. на Руси, по-видимому, уже существовал обычай перемены имени при постриге. Весьма возможно, что он был в ходу и ранее, но, как уже говорилось выше, мы не располагаем достаточным количеством данных, позволяющих говорить об этом с уверенностью. В выбор нового, монашеского имени мог, очевидно, вовлекаться и сам нарекаемый, хотя представляется вероятным, что здесь дело в значительной степени зависело от общепринятого обычая и воли того духовного лица, которое осуществляло постриг.

С определенного времени на Руси устанавливается обычай давать при постриге имя, начинающееся с той же буквы, что и христианское имя, которое постригаемый носил в миру. Однако обычай этот — относительно поздний, и об этом, по-видимому, были осведомлены и книжники, работавшие в XVI–XVII вв. В летописных и агиографических текстах этой поры мы обнаруживаем рассуждения составителей памятников, подчеркивающих, что прежде (в XIII в.) иноческие имена выбирались не так или не обязательно так, как теперь (в XVI–XVII вв.). Запись о кончине Феодосии, матери Александра Невского, в Никоновской летописи, например, выглядит следующим образом:

Того же лѣта преставися великая княгини Ярослава Всеволодичя Феодосіа въ Новѣградѣ, и положена бысть въ Юрьевѣ манастырѣ, а во мнишескомъ чину наречена бысть Еѳросиніа, понеже тогда даваху имена не съ перваго слова, но въ который день постриза-шеся кто во иноци, того дни и имя даваху, или потомъ въ той же день [ПСРЛ, X: 129].

Аналогичную констатацию выбора иноческого имени по дате пострижения мы обнаруживаем в Житии Евфросинии Суздальской:

…и прият ю по обычаю, и Феодулию проименова Еуфросиною, бѣ бо в тои день мѣсяца септевриа 25, творится паметь Змарагду преподобныя Еуфросинии Александрѣискыя [Клосс 2001: 383][1].

Отметим, что из свидетельства Никоновской летописи ясно, что календарная дата пострижения как таковая вовсе не обязательно определяла будущее иноческое имя того или иного лица. Оговорка «…или потомъ въ той же день» оставляет достаточно широкие рамки для выбора. Кроме того, если речь идет не о пострижении на смертном одре, то самый день пострига мог выбираться в зависимости от того, какого святого покровителя хотели дать принимающему постриг.

Упомянутые нами два случая пострижения женщин из рода Рюриковичей в этом отношении весьма характерны. Для обеих (?) было выбрано имя св. Евфросинии Александрийской. Это имя к XIII в. успело сделаться более чем традиционным для русских княгинь: оно давалось как в качестве монашеского (Евфросиния Полоцкая, Ольга-Евфросиния, дочь Юрия Долгорукого), так и в качестве крестильного (Евфросиния Измарагд[2], дочь Ростислава Рюриковича). Вероятнее всего, и в двух

[1] Напомним, что святая жила в первой половине XIII в., тогда как дошедшие до нас версии ее жития относятся к XVI в.

[2] Вероятно, Евфросиния Александрийская традиционно воспринималась как носительница двух имен — женского *Евфросиния* и мужского *Смарагд*. Дело в том, что, согласно житию святой, она поступила в мужской монастырь и долго жила в нем под видом евнуха Смарагда [Migne: 643–652, cap. VIII, XI, XIII–XV]). «Двуименность» святой запечатлена не только в житии, но в службе, ей посвященной. Существенно при этом, что русские князья, выбирая для одной из представительниц своего рода Евфросинию Александрийскую в качестве патрональной святой, сочли нужным сохранить такую присущую ей двуименность. Летописное

интересующих нас случаях монашеское имя *Евфросиния* давалось под воздействием общеродового культа св. Евфросинии Александрийской. Не исключено при этом, что свою роль здесь сыграла и фигура родственницы постригаемых — Евфросинии Полоцкой, которая в XIII в., скорее всего, уже почиталась Рюриковичами как святая. Так или иначе, в выборе монашеского имени для княгини и княжны явно играли определенную роль родовые соображения. В целом же можно утверждать, что в XIII в. не существовало жесткого графико-фонетического правила подбора иноческого имени к крестильному[1]. Именно отсутствие таких определенных правил и вызвало к жизни необходимость тех комментариев к процедуре пострижения, которые мы привели выше.

Упомянем также еще одно пояснение, касающееся монашеских имен, с происхождением которых дело обстоит несколько сложнее. Рассказ о пострижении Марии, жены Всеволода Большое Гнездо, включает, в частности, следующую ремарку:

Того^ж^ м^с^ца въ в҃ дн҃ь постриже^с^а великаꙗ кн҃гни Всеволо^ж^ во мнишескии чинъ в монастыри ст҃ые Б^д^ци юже бѣ самъ созда^л^ и нарекоша єи имѧ Мр҃иꙗ в то^ж^ имѧ крещена бы^с^ пре^ж^ [ПСРЛ, I: 424][2].

Если буквально следовать показаниям этой летописной статьи, то Мария Всеволожая приняла постриг 2 марта. С помощью этой даты,

свидетельство о наречении дочери Ростислава Рюриковича Смоленского гласит следующее: «Того же лѣ^т^ на зимоу родисѧ дщи оу Ростислава оу Рюриковича и нарекоша имѧ еи Єфросѣньꙗ и прозваниемь Изморагдъ еже наречетьсѧ дорогыи камень» [ПСРЛ, II: 708]. «Псевдоним» Евфросинии Александрийской указан, как мы помним, и в свидетельстве о пострижении Феодулии-Евфросинии (см. выше). Об этом весьма важном, с точки зрения заявленной нами темы, сюжете см. подробнее: [Литвина & Успенский 2005].

[1] О выборе монашеских имен в Древней Руси ср. также: [Голубинский, I/2: 574; Успенский, II: 195–196, прим. 8; Сазонов 1994; Сазонов 1995; Успенский & Успенский 2017].

[2] Сложность в интерпретации этого фрагмента заключается в том, что мы не знаем наверняка, как рано появилась в Лаврентьевской летописи ремарка, особо подчеркивающая тождество крестильного и иноческого имени княгини. Если считать это свидетельство ранним, относящимся непосредственно ко времени ее пострига, оно давало бы нам ценное доказательство того, что уже в ту пору сохранение крестильного имени в монашестве воспринималось как исключение, требующее пояснения. Возможно, однако, что все это пояснение — дело рук позднейшего редактора.

как кажется, затруднительно найти причину наречения ее в иночестве *Марией*; дата эта никак не помогает и в объяснении того, почему ей при постриге было сохранено крестильное имя и переменила ли она свою патрональную святую.

Итак, мы видим, что выбирающие имя для инока или инокини в XIII в. были относительно свободны от сугубо формальных схем и могли руководствоваться какими-то иными соображениями и мотивами[1]. Одним из таких мотивов, как мы уже попытались показать, могло быть следование родовой традиции. Однако и в XIII в., когда на Руси выработались собственные устойчивые образцы подбора христианских имен, подражание предкам отнюдь не было единственным способом выбора иноческих имен. Особенно это становится очевидным, если мы отвлечемся от собственно княжеского антропонимикона и обратимся к имянаречению русских духовных лиц и иерархов.

Предполагается, что Житие Авраамия Смоленского было составлено не позднее первой половины XIII в. неким Ефремом, который характеризует себя как недостойного ученика Авраамия:

> Аз же грешныи и недостоиныи Ефрем в лености мнозе пребывая и в последнии день празден и пуст быв всех благих дел, разве в праздно имя облекохся, во ангельскии сан, именем черноризец нарицаюся, а делы злыми далече его отстоя, то како нарекуся, аще бы и последнии нарещися, но не могу, дела бо злая, яже содеях, обличают мя и стужают, тем последнии в житии блаженому, реку Аврамию, ученик… [Розанов 1912: 81].

С другой стороны, первые дошедшие до нас списки этого жития не старше XVI в. Разумеется, поневоле возникает вопрос, что было рассказано в первоначальном тексте самим Ефремом, а что привнесено в него редакторами и переписчиками. Сама по себе эта текстологическая проблематика небезынтересна и в перспективе выбора имени в Древней Руси. Так, в житии мы находим указание на то, как и когда полагалось нарекать ребенка именем и крестить его:

> И совершившим же ся днем рожению ея, и роди блаженое се детище, таче во осмыи день принесоста и ко святителю, якоже обычаи есть християном, имя детище нарещи. И наречено бысть имя детищу Афонасеи. Презвитеръ же виде дѣтище сердечныма очима и благодатию Божиею прозря о немъ, что измлада хощеть Богу датися. Таче же минувшу четырядесят днеи детищу, крещением освятиша и. Отроча же растяше, кормимо родителема своима, и благодать Божия бѣ с нимъ и Духъ Божии вселися в онь [Розанов 1912: 66].

Казалось бы, благодаря этому тексту мы получаем в свое распоряжение довольно много данных относительно того, как было выбрано светское имя для Авраамия Смоленского и как оно соотносилось с его монашеским именем. Однако на деле с этим фрагментом у нас возникает целый ряд сложностей. Во-первых, невозможно определить, насколько описанная процедура соответствует собственно биографии смоленского святого. Приведенный нами текст практически буквально совпадает с Житием Феодосия Печерского[1]. Из-за того, что составитель Жития Авраамия Смоленского столь тщательно следует агиографическому канону, представленному в Житии Феодосия Печерского, мы, в сущности, не можем рассматривать процедуру наречения Феодосия и процедуру наречения Авраамия как два отдельных, самостоятельных примера, сообщающих нам нечто об обычае имянаречения в домонгольской Руси.

Очевидно, однако, что для создания достоверной картины имянаречения той эпохи нам был бы необходим набор сколько-нибудь незави-

[1] Вообще говоря, даже для относительно позднего времени следует говорить об обычаях — выбирать иноку имя, начинающееся с определенной буквы, или по дню его пострижения — именно как об обычаях, более или менее устоявшихся, но не являющихся абсолютным правилом церковной жизни. Показателен в этой связи один из ответов митрополита Киприана игумену Афанасию (1390–1405 гг.): «Егда же ли чернца пригодится стричи и имя ему нарицати, несть в сем узаконоположено, еже или дни того святого имя нарещи, или пакы и с мирьского имяни [чтобы на ту же букву начиналось], но якоже игумен въсхощеть и повелить» ([РИБ, VI: 262, № 32; АИ, I: 479, № 253]; ср.: [Успенский, II: 195, прим. 8]).

[1] Ср. «родиста же бл҃женаго дѣтища сего таче въ осмыи д҃нь принесоста и къ ст҃лю б҃жию ꙗко же обычаи ѥсть крьстиꙗномъ да имꙗ дѣтищю нарекоуть прозвутеръ же видѣвъ дѣща и ср҃дьчьныма очима прозьрꙗ ѥже о немь ꙗко хощеть из млада богоу дати сѧ ѳеѡдосиѥмь того нарицають таче же ꙗко и миноуша м҃ д҃нии дѣтищю крьщениѥмь того ос҃тиша отроча же ростꙗше кърмимъ родителема своимаи блгдть бжиꙗ съ нимъ и д҃хъ ст҃ыи из млада въсели сꙗ въ нь» ([Князевская 1971: 73]; ср. [Абрамович 1911: 16]).

симых примеров. Дело в том, что самое содержание обычая нарекать именем на восьмой день для того времени представляется весьма непрозрачным. Не вполне понятно, например, давалось ли ребенку имя того святого, чья память приходилась на этот восьмой день. Что касается XII–XIII вв., то здесь мы не сталкиваемся с упоминаниями о подобной практике, за исключением, пожалуй, одного случая, впрочем, довольно сомнительного[1]. Для XVI же столетия случаев наречения ребенка именем того святого, чья память приходилась на восьмой день по рождении, зафиксировано немало. Встречаются они и в правящей династии: так, один из сыновей Ивана Грозного нарекается *Федором* по празднованию св. Федору Стратилату, приходящемуся (при определенном способе подсчета) ровно на восьмой день по отношению ко дню его появления на свет. Никогда, впрочем, ни для Рюриковичей, ни для их подданных практика наречения по восьмому дню не становится облигаторной или хотя бы доминирующей; скорее, можно сказать, что на пресловутый восьмой день в XVI в. обращают гораздо больше внимания[2].

Все вышеизложенное порождает вторую сложность в интерпретации интересующего нас фрагмента об имянаречении Авраамия Смоленского: что́ в описанном обычае нарекать ребенка на восьмой день и крестить на сороковой является принадлежностью XIII в., а что́ — XVI в. Насколько календарный расчет «восьмого дня» и «сорокового дня» определял в домонгольской Руси выбор христианского имени как таковой?

[1] В Тверской летописи, относительно позднем памятнике, дошедшем до нас в единственном списке начала XVII в., приводятся точные даты появления на свет Андрея Доброго, одного из младших сыновей Владимира Мономаха, и Всеволода / Дмитрия Большое Гнездо, одного из младших Мономаховых внуков: «…родися Володимеру Манамаху сынъ Андрей, августа 11; даша ему имя въ 18 августа, Андрей стратилать»; «Сущу князю Георгію Суждальскому Володимеричу въ своей области на рѣцѣ на Яхромѣ и сь княгинею, и мѣсяца октобря 19 день родися ему сынь Дмитриій, и нарече ему имя Всеволодъ, и постави на томъ мѣстѣ въ имя его градъ, и нарече его Дмитровъ» [ПСРЛ, XV (Тверская летопись): 188, 221]. Предположение о том, что эти даты рождения были искусственно вычислены летописцем, работавшим в XVI в., см.: [Литвина & Успенский 2002: 92–93].

[2] Ср.: [Служебник: 494 об.; Котошихин: 15; Карпов 1877: 178; Забелин, I/2: 3, 29; Голубинский, I/2: 429; Бетин 1970: 61–62; Успенский, II: 198, прим. 32; Kaiser 1995: 286–289]; ср. также: [РИБ, VI: 416]).

Не менее неоднозначно и соотношение иноческого и крестильного имени смоленского святого. Его имя *Авраамий* начинается на ту же букву, что и его светское имя *Афанасий*, и это полностью соответствует обычаям и традициям XV–XVI вв. Был ли, однако, св. Авраамий и в самом деле крещен *Афанасием*? У нас есть в этом основания сомневаться, так как имя *Афанасий* появляется лишь в одной из редакций жития, традиционно считающейся поздней переделкой (ср.: [Розанов 1912: XII])[1].

Тем не менее, в Житии Авраамия Смоленского отражены, на наш взгляд, и такие особенности почитания святых в домонгольской Руси, наличие которых не зависит от возможностей текстологического анализа. Речь идет об именах, присутствующих в самых различных редакциях жития. Как кажется, не возникает сомнений, что в монашестве Авраамий звался *Авраамием*, а его ученик — *Ефремом*. Вообще имена нередко бывают тем минимальным квантом достоверной информации, на который мы можем опереться, они могут послужить отправной точкой для дальнейшего исследования и рассуждения.

Совершенно очевидно, что интересующая нас именная пара *Авраамий* / *Ефрем* восходит к христианской древности. Не менее очевидно и другое: на Руси была хорошо известна та агиографическая коллизия, в которую эти имена были вовлечены. Дело в том, что составителем жития древнего подвижника Авраамия Затворника был не кто иной, как св. Ефрем Сирин. Текст этот был весьма популярен уже в домонгольский период. Так, в частности, Слово об Авраамии Затворнике было включено (с указанием авторства Ефрема Сирина) в состав Успенского сборника [Князевская 1971: 474–490]. Как кажется, такое совпадение имен славящего и прославляемого не может быть случайным. Иными словами, живший на русской земле Ефрем, пишущий Житие Авраамия Смоленского, не мог не уподобляться Ефрему Сирину, написавшему Житие Авраамия Затворника (ср.: [Федотов 1973: 39; Топоров 1998: 76; Успенский & Успенский 2017: 117]). Такое уподобление становится особенно наглядным, если мы вновь вернемся к тексту жития и обратим внимание на то, что сочинения Ефрема Си-

[1] Не исключено, что конкретное личное имя святого появляется в этой «переделке» не без, так сказать, вторичного воздействия Жития Феодосия Печерского. Те редакции, которые традиционно считаются более древними, в этом отрезке повествования (предельно близком, как уже говорилось, к Житию Феодосия) отличаются от него как раз отсутствием личного имени младенца.

рина упоминаются во всех известных нам редакциях Жития Авраамия Смоленского [Розанов 1912: 4, 36, 39, 54, 57, 67, 70, 87, 104]. Более того, исследователями неоднократно отмечалось, что Ефрем-младший знал труды своего тезки не только по названию: его текст содержит некоторые реминисценции из древнего Жития Авраамия Затворника.

Разумеется, возникает вопрос о природе и характере столь очевидного уподобления имен и ролей. На каком уровне закладывалось интересующее нас сходство? Нельзя не вспомнить о том, что Авраамий Смоленский был игуменом монастыря Положения Риз Пресвятой Богородицы. В тексте жития упоминается о его личном и особенно пристальном внимании к принятию в монастырь и пострижению новых иноков. Ефрем, судя по тексту жития, был одним из черноризцев этой обители [Розанов 1912: 2][1]. Весьма вероятно при этом, что он, будучи учеником Авраамия и, по-видимому, долгое время находясь при смоленском святом, был некогда пострижен им самим или при непосредственном его участии. В таком случае, естественно предположить, что сам Авраамий дал постригаемому имя в честь Ефрема Сирина не без оглядки на собственное монашеское имя.

Конечно, предположение такого рода остается не более чем гипотезой. О патрональном святом самого Авраамия Смоленского мы находим некоторые сведения в составе жития. Автор интересующего нас текста обнаруживает знакомство с целым кругом агиографических сочинений, и — как это регулярно происходит в житийной литературе — эпизоды из текстов о древних святых вводятся благодаря уподоблению главного героя собственного сочинения подвижникам древности. Так, в частности, появляется в рассказе об Авраамии Смоленском эпизод из Жития Саввы Освященного. Есть здесь и эпизоды, демонстрирующие знание Жития Авраамия Затворника, составленного Ефремом Сирином. Любопытен, однако, тот прием, с помощью которого один из таких эпизодов встраивается в текст:

> Сего же ради блаженыи имя нареклъ себѣ, своего святьца[2] подражая, якоже бо и онъ[3] подражая много пострадалъ отъ оноя веси и за ня моляся Богоу и спасая, блаженыи же терпя ихъ запрещеніе [Розанов 1912: 12].

[1] В иконописных подлинниках и перечнях русских святых, относящихся к XVII–XVIII вв., и Авраамий, и «ученик его» Ефрем могут именоваться «архимандритами» [Розанов 1912: 163–164]. Таким образом, агиограф в позднейшей церковной традиции оказывается прямым преемником своего наставника и учителя.

[2] В одной из редакций вместо «святьца» читается «святаго».

[3] В одной из редакций вместо «якоже бо и онъ» читается «якоже бо Иоанъ».

В перспективе проблемы имянаречения этот короткий отрывок из жития дает нам очень многое. Во-первых, характерна позиция агиографа в целом, когда он, отнюдь не следуя буквально в своем сочинении сюжетному канону древнего жития, составленного Ефремом Сириным, считает нужным сопоставить Авраамия Смоленского с несколькими подвижниками и, среди прочих, с его тезкой — Авраамием Затворником, который поселился среди язычников и поначалу терпел от них всяческие муки и поношения, но потом сумел стать их любимым наставником в вере. Во-вторых, существенно, что сопоставление строится и разворачивается именно на основании тождества имен[1].

[1] Уподобление каждого «нового» подвижника «древнему» подвижнику-тезке в высшей степени характерно для всей христианской традиции в целом и может осуществляться с помощью обширного ряда риторических приемов. Так, сам Авраамий Затворник уподобляется в русском тексте своего жития другому Авраамию, «Авраамию древнейшему», с помощью формулы «второй X»: «…ꙗко же бы подобало съказати вамъ довълно ѡ въторѣмъ аврамѣ семь иже бысть въ лѣта наша» [Князевская 1971: 474]. В Житии же Авраамия Смоленского мы находим, например, в перечне тех святых, которых брал себе за образец подвижник, другой прием уподобления двух тезок, двух святых Феодосиев: «…великаго мню Антонiа, бывшаго крѣпка, храбра и побѣдившаго силою крестною духы неприязненные, Иларионы, бывъшаго оученика его, по немъ свѣтлаго в постьницѣхъ чюдотворца Еоуфiмья, иже по нихъ Савоу и Феодосья архимандрита и стареиша всѣхъ наставника черноризцемъ, соущимъ окрестъ Иерусалима. Изъ всѣхъ любя часто почитати оученiе преподобнаго Ефрѣма и великаго вселеныя оучителя Иоанна Златоустаго и Феодосия Печерьскаго, бывшаго архимандрита всеа Руси…» [Розанов 1912: 4]. Этот текст весьма близок к одному из фрагментов Жития Феодосия Печерского [Абрамович 1911: 15, 142], однако здесь преп. Феодосий не является главным персонажем, и потому риторическая конструкция уподобления строится несколько иначе. Весьма существенно, что такое посмертное объединение святых тезок могло, по-видимому, не ограничиваться рамками повествовательного текста как такового. Так, по преданию, Даниил Столпник был погребен в могиле пророка Даниила. Приводя примеры из совсем другой области, можно упомянуть о практике приурочивания памяти святых к дням поминовения их более древних тезок. Так, на Руси память Андрея Боголюбского отмечается 4 июля, на память Андрея Критского, память Меркурия Смоленского празднуется 24 ноября, на память Меркурия Кесарийского, память киево-печерского игумена Варлаама совпадает с днем памяти преподобных Варлаама и Иоасафа (19 ноября), память благоверного князя Федора Ярославича празднуется 5 июня, в день памяти Феодора Чудотворца,

Наконец, в-третьих, мы узнаем не только о том, что именно Авраамий Затворник был святым покровителем Авраамия Смоленского, но и что последний сам избрал себе иноческое имя и, соответственно, небесного патрона.

Разумеется, нельзя исключить полностью, что пассаж об избрании себе имени в какой-то мере является данью риторике, построением искусного книжника. Однако даже и в этом случае очевидно, что составитель жития считает именно Авраамия Затворника покровителем смоленского подвижника. Не стоит, впрочем, упускать из виду и то обстоятельство, что это рассуждение все же могло появиться в тексте не в XIII в., а несколько позже.

При этом у нас нет никаких прямых данных о патроне самого русского агиографа Ефрема — древних святых с таким именем было несколько. Однако, если учесть, что покровителем его наставника был, скорее всего, Авраамий Затворник, а из всех святых Ефремов наиболее популярным на Руси был все же интересующий нас Ефрем Сирин, то такой патронат представляется наиболее вероятным.

Сведения о биографии русского Ефрема мы можем почерпнуть исключительно из жития, и здесь они достаточно скудны. Поэтому мы не можем знать со всей определенностью, как и где он получил свое иноческое имя. Возможна, таким образом, и другая версия, объясняющая связанность имен *Авраамий* и *Ефрем* в собственно русской церковной истории. Не исключено, что Ефрем получил имя при каких-то не известных нам обстоятельствах, независимо от прославляемого им Авраамия Смоленского. Однако эта соотнесенность имен должна была быть замечена еще при жизни его учителя и возлагала на Ефрема определенную миссию. Будучи тезкой Ефрема Сирина в среде, где

с празднованием Афанасию Великому (31 января) совпадают дни памяти сразу двух русских святых — Афанасия Вологодского и Афанасия Наволоцкого, память Сильвестра Киево-Печерского, жившего в XII в., отмечается 15 января, т. е. тогда же, когда поминается и Сильвестр Римский. В один день с Авраамием Затворником (29 октября) празднуется память Авраамия Ростовского. Число таких примеров легко умножить. Весьма возможно, что подобная приуроченность характерна для тех случаев, когда точная дата кончины «нового» святого ко времени канонизации была утрачена. Разумеется, к проблеме выбора имени и святого покровителя имеет отношение весь круг тем, связанный с уподоблением древним прототипам, однако он слишком обширен, чтобы мы могли затронуть его хоть сколько-нибудь подробно в данной главе.

столь внимательно читались сочинения последнего, он, имея хотя бы малейшую склонность к писательству, неизбежно должен был представляться как будущий агиограф, и при этом неважно, был ли Ефрем Сирин изначально его небесным покровителем. Со смертью Авраамия Смоленского это уподобление древним прототипам, естественным образом, актуализировалось: предназначение, миссия нового Ефрема заключалась, в первую очередь, в том, чтобы, подобно древнему Ефрему, создать житие своего современника, носившего имя *Авраамий*.

Таким образом, было ли имя *Ефрем* дано русскому агиографу при участии Авраамия Смоленского, или он получил его еще до встречи со своим учителем, «парность» их имен и соотнесенность с древними прототипами были, несомненно, очевидны их образованному окружению, особенно выделявшему труды и самую фигуру Ефрема Сирина [Розанов 1912: 4, 12]. Мы не можем сказать наверняка, повлияла ли эта «парность» на выбор имени для Ефрема-младшего (хотя это представляется весьма вероятным), однако совершенно ясно, что она обусловила восприятие его имени и его культурной роли в Древней Руси.

Строго говоря, существует и еще одна версия появления имени *Ефрем* в похвале Авраамию Смоленскому. Это мог быть и псевдоним книжника, подражавшего Ефрему Сирину, некогда составившему жизнеописание своего современника, св. Авраамия Затворника. В таком случае прямое уподобление древнему прототипу является единственной функцией этого имени. «Самовольно» принятое имя еще более обостряет ту ситуацию культурной игры, подражания древнехристианской истории, буквального воспроизведения актуальных для нее ролей и связей, о которых речь шла выше. Необходимо, впрочем, оговориться, что мы не знаем для домонгольской Руси сколько-нибудь надежных примеров подобного рода псевдонимов, и тема эта требует отдельного исследования.

Как кажется, подобный случай ролевого объединения двух монашеских имен не единичен. Нам уже приходилось писать о том, что восприятие имен подвижников, действующих на Руси, в качестве своеобразной пары, обусловленное парностью этих имен в агиографической традиции, могло иметь место не только в XIII в., но и в XI в. [Литвина & Успенский 2004: 110–114]. Речь идет об именах *Иларион* и *Антоний*. Широко распространенный сюжет об «отце монашества», Антонии Великом, и его ученике и последователе — древнем святом Иларионе из Газы, на русской почве подталкивал к тому, чтобы мит-

рополит Иларион воспринимался как ученик и последователь «отца русского монашества» — Антония Печерского.

Сюжеты, связанные с духовными лицами, конечно же, имеют самое непосредственное отношение к мотивам выбора христианских имен на Руси в целом. Однако выбор имени для инока, разумеется, далеко не тождественен процессу наречения христианским именем ребенка. Кроме того, обращаясь к сюжетам XIII в., мы были вынуждены несколько отойти от проблемы выбора календарных имен для первых поколений крещеных людей на Руси. Тем не менее, нам, как кажется, удалось наметить некоторые возможности воздействия традиционных для агиографии антропонимических сочетаний на выбор или бытование тех или иных имен в стране поздней христианизации.

Возвратимся теперь к имянаречению в династии Рюриковичей. Нельзя не отметить, что со второй половины XI в. в княжеских семьях фиксируется немало случаев, когда крестильные имена подбирались по принципу парности имен соответствующих святых. В первую очередь, бросаются в глаза те случаи, когда родные братья в одной семье получают имена братьев-мучеников Бориса / Романа и Глеба / Давида. Из ранних примеров такого имянаречения следует, прежде всего, указать семью Святослава Ярославича Черниговского (внука Владимира Святого), у которого были сыновья — Глеб, Давыд и Роман, а также семью полоцкого князя Всеслава Брячиславича (правнука Владимира Святого), где, среди прочих, встречаются все четыре имени святых братьев: Давыд Всеславич, Роман Всеславич, Глеб Всеславич и Борис Всеславич. Разные комбинации этих имен очень часто давались двум или трем мальчикам в одной княжеской семье и позже, а со временем такая практика распространяется и за пределы династии[1], однако ранние случаи такого имянаречения особенно актуальны с точки зрения интересующей нас проблемы.

Парные имена черпались не только из агиографических сюжетов, связанных с историей самого рода Рюриковичей. Братьев в одной семье

[1] Здесь можно вспомнить, например, живших в XVII столетии царских воспитателей Бориса и Глеба Морозовых. В позднем Средневековье картина может осложняться еще и тем, что у людей нередко бывало по два христианских имени. Так, Борис Иванович Морозов звался еще и *Ильей*, а его младший брат Глеб — *Борисом* (!).

могли нарекать в крещении *Петром* и *Павлом*, как это происходит с Владимиром / Петром и Олегом / Павлом — сыновьями Игоря / Георгия Святославича Новгород-Северского. Сестра и брат получали, например, имена *Елена* и *Константин*, в честь византийского императора св. Константина и его матери царицы Елены, как это было в семье Всеволода / Дмитрия Большое Гнездо.

В иных случаях такая парность имен вовсе необязательно требовала знакомства с агиографической традицией. Достаточно было сведений из месяцеслова, где память соответствующих пар святых — Бориса и Глеба, Константина и Елены, апостолов Петра и Павла — приходилась на один день. Однако, как мы знаем, взаимоотношения княжеской традиции имянаречения с месяцесловом в домонгольскую эпоху далеко не сводились к какой бы то ни было буквальной зависимости. Княжичам вовсе необязательно было давать имена по дате рождения или в ближайших ее календарных окрестностях. Весьма показательно, что некоторые из детей, получившие имена «парных» святых, родились в день, который не представляется возможным связать с календарной датой праздника именно этого святого.

В этом отношении любопытен выбор имени в семье уже упоминавшегося Игоря Святославича Новгород-Северского. Не вызывает сомнений, что для Олега, младшего из интересующих нас сыновей князя, особенно удачно подходило апостольское имя *Павел*, потому что у него уже был старший брат Владимир с парным апостольским именем *Петр*. Существенно, однако, что рождение Владимира по времени никак не было связано с датой празднования св. апостолам Петру и Павлу (29 июня). Он появился на свет 8 октября [ПСРЛ, II: 562]; по предположению О. В. Лосевой, его покровителем мог стать св. Петр Капетолийский (4 октября) или св. воин Петр Галат из обители св. Фоки (9 октября) [Лосева 1996а]. Существенно, тем не менее, что память св. воина Петра в сохранившихся месяцесловах того времени отсутствует вовсе, а св. Петр Капетолийский в указанную эпоху, насколько мы можем судить по дошедшим до нас данным, никогда не выступал в качестве княжеского патрона.

Естественнее допустить, что Владимира нарекли в крещении *Петром* не по календарным, а по семейно-родовым соображениям, и в таком случае ничто не мешало дать ему в качестве небесного покровителя апостола Петра. С другой стороны, если княжич был назван в честь одного из упомянутых «раритетных» святых, то он, в духе того

синкретического почитания святых тезок, которое имело место в домонгольской Руси [Литвина & Успенский 2002: 66–70; Лосева 2001а; Успенский 2004а; Литвина & Успенский 2006], скорее всего, чтил всех святых Петров и не в последнюю очередь апостола Петра[1]. Собственно говоря, весьма возможно, что наречение его младшего брата и было проявлением подобного рода синкретизма: младший, чья дата рождения отсутствует в источниках, мог стать *Павлом* в пару к старшему Петру, хотя тот и не был крещен именно в честь апостола Петра.

Не исключено, что в XI — начале XII вв. не всегда были столь действенны собственно календарные мотивы и при наречении братьев парными именами св. князей Бориса и Глеба. Во всяком случае, не все календарные даты, связанные с памятью одного из братьев, жестко и непременно ассоциировались и с другим братом[2]. Иными словами, в более ранний период почитания святых братьев связанность имен *Борис*, *Роман*, *Глеб*, *Давид* могла осознаваться благодаря знанию соответствующих (недавно возникших) преданий, житийных и богослужебных текстов. Позднее же имена эти настолько сливаются и так прочно увязываются с чрезвычайно популярными на Руси празднованиями Борису и Глебу, что нет нужды в специальной агиографической рефлексии для того, чтобы назвать двух родичей *Борисом* и *Глебом* или *Романом* и *Давидом*.

[1] Не исключено, что подобного рода ситуация имела место с христианским именем отца Владимира / Петра — Игоря / Георгия Святославича. Он появился на свет во вторник Страстной недели 1151 г. [ПСРЛ, II: 422], который приходился на 3 апреля [Бережков 1963: 152]. При этом 4 (по некоторым месяцесловам — 5) апреля праздновалась память преп. Георгия, иже на горе Малее, а 7 апреля отмечалась память преп. Георгия Исповедника, епископа Митиленского. Вполне возможно, таким образом, что основанием для наречения новорожденного княжича именем *Георгий* послужило то обстоятельство, что он родился в канун памяти св. Георгия Малеина (ср.: [Лосева 1996а: 64]), а вскоре праздновалась и память св. Георгия Митиленского. С другой стороны, есть основания полагать, что сам Игорь / Георгий особым образом чтил и отмечал память св. Георгия Победоносца. В летописи сказано, что он отправляется в свой знаменитый поход против половцев 23 апреля, т. е. на праздник св. Георгия (см.: [ПСРЛ, II: 637]). Последнее обстоятельство позволило утверждать А. А. Горскому, что Игорь / Георгий Святославич был крещен именно в честь св. Георгия Победоносца [Горский 2001: 12, 16, 33–34, прим. 2], что далеко не бесспорно.

[2] Так, например, Владимир Мономах в «Поучении» в качестве датирующего обозначения употребляет словосочетание «с҃тго Бориса дн҃ь» [ПСРЛ, I: 249]. Вероятно, он имеет в виду именно дату убийства св. Бориса (24 июля).

Для выявления роли агиографических текстов в княжеском имянаречении парадоксальным образом могут оказаться более перспективными относительно редкие (так сказать, «экзотические») для династии христианские имена. Может быть, из-за того, что они с бóльшим трудом вписываются в родовую историю, отчетливее формулируется вопрос, каким образом эти имена вообще могли попасть в княжеский антропонимикон. К числу таких имен, несомненно, принадлежит христианское имя *Евстафий*. Его носил Рюрикович, принадлежавший к тем самым первым поколениям крещеных князей, имянаречение которых для нас особенно важно и показательно. Так звали внука Владимира Святого (возможно, одного из старших), сына Мстислава Тмутараканского. Любые наши построения относительно выбора имени для княжича обречены на гипотетичность, и все наши сведения о Евстафии Мстиславиче исчерпываются летописным упоминанием о его кончине в 1033 г.: «Мьстиславичь Єоустафии оумре» [ПСРЛ, I: 150]. Тем не менее, ситуация не выглядит столь уж безнадежной, потому что некая минимально необходимая информация все же содержится в самом именовании.

Легче всего объяснить, почему это имя, однажды появившись у Рюриковичей, не закрепляется в династическом именослове: княжич умер при жизни своего отца, причем летопись решительно ничего не сообщает ни о других детях Мстислава Владимировича, ни о потомстве самого Евстафия. Таким образом, эта ветвь рода исчезает: у Евстафия нет ни внуков, ни родных племянников, ни других близких родичей, для которых было бы естественно и почетно унаследовать его христианское имя. Не обладал он, как кажется, и каким-либо престижным княжеским столом, благодаря которому имя *Евстафий* могло бы сделаться значимым и для родичей отдаленных.

Кое-какие предположения можно сделать и о том, почему для сына Мстислава Тмутараканского было выбрано именно такое крестильное имя[1]. Для подобного имянаречения как будто бы не обнаружива-

[1] Строго говоря, имя *Евстафий* могло быть и иноческим именем княжича, хотя, подчеркнем еще раз, никаких сведений о его пострижении нет. Не знаем мы ничего достоверного и о регулярной смене имени при постриге в эту эпоху. Несколько странным, кроме того, кажется употребление монашеского имени с мирским отчеством. Впрочем, эта «странность» может быть целиком обусловлена тем, что мы лучше знаем функционирование системы имен и отчеств позднейшего времени, нежели то, как христианские имена могли употребляться в первой

ется никаких явных прототипов в сколько-нибудь близких Рюриковичам династиях. А. А. Молчанов высказал гипотезу, что имя *Евстафий* было дано сыну Мстислава в честь Константинопольского патриарха Евстафия, занимавшего кафедру с 1019 по 1025 гг. [Молчанов 2004: 85][1]. Нам неизвестны другие случаи наречения княжича в честь живущего духовного иерарха, однако при крайней скудости сведений об обычаях первой трети XI столетия только на этом основании мы не можем полностью отвергнуть подобную реконструкцию. Существует, однако, и другое объяснение, почему для сына Мстислава был избран в качестве покровителя св. Евстафий.

Нет, как кажется, нужды лишний раз подчеркивать, что при том минимуме сведений, которыми мы располагаем о самом Евстафии Мстиславиче, у нас нет решительно никаких надежных свидетельств относительно того, кто именно из нескольких Евстафиев месяцеслова был его небесным патроном. Тем не менее, наиболее вероятными кандидатами на эту роль представляются св. воин Евстафий и св. Евстафий Плакида. Оба они обладают той военной символикой, которая была, по-видимому, весьма привлекательной для новообращенных русских князей: вспомним, например, что Ярослав Мудрый — тот из дядьев Евстафия Мстиславича, чье христианское имя мы знаем наверняка — был крещен во имя Георгия Победоносца.

Память этих святых Евстафиев отмечена в большинстве древнейших русских месяцесловов[2]. Существенно при этом, что Евстафий Плакида был не простым воином, а полководцем (воеводой), и кроме того, одним из наиболее известных эпизодов его жития является чудо на охоте. Благодаря этому эпизоду, между прочим, в западной традиции

половине XI в. Таким образом, мы будем говорить об этом имени как о крестильном, учитывая всю условность подобной презумпции.

[1] А. В. Гадло высказал гипотезу, согласно которой в таком имянаречении княжича проявились особые связи его отца, Мстислава Тмутараканского, с кавказскими христианами, однако она была сочтена рядом исследователей необоснованной (см.: [Гадло 1988: 90–91; Гадло 1994: 86]; ср.: [Карпов 2001: 502, прим. 47; Молчанов 2004: 85, прим. 8]).

[2] По популярности в дошедших до нас русских месяцесловах с этими двумя Евстафиями может сравниться разве что св. Евстафий, архиепископ Антиохийский (21 февраля). Евстафий, мученик никейский (20 ноября), отсутствует в русских источниках вовсе, тогда как св. Евстафий, епископ Кийский (29 марта), фигурирует лишь в весьма немногих месяцесловах. См.: [Сергий, II: 50–51, 90, 359; Лосева 2001: 274–275, 355, 375, 413].

св. Евстафий Плакида почитался как покровитель охотников. Однако все приведенные выше общие соображения трудно счесть решающими аргументами в пользу того, что покровителем княжича был именно Евстафий Плакида. По ним нельзя определить и того пути, по которому имя *Евстафий* попало на Русь. Нужны какие-то более конкретные данные, позволяющие говорить о знакомстве русских с жизнеописанием (или, например, иконографией) этого святого и о том, чем это имя могло быть привлекательным для рода Рюриковичей.

На наш взгляд, подобные данные в распоряжении исследователя есть. В Несторовом «Чтении о святых мучениках Борисе и Глебе» мы обнаруживаем следующий пассаж, имеющий самое непосредственное отношение к именованию деда Евстафия Мстиславича — Владимира / Василия Святого:

> Бысть бо, рече, князь въ тыи годы, володый всею землею Рускою, именемъ Владимеръ. Бѣ же мужь правдивъ и милостивъ к нищимъ и к сиротамъ и ко вдовичамъ, Елинъ же вѣрою. Сему Богъ спону нѣкаку створи быти ему христьяну, яко же древле Плакидѣ. Бѣ бо Плакида мужь праведенъ и милостивъ, Елинъ же вѣрою, яко же в житии его пишется. Нъ егда видѣ, явльшомуся ему, Господа нашего Исуса Христа, тъгда поклонися ему глаголя: «Господи, кто еси и что велиши рабу твоему?» Господь же к нему: «Исусъ Христосъ, Его же ты, не вѣдый, чтеши. Нъ идыи крьстися». Он же ту абие поимъ жену свою и дѣтища своя и крьстися во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и наречено имя ему бысть Еустафѣй. Тако же и сему Владимеру явление Божие быти ему крьстьяну створи же. Наречено бысть имя ему Василий. Таче потомъ всѣмъ заповѣда вельможамъ своимъ и всѣмъ людемъ, да ся крьстять во имя Отца и Сына и Святаго Духа [Абрамович 1916: 4][1].

Перед нами относительно пространное уподобление Владимира Святого Евстафию Плакиде с прямой отсылкой к житию этого святого, «яко же в житии его пишется». Сопоставление это достаточно последовательно: Владимир («володый всею землею Рускою»), как и Плакида «елинъ вѣрою». Оба они одинаковым образом сподобились

[1] На возможную связь этого текста с имянаречением Евстафия Мстиславича обратил внимание А. Карпов [2001: 502, прим. 47].

узреть Господа, оба крестятся со всеми приближенными и (что особо подчеркнуто в Чтении и потому особенно интересно для нас) оба при крещении получают новое имя, *Евстафий* и *Василий*, соответственно. Налицо, таким образом, несомненное свидетельство того, что автор Чтения знал Житие Евстафия Плакиды и искусно использовал его в риторическом уподоблении.

Если мы допустим, что подобное знание жития и этот риторический ход несколько старше второй половины XI в. и Владимир Святой мог уподобляться Евстафию Плакиде при жизни (или, по крайней мере, вскоре после смерти), то перед нами сложится довольно последовательная картина. Коль скоро дед в рамках книжной традиции подобен св. Евстафию, то внук, который, согласно традиции родовой, есть «малое подобие деда», получает христианское имя *Евстафий* в качестве своего рода наследства от деда. Риторическая фигура, достаточно изощренный литературный прием, где житие используется как материал, оживает и воплощается в нарекаемом княжиче.

Не является ли, однако, наше построение чересчур сложным и умозрительным? Ведь мы поневоле аргументируем факт знакомства с житием обстоятельствами имянаречения, а выбор имени — знанием жития. Как кажется, тем не менее, есть целый ряд крестильных имен Рюриковичей XI в., дающий основание для подобных выводов. Действительно, уподобление Владимира Святого именно св. Евстафию Плакиде — это, судя по всему, довольно изощренный и нетривиальный ход. Как известно, устойчивыми прототипами этого князя в христианской истории были с определенного времени Константин Великий, Соломон и Давид[1]. Мы достоверно знаем, что некоторые из этих сопоставлений существуют, по крайней мере, с середины XI в., со времен Илариона и Иакова Мниха, и весьма вероятно, что эти имена, наряду с другими, ассоциировались с крестителем Руси и ранее.

Имена некоторых сыновей Владимира позволяют допустить, что именно эти фигуры выделялись как особенно значимые для князя уже

[1] А. В. Назаренко на основании сопоставления древнерусских источников с западными хрониками предположил, что еще более древним могло быть сопоставление князя Владимира с апостолом Павлом. В целом же исследователь считает, что «уже в самые первые годы после кончины Владимира Святославича (15 июля 1015 г.) в Киеве существовала так или иначе литературно оформленная традиция о его крещении, которая сложилась, возможно, еще при жизни князя» [Назаренко 2001: 440].

при его жизни. Не исключено, что такое уподобление, в частности, и послужило одной из причин для наречения Глеба крестильным именем *Давид*. Иными словами, отец уподоблялся царю-пророку Давиду — и потому сын становился *Давидом* в крещении.

Если полагаться на данные Любечского синодика, один из старших сыновей крестителя Руси, отец нашего Евстафия, Мстислав Тмутараканский, получил христианское имя *Константин* [Зотов 1892: 24, 32–33, 177]. В таком случае, едва ли можно усомниться, что он был наречен в честь Константина Великого, т. е. и здесь отец уподоблялся Константину, а сын *Константином* нарекался[1].

Таким образом, можно выстроить довольно условную и нуждающуюся во множестве оговорок схему: Владимир Святой, принимая крещение вместе с семьей, получает имя *Василий*, связывающее его одновременно со св. Василием Великим (?) и с правящим византийским императором Василием II. Весьма вероятно, что, так сказать, в качестве первого прототипа, образца для подражания новообращенному князю предлагается именно Константин Великий, строитель Константинополя, при котором христианство сделалось государственной религией. Возможно, что именно поэтому уподобление Константину оказывается едва ли не самым разработанным в позднейших текстах, связанных с Владимиром Святым, а это имя получает, вероятно, один из его старших сыновей[2].

[1] Немаловажно, с нашей точки зрения, что прабабка княжича, княгиня Ольга, носила в крещении имя Елены, матери Константина. Существенно, кроме того, что уже очень рано на русской почве происходит объединение, доходящее порой до буквальной путаницы, имени *Василий* (крестильное имя Владимира Святого) и омонимичного ему греческого слова, обозначающего правителя, часто относимого к византийскому императору Константину Великому. Характерна в этом отношении ошибка в месяцеслове Остромирова Евангелия, где под 21 мая вместо памяти благоверному василевсу Константину и матери его Елене обозначена память «ст҃ымь Василию Константиноу и Елени и матери ѥго» (см. подробнее: [Лосева 1996: 30]). Таким образом, имя *Константин*, само по себе весьма уместное для члена правящей династии, оказывается разными опосредованными путями вписанным в собственную родовую историю Рюриковичей.

[2] Любопытно, что имя *Константин* на некоторое время как будто бы уходит из рода Рюриковичей после Мстислава / (Константина?) Владимировича. Мстислав умирает бездетным (его сын Евстафий, как мы помним, скончался еще при его жизни); времена меняются, и это имя возвращается в династию значительно позже, в эпоху Всеволода Большое Гнездо, и, по-видимому, не без влияния уже

Иными словами, мы видим, что Владимира / Василия Святого уподобляют Евстафию, Константину, Давиду и Соломону, а двое из его детей и один из старших внуков получают, соответственно, имена *Константин* (по данным Любечского синодика), *Давид* и *Евстафий*[1]. Не исключено, таким образом, что собственная литературная традиция и риторическая практика, восходящие к общехристианским образцам, уже очень рано начинают проецироваться на Руси на реальную жизнь, воплощаясь в именах князей или духовных лиц.

собственно русской агиографической традиции, связанной с прославлением Бориса и Глеба и отца их Владимира.

[1] На первый взгляд, кажется, что невостребованным в династии Рюриковичей остается имя *Соломон*. Между тем, занимая в истории княжеского рода безусловно периферийное положение, оно отнюдь не уходит вовсе. Как известно, царю Соломону уподоблялся не только Владимир Святой, но и Ярослав Мудрый, строитель Софии Киевской. Существенно при этом, что имя *Соломон* появляется у одного из внуков Ярослава, правда, по женской линии. Так назвали сына Ярославны и Андрея Венгерского. Андрей провел некоторое время на Руси, и если судить по венгерским источникам, его русская жена играла немалую роль и в делах государствах, и в судьбе его сына. Говоря об этой ситуации имянаречения, следует, конечно, соблюдать особую осторожность, так как здесь мы имеем дело с другой династией, со своей собственной спецификой выбора имени. Характерно, впрочем, что определенное влияние Рюриковичей на антропонимическую стратегию в венгерской династии все же прослеживается. Здесь достаточно упомянуть хотя бы о небезызвестном Коломане / Борисе Коломановиче, жившем, впрочем, в несколько иную эпоху (XII в.).

ЧАСТЬ III
РУССКИЕ ИМЕНА ПОЛОВЕЦКИХ КНЯЗЕЙ

Глава 1
Общий взгляд на культурную ситуацию русско-половецких контактов

(*О чем говорят христианские имена у половцев? К постановке проблемы. — Различные модели антропонимических инноваций в родовом мире. — Имена как зеркало взаимодействия элит. — Половцы как брачные партнеры Рюриковичей. — Русское родословие половецких элит. — Некоторые особенности «половецкого фактора» в картине мира «Повести временных лет». — Конфессиональные характеристики половцев в рассказе древнейших летописей о событиях XII в. и первой половины XIII в. — Когда и при каких обстоятельствах принимали крещение половецкие князья? — Нелетописные источники о соприкосновении половцев с христианством. — Состав и специфика христианского именослова половцев. — Династические функции христианского имени у Рюриковичей. — Как половцы могли воспринимать династические имена русских князей? — Кто давал половцам русские имена, «свои» или «чужие», и кто этими именами пользовался? — К проблеме русско-половецкой родовой двуименности. — Общие замечания*)

Описание половецко-русских контактов, воплощавшихся не только в постоянных мелких и крупных военных столкновениях, но и в мирных договорах, военно-политических союзах, междинастических браках, родственных связях и, наконец, попросту в личных отношениях,

занимает в древнейшем русском летописании, посвященном домонгольскому времени, место столь обширное и значительное, что по масштабам оно уступает разве что описанию истории самого рода Рюриковичей. Если говорить о событиях конца XI — начала XIII вв., то одно, в определенном смысле, оказывается практически неотделимым от другого: рассказ об истории русской правящей династии попросту невозможен без рассказа о ее взаимодействии с этим кочевым народом.

В нашей работе мы сосредоточимся по преимуществу лишь на одном и, казалось бы, довольно скромном симптоме этого взаимодействия: небольшой группе имен, явным образом пришедших к половцам извне, скорее всего, непосредственно с Руси. Мы полагаем, однако, что история имени является едва ли не самым подходящим исходным плацдармом для воссоздания картины контактов средневековых народов, в особенности если один из них, подобно половцам, не имеет собственной письменной традиции.

Действительно, с одной стороны, запечатленные в русских источниках имена и указания на родство и свойствó отдельных представителей половецкой знати составляют те «минимальные кванты» относительно достоверной информации, которая была безусловно значима и в высшей степени актуальна для родового сознания людей эпохи Средневековья. С другой стороны, понимание места и функции каждого из этих элементов требует от современного исследователя не только анализа их совокупности, но и своеобразного перебора всех имеющихся данных о половцах той эпохи, соприкасавшихся с Русью.

Иными словами, исследование исторической семантики имени позволяет, на наш взгляд, привести в некий порядок многообразные, разноуровневые, а порой и разноречивые свидетельства русских памятников об этих кочевниках, разглядеть определенную системность и временнýю эволюцию в том пестром, красочном и в то же время отчасти монотонном перечне столкновений и перемирий, который летописи предоставляют в наше распоряжение.

О чем говорят христианские имена у половцев? К постановке проблемы. — Еще Н. М. Карамзин в примечаниях к своей «Истории» обращал внимание, что у представителей половецких родов встречаются имена, заведомо связанные с Русью и явно выделяющиеся на фоне общей массы автохтонных именований степняков, в изобилии представленных в летописи. При этом в его труде

специально не противопоставлены языческие по происхождения двусоставные славянские антропонимы, обладателями которых оказывались некоторые половцы (например, *Ярополк Томзакович*), и встречающиеся в той же среде имена христианские (например, *Юрий Кончакович*)[1].

Как мы постараемся продемонстрировать ниже, такой объединяющий взгляд имеет под собой определенные основания. Тем не менее, чтобы оценить его продуктивность, следует, как кажется, обратить отдельное внимание на христианские, календарные имена кочевников. Нельзя не отметить, что их заметно больше, чем славянских двусоставных, — здесь едва ли оправданны точные количественные подсчеты, так как не все случаи функционирования подобных именований в летописи одинаково прозрачны, но все же можно утверждать, что число известных нам у половцев календарных имен практически втрое превышает число русских некалендарных.

Ни те, ни другие антропонимы никогда не становились предметом отдельного исследования, — если они и привлекали внимание, то, прежде всего, в связи с проблемой конфессиональной принадлежности их обладателей. Можно сказать, что в историографии сложились две тенденции в отношении к этому вопросу, которые с большой долей условности можно обозначить как «старую» и «новую». Для одних исследователей наличие календарного имени у половца, жившего в XII — начале XIII вв., автоматически, без дальнейшего обсуждения, свидетельствует о том, что его обладатель был крещен, а самая эта презумпция служит веским аргументом в пользу распространенности христианства у этих кочевников[2]. Другие же, равным образом не останавливаясь на данном вопросе подробно, исходят из того, что заимствование имени отнюдь не всегда и далеко не обязательно означало приобщение к вере[3].

Вообще говоря, ономастическая аргументация в перспективе изучения христианизации кочевников весьма весома, однако для ее адекватного применения недостаточно, на наш взгляд, простой констатации

[1] И те, и другие имена в труде Н. М. Карамзина выделяются единообразно (курсивом), но никак не комментируются.

[2] См., напр.: [Попов 1949: 104; Плетнева 2010: 153–154; Golden 1990: 283; Golden 1998; Толочко 2003: 129; Осіпян 2005: 10; Голден 2008: 326; Пилипчук 2013а: 91].

[3] См.: [Голубовский 1884: 225; Грушевський, II: 537–538].

присутствия календарного имени в той или иной этнической или социальной среде, — необходим последовательный культурно-исторический анализ всего комплекса этих христианских имен.

В самом деле, особенно в условиях межкультурного пограничья, в зонах, где тесно соприкасаются носители разных языков и разных антропонимических традиций, выбор имени не вполне оправданно воспринимать как однозначный маркер конфессии. Появление новых имен не всегда означает смену религиозной принадлежности, равно как и отсутствие таких ономастических нововведений вовсе не обязательно свидетельствует о том, что подобной смены не произошло. Условно говоря, тот любопытный и вместе с тем вполне заурядный для Скандинавии факт, что в качестве ревностного поборника и хранителя христианских норм в Исландии выступал епископ с языческим теофорным именем *Торлак* (*Þorlákr*), в сущности, совершенно синхронен тому обстоятельству, что среди молодых половецких князей, совершавших набеги на Русь, фигурируют обладатели христианских имен *Роман* и *Даниил*: и то, и другое имело место во второй половине XII в.

Если сосредоточиться по преимуществу на родовом именослове, то здесь механизм инновации и вовсе не обязательно связан с переменой веры. Консерватизм — одна из характернейших черт традиционного имянаречения, которое основано на воспроизведении определенных принципов выбора имени, но во многих культурах немалую роль играет и простой поколенческий повтор тех или иных ономастических единиц или их элементов. Внук Владимира Святого носит имя *Все**волод***, его сын носит имя прадеда ***Волод**имер* (Владимир Мономах), а старший внук Мономаха — имя своего прадеда *Все**волод***. Знаменитый черниговский князь, кузен Мономаха, зовется *Олег Святославич*, точно такое же сочетание имени и отчества будет у его родного внука и двоюродного правнука, и т. д., и т. п. Тем не менее, консерватизм этот — особенно в том, что касается конкретного набора имен — никогда не бывает абсолютным. Подобно тому как существуют и поддаются описанию стандартные способы поддержания стабильности родового ономастикона, существуют и стандартные пути его расширения и обновления, сколь угодно постепенного и медленного.

Различные модели антропонимических инноваций в родовом мире. — Упомянем лишь некоторые из довольно большого числа универсальных и/или довольно распространенных в эпоху Средневековья факторов и источников, благодаря которым в процесс имянаречения могут вовлекаться новые имена: как языческие, так и христианские.

Материнское родство. Новое для той или иной традиции имя может прийти из рода матери, как это случилось с датским конунгом Вальдемаром Великим, родившимся на Руси, нареченным в честь своего русского прадеда Владимира Мономаха и передавшим это имя своим потомкам [Ф. Успенский 2002: 34–35, 43–44], хотя в целом выбор имени в скандинавских династиях достаточно жестко ориентирован на предков по мужской линии.

Дар правителя. Имя могло стать подарком от вышестоящего, что имело место, когда обладатель христианского антропонима, конунг Норвегии Магнус Добрый, подарил это свое имя дружиннику Торстейну Хальссону, дабы тот нарек им сына, которому только предстояло появиться на свет [Успенский 2001: 26, 92]. Собственное языческое имя правитель-христианин мог пожаловать подданному вместе с титулом: так поступил норвежский король Хакон Хаконарсон, когда сделал конунгом Гебридских островов некого Оспака, заодно дав ему свое имя *Хакон* [Успенский 2001: 77, 119].

Охранительная практика. Благодаря различным апотропеическим практикам, ребенку может целенаправленно даваться, например, имя врага; и в христианских семьях, таким образом, время от времени появляются мусульманские или языческие по происхождению антропонимы, в целом данному роду отнюдь не свойственные, как это произошло в свое время с заимствованием турецких имен в армянской или сербской среде ([Толстой & Толстая 2000: 603–604]; ср.: [Петров 2019: 21]).

Новая семья. Хорошо известны случаи, когда новый член семьи, извне пришедший в правящую династию, получает новое имя, причем этот акт может быть связан с отраженной в именах идеей преемственности властных привилегий, а может быть от нее относительно независим, самое же имя может с равным успехом быть и календарным, и нехристианским. Так, принцесса Ингигерд, представительница христианского шведского дома, выйдя замуж за христианина Ярослава Мудрого, получила (судя по всему, в своей русской семье) новое календарное имя *Ирина*.

Напротив, половчанка, ставшая женой грузинского царя Давида Строителя и крещеная, скорее всего, именно ради вступления в этот брак, известна в хрониках как *Гурандухт*, т. е. под персидским именем,

которое, разумеется, не было календарным, но принадлежало к числу женских династических имен Багратидов (так звали, в частности, двоюродную бабку ее мужа). Обратим внимание, что сам царь был обладателем библейского имени *Давид*: христианские имена давно уже стали династическими для многих из его предков и ближайших родичей, функционируя в этом качестве наряду с нехристианскими именами других представителей того же правящего рода [Toumanoff 1990: 134–135, № 22; Виноградов 2015: 146–148].

Напрямую с идеей передачи власти было связано, как известно, получение венгерским династом Белой, которого византийский император Мануил Комнин прочил себе в зятья, нового, христианского имени *Алексей*. Имя это было не только родовым для Комниных, но и связывалось с предсказанием о возможности удержать верховную власть в семье.

Новая родина. Новое имя может даваться наследнику в связи с переселением его семьи на новые территории и соответствующим изменением родовой прагматики. Именно так, по-видимому, сын Игоря и Ольги, обладателей скандинавских по происхождению имен, получает славянское двусоставное имя *Святослав* — мы не можем сказать ничего определенного относительно того, были ли у его отца союзники или побратимы с таким именем, но едва ли в скандинавском антропонимиконе его предков с отцовской стороны могло бы появиться подобное новшество, если бы семья не была ориентирована на обладание властью и землями у славян.

Новое окружение. Отдельный, весьма многообразный и интересный для исследования пласт составляют имена, приобретаемые вне семьи, те, что человек получает от инокультурного окружения или подбирает для себя сам, оказавшись в конфессионально или лингвистически чуждой среде. Нередко здесь применяются инструменты пересчета, позволяющие трансформировать исходное родовое именование в некое новое, более привычное для его среды, на основе фонетического или семантическое подобия, причем как первое, так и второе может строиться на различных принципах и трактоваться весьма широко (ср.: [Гиппиус & Успенский 2000]). С другой стороны, новое инокультурное имя может и не иметь отчетливо прослеживаемой связи с именем, так сказать, исходным. В любом из этих случаев перемена подобного рода далеко не всегда связана с принятием христианства или отказом от него. Такие приобретенные в течение жизни имена в принципе могут повторяться в последующих поколениях, хотя вероятность этого заметно меньше, нежели в тех случаях, когда новое для рода имя дается в семье, родной по крови или приобретенной по браку.

Перечень различных моделей переноса имени в пространстве родового мира без труда может быть существенно расширен. Так, мы не обсуждаем здесь такой столь существенный механизм антропонимического обмена, как **побратимство** — чуждое роду имя ребенок мог получить по побратиму своего отца, как это регулярно случалось, например, в средневековой Исландии.

В целом же вполне оправданно говорить о том, что христианская практика наделения новым, календарным именем при крещении (а также возможность перемены имени при пострижении в иночество) задействует более универсальные и весьма древние представления, согласно которым всякое принятие нового имени означает кардинальное — бесповоротное или вре́менное — сущностное изменение, исчезновение одной индивидуальной субстанции и появление другой.

Разумеется, неверно было бы утверждать, что в интересующую нас эпоху принадлежность того или иного антропонима к христианскому ономастикону была обстоятельством вовсе не значимым при осуществлении процессов антропонимической инновации, однако это — лишь один из многих факторов, определявших возможность наречения ребенка или взрослого «неожиданным» именем. Так или иначе, необходимо учитывать, что за каждым актом реализации любых относительно универсальных схем заимствования, переноса ономастических единиц у конкретного народа в тот или иной отрезок времени стоит вполне определенная, зачастую уникальная культурная ситуация. Именно эту многостороннюю ситуацию русско-половецкого взаимодействия второй половины XI — начала XIII вв. нам и предстоит оценить, прежде чем мы займемся судьбой конкретных антропонимов, перешедших, как мы полагаем, из русской среды в половецкую.

Имена как зеркало взаимодействия элит. — Оговоримся сразу, что существенная доля приведенных выше примеров недаром связана с династическим обиходом. Настоящая книга задумана как часть более общего исследования по истории династии Рюриковичей и ее взаимодействия с другими правящими семьями в Европе и за ее пределами. Поэтому нас будут интересовать по преимуществу имена половецкой элиты, тех, кого русские летописцы именовали *князь-*

ями половецкими: именно их родовой уклад, политические стратегии и конфессиональная принадлежность актуальны в первую очередь для изучения истории русского княжеского дома.

Подобное ограничение не ведет к существенному сокращению единиц исследуемого именослова. Почти все половцы, фигурирующие в летописи под русскими именами, это князья или люди, непосредственно к ним приближенные, однако множество обладателей русских имен и множество половецких князей с христианскими именами совпадают не полностью, на чем мы подробнее еще остановимся далее.

Правящие семьи — и половцы, судя по всему, не составляют здесь исключения — проявляют особое внимание, а зачастую и особый, усиленный консерватизм, в том, что касается выбора имен для наследников власти. Каждое нововведение в этой сфере, как правило, оказывается своеобразным и весьма веским политическим высказыванием на языке имен. Поэтому исследование проникновения инокультурных антропонимов в данную среду подразумевает не только анализ конфессиональной ориентации, но, не в меньшей степени, описание матримониальной стратегии, а отчасти и дипломатических и военных практик. Важным аспектом изучения оказывается также функция и статус заимствуемых имен в той традиции, откуда они приходят. Как мы уже отмечали выше, картина ономастических заимствований у правящего рода воплощает в себе чуть ли не всю картину его контактов с другим народом: имя оказывается той нитью, потянув за которую, рискуешь извлечь на поверхность весь запутанный клубок межкультурного и межэтнического взаимодействия, охватывающего целую эпоху.

Необходимо учитывать, кроме того, что воззрения половецкой элиты на брак и родство, их религиозные представления, не говоря уже об ономастических пристрастиях, мы наблюдаем, так сказать, глазами одной из заинтересованных и при этом заведомо чуждых ей сторон — сквозь призму древнерусских источников, которые и сами по себе весьма неоднородны и многослойны. Несколько облегчает дело то обстоятельство, что избранный нами угол зрения отчасти совпадает с перспективой древнерусского летописания. В известном смысле оно сосредоточено на половцах постольку, поскольку сведения об этом народе могут быть использованы для создания истории Руси и — не в последнюю очередь — династического портрета Рюриковичей домонгольской поры.

Половцы как брачные партнеры Рюриковичей. — Если речь идет о взаимодействии русских и половецких правителей, то на этом уровне нам придется постоянно иметь дело с двумя точками зрения: русской книжной и русской княжеской. В некоторых аспектах они вполне могут совпадать, а когда между ними существует различие, оно не всегда поддается вычленению, но, тем не менее, подобная дихотомия представляется достаточно продуктивной. Показательно, впрочем, что реконструкция этих точек зрения возможна, в сущности, на основе одних и тех же источников, тех сложных нарративных комплексов, которые составляют древнейшие летописные своды.

Нам еще не раз предстоит убедиться, что максимальная степень отвержения в восприятии половцев сочетается здесь с максимальной необходимостью освоения этого нового феномена и стремлением нейтрализовать, а затем и использовать его в своих целях. В поведении представителей правящего рода Рюриковичей эта последняя интенция была выражена, пожалуй, более отчетливо, чем в летописном нарративе как таковом. Что же позволяет нам прийти к подобному выводу?

Прежде всего, производит впечатление та быстрота и готовность, с которой русские князья прибегают к традиционному для родового мира способу сближения с чуждой традицией, способу, столь важному для династической практики — к бракам. Половцы появляются на Руси накануне кончины Ярослава Мудрого, фактически же при его сыновьях, а уже в поколении внуков этого князя заключается не один брак с дочерьми половецких правителей. Как известно, подобная практика не утрачивает своей актуальности на протяжении всего домонгольского времени, вплоть до начала 50-х гг. XIII в. Основываясь на летописных данных, мы с достаточной определенностью можем говорить приблизительно о 10–11 матримониальных союзах Рюриковичей с половчанками, но если судить по косвенным показаниям источников, на деле таких браков могло быть и заметно больше.

Ограничимся для начала простым перечислением тех князей, чьими женами, судя по летописям, стали половчанки: два внука Ярослава Мудрого — Святополк Изяславич [ПСРЛ, I: 231–232] и Олег Святославич[1]; далее — один из сыновей Олега Святославича, скорее всего,

[1] Брак Олега надежно реконструируется по летописным упоминаниям половецких уев, т. е. дядьев с материнской стороны, его сына Святослава [ПСРЛ, II: 329, 334]. См. подробнее ниже: ч. III, гл. 2 (§ 6), с. 347–349 наст. издания.

Святослав [ПСРЛ, I: 282–283], и два сына Владимира Мономаха — Юрий Долгорукий [ПСРЛ, I: 282–283] и Андрей [ПСРЛ, II: 285], затем правнук Олега Святославича (внук Святослава Ольговича), Владимир Игоревич [ПСРЛ, II: 659]; два правнука Мономаха — Рюрик Ростиславич [ПСРЛ, II: 521–522] и Ярослав Всеволодич [ПСРЛ, I: 426]; праправнук Мономаха — Мстислав Мстиславич Удатный [ПСРЛ, I: 504; II: 747; VII: 129–130][1].

Кроме того, на основании достаточно надежных косвенных данных может быть реконструирован брак с половецкой княжной одного из сыновей Даниила Романовича (потомка Мономаха в 7-м поколении), так как в летописях упоминается половецкий сват Даниила по имени Тегак [ПСРЛ, II: 818][2]. Совершенно особняком стоит брак княгини (по всей видимости, внучки Мономаха), вдовы Владимира Давыдовича, с половецким князем Башкордом [ПСРЛ, II: 500–501], правителем, который уже не раз появлялся и появится еще на страницах нашего исследования. Специального рассмотрения потребует брак дочери Толгыя, который в большинстве исследований безоговорочно квалифицируется как русско-половецкий[3]. Придется вспомнить и еще о двух Рюриковичах, которые, как и Олег Тьмутараканский, были потомками Святослава Ярославича, и чье свойствó с половцами представляется фактом весьма вероятным, но не бесспорным[4].

В целом весьма существенно, что наши князья в своей матримониальной стратегии явно выделяли половцев из всех прочих кочевых народов, с которыми им приходилось иметь дело. В ранних русских источниках мы не найдем упоминаний о том, чтобы князь женился на женщине, взятой из рода печенегов, торков или берендеев. Нет такого

[1] См. также Рис. 5 на с. 370 наст. издания.

[2] Впрочем, здесь мог иметь место не самый брак, но лишь договоренность о нем между отцами жениха и невесты. Случаи такого «упреждающего» применения термина свойствá обсуждались нами выше в ч. I, гл. 3, с. 44–46 наст. издания. Тем не менее, в свете русско-половецких контактов середины XIII в. весьма значимо и наличие самой договоренности, сопровождающейся военной поддержкой, которую половецкий сват оказывал русскому.

[3] См. ниже ч. III, гл. 2 (§ 7), с. 351–362 наст. издания.

[4] Речь пойдет о двух племянниках женатого на половчанке Олега Святославича Тьмутараканского — Изяславе Давыдовиче, сыне Давыда Святославича (см. ч. III, гл. 2 (§ 6), с. 345–347 наст. издания), и Ростиславе Ярославиче, сыне Ярослава Святославича (см. ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 316–319 наст. издания).

рода свидетельств и относительно Черных Клобуков, хотя именно они на протяжении XII в. нередко служили существенной опорой и значимой поддержкой для череды киевских князей, и именно они теснее всего соприкасались с оседлым населением Руси. Тем не менее, только статус половецких княжон оказывался достаточно высоким, чтобы они годились в невесты Рюриковичам[1]. Характерно также, что в браках с половчанками были заинтересованы, как можно убедиться из приведенного выше перечня, и самые могущественные княжеские семьи.

Разумеется, для нас небезынтересно соотношение матримониального и конфессионального начал во взаимодействии двух элит. С одной стороны, очевидно, что дочери половецких князей, становясь женами Рюриковичей, принимали крещение, что отнюдь не нарушало их связей с половецкой родней, ради которых эти союзы и заключались. Более того, как следует из летописи, и в дальнейшем половцы, как правило, признавали и поддерживали своих крещеных зятьев и мужей внучек, а тем более — крещеных племянников, внуков и пасынков, родившихся на Руси. Подобное отношение свидетельствует об известной религиозной толерантности, но не позволяет судить о ее границах: мы почти ничего не знаем о том, как воспринимался в половецкой среде этого времени факт крещения мальчика или мужчины, принадлежащего к местному роду по отцу.

С другой стороны, в этой перспективе весьма характерно полное отсутствие, так сказать, симметричных случаев, когда бы русская княжна была выдана своими родичами замуж за половецкого правителя или его сына. Женой некрещеного стать бы она, разумеется, не могла, но, как мы знаем, например, из византийской практики, за новообращенных династов отдавали даже ближайших родственниц императора, хотя не слишком часто и не очень охотно.

Сложившаяся же на Руси модель одностороннего свойствá косвенным образом демонстрирует, что крещение знатного кочевника с последующей женитьбой на Рюриковне оставалось деянием политиче-

[1] Любопытно при этом, что в XII в. сами половецкие правители отнюдь не избегали матримониальных союзов с другими кочевниками, взаимодействовавшими с Русью. Во всяком случае, половцы и Черные Клобуки именуются *сватами* [ПСРЛ, II: 652, 674], точно так же, как половцы и русские князья. Эта двунаправленная система свойствá делала еще более многомерным и неустойчивым и без того беспрестанно колеблющееся равновесие в отношениях Руси со Степью.

ски неактуальным: то ли половецкие вожди категорически не желали менять веру, то ли русские князья не надеялись, что те, оказавшись в своей среде, сколько-нибудь долго будут сохранять приверженность христианству.

Если же говорить об отношении летописца к русским княгиням половецкого происхождения, то определенного внимания, пожалуй, заслуживает следующий факт: в летописи мы никогда не обнаруживаем упоминаний об их кончине. Русское летописание, относящееся к домонгольскому времени, вообще говоря, довольно скупо в освещении жизненного пути жен и дочерей Рюриковичей. Однако даже и на этом фоне полное отсутствие сообщений о месте погребения, об обстоятельствах или хотя бы датах смерти наших половчанок достаточно выразительно.

В перспективе исследования христианских имен у половцев еще более существенна другая лакуна в летописных данных: мы не находим ни одного имени половецких жен Рюриковичей, будь то имя исконное или принятое при крещении. Здесь вновь необходимо сделать скидку на то, что женский династический именослов отражается в источниках гораздо хуже мужского, однако полнота и последовательность умолчания в данном случае невольно заставляют думать, что летописцы преднамеренно или неосознанно выделяли именно этих княгинь в какую-то особую категорию.

Русское родословие половецких элит. — С такого рода умолчанием резко контрастирует еще одна особенность летописных упоминаний половцев, объединяющая перспективу собственно книжную и княжескую, особенность весьма важная как для исследования исторической ономастики, так и для истории междинастических браков Рюриковичей. Ничьи генеалогические связи (кроме разве что связей своей династии) не отмечены столь пристальным и неослабевающим интересом, как происхождение, родство и свойство́ половецких вождей[1].

[1] Ср., напр., фрагмент одного из списков тех половецких князей, которых удалось пленить русским в конце XII в.: «…Глѣба Тирьєвича . Єксна . Алака . и Толгыꙗ . Двдвча тести с сыноѿ . Тѣтиꙗ с сыноѿ . Кобѧкова тьсти Турундаꙗ» [ПСРЛ, I: 395–396], или указание на происхождение невесток Владимира Мономаха и Олега Святославича, относящееся к началу того же столетия: «иде Володимеръ . и Двдъ . и Ѡлегъ . къ Аєпѣ . и <ко> другому Аєпѣ . и створиша миръ . и поꙗ Володимеръ за Юргѧ . Аєпину дщерь . Ѡсеневу внуку . а Ѡлегъ поꙗ за сна . Аєпину дчерь . Гиргеневу внуку» [Там же: 282–283].

Интерес этот, особенно во второй половине XII в., отражается, прежде всего, в достаточно последовательном употреблении патронимических конструкций по отношению к представителям половецкой знати. Приведем лишь некоторые из подобных обозначений: *Козл Сотанович*, *Колдечи* и *Кабан Урусовичи*, *Бегбарс Акочаевич*, *Кобяк Карлыевич*, *Коза Бурнович*, *Котян Сутоевич*. Более регулярно именуются с помощью указания происхождения только собственные князья Рюриковичи[1]. Соответствующие патронимические образования при этом вовсе не всегда и не обязательно являются отчествами в привычном смысле слова, это могут быть, как и в случае с русскими князьями, именования по деду или даже прадеду[2], а также и более сложные обозначения клановой принадлежности.

В филологической перспективе именно ономастические характеристики половцев, дополняя собственно славянский материал, дают возможность пронаблюдать ту универсальность морфологических средств, которая создает своеобразный континуум, включающий патронимы (отчество как таковое), родовые именования, указания на определенный этнос или определенную географическую локализацию[3]; при этом проведение четких границ между составляющими данного континуума оказывается не всегда возможным.

[1] Патронимика является, вообще говоря, весьма заметной и характерной составляющей ономастической системы Древней Руси. Отчества в летописи могут использоваться и применительно к другим «иностранцам», обладающим властными привилегиями. Лидирующее положение занимают здесь, пожалуй, византийская знать и Черные Клобуки. Если говорить о текстах нелетописных, то русские книжники, как известно, отличались склонностью наделять отчествами даже библейских персонажей, чья генеалогия, естественным образом, имела для них первостепенное значение (ср., напр., обозначение Иисуса, сына Сираха, как *Иисус Сирахович* в «Хронике» Георгия Амартола [Истрин 1920: 204]; см.: [Б. Успенский 2002: 51–52]; о древнерусской патронимике ср. также: [Ф. Успенский 2002: 65–110]). Однако и на этом фоне половцам все же принадлежит первое после русской элиты место по числу упоминаний с отчествами в летописи.

[2] Так, *Ольговичами* в летописи могут именоваться как внуки Олега Святославича [ПСРЛ, II: 624], так и его правнуки [ПСРЛ, III: 240], а также некая совокупность тех и других.

[3] В этом отношении особый интерес может представлять широкий спектр значений, выражаемых с помощью форманта *-ич*, а также притяжательные формы, образованные от княжеских имен и способные входить, с одной стороны, в состав аналитических патронимических конструкций («…оумре Брѧчиславъ . снъ

Таким образом, столь разноуровневые и вместе с тем взаимосвязанные явления, как частотность матримониальных союзов и высокая степень сходства в способах подачи генеалогической информации, еще раз демонстрируют своеобразную срощенность истории русской династии и истории половецкой знати в конце XI — первой половине XIII вв. В целом, враждебность и отчужденность сочетаются в летописном дискурсе (на наш взгляд, в еще большей мере — в княжеской практике) с возможностью и необходимостью применять к половцам многие из тех категорий, которые используются в характеристиках собственного династического уклада. Весьма существенно, в частности, что ранние русские летописцы — в отличие от позднейших историографов — никогда не называют половецких правителей «ханами», именуя их *князьями*, т. е. точно так же, как своих собственных правителей Рюриковичей.

Разумеется, чрезвычайно заманчивой задачей было бы изучение иерархического устройства половецких кланов как такового. Существовала ли здесь, например, возможность наследования власти через женщин, столь неприемлемая для русских князей? Какие степени и формы родства считались наиболее актуальными? Какова была функция старших и младших сыновей в цепочке родового наследования? Какую роль играл повтор родового имени в механизме преемственности власти?

Ответы на эти и многие другие существенные для нас вопросы чаще всего оставались вне фокуса внимания инокультурных книжников, которые сталкивались с половцами в интересующую нас эпоху. Отдельные принципы наследования властных полномочий или специфические черты половецкого родового обихода время от времени проступают в русских летописях именно в тех случаях, когда речь заходит о соприкосновении половецких вождей с Рюриковичами. Поскольку нас интересует, что́ и как наши степняки могли заимствовать от русских князей и что́ те, в свою очередь, усвоили от своих кочевых

Изѧславль внукъ Володимерь . ѡц҃ь Всеславль . и Всеславъ сн҃ъ ѥго сѣде на столѣ ѥго») и, с другой стороны, закрепляться в качестве названий городов (*Ярославль*, *Володимерь*, *Мстиславль* и др.). Параллели к этим обозначениям обнаруживаются среди половецких именований, причем соответствующие славянские форманты присоединяются к неславянским основам. Особенного внимания заслуживает способ номинации в летописи половецких городов: *Шарукань*, *Сугров*, *Осенев* и т. п. (ср. соответствующие имена половецких князей: *Шаруканъ*, *Сугр*(ъ), *Ѡсень*). Однако вся эта проблематика нуждается в отдельном исследовании.

соседей и родичей, здесь необходима особенная, «пошаговая» осторожность в анализе летописных данных, имеющих отношение к конфессиональному и властно-политическому укладу половцев.

Некоторые особенности «половецкого фактора» в картине мира «Повести временных лет». — Как уже отмечалось, в летописном повествовании интересующим нас кочевникам с самого начала уделялось чрезвычайно пристальное внимание. Не последнюю роль здесь сыграло, по-видимому, то обстоятельство, что эпоха первых столкновений с половцами хронологически недалеко отстояла от времени составления той редакции «Повести временных лет», с которой мы имеем дело, а самое это время практически совпало, с одной стороны, с периодом особенно многочисленных конфликтов с крупными половецкими объединениями, а с другой — с первой волной русско-половецких междинастических браков. Для русского летописца, таким образом, половцы в ту пору оставались явлением достаточно новым, а потому нуждающимся в некоем осмыслении, категоризации и атрибуции; вместе с тем, они были грозным элементом его повседневности, снова и снова ее изменяющим, а потому требующим постоянного упоминания.

Остановимся для начала на тех летописных фрагментах, где речь не идет о фиксации конкретных фактов и событий. Сразу же бросается в глаза, что, осуществляя традиционную для средневекового книжника процедуру встраивания истории собственного народа в некоторую общую картину мира, базирующуюся на образцовых инокультурных текстах, составитель «Повести временных лет» не забывает с достаточной последовательностью (на первый взгляд, даже не всегда мотивированной) отмечать в создаваемой им системе место этих соседей-кочевников.

Характерен, в частности, весьма заметный нарративный зазор между сообщением о первом появлении половцев на Руси и первыми их упоминаниями в летописи. Согласно показаниям самого летописца, первоначальное знакомство Руси с этим народом приходится на 1055 (6563) г.[1] При этом упоминания половцев как таковых встречаются в тексте гораздо раньше, причем каждый из этих «опережающих» рассказов достаточно любопытен с точки зрения восприятия кочевников

[1] «Приходи Болушь с Половьци . и створи Всеволодъ миръ с ними . и возвратишаса [Половци] вспѧть ѿнюду же пришли» [ПСРЛ, I: 162; II: 151].

летописцем и актуализации совершенно определенных сторон жизни этого народа в его повествовании.

В данном отношении очень выразителен рассказ, приуроченный к 898 г. (т. е. к дате, более чем на полтора века отстоящей от времени появления половцев у русских границ!). Неожиданным образом, он связан с сюжетом о создании славянской письменности, имеющим огромное значение как для культурной истории славян вообще, так и для представлений о месте Руси в этой истории. Компилируя и переосмысляя доступные ему источники, автор связывает этот рассказ с переселением венгров на Балканский полуостров. Здесь-то в его повествовании и возникают половцы как своеобразный образчик кочевого народа, хорошо известный его аудитории, причем к кочевьям венгров предсказуемым образом применяется та же терминология, что и к кочевьям половецким:

> Идоша Угри мимо Києвъ горою . єже сѧ зоветь н҃нѣ Оугорьскоє . <и> пришедъше къ Днѣпру и сташа вежами . бѣша бо ходѧще аки се Половци . пришедъ ѿ стока и оустремиша^ĉ^ чересъ горы великиꙗ <ꙗже прозваша^ĉ^ горы ꙋгорьскиа> . и почаша воєвати на жиоущаꙗ ту [ПСРЛ, I: 25; II: 18].

Таким образом, половцам в летописном нарративе присваивается своеобразная функция универсального наглядного примера. Не менее показательны и случаи, так сказать, противоположные, когда составитель «Повести временных лет», непосредственно сталкиваясь с этими степняками, испытывает потребность снабдить свой рассказ очевидца, свидетеля разрушительного набега кочевников, пространной литературной цитатой об этногенезе половцев. Используя переводные тексты и инкорпорируя в них необходимые элементы, он тем самым помещает неведомый древнему автору этнос в готовую парадигму мировой истории. Так, эсхатологические фрагменты Мефодия Патарского оказываются весьма подходящим финалом к рассказу о разорении Киево-Печерского монастыря ([ПСРЛ, I: 232–234]; ср.: [Истрин 1897: 142–145]), причем благодаря механизму достраивания исходного текста, эти же фрагменты дают возможность указать самою причину случившегося несчастья — появления на Руси половцев[1].

[1] Ср. финальную часть этого рассказа о половецком нашествии: «Ищьли бо суть си ѿ пустынѧ Нитривьскыꙗ . межю встокомь и сѣверо^ꙋ^ . ищьли же суть ихъ колѣнъ . д҃ . Тортъмени . и Печенѣзи . Торци . Половци . Меѳодии же свѣдѣтельствуєть ѡ нихъ . ꙗко . и҃ .колѣнъ пробѣгли суть . єгда исѣче Гедеѡнъ . да . и҃ . ихъ бѣжа в пустыню . а . д҃ . исѣче . друзии же г҃лють сн҃ы Амоновы . се же нѣ^ĉ^ тако . сн҃ове бо Моавли Хвалиси . а сн҃ве Аммонови Болгаре . а Срацини ѿ Измаилѧ . творѧтсѧ Сарини и прозваша имена собѣ . Саракыне . рекше Сарини єсмы . тѣмже Хвалиси и Болгаре суть ѿ дочерю Лютову . иже зачаста ѿ ѡц҃а своєго . тѣмьже неч^ĉ^то єсть племѧ ихъ . а Измаиль роди . в҃ы . сн҃а . ѿ нихже суть Тортмени и Печенѣзи . и Торци . и Кумани . рекше Половци . иже исходѧть ѿ пустынѣ . и по сихъ . и҃ . колѣнъ г Кончинѣ вѣка изидуть заклѣпении . в горѣ Александромъ . Македоньскымъ неч^ĉ^тыꙗ чл҃вкы» [ПСРЛ, I: 234].

Подобный механизм достраивания цитаты, позволяющий представить половцев как своего рода «образцовых язычников», используется в летописном повествовании неоднократно. Так, впервые эти обитатели степей появляются, как известно, во вводной части летописи, своеобразном предисловии к «Повести временных лет». Здесь изображается целый ряд некрещеных народов, чьи обычаи в большей или меньшей степени противоречат / соответствуют христианским нормам и церковным установлениям. Знаменательным образом, из всех кочевников, с которыми приходилось соприкасаться Руси, только половцы оказываются включенными в этот ряд: их описание занимает последнее и, возможно, риторически наиболее выигрышное место в череде этнографических примеров, как заимствованных, так и сконструированных самим составителем летописного текста [ПСРЛ, I: 12–16].

Очевидно, что описаниям подобного рода свойственна высокая степень клишированности, и зачастую они в большей мере способны поведать нам о книжных образцах, которыми пользовался автор, нежели о реальном обиходе того народа, который в них назван. Тем не менее, именно половцы были для составителя «Повести временных лет» язычниками, так сказать, не экзотическими, не отдаленными от него и его аудитории ни во времени, ни в пространстве, а потому небесполезно, быть может, обратить внимание на отбор этих клише, а также на то, какие именно стороны половецкого обихода русский книжник считает нужным выделить как проявление язычества. Он ведет речь о приверженности к кровопролитию, употреблении нечистой пищи и нарушении запретов на браки между близкими свойственниками:

> …ꙗкоже се и при насъ нынѣ . Половци законъ держать ѡц҃ь своих^х^ . кровь проливати а хвалѧще ѡ сихъ . [и] ꙗдуще мерьтвечину .

и всю нечистоту . хомѣки и сусолъı . [и] поимають мачехи своꙗ . [и] ꙗтрови и инъı ѡбычаꙗ отець своихъ . [творѧть] . мъı же х҃еꙗне єлико земль . иже вѣрують въ ст҃ую Трцю [и] въ єдино кр҃щньє въ єдину вѣру законъ имамъ єдинъ . єлико во Х҃а кр҃тихомсѧ и во Х҃а ѡблекохомсѧ [ПСРЛ, I: 16].

С одной стороны, составитель текста как будто не выходит за пределы того круга тем и понятий, на которых Церковь традиционно фиксирует внимание своей паствы в новообращенной стране и которые он сам уже затрагивал, говоря о других народах. С другой стороны, примечательна предельная конкретика в перечислении запретной пищи, демонстрирующая, что автор и читатель могут сталкиваться с подобными практиками напрямую. Соответственно, столь же прикладной характер обретают и ремарки, касающиеся неприемлемых для христианина матримониальных особенностей половцев. Те нарушения, которые ставит им в вину летописец, относительно умеренны (речь не идет, скажем, о многоженстве или о беспорядочном кровосмешении); они оказываются значимыми только в том случае, если становится актуальной самая возможность браков носителей этого обычая с русской знатью — новообращенной христианской аудиторией книжника, что и происходит в интересующую нас эпоху.

Разумеется, литературный фон и смысловые подтексты упоминаний половцев в «Повести временных лет» далеко не сводятся к рассматриваемым выше аспектам. Тем не менее, в соответствующих примерах можно разглядеть, как в раннем летописании формируются определенные подходы к «половецкой проблеме», которые будут достраиваться, усиливаться и уточняться на протяжении следующего столетия, в XII — начале XIII вв. Прекрасная осведомленность о том, когда половцы на самом деле впервые появились на Руси, сочетается со своеобразным ощущением перманентности и неизбежности соседства с ними. Половцы предстают как «образцовые кочевники» и, что наиболее существенно, как «образцовые язычники», чуждые христианам по происхождению и обычаям, как наглядное сегодняшнее воплощение того, о чем повествуют авторитетные тексты. С другой стороны, очевидно, что древние предостережения от языческих практик и обычаев, коль скоро речь заходит об этих степняках, приобретают актуальность недаром: христиане на Руси обречены на тесное взаимодействие с половцами, и в чисто прагматических целях они должны знать, какие из сторон повседневного обихода кочевых соседей являются недопустимыми для них.

Конфессиональные характеристики половцев в рассказе древнейших летописей о событиях XII — первой половины XIII вв. — Среди многочисленных и разнообразных имен половецких князей, упоминаемых в «Повести временных лет», мы не найдем ни одного христианского (равно как и ни одного славянского двусоставного) имени, что полностью соответствует той интенции восприятия данного народа как «образцово языческого», о которой нам уже приходилось говорить выше. Позднее именно в летописи интересующие нас христианские имена появятся, когда речь пойдет об эпохе, лежащей за пределами верхней хронологической границы «Повести». Иными словами, определенная антропонимическая эволюция в этом типе текста явно присутствует. И в то же время именно летописи являются тем источником, который в первую очередь препятствует гипотезе, согласно которой половецкие князья, взаимодействовавшие с Рюриковичами, могли быть христианами до начала 20-х гг. XIII в.

Прежде всего, обращает на себя внимание, конечно, регулярная, устойчивая и неизменная на всем пространстве летописного текста, относящегося к домонгольскому периоду, характеристика половцев как *безбожных*, *поганых*, *беззаконных*. Собственно говоря, показательно здесь отсутствие сколько-нибудь заметной динамики. Длительность половецко-русских контактов, число свершившихся между кочевыми соседями и Рюриковичами браков, множество промежуточных мирных соглашений и военных союзов — все это не в состоянии изменить изначального положения дел: *погаными* равным образом именуются как те половцы, которых приводит на Русь Олег Святославич (первый из русских князей, о чьем половецком браке нам что-то известно), так и те, что примерно семь десятилетий спустя помогают его уже далеко не юному внуку Святославу Всеволодичу.

Объяснительная риторическая модель, когда *поганые* являются орудием Божьей кары, но их победа кратковременна и отнюдь не является торжеством язычества над христианством, в летописном повествовании одинаково приложима к половцам и в тех случаях, когда речь идет о второй половине XI в., и в тех, которые относятся к концу XII столетия (ср., в частности: [ПСРЛ, II: 212–216, 648–649]). Близкие персональные контакты с Рюриковичами конкретного половецкого князя

и появление христианских имен в перечнях половецких вождей[1] решительно ничего не меняют в тональности и терминологическом наполнении такого рода описаний.

Если говорить о персоналиях, то своего рода олицетворением безбожия и беззакония предстает во второй половине XII в. половецкий князь Кончак:

> Того же лѣт҃ . мс҃ца . авгоуста придоша иноплеменьници . на Роускоую землю . безбожнии . Измалтѧнѣ . ѡканьнии . Агарѧне . нечс҃тии . ищадьꙗ дѣломъ . и нравомъ сотонинъı м҃ . именемь Кончакъ . злоу началникъ . правовѣрнъımъ крс҃тнъмъ . паче же всимъ цр҃квмъ . идеже имѧ Бж҃иє славитьсѧ . сими же поганъımи хоулитьсѧ . то не рекоу єдинемь . крс҃тьꙗномъ но и самомоу Бо҃у врази [ПСРЛ, II: 612].

Показательно, что не кто иной, как сын этого князя Кончака фигурирует в летописи под христианским именем. Можно было бы думать, что именно в этом — следующем после Кончака — поколении половецких князей происходит своеобразная смена конфессиональной парадигмы, однако русские летописи предоставляют в наше распоряжение прямо противоположную картину. В статье под 1223 г. гибель Кончакова сына, носящего календарное имя, представлена (как и убиение прочих его сородичей) в качестве кары окаянным, безбожным, беззаконным половцам за пролитие христианской крови:

> Слышахомъ бо, яко многы страны поплѣниша, Ясы, Обезы, Касогы, и Половець безбожных множество избиша, а иныхъ загнаша, и та изомроша, убиваеми гнѣвомъ Божиимъ и пречистыя его Матери; много зла створиша ти оканнѣи Половци Рускои земли, того ради всемилостивыи богъ хотя погубити безбожныя сыны Измаиловы Куманы, яко да отмѣстять кровь крестияньску, еже и бысть надъ ними безаконными. Проидоша бо ти Таурмены всю страну Куманьску и приидоша близь Руси, и прибѣгоша оканныи Половци, идеже зовется валъ Половечьскыи, избиеных останокъ, Котянь съ иными князьми, а Данилъ Кобяковиць и Юрьи <Кончакович. — *А. Л., Ф. У.*> убиена быста [ПСРЛ, III: 264–265].

[1] Так, среди половецких князей, попавших в плен в 1184 г., есть, по крайней мере, один обладатель христианского имени, что отнюдь не мешает летописцу именовать всю их совокупность *погаными* [ПСРЛ, II: 632].

Число подобного рода примеров из летописей можно многократно умножить.

Совершенно очевидно, таким образом, что с эпохи составления «Повести временных лет», где в рассказе о крещении Руси описание обычаев и нравов половцев призвано проиллюстрировать языческий уклад как таковой (и где мы находим рассказ о том, что русский князь Святополк хоронит своего тестя-язычника Тугоркана на перекрестке двух дорог)[1], до времени Кончаковича, который приходился тестем одному из Рюриковичей и родным дядей другому, в межконфессиональном взаимодействии русских и половцев никаких принципиальных изменений не произошло.

Нет нужды, как кажется, лишний раз подчеркивать достаточную осведомленность русского летописца о мере причастности своих кочевых соседей к христианской традиции. Поневоле соприкасаясь с ними достаточно тесно, он вполне регулярно, как уже отмечалось, указывает клановую принадлежность и/или ближайшую генеалогию степняков, подробно перечисляя их имена. Едва ли в такой ситуации за пределами его внимания мог остаться факт крещения кого-либо из половецких вождей, ведь это событие касалось бы Руси самым непосредственным образом.

Не вызывает сомнения и терминологическая точность употребления эпитетов *поганые* и *безбожные*: во всяком случае, мы не знаем летописных примеров, относящихся к этому времени, когда христиане-иностранцы, пусть даже и враждебные Руси и сколь угодно негативно воспринимаемые летописцем, награждались такими характеристиками[2]. Помимо всего прочего, обращение язычника — деяние,

[1] «Побѣжени бъıша иноплеменьци и кнѧзѧ ихъ оубиша Тугоркана . и сн҃а ѥго . и ини кнѧзи мнози врази наши ту падоша . на заоутрьє же налѣзоша Тугоркана мертвого . и взѧша и Ст҃ополкъ . акъı тьстѧ своѥго и врага . [и] привезше и г Кыєву . погребоша и на Берестовѣмь . межю путемъ идущимъ на Берестово . и другъımь в манастъırь идуще» [ПСРЛ, I: 232; II: 222].

[2] Показательно в этом смысле летописное свидетельство, когда Владимир Мономах посылает своего сына Андрея, женатого на половчанке, воевать с поляками. Союзники Андрея, вполне закономерным образом, именуются *погаными*, тогда как о его противниках, столь же закономерным образом, ничего подобного сказано быть не может — «тогда же посла Володимеръ . Андрѣꙗ с поганъımи на Лѧхъı . и повоеваша ѣ» [ПСРЛ, II: 286]. Известен случай, когда *беззаконным* и *окаянным* (но не *безбожным* или *поганым*!) именуется в летописном рассказе о событиях начала XIII в. русский князь — братоубийца Глеб Владимирович

безусловно, совершающееся к вящей славе того князя, при котором оно случилось, или клирика, которому удалось его осуществить, и отсутствие таких сведений в хроникальном источнике вплоть до 20-х гг. XIII в. само по себе достаточно красноречиво.

Могло ли все же случиться так, что у этого некрещеного народа было сколько-нибудь заметное число вождей, принявших христианство и достаточно активно взаимодействующих с Русью (хотя бы и не таких значительных, как Кончак или Кобяк, которые напрямую неоднократно характеризуются как язычники)?[1] Надо сказать, что даже и такое допущение, в принципе отнюдь не лишенное вероятия, применительно к нашему материалу вызывает серьезные сомнения. Одна из причин этих сомнений связана с формой мирных договоров, которые, согласно летописи, заключались между русскими и половецкими князьями. Как хорошо известно еще из договоров руси с греками, при заключении соглашения с некрещеным народом христиане, имея дело с некоей группой знати, стремились выделить среди его представителей христиан, дабы те принесли свои клятвы в церкви или на кресте [ПСРЛ, I: 42].

По-видимому, русские князья в полной мере усвоили эту практику, некогда применявшуюся византийцами по отношению к ним самим. Здесь можно вспомнить, например, те переговоры, которые они

Рязанский [ПСРЛ, I: 444]. Очевидно, помимо всего прочего, что этот персонаж, будучи полным тёзкой св. Глеба, сына крестителя Руси, не может не порождать известного рода ассоциаций у автора летописного текста. Он описывается как некое «антиподобие» князя-мученика и приравнивается, скорее, к Святополку, которого в свое время нелетописный, агиографический источник (паремийные чтения) мог называть даже и *Поганополком*. *Погаными* же в интересующем нас летописном сюжете именуются только половцы, помогающие Глебу Рязанскому [ПСРЛ, I: 440].

[1] В своей риторической стратегии летописец, естественным образом, стремится скорее расширить степень подвластности язычников Христу, нежели преуменьшить ее. Так, он вкладывает в уста половецкого князя Кобяка, обрадовавшегося малочисленности русского войска, на которое он собрался напасть, следующие слова: «се Бѣ вдалъ є҃ кнѧзи Русскиѣ . и полкы ихъ в руцѣ наши» [ПСРЛ, I: 395]. В этом же фрагменте составитель летописи всячески подчеркивает то обстоятельство, что половцы не принадлежат к роду христианскому. Не менее выразительна и другая реплика, которую автор текста приписывает кочевникам, пришедшим ради мирных переговоров с Глебом Юрьевичем: «…Бѣ посадилъ тѧ и кнѧзь Андрѣи . на ѡтчинѣ своєи . и на дѣдини в Кыєвѣ», не забывая и в этом эпизоде упомянуть, что половцы — *поганые* [ПСРЛ, I: 357–359].

вели с татарами после поражения на р. Калке: обещание сохранить им жизнь подтверждал с крестоцелованием некий Плоскыня, воевода бывших с татарами бродников [ПСРЛ, III: 266]. При этом ни в одном сообщении о заключении мира с половцами не фигурирует упоминания о каких бы то ни было христианских обетах, приносимых кочевниками. К половецким клятвам традиционно применяется лишь термин *рота*, причем существовала, по-видимому, некая особая, специализированная форма этого обряда: в частности, под 6692 г. в летописи упоминается о том, что Всеволод Большое Гнездо, заключая союз против болгар с неким половецким кланом, доселе, по-видимому, не очень хорошо ему известным, водит их «в роту в Половьцьскую» [ПСРЛ, I: 389].

Характерным образом, в летописном узусе ранее, чем в текстах другого типа, проявляется тенденция к сужению значения самого термина *рота*. Уже в рассказе о событиях XII в. он перестает употребляться применительно к договорам русских князей между собой и с иными христианскими государями. Для этой эпохи процедура клятвы описывается с помощью данного слова только в том случае, если речь идет о половцах, берендеях, торках, Черных Клобуках и т. п.[1]

Все это дает основание полагать, что среди половецкой знати, с которой русские князья домонгольского времени вступают в мирные отношения, нет сколько-нибудь заметного числа христиан, способных участвовать в подобного рода переговорах на равных. В летописных текстах разбросаны и другие косвенные данные, свидетельствующие о том, что никто из мужской части высшей половецкой элиты, нахо-

[1] По-видимому, в текстах иного типа (особенно в берестяных грамотах или памятниках диалогических, ответно-вопросных) в это время слово *рота* еще может употребляться в более общем значении «клятва», не дифференцирующем христианское и нехристианское. Правда, каждый случай такого употребления нуждается в отдельном рассмотрении. Не исключено, например, что коль скоро речь идет о некоем церковном контексте, то даже и в эту пору в данных текстах так именуется лишь обещание, данное неправедно, своего рода клятва с изъяном. Ср. соответствующий пассаж из «Вопрошания Кирика», где иерею предписывается не допускать обещанного паломничества в Иерусалим: «Ходили бѧхоу ротѣ, хотѧче въ Ѥроусалимъ. — Повелѣ ми опитемью дати: та бо, рече, рота гоубить землю сию» [РИБ, VI: 61–62, № 22]. В позднейших памятниках тенденция противопоставления крестоцелования и клятвы иноверцев, обозначаемой термином *рота*, прослеживается весьма отчетливо. При этом различные производные от слова *рота* (например, *ротникъ*) могут долго сохранять несколько более нейтральное значение.

дясь у себя дома, не нуждался ни в церковных службах, ни в свершении таинств, ни в чем-либо другом, что отличает жизнь христианина от жизни некрещеного.

Так, в Ипатьевской летописи рассказывается, как князь Игорь Святославич, пребывая в половецком плену, «попа <…> привелъ из Руси к собѣ со святою службою» [ПСРЛ, II: 649]. Очевидно, тем самым, что до той поры священника в половецкой ставке не было, стало быть, никто из окружавших князя половецких вождей и не испытывал в нем потребности. Это тем более знаменательно, что среди князей тех кланов, в которых находились Рюриковичи, был, как мы твердо знаем из летописного текста, как минимум один обладатель календарного имени, — он-то и захватил в плен брата новгород-северского князя[1]. Если бы речь шла о правителе-христианине, то с очень большой долей вероятности можно было бы утверждать, что хотя бы один священник при нем находился непременно, как это было, например, с Ольгой, крещеной княгиней в некрещеной стране.

Когда и при каких обстоятельствах принимали крещение половецкие князья? — Полное отсутствие в летописях каких-либо сообщений об обращении половцев сделало бы возможным (хотя, на наш взгляд, и необъяснимым) предположение о том, что наши древнейшие хронисты почему-либо умалчивали о таких фактах, не знали их или считали недостаточно значительными для фиксации. Однако на самом деле летописные источники сами по себе достаточно недвусмысленно свидетельствуют о том, в какое время и — что еще важнее — при каких обстоятельствах принимают христианство половецкие вожди.

Так, для XIII в. зафиксирован факт крещения половецкого князя по имени *Басты* в 1223/1224 г., которого Лаврентьевская летопись наделяет эпитетом «великий» [ПСРЛ, I: 505; II: 741]. Случилось это только перед лицом непосредственной и смертельной опасности, когда на половецкие земли уже пришли татары и помощь русских князей была единственной надеждой на спасение.

Естественно вспомнить в этой связи и о судьбе неоднократно упоминавшегося в русских летописях половецкого князя Котяна. В венгерских источниках сообщается о том, что, бежав при сходных обстоятельствах от татар в Венгрию, Котян изъявил готовность креститься вместе со всеми своими подданными и именно на этом условии был допущен в страну[1].

[1] Подробнее об этом см. ч. III, гл. 2 (§ 3), с. 299–301 наст. издания.

Как ни парадоксально это может показаться, оба данных эпизода (с Басты, а в особенности с Котяном) служат еще одним аргументом против возможности добровольного крещения половецких князей, соприкасавшихся с Русью, в предшествующую, домонгольскую эпоху[2]. В самом деле, Котян, насколько мы можем судить по летописным источникам, был одним из наиболее тесно связанных с Рюриковичами половецких правителей. Он не только отдал свою дочь за Мстислава Мстиславича Удатного и поддерживал контакты со своим русским зятем, — актуальным для него оказалось и то свойство́ с Рюриковичами, которое возникло в следующем поколении. Во всяком случае, Даниил Романович, муж его внучки, счел отнюдь не бесполезным напомнить Котяну об этом свойстве́, причем русский князь именовал князя половецкого *отцом*[3]. Тем не менее, несмотря на столь близкие и регулярно возобновляемые семейные и союзнические связи с русскими, Котян со всей очевидностью оставался некрещеным. Более того, даже в ту пору, когда впервые столь остро для половцев возникла нужда в помощи русских князей для борьбы с татарами, он, в отличие от Басты, крещения не принимал, ограничившись лишь богатыми подарками и просьбами, адресованными его русским свойственникам и их родне[4]. Котян выжи-

[1] См.: [Рогерий: 64–65, 80 <оригинальный текст>, 18–19, 34 <перевод>; Rogerii Miserabele Carmen…: 549–550, 556; Annales regum Hungariae…: 251, sub anno 1239]; ср. также: [Голубовский 1884: 234–235; Голубовский 1889: 24; Осипян 2013; Пилипчук 2013: 117–138].

[2] В Никоновской летописи мы находим два сообщения о крещении половецких владык в XII в., под 1132 и 1168 гг. соответственно [ПСРЛ, IX: 158, 236]. Однако доверия оба эти свидетельства, появляющиеся в самом конце погодных статей, не вызывают. Они не только не подкрепляются показаниями более древних летописей, но и самые имена якобы крестившихся половецких князей — *Амурат* и *Айдар* — не фигурируют ни в одном из более ранних свидетельств о русско-половецких контактах. Зато эти имена неоднократно встречаются в составе самой Никоновской летописи в качестве имен ордынских воевод и правителей (ср.: [Golden 1998; Голден 2008: 309–340]). О том, как в Никоновской летописи имена других кочевников, печенегов, конструируются из имен ордынских вельмож, см. в работе: [Melnyk 2013].

[3] «…ѿче измати воиноу сю . приими мѧ в любовь собѣ» [ПСРЛ, II: 753].

[4] «…сь же Котянь бѣ тьсть Мьстиславу Галицьскому. И приде съ поклономь съ князи Половьцьскыми къ зяти въ Галичь къ Мьстиславу и къ всемъ княземъ русь-

дал в течение еще почти двух десятилетий и изъявил готовность обратиться в новую веру лишь после такого военного поражения, которое окончательно лишало его возможности сколько-нибудь независимо пребывать на прежних территориях[1].

Еще раз несколько отступая от нашего принципа герметизма исследования русско-половецкого взаимодействия, можно обратить внимание на процесс ассимиляции половцев в Грузии, приходящийся на первую половину XII столетия[2]. Подобное отступление оправдано не только типологическим сходством ситуаций (здесь, как и на Руси, сложился матримониально-политический союз правящих родов), но и тем, что, по крайней мере, некоторые из оказавшихся в Грузии половцев действовали и на Руси.

В самом деле, грузинский царь Давид Строитель, как уже упоминалось выше, взял в жены половецкую наследницу, известную в источниках под именем *Гурандухт*. Ее отцом был князь Атрак, сын Шарагана, которого обычно отождествляют с упоминающимся в русских

скымъ, и дары принесе многы: кони и вельблуды и буволы и дѣвкы, и одариша князь русьскыхъ, а рекуче тако: "нашю землю днесь отъяли, а ваша заутро възята будеть"; и възмолися Котянь зяти своему. Мьстислав же поця молитися княземъ русьскымъ, братьи своеи, рекя тако: "оже мы, братье, симъ не поможемъ, тъ си имуть придатися к нимъ, тъ онѣмъ больши будеть сила". И тако думавъше много о собе, яшася по путь, и поклона дѣля и молбы князь половьчьскыхъ» [ПСРЛ, III: 62, 265].

[1] В. Н. Татищев, именуя этого князя «Котяк», сообщает, что тот принял крещение для укрепления своих связей с русскими князьями («Князь же половецкий Котяк, хотя у руских князей большую любовь и поверенность приобрести и их своею верностию паче обнадежить, принял веру христианскую и крестился») ([Татищев, III: 216, 217]; ср.: [Golden 1998: 24; Голден 2008], автор склонен, как кажется, доверять сообщению Татищева). Эти сведения Татищева не только не подкрепляются никакими источниками, но, напротив, напрямую противоречат показаниям венгерских хроник, где упоминается, в частности, что восприемником половецкого князя при крещении был сам король, а заодно подробно излагается история пребывания Котяна в Венгрии и описывается его гибель. По всей видимости, в «Истории» Татищева известие о крещении Котяна было попросту перенесено с венгерской почвы на русскую. Так или иначе, историк помещает это событие под 1124 г. и связывает его именно со стремлением половецких князей защититься при помощи русских от татар, а никак не с историей предшествующего, домонгольского периода.

[2] Об этих событиях см. подробнее в работе: [Golden 1984: 45–87], с указанием литературы.

летописях Отроком (Шараган, соответственно, отождествляется с Шаруканом)[1]. Давид прибег к помощи своего тестя для борьбы с сельджуками, и помощь эта сопровождалась переселением 40 тыс. кочевников в Грузию на весьма выгодных условиях. В свою очередь, знаменитый поэтический рассказ Галицко-Волынской летописи связывает переселение Отрока «во Ѡбезы . за Желѣзнаꙗ врата» с теми сокрушительными поражениями, которые нанес половцам Владимир Мономах [ПСРЛ, II: 716].

Таким образом, складывая вместе свидетельства двух источников, нетрудно убедиться, что уход Атрака (Отрока?), столь полезный в военном отношении для грузинской стороны, был для него в значительной степени делом вынужденным, хотя события для половцев в данном случае носили не столь трагический и необратимый характер, когда им, спасаясь от татар, пришлось бежать в Венгрию. Согласно рассказу Галицко-Волынской летописи, Отроку (Атраку?) даже удалось вернуться на свою прежнюю родину, где судьбы его потомков не раз переплетались с судьбами русских князей[2]. При этом, как сообщает грузинская хроника, многие из тех половцев, что попали в Грузию и поселились на отведенных им землях, становилось христианами [Житие Давида: 284–285], подобно тому как столетие спустя христианами делались многие из кочевников, по необходимости осевшие в Венгрии.

Отметим, однако, что грузинские источники ограничиваются на этот счет самыми общими формулировками, не называя ни числа крестившихся половцев, ни их имен. Еще более существенно, что, назвав имя Давидова тестя и указав, что его военный успех в борьбе с сельджуками разделил один из его сыновей (соответственно, шурин царя Давида), источник, прославляющий деятельность царя, решительно не упоминает о приобщении этих ближайших царских свойственников к христианству. Очевидно, таким образом, что половецкие тесть и шурин царя оставались некрещеными, как оставался некрещеным и Тугоркан, половецкий тесть русского князя Святополка.

Итак, те данные, которые мы можем извлечь из летописи, достаточно недвусмысленно, на наш взгляд, свидетельствуют, что для половецких вождей, связанных с Русью, переломный момент в конфессиональном отношении начался именно с татарским нашествием, но

[1] См. Рис. 2 на с. 283 наст. издания.

[2] См. об этом также ч. III, гл. 2 (§ 1 и § 4), с. 281 и с. 311–312 наст. издания.

никак не ранее. Эта эпоха отделена от предыдущей — домонгольской — резкой и контрастной гранью. В пользу такого предположения свидетельствуют и довольно немногочисленные упоминания о пребывании христиан в половецкой среде и о столкновении самих половцев с христианством, которые разбросаны в русских нелетописных источниках, повествующих о событиях конца XI — начала XIII вв. Остановимся на некоторых из них.

Нелетописные источники о соприкосновении половцев с христианством. — Поздняя легенда о пленном половчине, который взял в поручители св. Николая, но не сдержал обещания о выкупе, может служить своеобразным доказательством того, что для половца непосредственный контакт с христианской обрядностью и даже прямое лицезрение чуда вовсе не обязательно влекло за собой крещение ([Кушелев-Безбородко, I: 71–73]; ср.: [Голубовский 1884: 225–226]). Легенда рассказывает о кочевнике, со всей очевидностью довольно знатном и богатом (он участвует, например, в съезде половецких князей и владеет большими табунами), который, будучи в плену на Руси, посулил за свое освобождение конский табун, но, обретя свободу и вернувшись в степь, пренебрег обещанием. Из текста мы узнаем, что он и его соплеменники становятся очевидцами чуда: незадачливому должнику незримая сила наносит многочисленные побои и грозит дальнейшими карами. Претерпев наказание, половчин понимает, что это не кто иной, как св. Николай исполняет свои обязанности поручителя, и тогда он спешит возместить христианину обещанное, а также пригоняет в храм, посвященный этому святому, небольшой табун лошадей. При этом в легенде решительно ничего не говорится о том, что половчин принял крещение. Иными словами, мы имеем дело с сюжетом о власти, данной святому над язычником, и о его защите интересов христиан, но не об обращении некрещеного степняка.

Непосредственное свидетельство о таком обращении содержится в рассказе Киево-Печерского патерика об одном из монахов, Никоне Сухом [Абрамович 1911: 79–81]. Однако именно этот текст позволяет увидеть, что крещение половца, не будучи делом полностью невозможным, само по себе воспринималось как событие единичное, некое чудо, сотворение которого по силам лишь святому. Согласно рассказу патерика, черноризец Никон, плененный половцами, отказывается от предложения внести за него выкуп (за что терпит многочисленные

пытки), уговаривает находящихся вместе с ним в плену христиан не принимать пищи от «поганых» и исцеляет молитвой своего занемогшего мучителя, прозорливо предвидя его последующее покаяние. Наконец, Никон чудесным образом избавляется от неволи, и лишь затем исцеленный им половец, придя на Русь, крестится со своим родом и становится насельником того же монастыря, служа своему бывшему пленнику.

Составитель патерика отнюдь не представляет крещение половца как рядовое событие в потоке миссионерской деятельности; напротив, он приравнивает подвижничество Никона, приведшее к крещению одной этой семьи, к подвигу св. Герасима, ради которого «жидове крестишася». Что еще более характерно, рассказчик не сообщает ни языческого, ни христианского имени степняка, а также ничего не говорит о его генеалогических связях (здесь нельзя не вспомнить, насколько внимательны к такой информации летописцы). Это неизбежно приводит к мысли, что крестившийся кочевник был фигурой малозначительной в своей среде, а быть может мы попросту имеем дело с некоторым условным полулегендарным персонажем. Если же воспринимать эту историю как фиксацию конкретного факта, то нельзя не обратить внимание, что крестившийся половец и его родичи не остаются в степи среди своих соплеменников: он принимает постриг, бесповоротно отделившись, таким образом, от своего прежнего мира.

Наконец, в «Вопрошании Кирика» (памятнике XII в., замечательном, в частности, тем, что здесь зачастую обсуждаются ситуации, с которыми священник воочию мог сталкиваться достаточно редко, но все же отнюдь не выходящие за пределы возможного в его практике) есть и упоминание процедуры приобщения к Церкви пожелавших креститься болгарина, половца и чудина [РИБ, VI: 33, № 40]; срок между оглашением и крещением для них предписывается более долгий, чем для взрослого славянина и тем более ребенка. Разумеется, судить по этому тексту о том, насколько часто находился случай для применения этих правил и были ли упоминаемые здесь иноплеменники свободны (или же находились среди христиан поневоле), весьма затруднительно. Тем более затруднительно утверждать на основании этого свидетельства, что среди крестившихся могли быть половецкие правители.

Итак, сознательно отвлекшись на время от собственно ономастических данных, мы попытались проанализировать некую совокупность свидетельств разного уровня, позволяющих сквозь призму русских

источников взглянуть на культурно-конфессиональную ситуацию, в которой находились соприкасавшиеся с Русью половцы. Как кажется, такой анализ дает возможность утверждать, что пока процесс взаимодействия половецкой и русской традиций проистекал постепенно, в некоторых привычных для обеих сторон рамках, он до крещения мужской части правящей половецкой элиты не доходил. Понадобился столь кардинальный исторический слом, как татаро-монгольское нашествие, чтобы мы обнаружили сообщения источников о крещении половецких владык. Мы, разумеется, отнюдь не имеем в виду, что крещеных половцев в домонгольскую эпоху на Руси не бывало вовсе: как следует из текстов, время от времени не только женщины, но и мужчины из этого народа принимали христианство[1], однако мы не знаем примеров, когда это случалось бы с теми, кто продолжал и потом располагать какими бы то ни было властными привилегиями у себя дома, в степи.

Состав и специфика христианского именослова половцев. — Общий взгляд на то, какие именно христианские имена половецких правителей зафиксированы в летописи, сразу же предоставляет нам весьма интересную информацию о взаимодействии указанных кочевников с Рюриковичами. В самом деле, каков же по составу этот христианский микроономастикон знатных представителей половецких родов? В сущности, в него входит лишь весьма ограниченный круг имен: *Георгий* (*Юрий*), *Роман*, *Глеб*, *Даниил*, по-видимому, *Василий*, возможно, *Давыд*, возможно, но маловероятно — *Лавр*[2].

Принципиально важно, что все эти имена (кроме последнего, но и более чем сомнительного с точки зрения элитарного происхождения его носителя) являют собой своего рода подмножество того — также

[1] В качестве одного из свидетельств такого рода, возможно, следует рассматривать граффито Новгородского Софийского собора, относящееся к концу XII в.: «Г҃и помози рабоу своемоу Санъдоусоу» [Гиппиус & Михеев 2011: 44–46]. Не исключено, что автор этой надписи — половец, во всяком случае, как отмечают А. А. Гиппиус и С. М. Михеев, его имя практически совпадает с именем половца, убитого несколькими десятилетиями ранее [ПСРЛ, II: 505]. Обратим внимание, что антропоним в формуле благопожелательной надписи — отнюдь не календарный, а автохтонный тюркский.

[2] Существование имени *Лавр* как такового у половцев вполне вероятно, невозможной представляется, скорее, принадлежность его обладателя к половецкой знати. Подробнее см. ниже в настоящей главе, с. 246–248.

достаточно краткого — перечня имен, которые в домонгольское время (в XI и начале XIII вв.) регулярно употребляются у Рюриковичей в летописях в качестве династического имени, совмещающего в себе функции родового и крестильного.

Сам по себе тот факт, что набор христианских именований у половецкой элиты не выходит за пределы списка христианских княжеских антропонимов, которые на Руси используются как единственные, недвусмысленно свидетельствует о существовании своеобразной коммуникации на языке имен между русскими и половецкими князьями. Разумеется, дабы понять, как эта коммуникация была устроена, нам необходимо хотя бы кратко остановиться на том, чем были подобного рода христианские имена для самих Рюриковичей, а также как и когда с ними столкнулись половцы.

Династические функции христианского имени у Рюриковичей. — Как известно, господствующей моделью русского княжеского имянаречения той поры была двуименность, когда князь обладал не только христианским именем, полученным при крещении, но и именем родовым, традиционным, языческим по происхождению[1]. Под этим-то традиционным именем большинство русских князей и фигурируют в летописи, по-видимому, именно они доминировали в княжеской мирской жизни.

Вместе с тем, с определенного времени некоторые христианские имена — прежде всего, *Давыд*, *Роман*, *Василий*, *Георгий* и *Андрей*[2] — начинают восприниматься в русской династии как имена родовые, поскольку их некогда получили в крещении (в качестве второго, дополнительного) наиболее прославленные предки. Их потомки, нареченные этими именами новые члены рода, уже как бы не нуждались в еще одном династическом именовании. Достаточно вспомнить таких

[1] Так, князь Мстислав мог быть обладателем именем *Федор*, Святослав мог зваться в крещении *Николаем* и т. д. О двуименности у русских князей см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 111–175].

[2] В дальнейшем список таких имен неуклонно расширялся, и в домонгольское время к нему присоединились *Иван*, *Михаил*, *Александр*, *Константин* и *Даниил*, чуть позже — *Федор*. Со временем переориентация династии на имена исключительно христианские становится все более заметной, однако завершается этот процесс лишь в XV в. См. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 111–163].

князей, как Давыд и Роман Святославичи (внуки Ярослава Мудрого)[1], Василько Ростиславич Теребовльский[2], Юрий Владимирович Долгорукий[3] и Андрей Владимирович Добрый[4] (младшие сыновья Мономаха), Юрий Ярославич Туровский, Андрей Боголюбский, Роман Мстиславич Галицкий и его сыновья Даниил Романович и Василько Романович. Все эти правители всегда присутствуют в летописных источниках исключительно под христианскими именами, тогда как их ближайшие родичи, повторимся, по-прежнему упоминаются здесь же под именами традиционными[5].

Иными словами, с конца XI и начала XII вв. для русских князей *Юрий* и *Роман* — это столь же полноценные и весьма популярные династические имена, как *Игорь* или *Всеволод*. При наречении наследника княжеского рода они могут исполнять все те же функции, что и более привычные для рода, языческие по происхождению имена. Для нас особенно существенна одна из этих функций, к XII в. сделавшаяся особенно актуальной во внутридинастическом обиходе разросшегося рода Рюриковичей.

В русской династии устанавливается практика, когда договор, заключенный между двумя князьями-братьями, зачастую скреплялся для следующего поколения наречением кого-то из родившихся вскоре племянников в честь дяди (см.: [Литвина & Успенский 2006: 71–110] и с. 32–34 в наст. издании). Коль скоро речь шла о внутридинастических союзах самих Рюриковичей, изначальная природа имени при этом не играла, в сущности, никакой роли (это могло быть, к примеру, славянское по происхождению *Мстислав*, скандинавское *Игорь* или календарное греческое *Андрей*), важно лишь, чтобы у стороны контрагента оно использовалось как родовое. Новорожденный наследник благодаря своему имени приобретал, таким образом, своеобразную

[1] В свое время имена *Роман* и *Давид* получили в крещении их старшие родичи свв. Борис и Глеб.

[2] *Василием* звали в крещении Владимира Святого.

[3] *Георгий* (*Юрий*) было крестильным именем прадеда этого князя, Ярослава Мудрого.

[4] *Андреем* был в крещении дед князя, Всеволод Ярославич.

[5] С другой стороны, некоторые языческие по происхождению княжеские имена, чьи обладатели на Руси были прославлены как святые, начинают с определенного времени фигурировать как имена христианские, календарные. Одним из таких антропонимов, вошедших в святцы и в русский церковный обиход, было и интересующее нас имя *Глеб*. Подробнее см. ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 312–313 наст. издания.

функцию «живой печати» при союзническом договоре, который заключался старшими и касался далеко не его одного.

Успешность такого рода модели, воплощающей договор в имянаречении, во внутридинастической жизни Рюриковичей сама по себе обеспечивала возможность ее расширительного использования. С другой стороны, династические христианские имена, помимо своей связи с церковным календарем, обладали и некоторыми функциональными особенностями, отличающими их от княжеских мирских имен. В целом можно сказать, что Рюриковичи относились к собственным христианским именам несколько свободнее, чем к именам исконно родовым. В общем контексте княжеской двуименности христианские имена были для династической традиции чем-то вроде испытательного полигона: являясь неким новшеством сами по себе, они заодно давали возможность отработки инновационных механизмов в княжеском имянаречении как таковом.

Симптоматично, например, что часть запретов, неукоснительно соблюдавшихся при выборе исконных мирских имен, в отдельных случаях могла игнорироваться князьями, коль скоро речь идет об имени календарном. Так, вплоть до 10-х гг. XIII столетия ни один Рюрикович не был назван мирским именем своего живого отца или деда, тогда как христианские имена отца и сына, не говоря уже о деде и внуке, иногда могли совпадать, хотя бы эти прямые предки были еще живы к моменту рождения ребенка. Иными словами, ни отец, ни дед со стороны отца не мог наречь новорожденного своим княжеским, языческим по происхождению именем, будь то *Святослав*, *Всеволод*, *Ярополк* или *Олег*. Если же речь шла о передаче собственного христианского имени, то здесь столь жестких ограничений не было.

Выразителен в этом отношении не только случай имянаречения родившегося на исходе XII в. Владимира / Дмитрия, сына Всеволода / Дмитрия Большое Гнездо, но и фигура Василько Леоновича (или Маричинича), действовавшего в 30-е гг. того же столетия и погибшего в битве Мономашичей с Ольговичами и половцами: не вызывает никаких сомнений, что этот Василько, будучи сыном неудачного претендента на византийский престол и дочери Владимира / Василия Мономаха, родился и рос при дворе своего русского деда, при этом получив в крещении его христианское имя.

Еще более существенно в перспективе нашего исследования, что конкретные календарные антропонимы, избранные династией, в отли-

чие от антропонимов мирских, не становились ее исключительной принадлежностью. Совпадения христианского имени подданного с именем князя не только не были запретными, но могли целенаправленно обыгрываться в письменных памятниках, а также, по-видимому, и в реальной практике. Весьма характерно, например, что, согласно летописи, князь Давыд Игоревич, отправляя в крайне щекотливой ситуации посла к своему ослепленному противнику Василько Теребовльскому, напутствует его следующими словами:

> ...да се Василю шлю тѧ . иди к Василкови тезу своєму . с сима ѡтрокома . и молви ѥму тако… [ПСРЛ, I: 265].

Существенно упрощая дело, можно сказать, что воспроизведение из поколения в поколение мирских княжеских имен манифестировало и усиливало исключительную связь князя со своим предком- или родичем-тёзкой. Совпадение же имен христианских подразумевало более неопределенные, но и более широкие функции и возможности: манифестацию связи между любыми их обладателями[1], в частности, между Рюриковичем и не-Рюриковичем.

Как половцы могли воспринимать династические имена русских князей? — Пока мы остаемся в рамках династической истории русских князей, христианские имена предстают в ней как своеобразное новшество, возникшее на определенном этапе жизни династии и постепенно все глубже укоренявшееся в ней. В самом деле, первые поколения мужских представителей рода Рюриковичей, правивших на Руси, были некрещеными и христианских имен не употребляли вовсе. Но даже и в ту пору, когда князья, располагающие всей полнотой власти, становятся христианами и крестят страну, их династическими именами остаются имена языческие, что и порождает ситуацию двуименности, о которой упоминалось выше. Весьма характерно, в частности, что Владимир Святой, его сыновья и внуки[2]

[1] Разумеется, если речь шла о людях крещеных, то христианское имя, прежде всего, устанавливало связь человека с тем небесным патроном, чьим тёзкой он становился. Однако этот аспект имянаречения не рассматривается в данной работе.

[2] В качестве своеобразного исключения можно было бы упомянуть Евстафия, сына Мстислава Владимировича Тьмутараканского (и, соответственно, внука Владимира Святославича), однако единственное упоминание о нем в летописи свя-

фигурируют в летописи исключительно (или как правило) под своими мирскими княжьими именами. Уверенно говорить о первых христианских династических именах можно, в сущности, только применительно к правнукам крестителя Руси. В каждом следующем поколении этой новой части княжеского ономастикона предстоит воспроизводиться и несколько расширяться.

Необходимо помнить при этом, что половцы, появившиеся на Руси во второй половине XI в., сталкиваются с совершенно определенным хронологическим срезом этой протяженной истории княжеского именослова, с неким, так сказать, готовым положением дел. Их интенсивные военные контакты с русскими князьями приходятся как раз на ту пору, когда на политическую сцену все активнее выходят правнуки и первые праправнуки Владимира Святого, в частности, и те из них, которые были обладателями христианских династических имен (таких, например, как *Роман*, *Давид* и *Василий*).

Естественно допустить, что половецкие князья в эту пору знали имена Рюриковичей, с которыми они воевали и мирились, так же хорошо, как Рюриковичи знали их имена. Любые династические имена соседних правителей, несомненно, пользовались определенным престижем, степень которого могла зависеть от родового статуса обладателя конкретного антропонима, быть может, от меры его военных успехов и личной доблести, но едва ли для кочевников была актуальна природа и предыстория разнообразных княжеских именований[1]. Довольно

зано с его кончиной, и не сохранилось никаких данных о том, что он успел при жизни получить какие бы то ни было властные привилегии. Еще более загадочно единожды упоминающееся в Комиссионном списке Новгородской первой летописи и в летописи Авраамки имя *Илья* [ПСРЛ, III: 161, 470; XVI: 313], которое, судя по тексту, носил один из сыновей Ярослава Мудрого, причем источник описывает жизненный путь этого князя с редкой лаконичностью: «И родися у Ярослава сынъ Илья, и посади в Новѣгородѣ, и умре» [ПСРЛ, III: 161]. В Ипатьевском и Лаврентьевском сводах нет никаких упоминаний об Илье Ярославиче, поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что *Илья* было единственным именем этого рано умершего князя. Многие исследователи сомневались в существовании такого сына у Ярослава Мудрого, полагая, в частности, что это крестильное имя кого-то из фигурирующих только под мирским именем Ярославичей (иначе см.: [Назаренко 2001: 484–486, 488–499]).

[1] Здесь вновь уместна, как кажется, аналогия с осведомленностью «русской стороны». Летописцы обильно и многократно фиксируют именования половецких князей, но при повторном упоминании одного и того же имени не всегда выдер-

скоро русские династические имена стали для них именами союзников, свойственников (а в следующем поколении и кровных родичей) и, возможно, побратимов, хотя непосредственными свидетельствами о практике побратимства между русскими князьями и половцами мы не располагаем.

Первым половецким зятем стал, насколько мы знаем, внук Ярослава Мудрого Олег, но неудачливым союзником кочевников был и его родной брат Роман; далее на половчанках, напомним, женились Святополк и Юрий, Святослав и Андрей, мирные договоры с ними заключали Владимир и Давыд: династические мирские имена изначально перемешаны здесь с династическими христианскими практически на равных. Таким образом, у половецкой элиты попросту не было оснований для того, чтобы делать какую-то принципиальную разницу между первыми и вторыми, если речь шла, например, о закреплении определенных отношений между русскими и половецкими семьями и родами[1], будь то связи исключительно союзнические или — что, быть может, еще вероятнее — связи матримониальные и родственные.

Что же касается русских князей, то если в их перспективе договор, заключенный между русскими и половцами, мог подкрепляться наречением кого-либо из половецких княжичей русским династическим именем (как это делалось, когда Рюриковичи договаривались между собой), то для этой цели, безусловно, лучше подходили имена христианские, не столь ревностно, напомним, оберегаемые от всех, кто не были кровными наследниками русских князей по мужской линии.

живают единообразие, порой не отделяют имя от титула (ср. *Шарукан*), по-видимому, не опознают (или, во всяком случае, не всегда опознают) в половецких именах регулярно повторяющиеся основы, не демонстрируют специального интереса к их семантике. Здесь проходит одна из ономастических границ между «своим» и «чужим». Очевидно, что русский хронист может путать одно княжеское имя с другим, если речь идет о второстепенных или редко упоминаемых представителях рода Рюриковичей, но он отнюдь не проявляет склонности искажать или деформировать двусоставные славянские основы этих антропонимов. Как правило, внутренняя форма русского княжеского имени не привлекает его внимания, но при желании он может обыгрывать и актуализировать его семантику, идет ли речь об исконном династическом имени или о календарном (ср.: [Литвина & Успенский 2006: 439–441; Литвина & Успенский 2010: 152–166]).

[1] О более тонких различиях в наречении половцев христианскими и нехристианскими русскими княжескими именами см. далее, ч. III, гл. 2, § 5.

Итак, для обеих родовых традиций христианский династический ономастикон Рюриковичей — хотя и по разным причинам — оказывается равно приемлемым в качестве зоны пересечения и взаимодействия. С другой стороны, то обстоятельство, что все христианские имена знатных половцев являются одновременно и династическими именами русских князей, делает в определенном смысле избыточным допущение, согласно которому наши кочевники получали их благодаря крещению. Действительно, как мы могли убедиться из разнообразных примеров, приведенных в начале нашей работы, длинная череда войн, мирных договоров и политических союзов, регулярно сопровождавшихся браками, — вполне достаточная причина для того, чтобы в именослов одного из соприкасающихся знатных родов проникали имена другого.

С точки зрения религиозной принадлежности половецкой элиты, куда более информативным было бы обнаружение у знатных кочевников имен *Петр*, *Павел* или *Адриан*, которые в домонгольскую пору давались Рюриковичам в крещении, но династическими так никогда и не стали. Еще выразительнее было бы присутствие у половецких князей таких антропонимов из церковного месяцеслова, которые князьями русскими не употреблялись вовсе. Однако случаев такого типа имянаречения у половецкой знати попросту не обнаруживается. Тем больше оснований при рассмотрении интересующих нас русских имен ставить во главу угла не перемену веры, а межродовой обмен.

Кто давал половцам русские имена, «свои» или «чужие», и кто этими именами пользовался? — Прежде чем перейти к анализу конкретных механизмов этого процесса, необходимо обратить внимание и на другие, также вполне вероятные пути приобретения половецкими князьями нетрадиционных имен, вовсе не обязательно связанные с конфессиональными предпочтениями или родовой жизнью самих половцев.

Очевидно, что функциональная ниша имени, полученного из другой культурной традиции, в среде-акцепторе бывает довольно разнообразной. Подобные антропонимы могут фигурировать, в частности, в качестве единственных имен тех, кому они предназначались, а могут встраиваться в уже существующую или возникающую по ходу дела систему многоименности. Следует учитывать при этом, что довольно разнообразной бывает и самая многоименность. Для родового мира

Средневековья вообще и для Руси в особенности весьма существенны были источник и обстоятельства получения того или иного именования: имя, данное человеку от рождения или в детстве, при непосредственном участии главы семьи, обладало совершенно иным, выделенным статусом, нежели те именования, которые могли «прирастать» в течение жизни.

В перспективе нашего исследования русско-половецких династических контактов очень важно установить, не могли ли русские имена даваться половцам самими русскими, без какого-либо участия собственно половецкой родовой среды. Такое внешнее «приклеивание» антропонимического ярлыка бывает результатом вполне универсального стремления к ассимиляции инокультурного имени, нейтрализации его чуждости путем подбора некоего более привычного эквивалента, но может знаменовать собой и стремление более глубинное, когда переименование означает приобщение к своему миру человека, принадлежащего по рождению к миру чуждому.

Особый интерес здесь представляет имя *Лавр* («Лаворъ»), обладателем которого является, согласно Ипатьевской летописи, половчин, помогавший князю Игорю Святославичу бежать из плена:

> …тамо сѧ налѣзесѧ . моужь родомъ Половчинъ . именемь Лаворъ . и тотъ приимъ мъсль бл҃гоу . и ре҃ поидоу с тобою в Роусь . Игорь же исперва не имѧшеть ємоу вѣрьı <…> и посла Игорь к Лаврови конюшого своєго . река ємоу переєди на ѡноу стороноу . Тора с конемь . поводнъımъ . бѧшеть бо свѣчалъ с Лавромъ бѣжати в Роусь . в то же времѧ Половци . напилисѧ бѧхоуть коумыза . а и бъı при вечерѣ пришедъ конюшии . повѣда кн҃зю своємоу Игореви . ꙗко ждеть єго Лаворъ [ПСРЛ, II: 650–651].

Традиционно половчин Лавр отождествляется с упоминаемым в «Слове о полку Игореве» Овлуром (Влуром), игравшем в этом тексте аналогичную роль при побеге русского князя:

> Комонь явъ, полуночи Овлуръ свисну за рѣкою: велить князю разумѣти — князю Игорю не быть кладнику <…> Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня [Jakobson 1966: 147–148, № 186, 191].

Само по себе такое отождествление сомнений не вызывает. Куда более сложен вопрос о том, каково было, так сказать, исходное именование этого человека и какую роль среди имеющихся в нашем распоряжении антропонимических форм играет календарное *Лавр*.

Целый ряд исследователей допускал возможность, что *Лавр* — это первоначальное имя, тогда как *Овлур* не что иное, как результат его ассимилирующей фонетической трансформации в тюркской среде[1]. В таком случае, в качестве следующего шага мы должны предположить, что автор «Слова о полку Игореве» был знаком исключительно с «тюркским» вариантом имени своего персонажа и при этом не отождествлял его с календарным *Лавр*, а составитель летописи был или лучше осведомлен об истинном имени половчина, или успешно произвел процедуру обратного пересчета, превращая чуждое ему *Овлур* в сходное с ним, но более привычное *Лавр* («Лаворъ»). Разумеется, эта последняя процедура могла быть проделана и в том случае, если происхождение имени *Овлур* не было связано изначально с именем *Лавр*, т. е. пересчет мог быть не обратным, вторичным, а, так сказать, независимым и единственным (от чуждого *Овлур* к освоенному *Лавор*).

Можно наметить здесь и другие пути, объясняющие появление в «Слове» и в летописи разных антропонимов (разных вариантов антропонима?) у этого половца и их соотношение между собой. Не исключено, например, что *Овлур* принял крещение на Руси[2], и тогда его новое христианское имя было подобрано, вероятно, по созвучию со старым: различные образцы такого подбора для эпохи Средневековья хорошо известны (ср.: [Гиппиус & Успенский 2000; Ф. Успенский 2002: 111–137])[3]. Строго говоря, и до своего бегства половец мог быть крещен и наделен именем *Лавр*, а мог, находясь в своей среде, полу-

---

[1] См.: [Гордлевский 1947: 325; Баскаков 1971: 45; Баскаков 1985: 153–154]; ср. также: [Zajączkowski 1949: 55, прим. 23; Менгес 1979: 92–94].

[2] Именно такая версия предложена во второй редакции «Истории» В. Н. Татищева [Татищев, III: 138–139]. Как кажется, нет оснований полагать, что Татищев пользовался в данном случае какими-то дополнительными источниками. Скорее всего, перед нами его собственное логическое достраивание сюжета о князе Игоре и половце Лавре.

[3] Если полагать, что этот половец был крещен на Руси, после побега князя Игоря, и именно здесь получил имя *Лавр*, то небезынтересен и самый выбор патронального святого, покровителя скота и не в последнюю очередь — лошадей (ср.: [Успенский 2006]).

чить календарное имя, не принимая крещение: в честь побратима или кого-то из покровительствующих ему христиан, по одному из имен своих русских родичей и т. д.

Существенно, однако, что окончательный выбор в пользу одной из всех обсуждаемых здесь версий, в определенном смысле слова, невозможен, и невозможность эта обусловлена как раз несомненно имевшим место процессом ассимилирующей трансформации имени. Подобного рода трансформация, в первую очередь, направлена на то, чтобы снять, нейтрализовать противопоставление «своего» и «чужого», а потому — коль скоро мы имеем дело с весьма фрагментарным ее результатом — расподобление исходного и окончательного именования, идущее вразрез с языковой интенцией, крайне затруднительно; столь же затруднительно установить наверняка, пытались ли кочевники ассимилировать календарное имя или русские — половецкое автохтонное, тем более что процесс этот совершался непосредственно в контактной зоне и, возможно, проходил в несколько этапов.

Сделался ли наш половчин христианином? Вполне вероятно, хотя и этого, как уже отмечалось, сказать точно мы не можем (если только не будем полностью полагаться на рассказ из второй редакции исторического труда В. Н. Татищева). Так или иначе, в степи, среди своих соплеменников, он не остался. Что для нас еще более существенно, кем бы ни был этот таинственный помощник (относительно его этнической принадлежности высказывались самые различные гипотезы — он объявлялся половцем, кавказским горцем, славянином, человеком смешанного происхождения, т. е. сыном половца и русской)[1], ни один источник и, соответственно, ни одно исследование не приписывают ему сколько-нибудь высокого социального статуса.

Напротив, отсутствие каких бы то ни было упоминаний о родне, ближайшей генеалогии и тем более знатности Лавра контрастирует с характеристиками других половцев, которые окружают Игоря и его брата в плену: в летописи подчеркивается, например, родовитость стражей, приставленных к русскому князю, более того, здесь отмечаются даже различия в степени этой родовитости [ПСРЛ, II: 649], не говоря уже о том, что источник фиксирует отчество князя, который захватил Игорева брата в плен. Фиксация эта, по-видимому, призвана

[1] Обзор различных точек зрения на этот предмет с указанием литературы см. в: [Творогов 1995: 344–346].

продемонстрировать, что речь идет о сыне одного из могущественных половецких вождей, не раз упоминавшегося в текстах.

Лавр же, как для летописца, так и для столь хорошо знакомого с половецкой элитой Игоря, был человеком прежде совершенно не известным, а потому поначалу и не вызывающим доверия. Он мог быть свободным или невольником, или занимать какое-то сложное промежуточное положение, но никак не князем или другим сколько-нибудь знатным лицом, обладавшим властными привилегиями в своей среде.

Допущение, что подобный человек в принципе мог креститься, бежать на Русь или совершать другие сходные действия, в сущности, имеет довольно мало отношения к проблеме христианизации половецкой элиты и ее взаимодействия с русскими князьями. Практически не вызывает сомнений, что на границе русско-половецкой культурной традиции существовала некоторая ограниченная прослойка лиц — торговцев, пленников, рабов и их ближайших потомков, приемных или родившихся от смешанных союзов детей, а также людей, исторгнутых из собственного социума или предпочетших добровольно с ним расстаться, и т. п. Они могли служить своеобразными медиаторами между Русью и Степью, перемещаться туда и обратно, соблюдая в той или иной степени обычаи тех мест, где они оказывались, а при определенных обстоятельствах — переменять веру. Как показывает случай с Лавром / Овлуром, их имена становятся объектом ассимилирующей трансформации, нейтрализующей или, во всяком случае, скрадывающей различие между половцем и не-половцем, христианином и язычником.

Подвергались ли такой нейтрализующей трансформации имена половецких князей? Иными словами, не были ли их христианские антропонимы в летописи результатом уподобления неких автохтонных имен более привычным для русской среды календарным?

Как кажется, против простой фонетической трансформации свидетельствует относительная малочисленность русских именований по сравнению с общим массивом половецких имен, встречающихся в источниках. Это соотношение особенно наглядно проступает в различных списках плененных половцев, где в довольно длинном ряду чужеродных для Руси имен появляется лишь одно (много — два) имени русских. Если бы своеобразная тенденция к русификации половецких княжеских имен существовала, то непонятно, почему она затрагивала столь малое число ономастических единиц и притом фонетически друг с другом ни в чем не сходных.

Мы знаем очень редкие примеры, когда подобная русифицирующая трансформация половецких княжеских имен (по крайней мере, отдельных их элементов) рождается явно не из узуса, а под рукой переписчика. По-видимому, это происходит в тех случаях, когда показания протографа для него оказываются особенно темными. Такая русификация имеет место в «Повести временных лет» по Ипатьевскому списку, где перечень убитых в бою половецких князей на одном отрезке заметно отличается от соответствующего перечня в списке летописи Лаврентьевской:

Лаврентьевская летопись	**Ипатьевская летопись**
…и оубиша ту в полку	…и въбиша ту в полку
кнѧзии . к҃ . Оурусобу . Кчиꙗ .	кнѧзии . к҃ . Оурусобу . Кочиꙗ .
Аръсланапуки . Танопу .	Ꙗрославопу . Китанопу .
Кумана . Асупа . Куртка .	Кунама . Асупа Курътыка .
Ченегрепу . Сурьбарѧ . и прочаꙗ	Ченегрена . Сурьбарь .
кнѧзии и҃х . а Белдюзѧ ꙗша	и прочаꙗ кнѧзѧ ихъ . а Вельдуза
[ПСРЛ, I: 279]	ꙗша [ПСРЛ, II: 254–255]

Нетрудно убедиться, что в Ипатьевской летописи в имени половца, с передачей которого составители обоих памятников испытывают заметные трудности, узнается фрагмент русского княжеского имени *Ярослав* («…Ꙗрославопу…»)[1]. Очевидно, что один из переписчиков или сводчиков заменил нечто решительно неудобопонятное на нечто, содержащее привычный для летописной антропонимики элемент[2]. Однако даже такие казусы, возникающие на уровне воспроизведения письменного текста, весьма редки. В подавляющем большинстве случаев, когда между двумя летописями или в пределах одного свода наблюдаются разночтения в имени того или иного половецкого правителя[1], ни один из вариантов не является, так сказать, «русифицирующим». Древнерусские хронисты стремятся, по мере сил, к точной передаче автохтонных имен половецкой знати[2], а не к тому, чтобы растворить их среди более знакомых и привычных для Руси имен.

Вполне вероятно, что здесь проходила своеобразная ономастическая граница, отделяющая в древнерусской традиции половецких властителей от незнатных кочевников: имя половецкого невольника, изгоя, перебежчика или мелкого посредника можно было для удобства перекроить на привычный лад, тогда как имя князя надлежало запомнить и сохранить таким, какое оно есть. В родовом мире право жить своим родом на своих территориях, а тем более — право на власть на

[1] Практика трансформации имени иноземного правителя, когда один из элементов, входящих в его двусоставный антропоним, совпадает с привычной для местной традиции основой, не такая уж редкость в средневековом мире. Такое уподобление «чужого» «своему» могло производиться как на уровне повседневного узуса, так и на уровне копирования рукописи. Славянские имена с основой *-слав*, например, могут последовательно передаваться в скандинавских источниках при помощи основы *-leifr / láfr* (*Ярослав* > Jarizleifr; *Болеслав* > Búrizlafr). Основы *-слав* и *leifr / láfr* не связаны друг с другом ни этимологически, ни семантически, но относительно сходны по звучанию. При этом основа *-leifr / láfr* довольно частотна в собственно скандинавском ономастиконе.

[2] Любопытно, что в Хлебниковском и Погодинском списках «Повести временных лет» с таким же элементом *Яр-* последовательно передается и скандинавское по происхождению имя Рогнеды, жены Владимира, крестителя Руси, ср.: «…рѣць Ярогнѣдину…», «…престависа Ярогнѣда…» [ПСРЛ, II: 64 (прим. 28, 32, 36), 67 (прим. 20), 114 (прим. 45)]. В более ранних списках она именуется с помощью формы *Рогнѣдь*, более близкой к скандинавскому прототипу (Ragnheiðr) и манифестирующей связь ее имени с именованием ее отца *Рогъволодъ* (< Ragnvaldr, Rögnvaldr). Для составителей же списков позднейших эта связь, по-видимому, была непрозрачной, зато с помощью трансформации ставшего им уже непривычным имени они, возможно, актуализируют родовую связь Рогнеды с ее сыном, Ярославом Мудрым.

[1] Одно из таких разночтений позволяет заподозрить переписчика в попытке внести некоторую негативную смысловую составляющую в именование язычника-половца. Речь идет о чтении «…Половецького кнѧзѧ Козла Сотановича…», которое фигурирует в одном списке Ипатьевской летописи [ПСРЛ, II: 623]. В других списках мы находим на этом месте «Възла Сътоновича» или «Когла». Довольно трудно сказать наверняка, двигало ли на самом деле одним из переписчиков намерение вложить в это антропонимическое сочетание некий дополнительный смысл, или же он просто передавал доступными ему средствами трудное половецкое имя, но даже если первое допущение верно, очевидно, что такого рода семантизация происходит лишь на уровне одного из вариантов воспроизведения текста, и при этом переписчик не наделяет половца никаким христианским или двусоставным русским именованием.

[2] Разумеется, графическое отображение иноязычных имен практически неизбежно ведет к их изменению, как регулярному, так и окказиональному, которое иной раз затрудняет идентификацию первоначальной формы антропонима и очень часто препятствует надежному отождествлению нескольких его вариантов. Имена кочевников в русских летописях не составляют в этом отношении исключения. Мы говорим лишь об отсутствии такой ассимилирующей трансформации, когда чужие единицы антропонимикона регулярно уподобляются своим.

этих территориях и в этом роду, знатность как таковая подразумевает и право на неприкосновенность собственного имени.

Как уже говорилось, русские книжники (по-видимому, как и их аудитория) могли весьма охотно снабжать чуждые имена половецкой элиты собственно славянскими патронимическими формантами. Не исключено, что они проявляли тем самым подспудную уверенность в том, что отношения родства и кровной преемственности повсюду устроены более или менее симметрично. Однако заполнять ячейки этой актуальной для них генеалогической матрицы следовало подлинными, аутентично чужеродными именами. Только таким образом могла быть обеспечена, в частности, правильность в области матримониальных расчетов, учета мирных договоров, их нарушений и прочих распространяющихся на несколько поколений обязательств, условий и претензий.

Не могло ли все же новое (быть может, дополнительное) имя даваться на Руси представителям половецких княжеских родов не путем адаптирующей трансформации, но в силу причин более глубинных, благодаря стремлению «приручить» этих кочевников, включить их в собственный жизненный уклад? Ономастические манипуляции подобного типа нередко производятся, например, в ситуации, когда дети знатных чужеземцев оказываются своеобразными гостями, пленниками и/или заложниками при дворе того или иного правителя и таким образом на время выключаются из жизни собственного рода.

Практика обмена заложниками существовала между Русью и половцами, по крайней мере, с конца XI в. Так, с русской стороны «в талях» у Китана побывал в свое время сын Владимира Мономаха, Святослав, и примерно в ту же пору у Мономахова двоюродного брата Олега Святославича на правах заложника или гостя жил сын половецкого князя Итларя [ПСРЛ, I: 227–229; II; 217–219][1].

Хорошо известно, что обычай отдавать княжеских детей или детей знати в заложники сам по себе появился на Руси много раньше, чем произошло ее первое знакомство с половцами, и никуда не исчезал на протяжении всего интересующего нас периода. В качестве стороны контрагента вовсе необязательно выступали кочевники или иные некрещеные народы. Подобные гарантии могли быть необходимы, напри-

[1] Как мы знаем из летописи, причиной одного из значительных конфликтов Олега с кузенами послужил отказ умертвить или выдать этого половецкого княжича своим двоюродным братьям, только что убившим его отца.

мер, совокупности киевлян и берендеев[1], они нередко вступали в действие и при переговорах князя с новгородцами[2]. В летописи, однако, не фиксируется случаев, чтобы эта древняя практика на Руси каким-то образом запечатлевалась в появлении инокультурных имен или хотя бы в присвоении заложникам каких-либо пришедших из чуждой семейной традиции именований. Так, половецкий княжич, ради которого Олег Святославич в очередной раз поссорился со своими двоюродными братьями, именуется с помощью патронима *Итларевич*, а отнюдь не каким-то славянским или христианским именем[3].

Отсутствие данных о переименовании половецких заложников все же подталкивает к выводу, что общий контекст половецко-русских отношений не подразумевал такой степени приобщения «талей» к родовой или семейной традиции русской князей, чтобы их наделяли династическими именами. Речь идет, скорее всего, о ситуации, когда статус заложника предполагает сохранение перманентной дистанции между личностью чужака и принимающей стороной: он не должен был растворяться в той среде, в которой оказался волею обстоятельств, но, напротив, сохранял практическую и символическую общность с тем миром, из которого был взят. В такой перспективе и крещение, и присвоение чуждого династического имени скорее могли рассматриваться как нежелательные для обеих сторон действия[4].

Возможность присвоения новых имен появляется, вероятнее всего, на следующем этапе сближения противостоящих родов, принадлежавших к разным традициям. Чаще всего она сочетается со стремлением заключить родственный союз. Иными словами, в междинастическом

[1] «…и Рюрикъ Ростиславль . бѧше поѧлъ оу С҃ослава Всеволода . сн҃а его . оувѣрѧѧ Китѧны . и Берендѣѣ . бѧху бо . не вѣрующе за свое съгрѣшение» [ПСРЛ, II: 506].

[2] «Того же лѣ҃т . пустиша Новгородци . Гюргевича ѿ себе . а ко Всеволоду пустиша дѣти своѣ в тали . рекуще пусти к на҃м С҃ослаѧва . и посла к ни҃м С҃ослава кнѧжитъ» [ПСРЛ, I: 308]. Для Новгорода известны и другие случаи оставления в заложниках отпрысков знатных родов.

[3] «…а се оу тебе есть Ї҆тларевичь . любо оубии любо даи нама . то есть ворогъ нама и Русьскои землѣ» [ПСРЛ, II: 219].

[4] Как кажется, мы можем с достаточной долей уверенности утверждать, что Итларевич, живя у Олега Святославича, крещения не принимал; в противном случае, прямое требование его убийства со стороны Мономаха и Святополка, вероятно, носило бы в летописи иную риторическую окраску.

взаимодействии живущий при дворе молодой представитель чужого правящего рода может в определенной степени совмещать статус заложника и потенциального жениха одной из наследниц местной элиты[1]. Новое, дополнительное имя в такой ситуации оказывается своеобразным компромиссом между основной тенденцией к сохранению родовой преемственности и желанием так или иначе манифестировать планируемые или только что установившиеся семейные связи. Существенно, однако, что в русско-половецких отношениях этот путь был полностью закрыт: брак между урожденной Рюриковной и обретающимся при дворе ее отца знатным половцем оставался, как нами отмечалось выше, делом совершенно невозможным[2].

Помимо всего прочего, менее почетные пути получения имени в чужой среде, как кажется, неизбежно влекли бы за собой избавление от него вместе с освобождением от заложничества или плена. Трудно представить, что наследник власти, вернувшись в свой мир и обретя подобающие ему по праву рождения властные полномочия, сохранял бы такое приобретенное в неволе ономастическое тавро. В этом отношении чрезвычайно важно определить сферу применения интересующих нас русских имен половецких князей. Если бы мы обнаружили их только в древнерусских текстах, всегда оставалось бы подозрение, что самое поле функционирования этих имен Русью и ограничивалось.

Отсутствие собственно половецких письменных памятников, естественным образом, переводит эту проблему в разряд трудноразрешимых. К счастью, существуют инокультурные данные, позволяющие заключить, что русскими именами половцев пользовались не одни только русские книжники и их соотечественники. Известен случай, когда вполне конкретный обладатель подобного имени из числа могущественнейших половецких князей под ним же фигурирует и в китайском источнике, повествующем о событиях татаро-монгольского

[1] Анна Комнина подробно описывает многочисленные перипетии такого жениха-заложника, жившего при дворе ее отца, императора Алексея. Подрастающему мальчику прочили в жены то одну, то другую родственницу императора, но при этом тщательнейшим образом пытались не допустить, чтобы он вернулся жить к отцу, властителю Трапезунда [Анна Комнина: 243–245, кн. VIII, гл. 9].

[2] Как уже упоминалось, известен лишь один пример, когда княжеская вдова становится женой половецкого князя, но в летописи этот казус представлен как побег княгини к половцам [ПСРЛ, II: 500–501]. Об этом эпизоде см. также далее, ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 319–322 наст. издания.

нашествия [Храпачевский 2009, 228][1]. Очевидно, что такого рода дистантное свидетельство хотя и не дает нам полной картины бытования заимствованного антропонима в половецкой среде, но недвусмысленно подтверждает его полифункциональность и высокий статус, коль скоро именно под ним степной правитель известен внешнему миру.

Таким образом, обсудив те модели внесемейного, внешнего наделения нетрадиционным именем, которые могли быть актуальны для русско-половецких контактов домонгольского времени, мы склоняемся к мысли, что половецким наследникам власти русские антропонимы давались, скорее всего, в недрах собственного рода, а не путем «приклеивания» со стороны.

К проблеме русско-половецкой родовой двуименности. — Как уже упоминалось ранее, даже родовое имя у человека могло быть не одно, в особенности если он, в силу своего происхождения, оказывался в точке пересечения двух разных родовых традиций, а его родственники и свойственники с обеих сторон были знатны и могущественны.

Известно, например, что у Рюриковичей в XI — начале XII вв. сложилась модель, когда в результате междинастических браков русский князь иногда оказывался обладателем еще одного (помимо переданного по мужской линии родового и крестильного) именования, пришедшего со стороны матери-иностранки. Характерно при этом, что если речь идет об именах германских (мы знаем, например, что Мстислав / Федор Владимирович обладал еще и третьим именем — *Харальд*, а один из сыновей Ярослава Мудрого именовался *Хольти Смелый*), то они употреблялись применительно к Рюриковичам только в иностранных источниках, и притом в таких, которые непосредственно связаны с германским миром, откуда эти дополнительные имена были получены. Для домашней же летописной традиции актуальны были местные родовые, а в некоторых случаях — крестильные имена правителей.

Иными словами, Мстислав Великий на Руси правил как *Мстислав*, тогда как имя *Харальд* (*Аральт*), унаследованное им от деда по матери, английского короля Харальда Годвинсона, оказывалось по преимуществу именем «для внешних сношений», средством его идентификации, как личной, так и семейной, в Западной Европе. При этом оба имени,

[1] Подробнее об этом см. далее, ч. III, гл. 2 (§ 1), с. 282–283 наст. издания.

Мстислав и *Харальд*, были родовыми в полном смысле этого слова. Более того, не исключено, что *Харальдом* этот русский князь мог именоваться и в повседневном обиходе той частью своих родственников и приближенных, которые были выходцами с европейского Запада или Севера: оно было привычным и престижным не только для его матери-англичанки, но и для жены, шведской принцессы. О том, что эта среда была антропонимически влиятельной при дворе русского князя, свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что некоторые из его дочерей получили скандинавские по происхождению имена — *Ингибьёрг* и *Рогнеда*. Однако в русские источники германское имя князя не проникло.

Нельзя ли по аналогии допустить, что у половецких князей, известных нам как *Роман* или *Юрий*, были и еще какие-то родовые имена, более традиционные для кочевников? Оговоримся сразу же, что никаких положительных свидетельств двуименности или многоименности у половцев, соприкасавшихся с Русью, в нашем распоряжении нет. Если же мы попытаемся установить, были ли у Рюриковичей имена и прозвища, ориентированные на их кочевых соседей и родственников, то и здесь — при всей развитости двойных и тройных именований в русской династии — мы сталкиваемся с большими трудностями.

Природа этих затруднений понятна: в «домашнем» летописании такие именования были бы, вероятнее всего, малоупотребительны, кочевники же не оставили письменных свидетельств, сообщающих об их взаимодействии с внешним миром, где подобного рода обозначения могли бы сохраниться. В результате мы располагаем лишь некоторой амальгамой поздних и/или не слишком ясных, а зачастую явно не особенно достоверных известий, из которых невозможно, по нашему мнению, составить какую-то общую картину именования русских правителей «степными» именами или прозвищами.

Характерны в этом отношении данные об именах князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Владимировича Долгорукого. Казалось бы, его происхождение делает гипотезу о существовании у него «половецкого» имени весьма вероятной. В самом деле, как уже упоминалось, Мономах женил своего сына Юрия на половчанке, дочери Аепы, внучке Осеня [ПСРЛ, I: 282–283]. По всей видимости, именно от этого брака и родился Андрей, который, подобно некоторым другим русским князьям, был, таким образом, наполовину половцем.

Свое первое имя *Андрей* этот князь получил в честь дяди по отцу, Андрея Владимировича Доброго, оно к тому времени уже совмещало

в себе функции династического и крестильного. Между Юрием и Андреем Добрым существовал договор, согласно которому тот из братьев, кто переживет другого, брал под опеку детей умершего. Именно этот дядя и потенциальный покровитель Боголюбского, Андрей Добрый, также был женат на половчанке, внучке Тугоркана [ПСРЛ, II: 285][1]. Иначе говоря, младшие сыновья Мономаха и их отпрыски (и Андрей Юрьевич в особенности) исходно были чрезвычайно тесно связаны с кочевым миром. Однако сведения о наличии у этого князя какого-либо другого имени, кроме *Андрей*, появляются лишь в очень поздних и ненадежных источниках.

Существует, в частности, известный фальсификат конца XVI в. (так называемая «Грамота Андрея Боголюбского Киево-Печерскому монастырю»), где имя *Китай* приводится в качестве мирского имени этого князя [Горчаков 1868: 19, прим. 1; Затилюк 2008: 215–235, с указанием дальнейшей литературы]. Именование *Китай* также было воспроизведено в Киевском Синопсисе Иннокентия Гизеля, составленном почти столетием позже, во второй половине XVII в., причем упоминание здесь мирского имени Андрея появляется именно в контексте пересказа вышеупомянутой грамоты [Синопсис 1798: 114; Гизель: 446], которая, таким образом, скорее всего и послужила источником этих сведений для автора Синопсиса. В дальнейшем данное именование перекочевывает в более поздние тексты и появляется на некоторых артефактах.

Антропоним *Китай* слишком странен и заметно выбивается из традиции русских княжеских имен, чтобы его изобретение могло добавить хоть какой-нибудь убедительности подделке XVI в. Легче, пожалуй, допустить, что авторы фальсификата употребили его потому, что им случалось видеть нечто подобное в предшествующих текстах. Что же это могли быть за тексты и кто мог быть обладателем загадочного имени *Китай*?

В русском летописании фигурируют половцы, носящие имя *Китан* и *Китанопа*, жившие на рубеже XI–XII столетий. Этимология этих антропонимов связывается с этнонимом, обозначавшим одно из племен монголов, «кидане»; такова же и этимология имени *Китай*[2]. Строго

[1] Ср. Рис. 4 на с. 366 наст. издания.

[2] См.: [Баскаков 1985: 73, 84; Фасмер, II: 240–241]; ср. также: [Zajączkowski 1949: 37–38; Peliot 1959: 216–229; Sinor 1995: 263–264, 266].

говоря, нельзя исключить возможности того, что сын Юрия Долгорукого и половчанки получил дополнительное половецкое имя, например, в честь Китанопы, погибшего в 1103 г., незадолго до женитьбы его родителей, или, что менее вероятно, в знак примирения с родом Китана, убитого при дворе его деда несколькими годами ранее. В летописях, однако, никаких сведений о таком имянаречении, как уже говорилось, не обнаруживается, прямой родственной связи между матерью Андрея и Китаном (или Китанопой) проследить мы не можем, да и самая форма имени *Китай* в древних источниках не зафиксирована.

С другой стороны, в памятниках, связанных с событиями конца XV — начала XVII вв., форма *Китай* встречается нередко. Ее обладателями бывают как татарские князья и мурзы, так и христиане: последние могут упоминаться в источниках исключительно под именем *Китай*, а могут обозначаться с помощью сочетания этого мирского и крестильного имен (ср. посол Василий Китай [ПСРЛ, XII: 157, под 1475 г.]) [Тупиков 1903: 236]. Весьма вероятно, таким образом, что составители фальсификата воспользовались представленной в близких им по времени «старинных» текстах моделью, допускающей, что один и тот же человек мог обладать именем *Китай* в качестве мирского, а именем *Андрей* в качестве крестильного.

Полагаться же на осведомленность составителей поддельной грамоты в источниках древних станет еще труднее, если мы обратим внимание на тот факт, что они допускают невольную или сознательную ошибку даже в таком, казалось бы, ясном вопросе, как ближайшая генеалогия Андрея Боголюбского. Он правильно назван в грамоте сыном Долгорукого и внуком Владимира Мономаха, однако его прадедом объявляется Изяслав, а вовсе не Всеволод Ярославич, как это было в действительности. Иными словами, эти поздние сведения о дополнительном имени русского князя нельзя проигнорировать полностью, но и невозможно на их основании сделать уверенный вывод, что Андрей Боголюбский действительно был обладателем антропонима *Китай*.

Если говорить о тех «кочевнических» прозвищах в русской княжеской среде, которые могут хоть каким-то образом ассоциироваться с половецким миром, то здесь, быть может, уместно вспомнить гипотезу В. Г. Васильевского относительно именования князя Ярослава Святополчича в венгерских хрониках [Васильевский 1930: 80–82]. В венгерском хроникальном своде XIV в., суммирующем более ранние венгерские историографические сочинения, рассказывается о князе Руси по имени *Безен* (dux Ruthenorum, nomine Bezen), приехавшем за помощью к венгерскому королю. *Безен*, вообще говоря, означает по-венгерски «печенег», и, исходя из этого, В. Г. Васильевский предположил, что составители хроники могли смешивать печенегов и половцев, а князя наградили таким именованием потому, что отец его, Святополк, был женат на половчанке, дочери Тугоркана [ПСРЛ, II: 216][1], т. е. в данном случае Безен = Половчин.

Такое обозначение по роду матери было бы вполне уместным, если бы Ярослав Святополчич был рожден в этом половецком браке. Однако как раз это утверждение представляется совершенно неверным, поскольку самый брак был заключен в 1094 г., а в 1099 г. Ярослав был уже достаточно взрослым, чтобы самостоятельно выполнять дипломатические поручения отца [Назаренко 2001: 571–573]. Кто в точности была его мать, первая жена или наложница Святополка Изяславича, мы не знаем, но высказывались, в частности, предположения, что она могла принадлежать к какому-либо роду Черных Клобуков [Гуркин 1999: 41–42]. Однако подобная атрибуция, хотя как-то и объясняя прозвание *Безен* из венгерских хроник, никакими источниками не подкреплена. Как бы то ни было, половецкий след отыскать в данном именовании достаточно трудно.

Вообще говоря, свидетельство «третьей стороны» (показания текстов, не принадлежащих ни русским, ни половцам) могли бы быть ценным источником сведений о половецких именованиях Рюриковичей или о русских именованиях половцев, но как раз в этих-то показаниях антропонимы зачастую подвергаются максимальному искажению и не поддаются ясной атрибуции и интерпретации. В качестве иллюстрации такой многоступенчатой неопределенности можно упомянуть, например, загадочное имя *Musuch*, которым в «Хронике» Альберика из Труа-Фонтен наделяется русский князь (regi Russie nomine Musuch), отец датской королевы Софии, жены Вальдемара Великого [MGH SS, XXIII: 834].

Возможно ли усмотреть в форме этого именования какие-либо тюркские ассоциации, сказать тем более затруднительно. Прежде всего, мы не знаем наверняка, кто именно из русских князей был отцом Софии и мужем ее матери Рикицы, хотя самая принадлежность этого человека к роду Рюриковичей уже не вызывает у исследователей сомнения. Очевидно также, что он обладал и другим, более традиционным для династии именем, которое запечатлено в древнескандинавских

[1] Ср. Рис. 4 на с. 366 наст. издания.

навских источниках как *Валад* (*Valað*) или *Валадар* (*Valaðarr*) [Fask.: 300; Knýtl.: 242; SmHD, I: 184–185]. Эти антропонимические формы могут отсылать к целому спектру русских княжеских имен (прежде всего — *Володарь*, менее вероятно — *Володимир* или *Всеволод*) [Литвина & Успенский 2006: 58]. Что касается именования *Musuch*, то О. Бальцер, например, склонен был усматривать в нем возможное отражение имени *Мстислав*. Впрочем, исследователь совершенно справедливо подчеркивал, что в таком случае перед нами еще одна из многочисленных ошибок Альберика в русско-польской генеалогии, а заодно отмечал, что степень искажения имени не позволяет говорить что-либо определенное о его первоначальной форме [Balzer 2005: 262–264].

Таким образом, источники не дают нам оснований утверждать, что результатом весьма тесных русско-половецких контактов стала развитая система русско-половецкой двуименности у какой-либо из взаимодействующих сторон. Соответственно, у нас нет и оснований исходить из того, что такие антропонимы, как *Роман* или *Глеб*, например, фигурировали у степных правителей в качестве вторых, дополнительных родовых именований. Аналогия с появлением скандинавских дополнительных имен у Рюриковичей продуктивна, вероятно, в другом отношении: она подкрепляет гипотезу о том, что и у половцев появление инокультурных имен в значительной степени могло быть связано с отношениями свойства́, возникающего с представителями чуждых кочевому миру родов.

Общие замечания. Итак, перед нами возникает весьма любопытная картина ономастических контактов русских и половецких правящих родов в конце XI — начале XIII вв.; мы можем увидеть, как выстраиваются границы между «своим» и «чужим» и по каким признакам «свое» и «чужое» может объединяться.

Русские книжники в изобилии фиксируют автохтонные имена половецких князей, отнюдь не стремясь при этом к их русификации.

Вместе с тем, они проявляют замечательную заинтересованность в передаче собственно половецкой генеалогии, оформляя эти данные о ближайшем родстве и свойстве́ кочевых соседей с помощью тех же славянских морфологических и лексических показателей, которыми они пользуются при описании соответствующих отношений своих соотечественников на Руси.

У отдельных же половецких князей мы видим русские календарные и некалендарные имена, совпадающие с династическими именованиями Рюриковичей.

Если говорить о конфессиональной составляющей этой картины, то, в первую очередь, обращает на себя внимание нетривиальное распределение отразившейся в источниках информации: обнаруживая христианские имена у некоторых представителей высшей половецкой знати, мы не находим ни одного упоминания о том, чтобы кто-либо из обладателей этих имен, их отцов и других ближайших родственников-мужчин принимал крещение. Более того, древнейшие летописные источники вовсе не содержат сообщений о крещении половецких вождей вплоть до начала татаро-монгольского нашествия.

Любопытно при этом, что христианские имена тех немногих половцев, о чьем обращении мы можем судить более или менее уверенно, — будь то половецкая жена русского князя, безвестный постриженик Киево-Печерского монастыря, автор благопожелательной надписи на церковной стене или могущественный половецкий князь, крестившийся накануне битвы на р. Калке, — в памятниках не зафиксированы.

Эта асимметрия конфессионально-ономастических данных демонстрирует всю сложность и многослойность показаний русских источников о контактах с половцами. Она же не дает нам право ограничиться общим утверждением, что половецкие князья, взаимодействовавшие с Русью в домонгольское время, принимали христианские имена, не принимая крещения, хотя именно такое положение дел представляется наиболее правдоподобным, исходим ли мы из летописных характеристик половецких вождей или из состава русского микроономастикона у половцев.

Следующим шагом нашего исследования станет, таким образом, анализ каждого конкретного факта появления русского имени у половецкого князя. Есть случаи, когда источники дают нам возможность проследить весьма зримую связь акта имянаречения с историей взаимоотношений двух совершенно определенных правящих семей, русской и половецкой, а попутно прояснить и самые модели ономастического переноса, актуальные для этих ситуаций. В других же эпизодах более ограниченный набор наших сведений позволяет говорить лишь о нескольких возможных путях проникновения того или иного антропонима в половецкую среду и сопоставлять степень вероятности этих возможностей.

Глава 2
Имена и их обладатели

§ 1: Георгий (Юрий)

(*Брак Кончаковны и Игоревича в контексте матримониальной практики Ольговичей. — Предыстория взаимоотношений двух сватов. — Наследники двух союзников. — Функции имени* ***Георгий*** (***Юрий***) *у Рюриковичей и половцев. — Имена как элемент внешней и внутренней семейно-политической стратегии Игоря и его братьев. — Русское имя половецкого князя за пределами Руси. — Общие замечания*)

Брак Кончаковны и Игоревича в контексте матримониальной практики Ольговичей. — При всем изобилии русско-половецких династических контактов конца XI–XII столетий в роду Рюриковичей существовала линия, в глазах летописцев связанная с половцами более всех остальных. Речь идет о князьях Ольговичах — детях, внуках и правнуках Олега Святославича, сына Святослава Ярославича. Они не только регулярно обновляли свой родственный союз с кочевниками, но весьма охотно и умело пользовались военно-политическими преимуществами, от этого союза проистекающими[1]. С этой точки зрения, весьма выразителен, например, упрек, адресованный одним Мономашичем другому: «…єси побѣглъ Ѡлговичемь . и Половцемь добро творѧ» [ПСРЛ, II: 624], как бы уравнивающий интересы кочевников и потомков Олега Святославича[2].

[1] Об отношениях Ольговичей с половцами ср., в частности: [Ляскоронский 1913].

[2] Не так легко, впрочем, формализовать те критерии, по которым Ольговичи оказываются ближе степнякам, чем остальные Рюриковичи. Если в качестве индикатора интенсивности русско-половецких контактов избрать, например, число известных нам браков с половчанками, то окажется, что Мономашичи не только не уступают здесь Ольговичам, но даже и превосходят их (ср. выше, ч. III, гл. 1, с. 217–218 наст. издания). Существенно, однако, что браки Ольговичей в XII и начале XIII вв. несколько хуже отражены в сохранившихся источниках, так что летописец мог быть осведомлен о большем их числе, нежели то, с которым имеет дело сегодняшний исследователь. Кроме того, если брать в расчет всю совокупность потомков Святослава Ярославича (к числу которых принадлежат и потомки Олега), то здесь можно указать нескольких князей, чьи матримониальные союзы с половцами не названы в летописи напрямую, но с большой долей вероятности реконструируются по косвенным данным (ср. Рис. 5 на с. 370 наст. издания). Соответственно, общее число половецких браков в линии всех потомков Святослава Ярославича может влиять и на картину близости Ольговичей (едва ли не главных представителей этой ветви во второй половине XII в.) с кочевниками. И тем не менее, едва ли можно утверждать, что князья, сидевшие в черниговских и рязанских землях, обладали сколько-нибудь заметным приоритетом в отношении браков с половцами. Не менее актуальны эти союзы и для других семей Рюриковичей.

Одним из самых знаменитых и хорошо освещенных в источниках русско-половецких матримониальных союзов этой ветви Рюриковичей был, без сомнения, брак князя Владимира, сына Игоря Новгород-Северского, с дочерью Кончака. Весьма существенно, что в этом случае летописи предоставляют в наше распоряжение довольно протяженную предысторию взаимодействия двух будущих сватов (отцов жениха и невесты), с другой стороны, у нас есть сведения и о жизненном пути ближайших потомков этих лиц. В перспективе имянаречения у половцев нас интересуют взаимоотношения рода Игоря и Кончака в ближайшие десятилетия до и после женитьбы их детей, которая, согласно летописи, состоялась в 1188 г.:

> Тогда же приде Володимѣрь . ис Половѣць . с Коньчаковною . и створи свадбоу Игорь сн҃ви своемоу . и вѣнча его и с дѣтѧтемь [ПСРЛ, II: 659][1].

Необходимо отметить, что брак юного Владимира Игоревича (он появился на свет в 1170 г. [ПСРЛ, II: 562]) играл в династической жизни несколько иную роль, нежели, например, брак его прадеда, Олега Святославича. Тот в свое время взял в жены половчанку, будучи уже зрелым человеком, самостоятельно боровшимся за свои княжеские права, и подобный матримониальный союз обеспечивал немедленные военные, да и политические преимущества лично Олегу. Что же касается женитьбы молодого княжича, особенно во второй половине XII в., то речь здесь скорее шла об упрочении неких политических договоренностей, заключенных между двумя отцами, родителями же-

[1] Можно предположить, что в половецкой перспективе этот брак состоялся ранее, пока Владимир был в плену, поскольку у пары уже успел родиться ребенок, хотя в принципе возможна и такая точка зрения, согласно которой ремарка летописца «и с дѣтѧтемь» означает лишь, что ребенок появился на свет непосредственно в год венчания (ср. выше ч. I, гл. 3, с. 44–45 наст. издания). Для нас же более всего существенно, что Владимир не венчался к началу похода и не был обвенчан в период пребывания в половецком плену.

ниха и невесты. На первый план, таким образом, выступают отношения *сватьства*, возникающие между старшими родичами, причем, как свидетельствуют данные о внутридинастических браках Рюриковичей, эти отношения — весьма тесные и ко многому обязывающие — могли вступать в силу не только с момента свадьбы как таковой, но и заметно раньше, с того момента, когда было достигнуто самое соглашение об этой свадьбе.

В подобной перспективе обращает на себя внимание, прежде всего, тот факт, что Игорь, отец Владимира, именуется *сватом* Кончака уже в 1185 г. [ПСРЛ, II: 644]. Более того, именно эти отношения заставляют Кончака поручиться за русского князя, когда тот был ранен и пленен (ср. выше ч. I, гл. 3, с. 44–45 наст. издания). Самое пребывание Игоря в плену оказывается не слишком жестоким и обременительным, и отчасти именно эти почетные условия создают, по-видимому, своего рода моральные препятствия для бегства[1]. Этот побег не помешал, в свою очередь, Владимиру Игоревичу два года спустя вернуться от кочевников к отцу с женой-половчанкой [ПСРЛ, II: 659].

Иначе говоря, задолго до венчания молодых личное и дипломатическое взаимодействие двух сватов служило своеобразной, хотя и не абсолютно надежной гарантией того неустойчивого равновесия в отношениях новгород-северских Рюриковичей и возглавляемых Кончаком половцев, которое, нарушаясь иногда военными действиями, до поры до времени довольно быстро восстанавливалось. Очевидно при этом, что к началу сколь знаменитого, столь и несчастливого для русских князей военного похода 1185 г. мы застаем союзнические отношения Игоря Святославича и половецкого правителя в уже готовом, сложившемся виде. Попробуем, продвигаясь вглубь по хронологии, проследить, когда и при каких обстоятельствах они могли сформироваться.

Предыстория взаимоотношений двух сватов. — Уже в 1180 г., непосредственно после того, как Игорь по смерти своего

[1] Ср.: «Половци же . аки стъıдащеса воєвъдъства єго . и не творахоуть ємоу . но приставиша к немоу сторожовъ . ѥі . ѿ сновъ своихъ . а господичичевъ пать . то тѣхъ всихъ . к . но волю ємоу даıахоуть . гдѣ хочеть . тоу ѣздашеть . и ıастрабомъ ловашеть . а свои слоугъ съ . е . и съ . ѕ . с нимь ѣздашеть . сторожевѣ же тѣ . слоушахоуть єго . и чьстахоуть єго . и гдѣ послашеть кого . бесъ пра . творахоуть повелѣное» [ПСРЛ, II: 649].

брата Олега занял новгород-северский стол, мы находим его в весьма тесном и близком контакте с Кончаком. Степень этой близости, судя по всему, была редкой (хотя, возможно, и не уникальной) для русского князя. Так, на помощь своему кузену Святославу Игорь приходит с половцами, Кончаком и Боняком, что само по себе не является чем-то необычным для княжеской междоусобицы. Существенно, однако, что не кто иные, как половцы просят затем Святослава, чтобы тот отпустил Игоря для совместных действий против Рюрика Ростиславича, «…ать лажеть с ними по Лобьскоу» [ПСРЛ, II: 621]. Более того, когда воеводам Рюрика все же удалось разгромить эту коалицию, то Игорь с Кончаком бегут с поля битвы в одной ладье на Городец к Чернигову. При этом в летописи отмечается, что брат Кончака был убит в сражении, а двое его сыновей попали в плен [ПСРЛ, II: 623].

Подобное выделение половцами Игоря, не говоря уже о той взаимопомощи, которую Кончак и русский князь оказывают друг другу в минуту опасности (судя по всему, Игорь на время укрывает своего разгромленного союзника в пределах Черниговского княжества, подобно тому как Кончак поручится за него 5 лет спустя в половецком плену), недвусмысленно свидетельствуют о том, что и к 1180 г. прочные личные контакты двух правителей, русского и половецкого, были уже существующим фактом.

Действительно, Игорю приходилось сталкиваться с Кончаком и прежде, еще при жизни старшего брата, Олега Святославича. Вплоть до 70-х гг. Олегу случалось осуществлять функции защитника русских земель от кочевников, причем речь могла идти не только о тех волостях, которые принадлежали ему самому, но и о владениях других русских князей, которые его поддерживали [ПСРЛ, II: 532]. Позднее в этой же роли пробует себя Игорь, который был намного моложе своего брата и в целом действовал под его началом.

В 1171 г. этот 12-летний князь, в относительно небольшой битве на р. Ворскле недалеко от Переяславля одерживает победу над Кончаком [ПСРЛ, II: 568–569]. Хотя этот военный успех не был столь масштабен (летописец отмечает, что у половцев «бѣ рать мала»), Игорю удается зарекомендовать себя в глазах старших князей как полководца, удачно обходящегося с Кобяком и Кончаком, новыми грозными противниками Руси. Во всяком случае, именно так, по-видимому, обстоит дело в родовой перспективе Рюриковичей. Замечательно, однако, что в данном эпизоде она пересекается с перспективой собствен-

но половецкой: внутрисемейная тактика русских князей описывается с помощью заимствованной терминологии и отливается в формы заимствованного обычая.

Немедленно после битвы, приехав праздновать вместе с родичами день свв. Бориса и Глеба, Игорь преподносит Роману, Рюрику и Мстиславу Ростиславичам, а также княжеским мужам часть военной добычи. Именно применительно к этим подаркам Игоря в летописном тексте впервые используется термин *саигат*, впоследствии еще не раз употребляющийся для характеристики даров из военных трофеев, которые младший правитель предназначает правителям старшим. Более того, самая практика подобного одаривания также описывается в летописи впервые, прежде же связь между поднесением подарка и захватом военных трофеев никак не акцентировалась.

Семантика и этимология термина *саигат* несколько раз привлекала внимание исследователей, а порой и побуждала их к полемике. Одна из первых и весьма корректных интерпретаций его смысла была предложена еще в середине XIX столетия; на этот термин, как известно, обращал внимание Н. Г. Чернышевский. В материалах к словарю И. И. Срезневского значение данного слова не совсем точно определено как «военная добыча, трофеи» [Срезневский, III: 244]. Этим определением воспользовался в своем словаре М. Фасмер [Фасмер, III: 545]. Однако на основании ряда работ [Мелиоранский 1905: 125–127; Zajączkowski 1949: 20–22; Попов 1949: 114; Попов 1969: 126–127; Попов 1973: 39; Менгес 1979: 134–135] оно было уточнено. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» эти поправки были учтены, и значение слова *саигат* представлено здесь уже как «дар, подарок из военной добычи» [СлРЯ, XXIII: 21][1].

[1] Последняя по времени заметка о слове *саигат* (совершенно игнорирующая, впрочем, работы предшественников) принадлежит П. П. Толочко. Значение слова описывается здесь приблизительно так же, как в соответствующем выпуске «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (2002 г.) и в работах, на которые данный словарь опирается: «Может, точнее сказать, что *сайгат* — это военная добыча, превращенная в приз победителем или в дар суверенам. <…> По существу, термин *сайгат* равнозначен древнерусскому слову "дар" или "подарок", но только в том случае, если он подносился за счет военной добычи»; при этом описание сопровождается появлением довольно неожиданных лингвистических терминов, таких, например, как «татарский (монгольский) язык» [Толочко 2007: 358].

С этимологической точки зрения, данный термин, по всей видимости, можно считать достаточно ранним монгольским заимствованием в тюркские языки. Очевидно при этом, что каково бы ни было изначальное происхождение слова *саигат*, на Русь во второй половине XII в. оно попадает из тюркской языковой среды, вероятнее всего — половецкой (ср.: [Мелиоранский 1905: 125]). В работе П. М. Мелиоранского и ряде других исследований приводится довольно обширный этнографический материал, демонстрирующий специфику бытования данного обычая у кочевых народов, подразумевающую поднесение соответствующих даров сюзерену, правителю области, в непосредственной близости с которой осуществлялись военные действия, а также кровным родственникам.

Все эти оттенки смысла чрезвычайно интересны с точки зрения бытования слова на русской почве, однако невозможно определить точное значение термина в традиции-акцепторе, основываясь исключительно на его значении в традиции-доноре. Большую роль, разумеется, здесь играет собственно русский материал. Для понимания семантики слова *саигат* в русском летописном узусе весьма существенно, в частности, то сходство ситуативных контекстов, которое можно наблюдать в рассказах о саигате Игоря и саигате Ростислава Рюриковича, представителя Мономаховой ветви. И те, и другие подарки подносятся после столкновения с половцами. Игорь (чей отец и дядья к тому времени уже скончались) адресует эти дары шуринам своего старшего брата Олега[1]. Молодой Ростислав, в свою очередь, одаривает отца, родного дядю, а затем — могущественного тестя, Всеволода Большое Гнездо [ПСРЛ, II: 678–679].

Таким образом, в круг получателей части военной добычи могут входить старшие родственники и старшие свойственники князя. Любопытно, что в обоих случаях летописец специально отмечает, что поднесение саигата приурочено к большим церковным праздникам (дню свв. Бориса и Глеба и Рождеству, соответственно).

В дальнейшем этот термин может выходить за рамки описаний русско-половецких столкновений, что демонстрирует, на наш взгляд, его относительную укорененность в летописной традиции, своего рода утрату принадлежности к сугубо «тюркскому» контексту, закрепление в древнерусском языке (по крайней мере, в определенном его ре-

[1] Об их взаимоотношениях см. ниже в этой главе, с. 279–280.

гистре). В Галицко-Волынской летописи, коль скоро речь идет о событиях XIII в., он используется и в рассказах о столкновениях с Литвой; при этом его семантика в целом остается прежней: адресатами саигата остаются близкие родственники и свойственники князя-триумфатора, причем в их числе могут оказаться как члены рода Рюриковичей, так и иностранные династы, связанные с русскими князьями по браку. Так, князь Василько Романович после победы, одержанной над литовцами, отправляет саигат своему шурину, польскому князю Болеславу Стыдливому [ПСРЛ, II: 857].

Дело, однако, явно не сводится в чистом виде к добровольным дарам: родовое и властное старшинство, по-видимому, дает некое право на подношение, обозначаемое интересующим нас термином. Характерно, что в середине XIII в. в эту систему включается и татарский воевода Бурундай, которому русский князь волей-неволей вынужден везти саигат в качестве одной из форм демонстрации своей лояльности [ПСРЛ, II: 847].

Можно ли говорить о каких-либо еще коннотациях слова *саигат*, вытекающих из его употребления на русской почве? В целом «Словарь русского языка XI–XVII вв.» характеризует его достаточно полно и точно[1]. Быть может, в перспективе описания культурно-этнографической функции этого слова следует упомянуть и о том, что в большинстве летописных примеров (исключая, разумеется, эпизод с Бурундаем) поднесение саигата сопровождается ответными дарами принимающей саигат стороны. Иначе говоря, речь идет не всегда и не только о дани, но о сложном церемониале, знаменующем победу и подтверждающем определенные иерархические связи, — церемониале, сопровождающемся, как и многие иные ритуалы подобного типа, обменом дарами.

Таким образом, у нас есть все основания полагать, что речь идет не только о заимствовании слова, но и о заимствовании некой формализованной процедуры или, говоря корректнее, о сложившемся сходстве между половецким и русским церемониалом, оформляющим итоги успешных военных действий. Здесь мы можем воочию наблюдать,

[1] Авторы «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» по непонятным причинам сочли нужным вернуться в трактовке этого слова к толкованию И. И. Срезневского [СДРЯ, X: 554–555]. Как нам кажется, это лишний раз демонстрирует, что обсуждение семантики слова *саигат* нуждается в продолжении.

как более чем столетняя череда вооруженных конфликтов неизбежно оказывается, помимо всего прочего, мощным двигателем культурного взаимодействия: во взаимоотношениях Руси и половцев дело не ограничивается универсальной практикой обмена дарами при заключении мира между враждующими сторонами, но одна традиция влияет на другую и в том, что, казалось бы, принадлежит сфере внутренних иерархических и союзнических отношений. Для нас чрезвычайно существенно, разумеется, что Игорь Святославич оказался первым, о чьей вовлеченности в эту заимствованную церемонию мы знаем наверняка.

За этой победой над половецкими князьями, судя по всему, последовало заключение мира: в этом отношении характерно, что после конфликта 1171 г. Кончак на несколько лет исчезает со страниц летописей, не фигурируя как участник половецких набегов. Что же касается Игоря, то он, как уже отмечалось исследователями, долгие годы не принимал участия ни в одном общерусском походе против половцев, но при этом, подстраиваясь к ним по времени, совершал набеги в степь на владения половецких кланов, по-видимому, не связанных с Кончаком, воюя, например, с Обовлы Костуковичем [Гуркин 1999а: 49].

Все это в совокупности позволяет заключить, что достигнутые в 1171 г. договоренности между русскими князьями и Кончаком были некоторое время вполне эффективны. Скорее всего, этот мирный договор и положил начало своеобразному личному союзу Игоря и Кончака, — союзу, результаты которого мы наблюдаем в 1180, 1185 и 1188 гг.

Строго говоря, они могли сталкиваться и прежде: впервые Кончак упоминается в Ипатьевском своде среди тех «диких половцев», которые были на стороне Изяслава Давыдовича во время его столкновения с Мстиславом Изяславичем в 1170 г. [ПСРЛ, II: 548, под 6680 г.]. «Концакъ с родомъ своимъ» сражались вместе с теми, кого Ольговичи прислали Изяславу на помощь, из чего можно заключить, что до столкновения на р. Ворскле отношения между черниговской ветвью и кланом Кончака носили не только враждебный, но и союзнический характер.

Мы полагаем, что длительный период «симпатии» между Кончаком и Игорем отчасти отрефлектирован в летописи: именно в эту пору, по-видимому, укрепляется представление о некоей общности интересов половцев и Ольговичей. Характерно, например, что в статье Ипатьевской летописи под 1179 г., рассказывающей о первом после большого перерыва появлении Кончака на Руси, когда он воюет близь Переяславля (но не в черниговских землях!), мы находим не только

гневное обличение «безбожных половцев» и в особенности их предводителя Кончака, но и осуждение тех, «кто любить врагъ Бꙗ» [ПСРЛ, II: 612]. Если первая часть этой инвективы относительно стандартна и естественна в устах летописца, то вторая ее часть, упоминающая неких куманофилов в собственно христианской среде, весьма неожиданна и практически уникальна. Подобная уникальность заставляет видеть в ней нечто вполне конкретное и адресное: надо полагать, летописец имеет в виду, прежде всего, тех русских князей (возможно, что и их окружение), чьи отношения с некрещеными половцами не сводились к кратковременному военному союзу, но подразумевали близость куда более тесную и дружескую.

Наследники двух союзников. — Итак, мы исходим из предположения, что около 1171 г. между двумя молодыми князьями (а Игорь и Кончак, судя по времени их упоминания в летописи, принадлежали к одному поколению) сложились личные союзнические отношения, которые оказались весьма долгосрочными. Легко представить, что русский и половецкий князья могли в эту пору сделаться чем-то вроде побратимов, однако наши сведения об институте побратимства на Руси в XII в., напомним, крайне скудны. Приблизительно тогда же у каждого из них появляются на свет дети. Точные даты рождения отпрысков Кончака нам не известны, но мы знаем, что к 1180 г. у него было, по крайней мере, двое сыновей, не вполне маленьких, но не слишком, по-видимому, взрослых[1]. Дочка половецкого правителя, скорее всего, должна была родиться не позже первой половины 70-х гг., так как к 1188 г. она уже успела сделаться матерью [ПСРЛ, II: 659][2]. Ее будущий муж, Владимир Игоревич, появился на свет в 1170 г., а относительно скоро за ним последовала целая череда его братьев.

Таким образом, для закрепления своего союза с помощью наиболее традиционного для династического обихода средства — договоренности о будущем браке детей, Игорь и Кончак располагали достаточным числом отсроченных возможностей. Тот факт, что женихом половчанки сделался именно старший Игоревич, свидетельствует, на наш взгляд, как о важности контактов с половецким миром, так и об относительно раннем заключении самого соглашения, хотя когда именно оно было достигнуто, сказать трудно. Так или иначе, незамедлительно доводить до конца эти матримониальные планы не было ни возможности, ни необходимости: сын Игоря только к 1184/1185 г. достигает обычного для русских князей брачного возраста, а положение самого Игоря, пока был жив его старший брат Олег, оставалось слишком скромным, чтобы ему нужно было бы устраивать для малолетнего наследника формальный междинастический брак.

В перспективе русско-половецких отношений из всего потомства Кончака более всего интересны двое: только что упоминавшаяся невеста Владимира Игоревича и сын, которому впоследствии довелось стать сватом еще одного русского князя, Всеволода Большое Гнездо. Условные границы появления на свет этой девочки мы уже наметили выше. Что касается ее брата, то мы знаем, что тестем юного Ярослава Всеволодича он сделался на рубеже 1205–1206 гг. [ПСРЛ, I: 426][1]. Если

[1] На такую мысль наводит самый характер летописного сообщения 1180 г. об их захвате русскими: мальчики уже вышли из раннего детства и потому о них упоминается особо в перечне пленных, однако они еще не достигли достаточной самостоятельности, чтобы обладать некими властными привилегиями и, соответственно, называться по имени.

[2] Русские внуки Кончака (по крайней мере, один из них, Изяслав Владимирович) не теряют связи со своей половецкой родней и весьма охотно пользуются военной поддержкой кочевников (ср.: [ПСРЛ, II: 725–726]; возможно также: [ПСРЛ, II: 775]).

[1] Сообщение об этой свадьбе само по себе достаточно выразительно как в перспективе своеобразного ритма русско-половецких контактов, так и с точки зрения специфики отражения этих контактов в летописании. Погодная статья Лаврентьевской летописи под 6713 г. открывается сообщением о том, что коалиция русских князей, в которую входил «Єрославъ Переꙗславьскии . великоґ кнзꙗ Всеволоѫ снъ», лютой зимой совершила успешный поход на половцев и возвратилась с большой военной добычей. Мы не находим здесь никаких специальных указаний на последующие мирные переговоры кого-либо из Рюриковичей с этими или другими половцами, однако летописная статья под следующим 6714 г. завершается сообщением о том, что «великии кнꙗзь Всеволодъ . ѡжени сна своюго Ꙗрослава» на половчанке (о датировке см. подробнее: [Бережков 1963: 87–88]). Возможно, в частности, что русские князья ходили на половцев, возглавляемых именно отцом невесты Кончаковичем, а свадьба была, в таком случае, своеобразной формой и результатом завершения конфликта. Однако никаких ясных указаний летопись здесь не дает, при этом картина русско-половецких связей той поры была столь многообразной, что подобное предположение обречено оставаться гипотезой. Очевидно, например, что к тому времени помощью половцев активно пользуются не только Ольговичи, но и Рюрик Ростиславич с сыновьями. По-видимому, именно необходимость установления некоего паритета с этими линиями собственных родственников в отношении союзов с кочевниками и побудила Всеволода Большое Гнездо организовать брак своего сына с внучкой Кончака. О том, что такой паритет

допустить (это кажется нам весьма вероятным), что он был одним из тех сыновей Кончака, которые были захвачены в плен в 1180 г., то по этим точкам можно наметить некую хронологическую канву его жизни, согласно которой он был достаточно близок по возрасту к своей сестре и появился на свет в начале 70-х гг.[1]

Функции имени *Георгий* (*Юрий*) у Рюриковичей и половцев. — Как же звали этого Кончаковича, которому суждено было в начале XIII в. породниться с домом Рюриковичей? Именно он, как известно из летописи, носил имя *Юрий*. Это же имя в свое время получил в крещении сват и союзник его отца, Игорь / Георгий Святославич Новгород-Северский:

> Сѯ̄ославъ же не дожда велика дн̄и но поиде в поне^д^лникъ сѯ̄ои не^д^лѣ а въ вторни^к^ родисѧ оу него сн̄ъ и нарекоша имѧ ему въ сѯ̄омъ кр^е^щеньи Гергии а мирьскии Игорь [ПСРЛ, II: 422, под 6659 г.]

Подобное совпадение едва ли может быть случайным. Очевидно, что такое имянаречение половецкого наследника непосредственно свя-

и в самом деле составлял насущную политическую надобность, свидетельствует, между прочим, то сообщение погодной статьи, которое следует непосредственно за упоминанием о женитьбе Ярослава Всеволодича. Здесь рассказывается о том, как половцы помогают объединившимся Ольговичам и Ростиславичам в их совместном походе на Галич, — город, значение которого было в ту пору огромно. При этом ни сам Всеволод Большое Гнездо, ни кто-либо из его сыновей в этом предприятии не участвуют.

[1] Имеющиеся в нашем распоряжении летописные свидетельства о сыне Кончака не дают оснований для каких-либо неоспоримых утверждений о дате его рождения. Тем не менее, можно с достаточной уверенностью утверждать, что к 1206 г. он был уже вполне зрелым человеком, — не только потому, что его дочь вышла замуж, но и оттого, что он располагал столь значительной властью среди своих соплеменников, чтобы оказаться подходящим сватом для весьма могущественного в ту пору Всеволода Большое Гнездо. С другой стороны, в 1180 г. никто из сыновей Кончака, скорее всего, еще не стал взрослым, при том что дети мужского пола у него к тому времени заведомо имелись (см. выше, прим. 1 на с. 270 наст. издания), а интересующий нас отпрыск, судя по тому положению, которое он занял со временем, принадлежал к числу старших наследников своего отца. При этом в 20-е гг. XIII в. этот Кончакович, как видно из летописей, еще принимал активное участие в военных действиях. Всего вероятнее, таким образом, что к концу 1205 г. ему было около 30–35 лет, а родился он, соответственно, между 1170 и 1175 гг.

зано с фигурой русского князя, с чьей семьей его род оказался так тесно объединен. Какова же, если так можно выразиться, семиотика этой связи?

Христианское имя *Георгий*, как уже отмечалось, успело приобрести у Рюриковичей статус самостоятельного династического, что не мешало ему, как и другим подобным крестильным именам, по-прежнему даваться в иных случаях вместе с мирским, княжеским: это, собственно, и произошло с сыном Святослава Ольговича[1]. Иначе говоря, на Руси уже жили и действовали до того времени князья Юрий Владимирович Долгорукий или Юрий Ярославич Туровский, которые фигурируют в летописи исключительно под указанным христианским именем, но при этом для других князей (в частности, для нашего Игоря) это имя остается лишь крестильным — в летописных сводах, за исключением сообщения о его рождении, он присутствует как *Игорь*.

Может показаться несколько неожиданным, что сын его половецкого союзника получает именно это дополнительное, христианское по происхождению имя. Трудно усомниться, что Кончак назвал его в честь Игоря / Георгия, но почему из двух имен было выбрано *Юрий*? Не подталкивает ли подобное обращение к христианскому имени к выводу о том, что этот ребенок был крещен, или же оно объясняется как-то иначе?

Попытаемся для начала ответить на вопрос, обусловлен ли такой повтор христианского имени тем, что Юрий Кончакович стал крестником Игоря / Георгия Святославича. В самом деле, как на Западе, так и на Востоке христианского мира хорошо известны случаи, когда при крещении восприемник дает крещаемому свое имя, что нередко случалось и в семьях правителей. С другой стороны, во внутриродовой практике Рюриковичей подобной закономерности не просматривается: во всяком случае, у нас нет надежных свидетельств о том, что князь или княгиня, становясь крестными своих младших родичей, давали

[1] Аналогичная судьба досталась в династии и имени *Василий*. С конца XI в. оно может фигурировать как единственное именование князя (ср. упоминания Василько Ростиславича Теребовльского в летописи), с другой стороны, еще долгое время спустя оно употребляется и в сочетании с именем мирским. Так, имя *Василий* носил в крещении не только Владимир Мономах, но, например, и его правнук Рюрик / Василий Ростиславич. В летописном тексте оба они упоминаются преимущественно под мирскими именами. Подробнее см. ниже ч. III, гл. 2 (§ 6) наст. издания.

им в качестве крестильного собственное христианское имя[1]. Как бы Рюриковичи поступили в случае крещения представителя половецкого рода, мы решительно не знаем.

С другой стороны, весьма соблазнительное допущение о наличии духовного родства между Игорем Святославичем и Юрием Кончаковичем, как кажется, существенно сужает временные рамки появления последнего на свет. В самом деле, Игорь едва ли мог сделаться его крестным отцом прежде венчания дочери Кончака с Владимиром Игоревичем, — Рюриковичи, судя по всему, соблюдали канонические ограничения относительно браков между духовными родственниками, и русский князь вряд ли мог женить своего сына на родной сестре собственного крестника. Настаивая на версии духовного родства, придется допустить, что Юрий Кончакович был примерно ровесником своего племянника Изяслава Владимировича и появился на свет не ранее 1188 г., что нам представляется маловероятным[2].

Кроме того, гипотезе, согласно которой у Кончака к концу 70-х гг. могли быть крещеные дети, противоречат уже упоминавшиеся инвективы летописца, характеризующие его как своеобразное воплощение безбожия и язычества. В самом деле, Юрий был главным или одним из главных наследников своего отца. Трудно себе представить, чтобы тот

[1] Случаев, когда крестным новорожденного становился кто-то из близких родственников или свойственников, не так уж мало (часть примеров подобного рода см. в работе: [Ивакин 1901: 295–296], где, впрочем, один из таких примеров содержит генеалогическую ошибку: обсуждаемый Ярослав был сыном Изяслава Мстиславича по плоти и крестником его брата (т. е. своего дяди) Ростислава Мстиславича, а не наоборот). Ни в одном из этих случаев, однако, мы не располагаем свидетельствами того, что крестный отец или мать дали крестнику свое календарное имя, а в некоторых ситуациях мы твердо знаем, что этого не было. Так, Олег / Михаил Святославич стал крестным своих племянников Мстислава и Изяслава. При этом старший из них получил в крещении имя *Федор*, крестильное же имя второго, рано погибшего Изяслава Владимировича, в источниках не зафиксировано.

[2] Прежде всего, такое допущение не очень хорошо согласуется с наличием у Юрия Кончаковича дочери, достигшей брачного возраста к началу 1206 г. Остается, правда, некоторая вероятность, что Всеволод Большое Гнездо женил своего сына Ярослава на малолетней степной принцессе, поскольку известно, что одну из своих собственных дочерей Всеволод выдал замуж, когда ей было лишь 8 лет. Однако Кончаковна при такой интерпретации хода событий должна была бы быть к моменту брака с Ярославом еще намного младше, тогда как Ярослав Всеволодич в ту пору хотя и молодой, но достаточно взрослый князь.

невозмутимо взирал на крещение своего потенциального преемника, однако еще труднее допустить, пожалуй, чтобы это обстоятельство было оставлено без внимания летописцев, столь тщательно фиксирующих куда менее значительные факты взаимодействия Кончака с Русью. Таким образом, складывается впечатление, что у авторов летописи никаких известий о причастности Кончаковой семьи к христианству, вплоть до смерти главы этого рода, не было.

Нельзя ли предположить, что его сын принял христианство позднее, в ту пору, когда Кончак уже сошел с исторической сцены, и до того, как его внучка, дочь Юрия, была выдана замуж за Ярослава Всеволодича, ведь именно в записи об этом браке впервые упомянуто имя *Юрий*, принадлежавшее данному половецкому правителю? Но и это представляется крайне маловероятным. Действительно, власть Юрия над своими соплеменниками, как уже упоминалось, была весьма велика. В летописной статье под 1223 г. Юрий охарактеризован даже как «болиише всихъ Половець» [ПСРЛ, II: 740]. Однако за те почти два десятилетия, что протекли между замужеством Юрьевны и гибелью ее отца, мы не находим в характере половецко-русских отношений решительно никаких серьезных изменений, которых можно было бы ожидать, если бы во главе одного из самых могущественных кланов стоял христианин. На деле мы обнаруживаем здесь все то же неустойчивое равновесие, поддерживаемое браками и нарушаемое военными столкновениями, которое наблюдалось и в предыдущем столетии, когда во главе их стоял «безбожный» Кончак. Не изменяется, как уже отмечалось, и тональность летописца, который и в эту пору продолжает характеризовать носителей христианских имен из числа кочевников (в частности, и Юрия) как *поганых* и *окаянных*[1].

Хотя, в силу крайней скудости наших сведений о половецких князьях, мы можем лишь предлагать различные версии развития собы-

[1] Ср., напр.: «…и Половьчь безбожьныхъ множьство избиша, а инѣхъ загнаша, и тако измроша убиваеми гнѣвомь Божиемь и пречистыя его Матере; много бо зла створиша ти оканьнии Половчи Русьскои земли, того ради всемилостивыи Богъ хотя погубити безбожныя сыны Измаиловы Куманы, яко да отмьстять кръвь крестьяньску, еже и бысть над ними безаконьными. Проидоша бо ти Таурмени всю страну Куманьску и придоша близъ Руси, идеже зоветься валъ Половьчьскы. И прибегоша оканьнии Половчи, избьеныхъ избытъкъ, Котянь с ынѣми князи, а Данилъ Кобяковиць и Гюрги убьена бысто» [ПСРЛ, III: 62]. Об этом эпизоде см. также ниже, с. 282, прим. 1 наст. издания.

тий, взвешивая и оценивая меру их правдоподобия, все изложенное выше заставляет нас думать, что Игорь / Георгий Святославич не был крестным отцом Юрия Кончаковича и что последний не был христианином вовсе. Вероятно, князь Игорь «подарил» свое крестильное имя некрещеному сыну своего некрещеного союзника. Почему же, однако, объектом «дарения» в таком случае оказалось не мирское имя *Игорь*, а христианское *Георгий*?

В предыдущей части работы мы уже обсуждали общую тенденцию, делавшую одни княжеские имена более пригодными для договорных отношений с половцами, чем другие. Попробуем теперь проследить на более конкретных примерах, как антропонимический обмен обслуживал различные договорные отношения. До сих пор, говоря о христианских именах у половецких князей, мы подчеркивали, что все они в конце XI и до XIII вв. у Рюриковичей имели статус полноценных династических имен. Характеристика эта представляется нам очень важной, однако нельзя не обратить внимание на тот факт, что в микрокорпусе русских имен, известных у половцев, имена христианские явно преобладают. В сущности, мы находим здесь лишь одно некалендарное княжеское имя, которое не могло быть дано при крещении, — *Ярополк*. Все же остальные — *Глеб*, *Юрий*, *Роман*, *Василий*, *Давыд* (?), *Даниил* — это имена или изначально обладавшие на Руси статусом крестильных, или приобретшие его к XII в.

При этом, насколько мы можем судить по контексту взаимоотношений Кончака и Игоря, русское имя для половца (так же, как и брак половчанки с князем) обладало привлекательностью не само по себе, а постольку, поскольку устанавливало связь с конкретным союзником-Рюриковичем и его семьей в целом, а потому выбор такого имени не должен был противоречить установкам и предпочтениям русской стороны. Иначе говоря, неравномерность в распределении христианских и нехристианских княжеских имен в половецкой среде связана с известными различиями в специфике их бытования у самих князей Рюриковичей.

На Руси же, как мы уже неоднократно пытались продемонстрировать, мирские княжеские имена крайне редко использовались за пределами династии. Что же касается христианских имен, то далеко не все из них считались пригодными для князя, но при этом всякое христианское имя, встречающееся у князей, мог носить и любой человек некняжеского происхождения. На таком фоне не кажется столь странным,

что половцам чаще всего переходят эти последние, вполне престижные, но не обладающие статусом исключительно княжеских, имена династов. Отметим кстати, что имя *Ярополк* в системе непроницаемости русского княжеского антропонимикона было одним из слабых звеньев: к началу XIII в. оно, став заметно менее популярным у князей, встречается, например, у галицкого боярина [ПСРЛ, II: 728, 730][1].

На примере брачной и ономастической политики новгород-северских князей можно пронаблюдать, как с помощью имянаречения осуществлялась довольно тонкая градация, фиксирующая разные ступени близости с половецкими свойственниками и с членами собственного рода. Необходимо учитывать, что русские князья, жившие в середине XII в., имели дело с уже сложившейся традицией имянаречения. Им приходилось действовать в рамках довольно сложной комбинации возможностей и запретов: при жизни Игорь / Георгий Святославич не мог дать свое собственное мирское имя родному сыну, при этом оно могло быть передано кому-либо из непрямых потомков-Рюриковичей (сыну брата, кузена или даже шурина), но, по-видимому, не половецким союзникам. Аналогичными правилами определялся и выбор мирских княжеских имен для своих сыновей-наследников. Обращение же с собственными крестильными именами допускало куда больше степеней свободы.

Имена как элемент внешней и внутренней семейно-политической стратегии Игоря и его братьев. — Вся эта непростая система запечатления родственно-свойственных связей в именах была особенно актуальна для младшей линии потомков Олега Тьмутараканского, чьи династические чаяния, судя по источникам, далеко превосходили те реальные властные возможности, которые достались на их долю после смерти их отца, Святослава Ольговича.

В самом деле, проиграв после его кончины в политическом противостоянии кузенам Всеволодичам, Олег Святославич и его подрастающие братья, Игорь и Всеволод, в своем стремлении сохранить сколько-нибудь заметное положение в княжеской иерархии не могли искать поддержки у каких-либо кровных родственников, но вынуждены были рассчитывать на те отношения свойства́, которые удастся завязать им

[1] Подробнее об имени *Ярополк* в половецкой среде см. далее, ч. III, гл. 2 (§ 5), с. 330–337 наст. издания.

самим. Эта карта свойствá была разыграна ими, как известно, следующим образом: овдовевший Олег женится на дочери киевского князя Ростислава Мстиславича, а для его младшего брата Игоря был организован брак с дочерью Ярослава Галицкого. Оба этих союза были совершены с отступлением от церковно-канонических правил, что лишний раз демонстрирует, сколь велика была политическая необходимость в них для осиротевших новгород-северских князей (см. выше ч. I, гл. 6, с. 124–133 наст. издания).

Необходимость эта, равно как и сплоченность братьев между собой, в неменьшей степени отразилась и в имянаречении детей в семье Игоря (см. рис. 1).

Речь идет о давно погибшем к этому времени двоюродном дяде Олега и Игоря Святославичей, Владимире Давыдовиче. Некогда Владимир (в отличие от своего кузена Святослава Ольговича, принадлежавший к старшей ветви потомков Святослава Ярославича) владел черниговским столом. Со временем, однако, довольно обширная семья Давыдовичей сошла с исторической сцены: в 1166 г. не стало последнего представителя Давыдова дома по мужской линии, Святослава Владимировича Вщижского, сына Владимира Давыдовича ([ПСРЛ, II: 525]; ср. выше ч. I, гл. 5, с. 70–81 наст. издания).

В этом свете использование имени *Владимир* в семье Игоря Святославича может рассматриваться в качестве своеобразной попытки перенять наследственные права Давыдовичей на черниговское княжение, однако необходимо все же учитывать и генеалогическую, и — что еще более существенно — хронологическую дистанцированность Игорева первенца от ситуации, когда образ погибшего Владимира Давыдовича был еще значим в междукняжеской борьбе. При этом существовала куда более актуальная и близкая связь, которую имело смысл отразить в имянаречении, — *Владимиром* звали шурина Игоря, родного дядю новорожденного с материнской стороны, сына Ярослава Галицкого.

Эти отношения свойствá (перешедшие, естественным образом, в кровное родство по материнской линии) оказались весьма прочными. Правда, самому Игорю при жизни пришлось не столько рассчитывать на поддержку шурина, сколько помогать ему. Однако много лет спустя, после смерти Владимира Ярославича, не кто иные, как его сестричичи, сыновья Игоря, оказались, благодаря поддержке части галицкого боярства, одними из самых важных участников в борьбе за галицкий стол. Таким образом, акт имянаречения Владимира Игоревича (бесспорно, ориентированный в будущее) явно не пропал впустую.

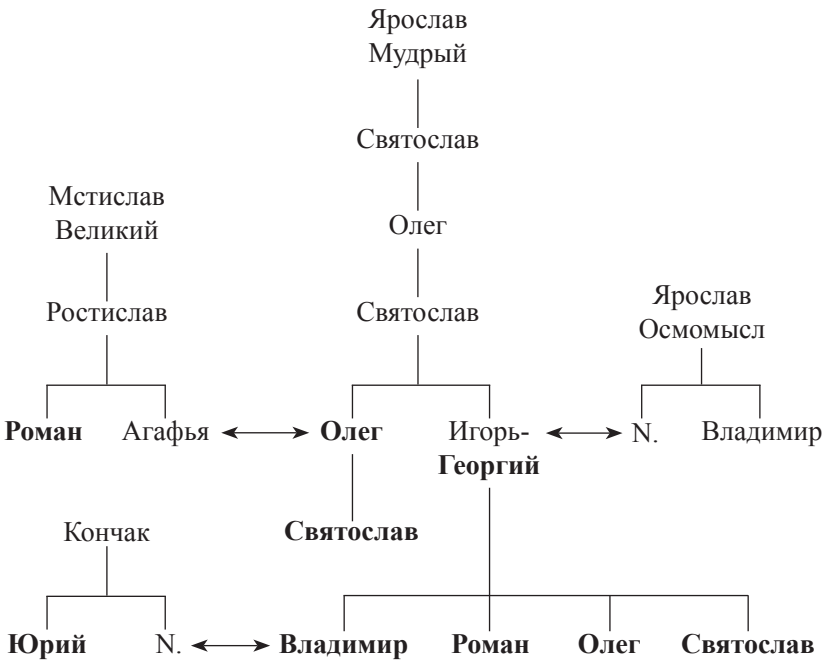


Рис. 1. *Имянаречение в семьях Олега и Игоря Святославичей*

Еще более показателен выбор имени для другого сына Игоря, Романа, при наречении которого, несомненно, учитывалась фигура еще одного свойственника, старшего брата Агафьи Ростиславны, жены его дяди Олега. Для Игоря это свойствó было не столь уж близким, однако именно Ростислав, отец Романа и Агафьи, в свое время добился, чтобы Игорь был наделен волостями в Черниговской земле, а приблизительно в пору появления Романа Игоревича на свет именно шурья Олега, старшим из которых был Роман Ростиславич, помогали братьям Святославичам в их походах против кузена (см. выше ч. I, гл. 6, с. 125–133 наст. издания). Центральные же родовые имена черниговских князей, *Олег* и *Святослав*, не исчезли из семьи Игоря вовсе, но достались лишь младшим детям.

С другой стороны, еще при жизни Олега существенным компонентом в той стратегии свойствá, которую братья Святославичи выстраивали внутри собственной династии, становились отношения новгород-

северских князей с половцами (здесь достаточно вспомнить о тех дарах, *саигате*, которые Игорь везет шуринам своего брата). Когда же Игорь после смерти брата стал старшим в семье, он в еще большей степени заботится о том, чтобы контакты, налаженные им с кочевниками, могли служить серьезным аргументом в его отношениях с родственниками и свойственниками Рюриковичами. Так, его отношения со старшим кузеном Святославом Всеволодичем складываются куда лучше, чем они были при жизни Олега. Одна из причин этого улучшения заключалась в том, что за Игорем стояли могущественные половецкие кланы, которые были весьма полезны Святославу и в его борьбе за киевский стол, и в его противостоянии со Всеволодом Большое Гнездо[1].

Несколько схематизируя дело, можно сказать, что поначалу Игорь и его братья стремились опираться на свойственников из Рюриковичей, тогда как в дальнейшем русское родство Игоря поддерживалось половецким свойствóм, и всю эту сложную политическую структуру он стремился запечатлеть в именах. Он «принимал» от своих русских родственников и свойственников имена для своей семьи и отдал одно из собственных имен в семью кочевников.

С другой стороны, те русские христианские имена, которые давались половецким княжичам, еще задолго до их имянаречения уже отнюдь не были пустым звуком для собственно половецкой родовой традиции. Напомним, что Юрий Долгорукий, самый прославленный в XII в.

[1] Любопытно, в частности, когда именно в семье Игоря появляются едва ли не самые востребованные в черниговской ветви Рюриковичей имена *Олег* и *Святослав*. Напомним, что «едне имя» *Святослав* носил племянник Игоря, Святослав Ольгович Рыльский. Очевидно, не имея ни нужды, ни желания конкурировать в имянаречении со своим братом, собственным старшим детям Игорь этого имени не дает. Одного из младших сыновей он назвал *Олегом*, еще раз подтвердив тем самым союз с родным старшим братом, от которого ему предстояло унаследовать Новгород-Северский. И лишь следующему сыну было дано имя *Святослав* [ПСРЛ, II: 604]. Не исключено, что при таком имянаречении подразумевалась в качестве прототипа не только фигура довольно давно скончавшегося родного деда ребенка, но и живого двоюродного дяди, Святослава Всеволодича. Действительно, если до тех пор между партиями кузенов существовала вражда, неоднократно доходившая до военных столкновений, то впоследствии они — за редкими исключениями — действуют заодно. Можно допустить, что наречение Святослава / Адриана Игоревича было одним из шагов установления мира внутри большого клана Ольговичей или одним из средств манифестации договора об этом мире, заключенном между кузенами Святославом и Игорем, каждый из которых на тот момент был старшим среди своих родных братьев. Это тем более вероятно, что мальчик появился на свет в год, когда Святославу Всеволодичу удалось второй раз занять киевский стол.

носитель родового имени, был женат на половчанке, и его половецкие свойственники в свое время регулярно оказывали ему военную помощь. Ему удалось занять киевский стол, но, насколько мы можем судить по отдельным ремаркам летописца, вопрос о том, кто именно княжит в Киеве в каждый конкретный момент, играл для половцев кардинальную роль[1]. Как мы знаем, сам Игорь родился и был наречен *Георгием* в ту пору, когда его отец, Святослав Ольгович, рожденный от половчанки и, судя по всему, женатый на половчанке первым браком, спешил на помощь Юрию Долгорукому [ПСРЛ, II: 422].

Таким образом, в половецкой среде имя *Георгий* было, безусловно, прекрасно известным и весьма почетным[2]; с ним был связан целый

[1] Как неоднократно отмечается в летописи, смена князя на киевском столе могла сопровождаться масштабным набегом половцев или — что не менее интересно — относительно мирным их появлением на Руси с целью перезаключения договоров. Ср., напр.: «в се же времѧ поидоша Половцѣ на Рускую землю . слышавше ꙗко оумерлъ есть Всеволодъ послаша послы къ Ст҃ополку ѡ мирѣ» [ПСРЛ, II: 209]; «Мьстиславъ . старѣишии сн҃ъ его . сѣде на столѣ в Киеви . ѿц҃а мѣсто своего маиꙗ въ к҃ слышавше же се . врази Половци смр҃ть Володимерю . и присунушасѧ . къ Баручю . рекше возмемъ Торкы ихъ» [ПСРЛ, II: 289]; «сѣдѧщю бо Глѣбови Гюргевичю Кыєвѣ . на столѣ ѡтни . и дѣдни . первоє лѣ҃ . приде множьство Половець . раздѣлившесѧ на двоє . ѡдини придоша к Переꙗславлю . и сташа оу Пѣсочна . а друзии придоша по ѡнои сторонѣ Днѣпра г Кыєву . и сташа оу Корсунѧ . и прислашасѧ ѡбои къ Глѣбу г҃ще . Бг҃ посадилъ тѧ и кнѧзь Андрѣи . на ѡтчинѣ своєи . и на дѣдини в Кыєвѣ . а хоще҃ с тобою порѧдъ положити . ѡ всемъ . и оутвердитисѧ межи собою . и внидемъ в роту а ты к на҃ . да ни вы начнете боꙗтисѧ насъ . ни мы васъ» [ПСРЛ, I: 357–358]. Помимо всего прочего, это демонстрирует хорошую осведомленность кочевников в делах их крещеных соседей и особое внимание к киевским князьям, сохранявшееся у них, по крайней мере, до второй половины XII столетия.

[2] Возможно, говоря о престижности имени *Георгий* у половцев, следует в качестве дополнительного фактора учесть и еще одну, лежащую за пределами русско-половецких отношений, линию свойствá. *Георгий* было династическим именем Багратидов, а один из представителей этого дома, грузинский царь Давид Строитель, как уже неоднократно упоминалось, был женат на половчанке. Если исходить из того, что Кончак и жена царя Гурнадухт происходили из одной семьи (подробнее см. ниже ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 311–312, прим. 2 наст. издания), то, возможно, для Кончака этот ономастический факт имел определенное значение. *Георгиями* звались, в частности, один из сыновей Давида и его внук, правивший в Грузии в интересующее нас время, Георгий III (1156–1184 гг.) [Toumanoff 1990: 136, № 22]. Однако эту линию едва ли возможно счесть определяющей в деле наречения Юрия Кончаковича, так как первый из упомянутых грузинских Георгиев (сын Давида) никогда не правил и умер юным за несколько десятилетий до рождения Кончаковича, а второй, Георгий III (внук Давида), сын Деметре, по

клубок русско-половецких отношений, а потому второе имя Игоря / Георгия, друга и союзника, должно было по целому ряду параметров устраивать Кончака, коль скоро он решился запечатлеть связь с ним в наречении сына.

Русское имя половецкого князя за пределами Руси. — На примере Юрия Кончаковича мы можем убедиться, что христианские династические имена, заимствуемые половцами у Рюриковичей, имели полифункциональный статус, и их употребление отнюдь не ограничивалось ни русским летописным узусом, ни случаями русско-половецких контактов как таковых. В китайских источниках, повествующих о монгольских завоеваниях, в рассказе о столкновении татар с половцами, непосредственно предшествующем рассказу о битве с русскими на р. Калке, упоминается половецкий предводитель Юрки, который убедительно отождествляется с Юрием Кончаковичем [Храпачевский 2009: 228][1]. Оказывается, таким образом, что, по крайней

всей видимости, не принадлежал к числу потомков Гурнадухт и о его взаимодействии с Кончаком решительно ничего не известно. Собственно говоря, нет никаких определенных данных и о том, что Георгий, сын Давида Строителя, был рожден в браке с Гурнадухт. Немаловажно, кроме того, что в Грузии не была отмечена та форма имени *Георгий*, которую получил Юрий Кончакович, зато она, как уже упоминалось, была исключительно популярна на Руси. Известно при этом, что именно такая форма антропонима прилагалась к Кончаковичу регулярно, и не только в русских источниках (подробнее см. ниже).

[1] Я. В. Пилипчук полагает, что под своим христианским именем Юрий Кончакович упомянут также в «Жизнеописании султана Джелаль-ал-Дина» ан-Насави, а также, возможно, и в «Письме брата Юлиана о монгольской войне» ([Пилипчук 2013а: 101, 166–170]; ср. в этой связи: [Голубовский 1884: 230–231, прим. 3]). Правда, отождествление Юрия Кончаковича с Гуркой (Гюр-ханом) из сочинения ан-Насави и Гурегом из письма Юлиана сопряжено с определенными трудностями. В частности, оно требует допущения, что Юрий, вопреки русскому летописанию, не погиб к 1223 г. Уже упоминавшийся китайский источник («Юань-ши»), повествуя о битве татар с половцами у Железных ворот, сообщает, что одним из вождей половецкого войска был Юрий и о том, что его сын был убит, но о судьбе Юрия никаких определенных указаний этот памятник не содержит. Из Новгородской и Ипатьевской летописей мы узнаем, что когда татары прошли «всю страну Куманьску» и оказались в непосредственной близости от Руси, у места, которое называлось «валъ Половьчьскы» [ПСРЛ, III: 62, 265], и половецкие вожди бежали за помощью к русским князьям, то Юрий Кончакович и Даниил Кобякович были уже убиты. Таким образом, прямых противоречий между китайским и русским источниками вроде бы нет: из их показаний следует, что Юрий нашел свою смерть в то время, когда завоеватели двигались от Дербента к Руси.

мере, для всего внешнего мира, а отнюдь не только для русских, наследник Кончака был *Юрием* или *Юрки*. Этот антропоним был его «настоящим», полноценным именем, известным и за пределами Руси.

Общие замечания. — Итак, история появления имени *Юрий* у половецкого князя ценна не только сама по себе, но и тем, что, благодаря ей, появляется возможность выявить некоторые параметры, актуальные для исследования остальных русских имен, проникших в среду половецкой элиты.

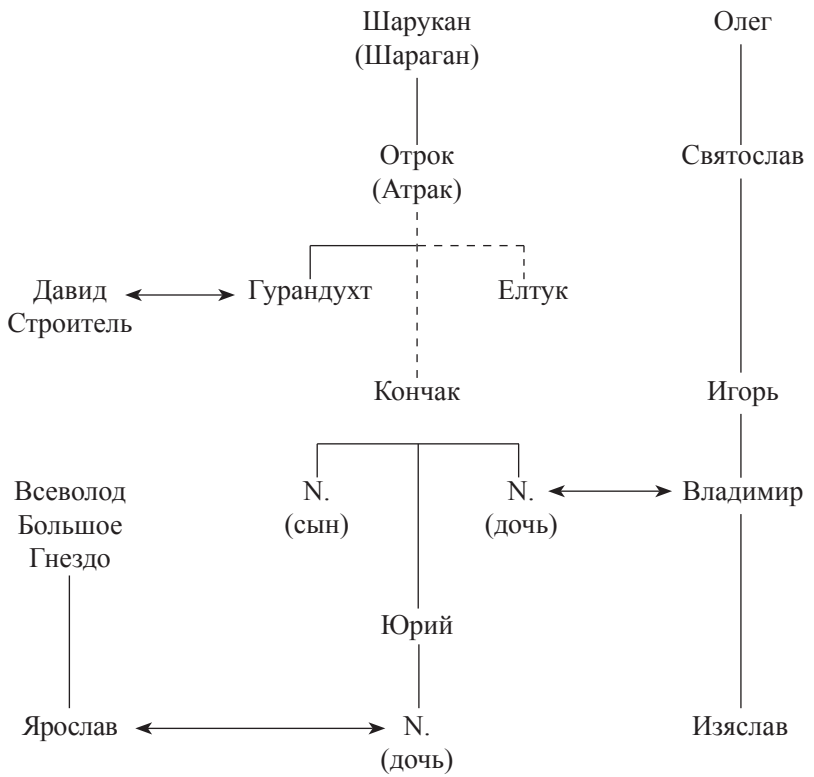


Рис. 2. *Семья Кончака и ее связи с Рюриковичами по свойству́*

Мы убеждаемся, например, что это были полноценные имена, чье функционирование не ограничивается рамками русской средневековой историографии.

Коль скоро речь идет о «нормальных» именах, то следует полагать, по-видимому, что их выбор не противоречил неким общим традициям, присущим родовому миру кочевников. Соответственно, большую роль в изучении этих антропонимов играет своеобразная семейная предыстория, события, связанные с предыдущим поколением половецких вождей. Говоря конкретнее, необходимо выяснять всё возможное о взаимоотношениях с Русью отца или ближайших старших родичей обладателя русского имени.

Случай Юрия Кончаковича демонстрирует, что прототипом для наречения половецкого наследника становится тот из русских князей, кому довелось на протяжении достаточно долгого времени находиться в тесных договорных отношениях с его отцом. Имеет смысл, таким образом, выделить этот тип наречения в особую модель перехода имени «от русского князя-партнера — к сыну половецкого князя-партнера» (или, формулируя более общо, «наречение в честь отцовского контрагента»).

Появление княжеского имени в половецкой среде способно сопутствовать заключению в тех же семьях междинастического брака: и то, и другое так или иначе связано со стремлением закрепить или обновить союзнические отношения.

Существенную роль играет, вероятно, статус или степень престижности трансплантируемого имени в русской и половецкой среде.

Характерно при этом, что в летописи может не обнаруживаться никаких следов приобщения половецкого носителя христианского имени к христианской вере как таковой.

§ 2: Даниил

(*Особенности бытования имени* ***Даниил*** *у Рюриковичей. — Происхождение и биография половецкого Даниила. Источники, разночтения. — В поисках прототипа: Всеволод Святославич-старший. — В поисках прототипа: Всеволод Святославич-младший. — В поисках прототипа: иные модели, иные возможности? — Общие замечания*)

Особенности бытования имени *Даниил* у Рюриковичей. — Появление имени *Даниил* у половецких князей заметно осложняет ту первоначальную картину функционирования христианских

имен у кочевников, которую мы представили в первой части нашего очерка. В самом деле, это имя успело закрепиться у Рюриковичей в качестве единственного имени князя, совмещающего в себе функции родового и крестильного, лишь к концу домонгольского времени. Первым князем, обладавшим именем *Даниил* в качестве единственного, был Даниил Романович Галицкий, появившийся на свет в самом начале XIII в.[1], затем оно сразу же было охотно подхвачено русским правящим родом и довольно долгое время оставалось династическим [Литвина & Успенский 2006: 167]. Популярность, столь незамедлительно пришедшая к этому имени в роду Рюриковичей, заставляет думать, что кто-то из русских князей уже прежде, ранее начала XIII столетия, носил его в качестве крестильного наряду с мирским. Во всяком случае, таков был обычный механизм поэтапного освоения династией христианских имен.

Однако в данном случае источники не дают в наше распоряжение ясных и определенных свидетельств относительного того, кто именно из русских князей X–XII вв. мог получить это имя в крещении. Необходимо учитывать, разумеется, что крестильные имена многих Рюриковичей той поры напрямую в древнейших текстах не названы, и мы вынуждены строить предположения о них по косвенным данным. Так, в Любечском синодике, памятнике достаточно позднем и весьма сложном для интерпретации, имя *Даниил* появляется в качестве княжеского крестильного имени:

> Кн[3]: Всеволода Данїила С҃тослава Чернѣ: К҃нгиню его Анастасїю [Зотов 1892: 25].

В свое время Р. В. Зотов предположил, что на месте «Святослав» следует читать «Святославич» (т. е. видеть здесь не имя, а искаженное отчество) и, соответственно, считать, что *Даниилом* в крещении звался некий черниговский князь Всеволод Святославич, которого исследователь отождествил со Всеволодом Святославичем Чермным, сы-

[1] Точные даты рождения сыновей Романа Галицкого в летописи не указаны и вычисляются на основании ремарки летописца об их возрасте ко времени гибели отца. Обычно рождение Даниила датируется в исследованиях «ок. 1201 г.». Подробное обсуждение этой проблемы с указанием иных точек зрения и соответствующей литературы см. в: [Dąbrowski 2012: 21–33].

ном Святослава Всеволодича и внуком Всеволода Ольговича [Зотов 1892: 44].

Если полагаться хоть сколько-нибудь на показания Любечского синодика, то следует, на наш взгляд, иметь в виду не только этого Всеволода Святославича, но и его полного тёзку и двоюродного дядю — Всеволода, сына Святослава Ольговича. Существенно, разумеется, что Всеволод-дядя был лишь одним из черниговских князей Ольговичей, но черниговским столом как таковым, судя по всему, не владел (он был князем трубчевским и курским). Погребен он, однако, был в Чернигове и, насколько мы можем судить по его летописному некрологу, пользовался особым почетом и славой в своей ветви рода[1]. Всеволод-племянник же был князем не только черниговским, но и киевским. Последнее часто выделяется в синодике особо, однако в случае с «князем Всеволодом Даниилом Святославом» не упомянуто никак.

Для нас существенно, что дядя и племянник недаром оказываются кандидатами на одно и то же крестильное имя. Эти полные тёзки не только оба принадлежат к клану Ольговичей, но являются современниками и участниками одних и тех же событий (прежде всего, военных походов). Существенно также, что если в середине и второй половине XII в. и отыскивается имя *Даниил* (крестильное при мирском, княжеском), то — именно у Ольговичей. Кто же был обладателем имени *Даниил* из князей половецких?

Происхождение и биография половецкого Даниила. Источники, разночтения. — В древнейших летописях мы находим этот антропоним в трех заметно разнесенных во времени сюжетах повествования, имеющих непосредственное отношение к кочевому миру. В Ипатьевской летописи он упомянут в перечне половецких князей, плененных Святославом Всеволодичем и Рюриком Ростиславичем:

[1] Ср.: «Того же лѣта во Ѡлговичехъ престависа кназ҃ь Всеволодъ . Ст҃ославичь братъ Игоревъ . мцца маꙗ . и тако спрѧтавше . тѣло его вса братьꙗ во Ѡлговичехъ племени . с великою чтью . и с плачемь великъмъ и ръданиемь . понеже бо во Ѡлговичехъ . всихъ оудалѣе рожаемь и воспитаемь и возрастомъ . и всею добротою . и можьственою доблестью . и любовь имѣꙗше ко всимъ . Єпископъ ж Черниговьскои . и вси игоумени . и попове . проводиша его до гроба со ѡбычнъıми пѣсми . и положиша его во црк҃ви стоѣ Бц҃и . в Черниговѣ и приложиша ко ѡц҃мь своимъ . и дѣдомъ . давъ ѡбщии долгъ . емоу же нѣс оубѣжати всѧкомоу роженомоу» [ПСРЛ, II: 696].

…и тоу ꙗша . Кобѧка Карлъıєвича . со двѣима сн҃ома . Билюковича Изаꙗ . и Товлъıꙗ сн҃мъ . и брата єго . Бокмиша . Ѡсалоука Барака . Тарха . Данила . и Съдвака . Коулобичкого ꙗша жь . и Корѧзѧ Калотановича . тоу . оубиша . и Тарсоука . а инѣхъ бещисла [ПСРЛ, II: 632].

Интересующее нас имя также присутствует, хотя и в несколько ином окружении, в соответствующем списке летописи Лаврентьевской:

Кобѧка руками ꙗша . Ѡсолука . Барака . Тарга . Данила . Башкърта . Тарсука . Изу . Глѣба Тирьєвича . Єксна . Алака . и Толгъıꙗ . Двд҃ва тести с съıно҃м . Тѣтиꙗ с съıно҃м . Кобѧкова тьсти Турундаꙗ [ПСРЛ, I: 395–396].

С другой стороны, в Новгородской первой летописи в статье под 6711 г. мы находим и сюжет, где действует персонаж, именуемый *Даниил Кобякович*: он упомянут вместе с Кончаком, старым союзником своего отца, в качестве предводителя половецкого войска, которое пришло с Ольговичами помогать Рюрику Ростиславичу[1] во взятии Киева:

Рюрикъ съ Ольговици и съ погаными Половци, Концякъ и Данила Бяковиць, възяша град Кыевъ на щитъ въ 1 день генваря, на святого Василия; а кого доидеть рука, цьрньця ли, церницѣ ли, попа ли, попадье ли, а ты вѣдоша въ поганыя; а что гости, иноземьця вьсякого языка, затворишася въ церквахъ, и въдаша имъ животъ, а товаръ съ ними роздѣлиша на полы; а что по манастыремъ и по всѣмъ церквама, вся узорочья и иконы одраша и везоша погани въ землю свою; а град пожгоша [ПСРЛ, III: 45, 240].

Наконец, в Лаврентьевской и Новгородской первой летописях в описании событий, непосредственно предшествующих битве на р. Калке, говорится о гибели не только Юрия Кончаковича, но и Даниила Кобяковича [ПСРЛ, I: 504; III: 62, 265].

[1] Отметим попутно, что совместный набег на Киев приходится, согласно версии Новгородской летописи, прямо на именины главного действующего лица, Рюрика / Василия Ростиславича (см. подробнее выше ч. II, гл. 1, с. 161–167 наст. издания).

Итак, благодаря двум последним эпизодам, перед нами вырисовывается своеобразная антропонимическая и историографическая пропорция: у двух могущественных половецких вождей, долго действовавших заодно, Кончака и Кобяка, есть по сыну с христианским именем — Юрий Кончакович и Даниил Кобякович. Характерно, что союз между их кланами был чрезвычайно тесен, и он не прекратился со смертью Кобяка, но был подхвачен его сыном Даниилом. Когда же и Кончак сошел со сцены, то в летописи Юрий и Даниил упоминаются рядом, хотя несколькими строками выше повествователь отмечает, что именно Юрий, сын Кончака, прожившего долее Кобяка, был «болиише всихъ Половець».

Эта симметрия и связанность исторических судеб волей-неволей подталкивают к мысли об известной симметрии в обстоятельствах выбора имени для этих половецких наследников. Если у нас есть веские основания полагать, что Юрий Кончакович получил крестильное имя русского князя, находившегося в свойстве́ и тесном союзе с его отцом, то и относительно Даниила Кобяковича можно допустить, что он был наречен крестильным именем кого-то из Рюриковичей, взаимодействовавших с Кобяком, причем события эти должны были не слишком далеко отстоять друг от друга хронологически.

Такое допущение, естественным образом, заставляет нас вновь обратиться к тому времени, когда половецкие князья-отцы были еще достаточно молоды, но уже стояли во главе военных набегов и постепенно все теснее соприкасались с Рюриковичами. Здесь, однако, возникает сразу несколько проблем, связанных с некоторыми противоречиями и неясностью в источниках, но более всего — с их лаконизмом.

Во-первых, не совсем понятно, когда впервые в летописи появляется Кобяк, и, соответственно, с кем из русских князей происходит его первое военное столкновение; неясно, кроме того, какое из летописных упоминаний этого князя надлежит считать последним.

Первое упоминание Кобяка? Под 6675 г. в Ипатьевской летописи сообщается о сражении Олега Святославича с половцами и победе над ними, причем глава потерпевших поражение кочевников именуется здесь *Бонѧкомъ* [ПСРЛ, II: 527]. В свою очередь, в Воскресенской летописи в соответствующем эпизоде (под 6674 г.) появляется имя *Кобяк* [ПСРЛ, VII: 79], однако не вполне очевидно, возникла ли эта весьма выгодная для нас замена благодаря тому, что ее составитель располагал какими-то иными и более точными сведениями, нежели те, что

были у составителя Ипатьевского свода, или он просто корректировал имевшийся у него в распоряжении протограф в направлении большей логичности и связности исторического нарратива и заменил «Боняк» на «Кобяк» потому, что Кобяк упоминается и активно действует в близких погодных статьях, тогда как деятельность известного ему Боняка относилась к далекой эпохе Владимира Мономаха и его отца Всеволода (ср., например, его упоминания в статьях под 6604, 6605, 6613 и 6614 гг. в Ипатьевской летописи).

Последнее упоминание Кобяка? В Ипатьевском своде имя *Боняк* применительно ко второй половине XII в. встречается и еще раз, в статье под 6693 г., в передаваемом летописцем диалоге половцев, где Кончак называет его великим князем и намеревается отомстить за его смерть[1]. Можно допустить, что в тексте свода допущена ошибка и речь здесь идет о мести за недавнее поражение и гибель Кобяка, а не Боняка. С другой стороны, в устах летописца образ Боняка не раз становился объектом своеобразной исторической рефлексии. Так, он упоминает о нем в статье, помещенной под 6648 г., объясняя давнее изгнание русских князей в Царьград их дружбой с этим правителем [ПСРЛ, II: 303]. Иными словами, нельзя исключить, что составитель летописи не ошибся и имел в виду именно Боняка как символ того героического прошлого, о котором могли толковать между собой кочевники.

Так или иначе, похоже, что с середины 80-х гг. интересующего нас Кобяка, союзника Кончака и отца Даниила Кобяковича, не было в живых или, по крайней мере, не было на свободе.

Второй немаловажный вопрос, который возникает в связи с имянаречением Даниила Кобяковича: один или два половецких князя с этим именем фигурируют в русских летописях? Иначе говоря, тождественен ли не названный по отчеству «Данила» в списках плененных в 1184 г. предводителей половцев тому отпрыску Кобяка, который известен нам по событиям первых десятилетий XIII в.?

Мы склонны, скорее всего, говорить о тождестве плененного «Данилы» и Даниила Кобяковича, но необходимо, на наш взгляд, упомянуть и о трудностях, которые стоят на пути подобного отождествления.

[1] «…молвѧшеть бо Кончакъ . поидемъ на Києвьскоую стороноу гдѣ соуть избита братьꙗ нанаша и великъıи кн҃зь нашь Бонѧкъ . а Кза молвѧшеть . поиде҃м на Семь гдѣ сѧ ѡсталѣ женъı и и дѣти . готовъ намъ полонъ собранъ . єлминъ же гордъı без опаса и тако раздѣлишасѧ на двоє» [ПСРЛ, II: 646].

В самом деле, в летописи Ипатьевской Кобяк назван первым среди пленных, причем упомянуто, что он был захвачен с двумя сыновьями. Имя *Даниил* же появляется в середине списка и эксплицитно с именем Кобяка не связано. Та же дистанция наличествует и в соответствующем перечне по Лаврентьевской летописи, хотя здесь мы не видим ни отчества Кобяка (сам он фигурирует тоже первым), ни упоминания о двух его сыновьях.

Такое разделение может вызвать некоторые сомнения в непосредственном родстве Кобяка и этого Данилы. Тем не менее, подобное расположение имен может, на наш взгляд, иметь свое объяснение, их родству не противоречащее. Вполне вероятно, что два сына Кобяка (фигурирующие в перечне Ипатьевской летописи без имен, а в Лаврентьевской отсутствующие вовсе) хотя и не были совсем малы, но еще не перешагнули грань, отделяющую детство от сколько-нибудь самостоятельной княжеской жизни, как это, возможно, имело место и с плененными в 1180 г. сыновьями Кончака. Данила же был старше и играл уже некую самостоятельную роль, однако по своему статусу и распределению власти в половецких кланах еще не мог быть упомянут непосредственно вслед за отцом, среди близких к Кобяку по могуществу и самостоятельности половецких князей.

В качестве своеобразной аналогии, подкрепляющей это соображение, можно привести перечень князей Ольговичей, отправляющихся в поход на половцев[1]. Сперва здесь перечислены князья старшего поколения, Игорь и Всеволод, которые непосредственно участвуют в военной экспедиции, далее по старшинству следуют их кузены, которые посылают в этот поход сыновей — сначала Святослав Всеволодич, князь киевский, посылающий троих (Всеволода, Владимира и Мстислава), затем его родной брат Ярослав, отправивший сына Ростислава, и лишь после Ярослава назван Олег Святославич, отправляющий сына Давыда. Вообще говоря, Олег Святославич тоже был сыном Святослава Всеволодича (а Давыд, соответственно, его внуком), однако имя Олега приведено не сразу вслед за именем отца, но лишь после двоюродного дяди (Ярослава), занимающего более высокое, чем племянник, место в княжеской иерархии. Очевидно, таким образом, что русский князь, обретший самостоятельность, мог в летописных перечнях упоминаться не только при отце, среди своих младших братьев, но и несколько отдельно, в соответствии со своим статусом по отношению к остальным участникам событий.

[1] «И ѡпать на зимоу ходиша . Ѡлговичи же на Половци . Игорь с братомъ со Всеволодомъ . а Ст҃ославъ поусти три сн҃ъı . Всеволода Володимера . Мьстислава . а Ꙗрославъ поусти своеѩ . сн҃а Ростислава . а Ѡлегъ Ст҃ославичь поусти сн҃а Дв҃да» [ПСРЛ, II: 673].

Можно предположить, что в соответствующих перечнях князей половецких летописец хотя бы отчасти руководствовался той же логикой. В данном случае все сыновья Кобяка были, скорее всего, отнюдь не столь взрослыми, как дети Святослава Всеволодича из рассмотренного нами списка, да и сам Кобяк, судя по всему, был еще не в тех летах, чтобы у него имелись сколько-нибудь взрослые внуки (из перечня мы узнаем, в частности, что еще жив и активен его тесть Турундай). При этом мы полагаем, что Даниил Кобякович уже был взросл достаточно, чтобы занять самостоятельную позицию в летописном перечне.

Если мы исходим из того, что в летописи фигурирует один половецкий князь по имени *Даниил* и это не кто иной, как Даниил Кобякович, то, соответственно, судьба его в 80-е гг. XII в. оказалась отличной от судьбы отца, и он не погиб вскоре после пленения. Характерным образом, первое время после захвата Кобяка место своеобразного партнера Кончака у половцев занимает отнюдь не Даниил Кобякович, а князь по имени *Кза*. На наш взгляд, это может объясняться одновременно и тем, что Даниил лишь позже обрел свободу, и тем, что он был еще слишком юн, чтобы возглавить весь отцовский клан. Каким образом ему удалось избавиться от русского плена, — бежал ли он, был выкуплен или обменен на кого-то из знатных русских пленников (к примеру, на Владимира Игоревича или Всеволода Святославича) — летописи решительно ничего не сообщают.

Так или иначе, из совокупности разрозненных данных и всех вышеизложенных допущений складывается довольно правдоподобный хронологический костяк биографии этого половецкого князя: в 1184 г. он был подростком, почти юношей, в 1203 г., во времена взятия Киева, — вполне зрелым предводителем войска, а в 1223 г., в момент своей гибели, — не слишком молодым, но весьма дееспособным военачальником и правителем. Рождение Даниила Кобяковича, по таким расчетам, приходится на первую половину 70-х гг. XII в., скорее всего, на самое их начало. Первое упоминание о столкновении его отца, Кобяка, с Рюриковичами (точнее говоря, с родовой ветвью Ольговичей) приходится или на 1167/1168 г. (если мы признаем, что Боняк в Ипать-

евской летописи под 6675 г. появился ошибочно), или на 1171 г., когда летопись недвусмысленно свидетельствует об участии Кобяка в битве на р. Ворскле, где присутствовали и Кончак, и князь Игорь Святославич. Обратим внимание, что примерно тогда же, в 1168 г., в походах против половцев в составе княжеской коалиции Ольговичей уже фигурирует Всеволод Святославич, родной брат Игоря [ПСРЛ, II: 538], который появился на свет между 1152 и 1159 гг.[1]

В поисках прототипа: Всеволод Святославич-старший. — Мы не знаем наверняка, участвовал ли Всеволод в половецких походах, предпринимаемых его старшими братьями в 1167/1168 и 1171 гг. Второй из них, под предводительством Игоря, описан в летописи относительно подробно, и имени Всеволода там нет. Первый же поход (под предводительством Олега Святославича) охарактеризован весьма лаконично: если кто-то из младших братьев и ходил вместе с Олегом, то легко представить, что для их упоминания просто не нашлось места и повода. Необходимо учитывать, однако, что, говоря о князьях, уже называвшихся прежде и заведомо известных аудитории, летописец мог выражаться по-разному. Характерно, в частности, что в 1174/1175 г., когда Олег Святославич начинает военные действия против кузена Святослава Всеволодича и пользуется помощью своих шуринов Ростиславичей, участие обоих его родных братьев (Игоря и Всеволода) в летописи отмечается, но имена их в этом отрезке текста не названы [ПСРЛ, II: 599].

Очевидно, таким образом, что в первой половине 70-х гг. Всеволод уже был полностью вовлечен вместе со своими братьями во внутриродовое противостояние, а скорее всего, и в столкновения с кочевниками. Как же развивалось его взаимодействие со степняками в дальнейшем? В 1180 г. состоялась встреча двух группировок князей Ольговичей, на нее — в качестве их союзников — были приглашены и половцы. Дальнейшие события напоминают тонко разыгранную шахматную комбинацию или танец, состоящий из последовательности сменяющих друг друга сложных фигур.

[1] В 1151 г. родился его старший брат Игорь, а в 1160 г. Всеволода Святославича уже отправляют в Киев, в качестве своего рода заложника, для успокоения киевлян и берендеев, не вполне доверявших его отцу [ПСРЛ, II: 506].

Как уже упоминалось, некоторое время черниговские Ольговичи-кузены были разделены враждой. Теперь же, в процессе борьбы за киевский стол, они стремятся действовать заодно. В этой комбинации принимают участие четыре князя, две пары родных братьев: более могущественные сыновья Всеволода Ольговича и некогда оттесненные на второй план сыновья Святослава Ольговича. Сначала одна пара кузенов, Святослав Всеволодич и интересующий нас Всеволод Святославич, отправляются в поход против суздальского князя, а другая пара, Игорь Святославич и Ярослав Всеволодич, остаются охранять собственное Черниговское княжество. Характерным образом, старший в родовой ветви, Святослав Всеволодич, «и Половцѣ . тако же роздѣли на двоє . половиноу ихъ собою поꙗ . а половиноу ихъ . ѡстави братьи» [ПСРЛ, II: 618]. Затем в процессе военных действий два брата Святославича, Игорь и наш Всеволод, как бы меняются местами: Всеволод возвращается домой, а Игорь отправляется к Друцку и уже оттуда, взяв с собой половцев, идет на помощь кузену Святославу к Вышгороду.

Этот финальный эпизод, едва ли не решающий в деле занятия Святославом Всеволодичем киевского стола, мы уже упоминали выше, в рассказе об имени *Юрий* у кочевников. Именно из этого-то финала мы и узнаем, какие именно половцы помогали Ольговичам в борьбе со Всеволодом Большое Гнездо, в занятии Киева и в охране Черниговского княжества. Это не кто иные, как пребывающие между собой в союзе Кобяк и Кончак. Именно с ними взаимодействует в этом году Всеволод Святославич, и сидя дома, и участвуя в военном предприятии своего кузена. Из общего контекста рассказа очевидно, что Всеволод считается совершенно пригодным «дублером» своего старшего брата Игоря при взаимодействии с этими половецкими силами. Во всяком случае, присутствие одного из них оказывается совершенно необходимым для того, чтобы половцы помогали их старшему кузену Святославу Всеволодичу. Весьма вероятно, таким образом, что у Буй-Тур Всеволода, как и у Игоря, были налажены с кочевниками какие-то собственные, хотя бы отчасти личные взаимоотношения[1], каковых, судя по всему, не было у их кузена.

[1] В такой перспективе естественно возникает вопрос о возможности половецкого свойства́ у Всеволода, однако наши сведения о его браке и детях крайне скудны. В летописи его жена не упомянута вовсе; судя же по показаниям «Слова о полку Игореве», Всеволод, как и его старший брат, был женат не на половецкой

В 1185 г. Всеволод Святославич, как известно, предстает и в Ипатьевской летописи, и в «Слове о полку Игореве» не просто участником похода, предпринятого Игорем против половцев, но чуть ли не более доблестным и отчаянным воином и предводителем отряда, нежели старший брат. Очевидно, что за этими характеристиками стояла предшествующая воинская репутация, актуальная, скорее всего, как для русской, так и для половецкой стороны. Если же мы обратим внимание на уже упоминавшийся некролог этому князю, то без труда убедимся, что Буй-Тур Всеволод и в летописи, и в «Слове» характеризуется примерно одинаково: он явно принадлежит к числу тех русских князей, чьи личные качества (в первую очередь, боевая отвага) выделяют его среди родичей, вопреки тому относительно скромному месту в иерархии, которое он занимал по рождению и в результате независящих от него причудливых общеполитических комбинаций. Помимо всего прочего, Всеволод был раз и навсегда неизменным, надежнейшим во всех военных предприятиях партнером своего родного брата Игоря.

Для молодых половецких вождей вся эта совокупность его индивидуальных свойств и тех функций, которые он выполнял в пограничном Черниговском княжестве, оказывалась, по-видимому, весьма значимой, почетной и весомой. Вполне вероятно поэтому, что приблизительно в ту же пору, когда Кончак вошел в некий личный союз с Игорем и закрепил его в имянаречении сына, Кобяк поступил аналогичным образом по отношению к другому брату, Всеволоду, и именно его крестильное имя дал своему сыну.

Косвенным подтверждением такой версии могут служить, как кажется, и конкретные обстоятельства пленения Всеволода после поражения в походе 1185 г. Как следует из летописи, его уводит в плен Роман Кзич, сын того самого Кзы, в котором можно видеть своеобразного правопреемника плененного и погибшего (?) на Руси Кобяка [ПСРЛ, II: 644]. Если мы допускаем, что именно со Всеволодом убитого половецкого князя связывали особые отношения, то определенная логика просматривается и в том, что право на Всеволода как заложника, а тем более право на выкуп за этого князя, достается тем из половцев, кто перенял властные полномочия Кобяка, или всему клану погибшего.

В летописи ничего не говорится о том, когда и каким образом Всеволоду удалось получить свободу и попасть в Черниговское княжество. Мы знаем только, что в 1191/1192 г. князь уже был дома и вновь отправляется вместе со своим братом Игорем в поход на половцев [ПСРЛ, II: 673]. С другой стороны, неизвестно также, на каких условиях обрели свободу те половецкие князья (в частности, и наш Даниил), кто были пленены незадолго до братьев Святославичей и остались в живых. Не исключено, что возможность Всеволода вернуться на родину была связана с возвращением из русского плена Даниила Кобяковича, нареченного его крестильным именем.

Итак, наиболее убедительная из возможных версий, воспроизводящих обстоятельства имянаречения этого наследника половецких князей христианским именем *Даниил*, на наш взгляд, заключается в том, что он получил крестильное имя того из русских князей, с кем тесно взаимодействовал его отец, и князем этим был не кто иной, как Всеволод, родной брат Игоря / Георгия Святославича.

В поисках прототипа: Всеволод Святославич-младший. — Оставаясь в рамках презумпции надежности показаний Любечского синодика, нельзя не возвратиться еще раз к фигуре другого Всеволода Святославича, уже упоминавшегося двоюродного племянника Игоря и Всеволода, сына князя Святослава Всеволодича. Мог ли этот князь (известный в источниках, в частности, как Всеволод Чермный) послужить антропонимическим прототипом при имянаречении интересующего нас Даниила Кобяковича?

Предположение о его личных равноправных связях с Кобяком наталкиваются на некоторые хронологические трудности. Так, Всеволод Чермный впервые упоминается в летописном тексте под 1179 г., причем это упоминание связано с его вступлением в брак, который связал эту линию рода отнюдь не со степняками, а с польским княжеским домом:

> Въ то же лѣ҃ . приведе С҃ославъ за Всеволода . за середнего сн҃а женоу из Лѧховъ . Казимѣрноу во Филипово говѣньє [ПСРЛ, II: 612].

княжне, а на урожденной Рюриковне. Данных о судьбе его детей в источниках не сохранилось. Не исключено, что упомянутый в Новгородской летописи под 1232 г. трубечский князь Святослав [ПСРЛ, III: 71, 280] приходился ему сыном или внуком, но и об этом невозможно сказать ничего определенного. Тем более неизвестной остается матримониальная жизнь отпрысков Всеволода Святославича (если, конечно, таковые у него были).

Скорее всего, это был первый брак Чермного, и, соответственно, он был еще весьма молодым человеком, а до пленения куда более зрелого Кобяка (и до того времени, когда у половецкого князя могли появиться новые наследники) оставалось всего 6 лет.

Всеволоду Святославичу-младшему не раз приходилось участвовать в походах против половцев вместе с другими Ольговичами[1], а позднее и входить с ними в некие самостоятельные отношения, однако временные рамки всех этих событий существенно сдвинуты по отношению к тем временным границам, в которых жил и действовал Кобяк, — черниговское и киевское княжение Чермного приходится на начало XIII в., когда указанный половецкий правитель давно уже сошел с исторической сцены, а его сын, Даниил Кобякович, успел стать одним из самых могущественных половецких вождей. Иначе говоря, Всеволода и Кобяка скорее можно охарактеризовать как младшего и старшего современников, нежели как равноправных партнеров, личных врагов или личных союзников, а потому едва ли к описанию выбора имени для Даниила Кобяковича приложима модель «наречение в честь отцовского контрагента».

В поисках прототипа: иные модели, иные возможности? — Разумеется, можно вообразить бесконечное множество других причин, по которым половецкий правитель счел бы нужным дать своему сыну крестильное имя Всеволода Святославича Чермного. Он мог пожелать, например, чтобы его собственного ребенка звали так же, как зовут в крещении одного из детей могущественного черниговского князя, однако в такой реконструкции труднее усмотреть какие-либо известные нам образцы. Более того, никаких специфических личных отношений между Святославом Всеволодичем (отцом Чермного) и Кобяком в летописи не просматривается; несравненно теснее, как мы продемонстрировали, данный предводитель половцев был связан со Святославовыми кузенами. Все это заставляет нас «версии племянника» предпочесть изложенную выше «версию дяди».

[1] Так, в 1184 г. Всеволод Святославич участвует в походе «младших» князей, возглавляемом Игорем Святославичем [ПСРЛ, II: 628–629]. Не вполне понятно, был ли этот поход направлен против Кончака, чуть раньше вместе с Глебом Тириевичем совершившим неудачный набег на Русь. Так или иначе, Кобяк в контексте этого похода никак не упомянут.

Это предпочтение, кстати говоря, не требует одностороннего выбора в вопросе о том, кто из двух Всеволодов Святославичей был *Даниилом* в крещении: если показания Любечского синодика верны и имя *Даниил* в самом деле присутствовало в качестве крестильного у представителей черниговского дома той поры, то его обладателями могли быть сразу оба князя, и старший, и младший, — традиция имянаречения у Рюриковичей не только допускала возможность такого совпадения, но до некоторой степени и подталкивала к закреплению подобного рода именных пар, когда определенное христианское имя как бы «склеивалось» с мирским, княжеским[1]. Подобный повтор христианских имен мог бы быть тем более актуален, что в старшем поколении Ольговичей существовала весьма жесткая конкуренция за мирские имена предков, благодаря чему их семьи изобилуют тёзками (так, у каждого из наших Всеволодов Святославичей, например, было по старшему брату *Олегу Святославичу*).

Строго говоря, можно рассматривать и нескончаемое количество возможностей «некняжеского происхождения» имени *Даниил* у половецкого вождя. В самом деле, в летописном повествовании о XII в. мы обнаруживаем нескольких бояр и духовных лиц, обладавших этим именем. Однако ни для одного из них мы не находим в летописи каких-либо свидетельств о соприкосновении с половцами; кроме того, бóльшая часть Даниилов попросту достаточно далеко разнесена с интересующими нас степняками во времени и пространстве, тогда как с Рюриковичами интересующая нас половецкая семья соприкасалась более чем непосредственно. Таким образом, направление заимствования имени от князей русских к князьям половецким представляется наиболее перспективным.

Общие замечания. — Так или иначе, гипотетичности в истории появления имени *Даниил* у половцев остается существенно больше, чем в истории имени *Юрий*, и связано это, на наш взгляд, прежде всего, с бóльшим числом пробелов в наших сведениях о бытовании имени *Даниил* на Руси. Подводя итоги, выделим еще раз, какими фактическими данными и более или менее надежными построениями мы располагаем для воссоздания процесса проникновения этого имени к степнякам и к каким выводам мы приходим.

[1] Об именных парах у Рюриковичей см. с указанием литературы: [Литвина & Успенский 2006: 419–432].

Имя *Даниил* зафиксировано у русских князей в качестве единственного в домонгольское время, но лишь в начале XIII в. До этой поры оно могло фигурировать у Рюриковичей как второе, крестильное имя, однако летописные данные на сей счет отсутствуют. Из показаний Любечского синодика можно заключить, что его носил в крещении кто-то из черниговских князей, обладавший мирским именем *Всеволод* и, возможно, отчеством *Святославич*. В середине и во второй половине XII столетия в родовой ветви Ольговичей мы находим двух князей с соответствующим именем и отчеством.

В эту же пору, во второй половине XII в., в летописи впервые фиксируется имя *Даниил* у половцев. Его носителем был сын Кобяка. Кобяк не только регулярно сталкивался с Ольговичами, но и заключал с ними мирные соглашения и выступал в качестве их союзника в междукняжеском противостоянии. В качестве ближайшего партнера Кобяка с половецкой стороны в летописи фигурирует Кончак. Один из сыновей Кончака носит имя *Юрий*, совпадающее с крестильным именем Игоря / Георгия Святославича Новгород-Северского, родного брата одного князя по имени *Всеволод Святославич* и двоюродного дяди другого. Согласно летописи, Юрий Кончакович и Даниил Кобякович незадолго до битвы на р. Калке одновременно погибают от рук татар, будучи предводителями половецких кланов. Мы полагаем, что выбор имени для Даниила Кобяковича и Юрия Кончаковича — явления взаимосвязанные, и что Даниил назван в честь одного из Ольговичей, вероятнее всего, в честь Всеволода / Даниила (?) Святославича, родного брата Игоря / Георгия.

§ 3: Роман

(*Три половецких наследника с русскими именами. — Половецкие вожди и смоленские Ростиславичи. — Белюк — дед половецкого Романа? — В поисках прототипа: Роман Ростиславич, Роман Игоревич, Роман Мстиславич. — Общие замечания*)

Три половецких наследника с русскими именами. — Имя *Роман* у половцев в древнейших летописных сводах фиксируется лишь единожды, однако самая фигура его обладателя позволяет нам сделать целый ряд предположений относительно причин и обстоятельств появления этого антропонима у кочевников. Правда, исследовательские построения здесь неизбежно наталкиваются на ряд ономастических трудностей, связанных с неоднозначностью в передаче собственно половецких (автохтонных) имен русскими источниками.

Носителем имени *Роман* был не кто иной, как половецкий князь, на чью долю в качестве пленника достался Буй-Тур Всеволод (брат Игоря Святославича Новгород-Северского):

> Игорѧ же бѧхоуть ꙗли Тарголовє моужь . именемь . Чилбоукъ . а Всеволода брата єго . ѧлъ Романъ . Кзичь . а С҃тослава Ѡлговича . Єлдечюкъ въ Вобоурцевичехъ . а Володимєра . Копти в Оулашевичихъ . тогда же на полъчи Кончакъ пороучисѧ . по свата Игорѧ [ПСРЛ, II: 644].

Более или менее очевидно, что отцом Романа, который упомянут в данном перечне, является тот из половецких вождей, кто в предыдущем списке — перечне половцев, которых «собрахомъ на сѧ» князь Игорь [ПСРЛ, II: 641], — назван непосредственно вслед за Кончаком, упомянутым на первом месте:

> …Кончака и Козоу . Боурновича . и Токꙋобича Колобича . и Єтебича . и Терьтробича…

Ясно, что автор статьи Ипатьевского свода, помещенной под 6693 г., полагает, что отец Романа в результате пленения Кобяка оказался среди степняков второй по значимости фигурой после Кончака, а быть может, и лицом, практически ему равным. Как кажется, сходное отношение к статусу этих правителей мы обнаруживаем и в «Слове о полку Игореве».

Таким образом, перед нами вырисовывается контур некой тройственной схемы: христианские имена получают сыновья живших и действующих в одну эпоху могущественных половецких вождей, которые состояли в союзе друг с другом и постоянно — то в мире, то в войне — взаимодействовали с Рюриковичами. В результате, на исторической сцене появляются Юрий Кончакович, Даниил Кобякович и Роман Кзич. Какими путями могло прийти христианское имя к последнему из них?

Половецкие вожди и смоленские Ростиславичи. — К каким гипотезам нас подталкивает обращение к той эпохе, когда

отец Романа впервые появляется в пространстве летописного текста. Это происходит во фрагменте, повествующем о событиях зимы 1166/1167 г., т. е. лишь немногим ранее появления в Ипатьевском своде Кончака. Из этого известия мы узнаем, что Ольговичи совершили удачный поход на половецкие вежи, причем Олег Святославич (по всей видимости, сын Святослава Ольговича) захватил «вежѣ Козинъı . и жену и дѣти . и злато и сребро», а Ярославу Всеволодичу достались «Беглюковъı вежѣ» [ПСРЛ, II: 532]. Очевидно, таким образом, что К(о)за был к тому времени уже человеком семейным, состоятельным и достаточно самостоятельным. Не вызывает сомнений также, что они действовали с Беглюком вместе, обитали относительно близко друг от друга и в данной ситуации заодно противостояли русским князьям. Иными словами, речь в этом фрагменте идет о половцах-союзниках, если не о родичах.

Что касается Беглюка, то исследователями он достаточно убедительно отождествляется с отцом одной из половчанок, выданных замуж за русского князя, которая обозначается в летописи патронимом *Белуковна* [ПСРЛ, II: 521–522]. Брак этой половецкой наследницы состоялся за несколько лет до только что упомянутых событий и был устроен, судя по всему, с вполне конкретной тактической целью — в ознаменование мира киевского князя Ростислава Мстиславича с половцами. Мужем Белуковны в 1162/1163 г. стал один из средних сыновей Ростислава, Рюрик. Очевидно, что не позднее этого времени женился и половец К(о)за, коль скоро через четыре года мы застаем его уже с женой и несколькими детьми. Вероятнее всего, что если до пленения Олегом в его семье успели появиться мальчики, то они были еще совсем маленькими, так как летописец не только не называет их по именам, но и не выделяет их из некоторой общей совокупности детей.

Иначе говоря, на основании двух этих свидетельств можно попытаться реконструировать облик двух половецких князей-союзников. Один из них, К(о)за, отец Романа, к 1167 г. уже достаточно зрел, чтобы иметь независимое (и немалое) имущество и семью, но в то же время он относительно молод, так как сколько-нибудь взрослых сыновей у него, по-видимому, еще нет. Другой же, Беглюк / Белук, заметно старше, поскольку уже к 1162 г. у него была дочь, достаточно взрослая для того, чтобы сделаться невесткой Ростислава Мстиславича[1].

[1] Как известно, у нас нет решительно никаких прямых указаний летописи относительно возраста половецких невест, вступавших в брак с Рюриковичами. Поскольку до вступления в брак их, судя по всему, крестили, то, вероятно, в силу должны были вступать и некие церковные правила, определяющие брачный возраст и препятствующие женитьбе малолетних. Очевидно, впрочем, что в отдельных случаях русские князья могли отступать от этих правил, даже и в браках с урожденными русскими княжнами. Следовательно, подобные компромиссы были возможны и при женитьбах на степных наследницах, однако едва ли часто могла идти речь о свадьбах, совершаемых с младенцами (если такое вообще имело место).

Если говорить о возможном времени появления на свет сына К(о)зы Романа, то ориентировочно можно предположить, что он родился в 60-е или, в крайнем случае, в самом начале 70-х гг., коль скоро к 1185 г. он уже явно действует самостоятельно, хотя еще тесно связан с отцом[1], а в 1166/1167 г., скорее всего, совсем мал (если вообще успел появиться на свет). Представляется возможным даже несколько сузить эти временные рамки и предположить, что верхняя граница предполагаемой даты его рождения пролегает скорее ближе в середине 60-х гг., нежели к самому их началу, поскольку 6–7-летний мальчик вероятнее мог быть обозначен как сын К(о)зы, нежели включен в безличное собирательное именование *дети*[2].

Итак, согласно нашей реконструкции, события развивались следующим образом: когда киевский князь в 1162 г. заключил мир с половцами, один из половецких вождей выдал свою дочь за его сына Рюрика, а другой (младший по возрасту) примерно в ту же пору назвал своего сына *Романом*. *Романом* же, как известно, звался старший из

[1] Напомним, что, с одной стороны, Роман, по-видимому, не только непосредственно участвует в битве с русскими, но и выступает как представитель своего клана, на долю которого достается пленный князь Всеволод. С другой стороны, в перечнях половецких князей из русских летописей Роман не упоминается, из чего можно заключить, что летописцами он не воспринимался как предводитель сколько-нибудь значимого самостоятельного объединения, еще не отделялся ими в полной мере от отца. Об этом, как кажется, может свидетельствовать и то обстоятельство, что в эпизоде пленения русских князей он назван не с помощью собирательного кланового патронимического образования (*Улашевичи*, *Вобурцевичи*, *Тарголовы мужи*), а с личным отчеством — *Роман Кзичь*.

[2] Необходимо, впрочем, учитывать, что никакого твердо установленного протокола для описания семейной иерархии половецкой знати в русской летописной традиции не выявляется. Таким образом, здесь, как и во многих других случаях, нельзя определить точный возраст того или иного половецкого княжича только на том основании, что в летописном рассказе не приводится конкретных имен детей Белука и даже не сказано, что среди них были сыновья. Единственное, что мы можем утверждать с определенной долей уверенности, это то, что среди плененных не было взрослого сына К(о)зы.

сыновей этого киевского князя, родной брат жениха, т. е. не кто иной, как Роман Ростиславич. Связь между заключением мира и свадьбой явно манифестирована в летописи. Естественно допустить, что и имянаречение половецкого княжича также было элементом данной культурно-политической конструкции[1]. Иными словами, договоренность о мире была скреплена тем, что половцы за одного из сыновей отда-

[1] Олег Святославич, один из тех князей, кто напал на половецкие вежи, был зятем Ростислава Мстиславича и, соответственно, шурином Рюрика и Романа (с последним он, вопреки канону, был связан свойствóм даже дважды, см. выше ч. I, гл. 6, с. 108–133 наст. издания). Все эти связи были для Олега Святославича чрезвычайно важны, так как именно свойственники после смерти его родного отца могли хоть в какой-то степени быть гарантами прав Олега на часть черниговских земель в столкновениях с кузенами Всеволодичами (см. выше ч. III, гл. 2 (§ 1), с. 277–280 наст. издания). Соответственно, должны были существовать какие-то специфические причины, чтобы Олег отправился в поход против того, с кем Ростислав был связан не только миром, но и браком своего сына. Причин такого рода могло быть, по-видимому, несколько, но одна из них представляется нам наиболее интересной. Перечислим их, однако, по порядку. С одной стороны, в целом союзы с половцами, даже и скрепленные свадьбой, не всегда были прочными, и мы знаем случаи, когда Рюриковичам довольно скоро случалось воевать со своими тестями-кочевниками. С другой стороны, для прерывания этого союза Ростислава и его семьи со степняками могли существовать и вполне конкретные причины, аннулировавшие взаимные обязательства. Во-первых, не исключено, что поход состоялся непосредственно после смерти Ростислава Мстиславича (здесь возможны различные интерпретации последовательности изложения событий в Ипатьевском своде, поскольку в статьях, помещенных под 6676–6677 гг., обнаруживается ряд хронологических противоречий; ср.: [Бережков 1963: 177–180]). В таком случае, русские князья могли руководствоваться тем, что половцы, судя по летописным данным, со смертью киевского князя традиционно считали себя свободными от всех заключенных с ним договоров. Олег и Ярослав, тем самым, стремились предотвратить их нападение или с помощью нападения собственного обеспечить необходимость новой выгодной договоренности с кочевниками. Но могла быть и иная причина для агрессии черниговских Рюриковичей, в которой столь непосредственно участвовал Олег Святославич. Мы знаем, что у его шурина Рюрика Ростиславича брак с половчанкой (Белуковной) не был единственным. Позднее его женой стала Анна, дочь Юрия Ярославича Туровского. Нам уже приходилось высказывать предположение, что произошло это достаточно рано, и второй брак Рюрика был заключен относительно вскоре после смерти отца [Литвина & Успенский 2012: 135–169]. В таком случае, он с большой вероятностью овдовел как раз незадолго перед кончиной Ростислава Мстиславича, и, соответственно, зимой 1166/1167 г. вся родня Ростислава Мстиславича уже не была сдерживаема узами свойствá в своих антиполовецких предприятиях.

ли княжну, а в честь другого, старшего, нарекли одного из княжичей. Роман Ростиславич почти непременно должен был присутствовать на свадьбе брата, если не на предшествующих ей мирных переговорах, и, не женясь на половчанке сам, получил подтверждение своего участия в союзе с половцами. Молодой же половецкий вождь К(о)за, в свою очередь, демонстрировал связь своей семьи со старшим сыном киевского князя, уже сидевшим к тому времени на столь значимом столе, как смоленский.

Именно такая реконструкция представляется нам наиболее правдоподобной. Однако чтобы оценить ее надежность, необходимо было бы восстановить всю историю взаимоотношений К(о)зы с Рюриковичами и со своим единоплеменником Беглюком (Белуком), но именно здесь нас подстерегают трудности, в чем-то сходные с теми, что возникали при обзоре биографии Кобяка, и трудности эти куда более значительны.

Белюк — дед половецкого Романа? — В исследовательской литературе можно встретить утверждение, что К(о)за был не просто соседом и союзником Беглюка (Белука), но его родным сыном. Соответственно, этот Белюк оказывается не кем иным, как братом Белуковны и шурином Рюрика Ростиславича. Такое рассуждение как нельзя лучше подходило бы к нашей гипотезе об обстоятельствах имянаречения сына К(о)зы: получается, что половец дает имя мальчику попросту в честь новоприобретенного близкого свойственника.

К сожалению, однако, утверждение о столь близком родстве между К(о)зой и Беглюком (Белуком) трудно признать бесспорным. Обыкновенно оно приводится без какой-либо специальной аргументации, но с привычными ссылками как на те фрагменты Ипатьевского свода, где упомянут половецкий князь по имени *К(о)за* или *Гза* [ПСРЛ, II: 532, 641, 646], так и на те, где фигурирует половецкий князь по имени *Изай Билюкович* [ПСРЛ, II: 632][1] или *Изай Бурчевич* [ПСРЛ, II: 675][2].

[1] Эта форма, «Билюковича Изаѧ», фигурирует в Ипатьевской летописи в уже цитировавшемся нами списке половцев, плененных в 1184 г. ([ПСРЛ, II: 632]; см. выше ч. III, гл. 2 (§ 2), с. 286–287 наст. издания). В варианте же Лаврентьевского свода сходное имя присутствует без патронима: «…руками ꙗша… Данила . Башкърта . Тарсука . Изу . Глѣба Тирьєвича…» [ПСРЛ, I: 395].

[2] Ср.: [Федоров-Давыдов 1966: 226; Баскаков 1971: 39, 43–44; Баскаков 1985: 82–84, 129, 147, 152–153; Каган 1995: 23–24].

Таким образом, имплицитно, без необходимого обсуждения, производится отождествление К(о)зы / Гзы и Изая, а заодно Бурновичей и Бурчевичей, притом что авторы других исследований столь же имплицитным образом исходят из того, что Изай Билюкович и К(о)за / Гза — это два разных человека[1].

Не располагая доводами этимологического характера для решения вопроса об отождествления К(о)зы / Гзы и Изаи / Изы, мы поневоле вынуждены обратиться к повествовательно-историческому контексту, в котором эти имена возникают. Однако и он, как кажется, не позволяет сколько-нибудь основательно утверждать, что К(о)за / Гза и Изай / Иза — это одно и то же лицо и, соответственно, что К(о)за был сыном Билюка (Беглюка).

В самом деле, Изай Билюкович был пленен летом 1184 г., К(о)за же весной 1185 г. не только свободен, но готов сражаться с отрядами Игоря Новгород-Северского [ПСРЛ, II: 641]. Если мы пытаемся отождествить Изая и К(о)зу, столь скорое освобождение этого условного персонажа нельзя назвать невозможным, но следует признать маловероятным. Во всяком случае, другие половецкие князья, попадавшие в плен к русским, если и упоминаются на страницах летописи вновь, то через куда более значительный промежуток времени. В списке пленных 1184 г., представленном в Лаврентьевской летописи, имя *Иза* фигурирует отнюдь не на первых позициях [ПСРЛ, I: 395][2], а в рассказе летописи Ипатьевской о переговорах 1193 г. половецкий князь Иза назван после своего брата Осолука [ПСРЛ, II: 675]; вероятнее, таким образом, что Изай / Иза был лишь одним из сыновей Билюка (Белука, Беглюка) и притом — не самым старшим. Все это, скорее, наводит на мысль, что то положение, которое в глазах русского летописца он занимал среди половцев, нетождественно положению могущественного К(о)зы. Иными словами, эти повествовательные фрагменты, скорее всего, все же свидетельствуют против того, чтобы видеть в К(о)зе и Изае одно и то же лицо.

Что же касается прочих аргументов, которые мы могли бы почерпнуть из летописного контекста относительно столь близкого родства Билюка и К(о)зы, то они, в сущности, сводятся к одному и при этом

[1] См.: [Pritsak 1967: 1619–1620; Golden 1979–1980: 304, 308; Осіпян 2005: 10].

[2] С другой стороны, в Ипатьевской летописи Изай Билюкович упомянут сразу после Кобяка Карлыевича с двумя сыновьями [ПСРЛ, II: 632].

достаточно неоднозначному, а именно — к уже разбиравшемуся нами факту их совместного упоминания в качестве потерпевших в результате похода Ольговичей 1166/1167 г. В самом деле, хотя эти два лица названы вместе, порядок их упоминания (сначала К(о)за, потом Билюк), а отчасти и отсутствие каких-либо замечаний об их родстве скорее расшатывают, нежели укрепляют утверждение о том, что один приходился другому сыном.

Разумеется, приведенные здесь соображения не обладают статусом окончательных выводов: установление надежной этимологической связи между именем *К(о)за* / *Гза*, с одной стороны, и *Изай* / *Иза*, с другой, или обнаружение соответствующих генеалогических данных в независимых источниках вполне могло бы их перевесить. Однако в отсутствие таких исследований и свидетельств мы вынуждены исходить лишь из тесного союзничества К(о)зы и Билюка, а не из ближайшего родства между ними.

На наш взгляд, у нас и без того достаточно оснований, чтобы рассматривать Романа Ростиславича Смоленского как наиболее вероятный прототип при наречении Романа Кзича. Будь отцовство Билюка по отношению к К(о)зе сколько-нибудь верифицируемо, нам, пожалуй, и не потребовались бы какие бы то ни было альтернативные версии имянаречения половецкого княжича династическим именем Рюриковичей. При существующем же уровне наших сведений необходимо учесть и другие модели антропонимического заимствования, но, соответственно, рассмотреть и другие кандидатуры на роль антропонимического донора.

В поисках прототипа: Роман Ростиславич, Роман Игоревич, Роман Мстиславич. — Как нам уже приходилось отмечать прежде, гипотетически половецкий наследник мог быть не только наречен именем взрослого союзника своего отца, но и — как бы в подражание этому союзнику — именем его сына, хотя вполне надежных образцов воплощения такой модели в нашем распоряжении нет. Тем не менее, нельзя забывать, что у князя Игоря Святославича, столь тесно взаимодействовавшего с половцами (именно его родного брата, Всеволода, уводит в плен Роман Кзич), один из сыновей носил имя *Роман*. Точное время появления этого Игоревича на свет неизвестно, назван же он был с большой вероятностью именно в честь Романа

Ростиславича, князя смоленского и киевского[1]. Первое упоминание нашего Романа Игоревича в летописи относится к 1183 г. [ПСРЛ, II: 629], при этом в неудачном походе своего отца 1185 г., насколько мы знаем, участия он не принимал, а его активная политическая карьера связана с началом XIII столетия (закончилась она, как известно, весьма несчастливо: Роман был повешен галичанами) [ПСРЛ, II: 718, 720, 727].

Могло ли быть именно с ним связано наречение Романа Кзича? С одной стороны, благодаря целой системе отношений, которая соединяла Ольговичей (и прежде всего Игоря, его отца) с половцами, такое предположение кажется весьма соблазнительным. С другой стороны, есть аргументы и против данной кандидатуры. Особую роль

[1] Обратим внимание, что черниговская ветвь дома Рюриковичей выдерживала достаточно длительную паузу в употреблении имени *Роман*. В самом деле, мы знаем, что так звался один из братьев Олега Святославича, внуков Ярослава Мудрого. Однако мы не обнаруживаем ни одного *Романа* ни среди сыновей Олега, ни в числе его родных племянников. Имя *Роман* не встречается и у родных Олеговых внуков. В этом поколении, правда, *Роман* есть среди потомков его младшего брата, Ярослава Святославича, но о нем нам еще предстоит упомянуть позднее. Что же касается Ольговичей как таковых, то здесь только Роман Игоревич, Олегов правнук, оказался первым обладателем этого имени после своего двоюродного прадеда, Романа Святославича. Нужны были некие особые, неведомые нам причины, чтобы образ этого непрямого и не слишком влиятельного родича, погибшего чуть не за столетие до рождения ребенка, мог сыграть главную роль в наречении Романа Игоревича. Самый прецедент использования имени *Роман* в родовом именослове черниговцев, разумеется, учитывался. Не исключено, что какую-то роль играло то обстоятельство, что отдаленный предок, Роман Святославич, был первым русским князем, павшим от рук половцев [ПСРЛ, II: 195–196]. Более существенно, однако, что родство и особенно — свойствó с Ростиславичами (в первую очередь, с Романом), не будучи для Игоря, отца мальчика, слишком близким, играло и в его собственной жизни, и в жизни его семьи чрезвычайно важную политическую роль. Недаром Игорь везет свой саигат, добытый после победы над Кончаком и Кобяком, именно Роману и Рюрику Ростиславичам (ср. выше ч. III, гл. 2 (§ 1), с. 266–269 наст. издания). С тех пор, как его старший брат и глава семьи женился на сестре этих князей, Агафье Ростиславне, сперва его тесть, а затем и шурья сделались единственными гарантами прав и династических надежд всех братьев (Олега, Игоря и Всеволода) в Черниговском княжестве. Эти права и надежды долгое время ущемлялись их кровными родичами, кузенами Всеволодичами (подробнее об этом см. выше ч. I, гл. 6, с. 124–126 наст. издания). Характерно, что именно в середине 70-х гг., а именно — в 1174/1175 г., шурья Ростиславичи оказывают значительную военную поддержку Олегу Святославичу с братьями в их распре со Святославом Всеволодичем [ПСРЛ, II: 599].

здесь играет временнóй фактор, при том, что как раз точными хронологическими данными относительно появления на свет двух княжичей (русского — Романа Игоревича и половецкого — Романа Кзича) мы, как уже отмечалось, не располагаем.

В самом деле, чтобы говорить о модели подражания («половецкий князь называет своего сына тем же именем, которое недавно было дано сыну его партнера-Рюриковича»), следует допустить, что половецкий наследник появляется на свет хотя бы немногим позже, чем русский.

Предположительные рамки появления на свет Романа Игоревича определяются установленными датами рождения его братьев. Старший из них, Владимир, появился на свет в 1170 г. Непосредственно друг за другом, в 1174/1175 и 1176/1177 гг., родились Олег и Святослав. Соответственно, дата рождения Романа может быть отнесена к промежутку между с 1171 г. по начало 1174 г. или приурочена не ранее чем к концу 1177 г.

Первый вариант датировки (1171–1174 гг.) кажется более предпочтительным, хотя и не бесспорным. Действительно, в 1183 г. Роман уже назван по имени в качестве участника военного похода своего отца, Игоря, хотя и не исполняет там никаких самостоятельных функций. Можно ли представить в такой роли мальчика, которому не более 6 лет отроду? Полностью исключить подобной возможности нельзя, но все-таки вероятнее, что к 1183 г. Роман был старше.

Если обратиться к событиям XIII в., то также складывается впечатление, что Роман был старше Святослава Игоревича, а не младше, — именно он оказывается непосредственным соперником своего брата Владимира за галицкое княжение; кроме того, в летописных перечнях князей Игоревичей, позднее повешенных в Галиче, он назван перед Святославом [ПСРЛ, II: 727]. Иначе говоря, реконструкция, согласно которой он появился на свет в первой половине 70-х гг., несколько убедительнее вписывается в хронологическую канву упоминаний о нем, однако канва эта сама по себе чересчур прорежена, чтобы можно было делать решительные выводы.

Некоторая зона пересечений тех гипотетических временных отрезков, когда Роман Игоревич и Роман Кзич могли появиться на свет, в принципе существует. Можно допустить, что русский княжич родился в 1171–1172 гг., а половецкий — непосредственно вслед за ним. В таком случае, в 1185 г. оба находились на некоторой условной грани княжеского совершеннолетия (говоря попросту, им было по 13–14 лет).

Можно ли считать такой возраст достаточным для того, чтобы юному половецкому воину было предоставлено право участвовать в разделе пленных, да еще и заполучить столь важное лицо, как князь Всеволод Святославич? Окончательного ответа на этот вопрос нет, но мы все же склонны считать, что Роман Кзич для осуществления подобных функций должен был быть несколько старше, даже если в этом разделе добычи он являлся не более как представителем своего отца и его клана. В таком случае, однако, его имянаречение уже никоим образом не может быть связано с фигурой Романа Игоревича.

Еще более существенным аргументом нам представляется тот факт, что в летописи вплоть до 1185 г. мы не находим упоминаний о каких-то специфических столкновениях или контактах Игоря с К(о)зой. По-видимому, они встречаются напрямую лишь с того момента, когда со сцены сошел Кобяк, и К(о)за (по крайней мере, на время) сделался чем-то вроде его функционального заместителя в русских летописях, а скорее всего — и в половецкой структуре власти. Не кажется ли более вероятным, что, несмотря на всю изменчивость и текучесть такого рода отношений, К(о)за скорее принадлежал к крылу кочевников, сотрудничавших с линией потомков Мстислава Великого (чьим внуком был Роман Ростиславич), а не Олега Святославича?

В связи с этим нельзя не упомянуть еще одного представителя Мстиславова дома, чей образ, в принципе, тоже мог играть роль в выборе имени для половецкого княжича. Речь идет о двоюродном племяннике Романа Ростиславича, Романе Мстиславиче, много лет спустя сделавшимся князем галицким. Сразу же следует отметить, что при наречении самого Романа Мстиславича, скорее всего, также ориентировались именно на то, какое имя носил его двоюродный дядя. Эта ориентация возникла в результате сложного сочетания союзничества и соперничества, которое связывало отцов двух Романов — Ростислава Мстиславича и его отважного и до поры до времени весьма успешного племянника Мстислава Изяславича (см. подробнее: [Литвина & Успенский 2012: 54–56]).

Когда старший из них, Ростислав Мстиславич, умер (как мы помним, это случилось как раз в ту же пору, когда Олег и Ярослав ходили на К(о)зу и Билюка), Мстислав Изяславич занял опустевший киевский стол, а его сын Роман вскоре был отправлен на стол новгородский [ПСРЛ, II: 543; III: 33, 220], причем в то время Роман был князем еще достаточно юным («дѣтескъ бяше», по выражению новгородского летописца). Нельзя исключать полностью, что Роман Кзич был назван не по взрослому Рюриковичу, с чьей семьей его отец заключил мирный договор, но его наречение было своеобразным актом подражания действиям Мстислава Изяславича: Мстислав нарек своего сына *Романом*, и то же самое было проделано в отношении наследника К(о)зы, появившегося на свет несколько позднее этого русского княжича[1]. Существенно при этом, что ни о каких особенных связях Мстислава Изяславича с К(о)зой не упоминается, хотя Мстислав немало имел дел с половцами как таковыми, и сражаясь против них и, соответственно, вступая с ними в мирные договоренности[2].

[1] Когда это могло произойти? Сколь ни молод был Роман Мстиславич, когда стал новгородским князем, естественно предположить (что и делается исследователями), что ему все же было около 10–12 лет (ср. летописную ремарку относительно того, что сидевший в Переяславле князь Владимир Глебович «бѧшеть малъ», содержащую при этом точное указание его возраста — 12 лет [ПСРЛ, I: 358; II: 555]). Соответственно, Роман, в таком случае, родился в конце или даже во второй половине 50-х гг. XII в. Как кажется, Роман Кзич не должен быть сильно моложе него, в противном случае, подражание К(о)зы Мстиславу Изяславичу в наречении детей теряло бы смысл. При таком взгляде предположительная граница появления на свет Романа Кзича сдвигается к рубежу 50-х — 60-х гг., что представляется нам менее убедительным, но не полностью невозможным.

[2] В династии Рюриковичей есть и еще один обладатель имени *Роман*, упоминание которого в летописи по времени пересекается с единственным упоминанием Романа Кзича: это Роман Глебович Рязанский, сын Глеба Ростиславича. Как уже упоминалось, его отцу случалось пользоваться военной поддержкой половцев, и не исключено, что бабкой Романа (матерью Глеба Ростиславича) была половчанка. Однако в этой семейной линии русских князей на время жизни Романа Глебовича, скорее всего, приходится этап затухания половецких связей, нежели их расцвета. Матерью Романа Глебовича была отнюдь не половчанка, но русская княжна, дочь Ростислава Юрьевича (см. ниже ч. III, гл. 2 (§ 4), с. 316–317 наст. издания), а сам он был женат на одной из дочерей Святослава Всеволодича [ПСРЛ, II: 614; I: 387], в летописи мы не находим свидетельств, чтобы лично ему помогали кочевники. Он был старшим из братьев Глебовичей, и, по всей видимости, именно его отец в 1172 г. посылает с дружиной в составе экспедиции трех княжеских сыновей на болгар [ПСРЛ, II: 565]. Соответственно, к этому времени Роман Глебович был не моложе, но, скорее, даже старше Романа Мстиславича, что делает не очень убедительным предположение о том, что отец Романа Кзича мог подражать при наречении сына отцу Романа Глебовича. Это тем менее вероятно, что никаких данных, прямых или сколь угодно косвенных, о контактах Глеба и К(о)зы в нашем распоряжении нет. Таким образом, хотя мы и не можем категорически отрицать самую возможность связи между Романом Рязанским и половецким Романом, проследить эту связь на основании летописных данных практически не получается.

Общие замечания. — В целом любопытно, что за всеми предложенными нами вариантами антропонимического прототипа при имянаречении Романа Кзича так или иначе просматривается фигура Романа Ростиславича Смоленского. Послужил ли он непосредственным донором имени (что мы считаем наиболее вероятным) или сделался таковым опосредованно, через одного из своих младших родичей, Ольговича или Мстиславича, получивших имя *Роман* в его честь или ради будущей с ним конкуренции, это обстоятельство в любом случае представляется нам достаточно симптоматичным: именно Роман Ростиславич в этот период на Руси был, если так можно выразиться, титульным обладателем данного имени, прекрасно известным кочевникам, а потому и в половецкой среде, по всей видимости, имя *Роман* давалось не без оглядки на него. Еще раз подчеркнем также особую значимость того обстоятельства, что у трех половецких князей, располагавших столь значительными властными привилегиями в 70-е – 80-е гг. XII столетия и потому оказывавшихся столь опасными противниками и привлекательными союзниками для князей русских, мы обнаруживаем по сыну с русским именем, и одним из таких сыновей был наш Роман Кзич.

§ 4: Глеб

(*Место князя по имени **Глеб** в половецком родовом мире. — Функция имени **Глеб** у Рюриковичей. — В поисках прототипа: Глеб Юрьевич. — В поисках прототипа: Глеб Ростиславич. — В поисках прототипа: потомки Всеволодко Городенского. — Потенциальные союзники отца половецкого Глеба. Иерархия возможностей. — Иные модели имянаречения. — Общие замечания*)

Место князя по имени *Глеб* в половецком родовом мире. — Среди половцев домонгольского времени мы находим одного обладателя имени *Глеб*: это некий Глеб Тириевич, без сомнения, принадлежавший к числу половецких князей. В древнейших летописях он упомянут дважды. В Ипатьевском своде сообщается, что он вместе с Кончаком возглавляет неудачный набег на Дмитров в феврале 1184 г.:

Въ лѣт҇ . ҂ѕ҃ . . х҃ . . ч҃а . м҇ца . февраля въ . к҃г . въ . а҃ . ю . не҇лю поста . придоша Измалтяне . безбожнѣи Половци . на Роусъ воєвать . ко Дмитровоу . съ оканьнъı҇ . Кончакомъ . и съ Глѣбомъ Тириєвичемь [ПСРЛ, II: 628].

Согласно показаниям Лаврентьевского свода, летом того же года Глеб Тириевич оказывается в числе половецких правителей, которые вместе с Кобяком попали в плен в результате знаменитого совместного похода Святослава и Рюрика [ПСРЛ, I: 395] (в соответствующем перечне пленных по Ипатьевскому своду его имя отсутствует)[1].

Следует отметить, что оба раза половецкий князь по имени *Глеб* фигурирует с отчеством, из чего можно заключить, что для летописцев актуальна его связь с отцом или с определенным кланом. Характерно, например, что отчество многократно поминаемого Кончака вовсе не встречается в летописи[2], а Кобяк назван с патронимом лишь еди-

[1] «Кобяка руками яша . Ѡсолука . Барака . Тарга . Данила . Башкърта . Тарсука . Изу . Глѣба Тирьєвича . Єксна . Алака . и Толгъıя . Дв҃двча тести с съıно҇ . Тѣтия с съıно҇ . Кобякова тьсти Турундая».

[2] Как известно, по совокупности данных, почерпнутых из Ипатьевского свода и грузинских источников, может быть составлена некая генеалогия Кончака, не лишенная, впрочем, известной доли гипотетичности (ср. Рис. 2 на с. 283 наст. издания). В знаменитой легенде о емшане, помещенной в Галицко-Волынской летописи под 6709 г., сообщается, что Кончак происходит от Отрока («…ѿ него родившюся Кончакоу») [ПСРЛ, II: 716], прожившего значительную часть жизни на чужбине. В свою очередь, Отрок, как уже упоминалось, отождествляется с Атраком, сыном Шарагана, тестем грузинского царя Давида Строителя. Можно было бы считать, что Кончак попросту был родным сыном Отрока и внуком Шарукана, однако такая интерпретация совокупности хронографических известий наталкивается на определенные сложности. В самом деле, брак дочери Отрока и грузинского царя, вероятнее всего, приходился на конец 10-х гг. XII в. и уж во всяком случае был заключен до 1125 г., когда Давид скончался. Кончак же впервые упоминается в русских источниках под 1170 г., а в 1185 г. еще остается активно действующим предводителем половецкого войска. Его сын Юрий погибает в битве не ранее 20-х гг. XIII столетия. Все эти элементарные подсчеты демонстрируют, что Кончак мог быть скорее не сыном, а потомком (внуком?) Отрока. Обратим внимание, что в летописном узусе формулировка *родитися от…* допускает такое расширительное толкование, как «принадлежать к чьему-либо роду, быть близким кровным родственником кого-либо», подобно тому как *родитель* может означать просто «родственник», а *родитися* — «произойти, появиться» [Срезневский, III: 132, 134]. Выразителен в этом отношении летописный пример, где родственная связь дядьев и племянника описывается следующим образом:

нужды. Точной причины такой актуализации отчества в случае с Глебом Тириевичем мы не знаем; можно предположить, что это был хотя и молодой, но взрослый и относительно самостоятельный половецкий вождь, чей отец был еще жив. Впрочем, также вполне вероятно, что подобным способом могла подчеркиваться связь Глеба с неким уже умершим, но по каким-то причинам хорошо известным составителям летописи персонажем.

Так или иначе, нам представляется, что Глеб Тириевич, скорее всего, был князем, по статусу еще не равным Кончаку (об этом свидетельствует, на наш взгляд, и место его имени в перечне пленных), но при этом он был несколько старше и независимее, нежели Даниил Кобякович и Юрий Кончакович: ни Юрий, ни Даниил в ту пору еще не фигурируют в качестве самостоятельных действующих лиц. Кем бы ни был отец нашего половецкого Глеба, летопись не сохранила о нем решительно никакой информации, что, разумеется, затрудняет любые построения относительно времени, причин и обстоятельств наречения его сына. Единственное, что мы можем предположить, — что этот половец сотрудничал с Кончаком.

Функция имени *Глеб* у Рюриковичей. — Что же касается бытования антропонима *Глеб* на Руси, то к середине XII в. это языческое по происхождению имя, несомненно, совмещало у русских князей функции родового и крестильного. Во всяком случае, ни для одного из многочисленных *Глебов* того времени не известны какие-либо другие христианские имена. Более того, все имена первых князей-мучеников, Бориса / Романа и Глеба / Давида, могли распределяться между братьями в одной и той же семье, как это имело место, например, с детьми Всеслава Брячиславича Полоцкого и отчасти Святослава Ярославича Черниговского, причем статус единственных приобрели как родовые, так и крестильные имена этих святых [Литвина & Успенский

«сн҃овець ваю С҃ославъ . акы ѿ ваю роженъ . передъ вами не творитсѧ правъ . но кланѧетьсѧ и млсти ваю хочеть» [ПСРЛ, II: 392]. Не исключено, впрочем, что Отрок скончался в весьма преклонных годах, а Кончак был его поздним ребенком. Обе эти версии (потомок или поздний сын половецкого князя, проведшего долгие годы за пределами Руси), как кажется, согласуются с тем, что Кончак не именуется в Киевской летописи с отчеством. Когда Кончак появился на Руси, имя его отца могло быть или уже не слишком актуальным для летописца, или попросту оказаться для него неизвестным.

2006: 112–115]. Не менее существенно также, что имя *Глеб* довольно рано стало появляться на Руси у лиц некняжеского происхождения, что, как уже упоминалось, было совершенно нормально для христианских имен, принятых в династии, но практически исключалось для имен мирских.

Можно было бы сказать, что для Рюриковичей имя *Глеб* занимало ту же культурную нишу, что и имя *Юрий*, однако это, судя по источникам, не совсем так. Дело в том, что мы не знаем случаев, чтобы оно давалось в качестве крестильного при родовом мирском. Здесь налицо некоторая асимметрия в использовании именований братьев-мучеников, имеющая место то ли в реальности, то ли в наборе наших сведений о ней, ведь для имени *Борис* картина выглядит иначе. С одной стороны, *Борис*, как уже говорилось, охотно используется в династии в качестве единственного, совмещающего функции родового и крестильного, а с другой, хорошо известны примеры, когда оно в ту же эпоху давалось только в качестве крестильного, наряду с мирским (ср. *Святослав / Борис* <Ольгович>, *Мстислав / Борис* <Романович>). Для имени же *Глеб* нет летописных данных, чтобы оно фигурировало в качестве второго имени князя.

В поисках прототипа: Глеб Юрьевич. — Таким образом, пытаясь отыскать среди Рюриковичей кандидатов на роль антропонимического донора при имянаречении Глеба Тириевича, мы, в любом случае, должны ограничиться кругом тех лиц, которые носили имя *Глеб* в качестве единственного. Если выстраивать некую аналогию с выбором имени для Юрия Кончаковича и привлекать модель наречения в честь русского князя, тесно соприкасавшегося с половцами, прославленного в военном искусстве и заключавшего с кочевниками мирные договоры, то в качестве такого прототипа, в первую очередь, мог бы рассматриваться князь переяславский и киевский Глеб Юрьевич, сын Юрия Долгорукого, внук Мономаха.

Глеб, по всей видимости, принадлежал к числу сыновей Долгорукого, рожденных в его браке с половчанкой, и, соответственно, был, как и многие из его братьев, наполовину половцем. С тех пор как их отец вступил в борьбу за киевское наследство, Юрьевичи, естественным образом, регулярно оказывались вовлечены в такие ситуации, когда Юрий Долгорукий приводил себе на помощь этих кочевников. Но даже и на таком фоне Глеб Юрьевич выделялся среди прочих братьев интенсивностью своих половецких контактов.

Сложилось так, что после смерти брата Ивана именно Глеб чаще всего непосредственно взаимодействует со Святославом Ольговичем, союзником своего отца [ПСРЛ, II: 339, 342, 355], а тот, в свою очередь, весьма охотно эксплуатирует собственные родственные связи со степняками, втягивая в войну своих «диких уев», дядьев с материнской стороны, которые приходят на помощь ему и его партнерам. В первой половине 50-х гг. Глеб и вовсе превращается в своеобразного посредника между Рюриковичами и половцами: за военной поддержкой или для заключения мира его посылает к кочевникам то отец, то несколько неожиданный новый союзник, Изяслав Давыдович, и всякий раз молодому Глебу в нужный момент удается привести на помощь старшим родичам весьма значительные половецкие силы [ПСРЛ, I: 341–343; II: 468, 471, 474].

Мы не знаем, на ком Глеб Юрьевич был женат первым браком, но самая эта неизвестность, а также и то обстоятельство, что к степнякам всякий раз посылают именно его, позволяют предположить, что не только его матерью, но и первой женой, возможно, была половчанка. Быть может, именно таким браком объяснялась его возникшая, независимо от отца, консолидация с Изяславом Давыдовичем, претендовавшим, как и Юрий Долгорукий, на киевский стол. Изяслав много и часто пользовался поддержкой кочевников, не исключено, что и его жена была половецкой княжной[1]. Овдовев [ПСРЛ, I: 341], Глеб женится именно на дочери Изяслава Давыдовича [ПСРЛ, II: 482], и если допущение о половецком браке Изяслава верно, то с этим новым матримониальным союзом половецкие связи Глеба еще раз обновляются и расширяются.

Так или иначе, можно сказать, что в первую половину жизни Глебу Юрьевичу приходится взаимодействовать с самыми разными ветвями половецкой знати — как с собственными родичами по матери, так и с родней Святослава Ольговича, а заодно с теми, кто помогал Изяславу Давыдовичу. Не исключено, кстати говоря, что в распре второй половины 40-х — 50-х гг. одной из подспудных основ внутрикняжеских коалиций могло служить наличие близкого половецкого родства, и Глеб, в таком случае, оказывался в самом центре пересечения этих русско-половецких линий притяжения.

[1] Подробнее об этой возможности см. выше ч. III, гл. 2 (§ 6), с. 345–347 наст. издания.

Бóльшая часть его княжеской карьеры вплоть до конца 60-х гг. была связана с переяславским столом, что, разумеется, делало для него контакты с кочевниками географически неизбежными. Конечно же, Глебу приходилось не только пользоваться их помощью, но так или иначе воевать с ними. Во всяком случае, во второй половине 60-х гг. он участвует в двух больших общекняжеских антиполовецких экспедициях [ПСРЛ, II: 528, 539].

Если мы исходим из относительной молодости его половецкого тёзки, Глеба Тириевича, то более всего нам интересна мера соприкосновения Глеба Юрьевича с половецким миром именно в середине и во второй половине 60-х гг. XII в., т. е. в ту пору, когда отец этого половца мог дать своему сыну русское династическое имя. Как явствует из летописи, статус Глеба Юрьевича в кочевом мире (по крайней мере, в определенной его части) был в это время, по-видимому, еще выше, чем прежде. Вступив в союз против Мстислава Изяславича, он посылает на помощь его противникам не только своего тысяцкого с неким отрядом, но и берендеев, а также и «диких половцев». Позднее же, когда Мстислав Изяславич уходит из Киева, а пребывание здесь кочевников становится небезопасным, Глеб Юрьевич своею властью отправляет половцев обратно[1].

Кто же были те «дикие половцы», которые к 1170 г. были связаны с Глебом настолько, что он мог не только непосредственно, но и заочно распоряжаться их передвижениями? Прежде всего, к ним относятся не кто иные, как Кончак и его родичи:

> и Глѣбъ кн҃зь прислалъ бѧше Григорѧ тысѧчкаго своего . с помочью . и Половци диции Концакъ с родомъ . своимъ . и свои Берендичи Бастѣева чадь [ПСРЛ, II: 548].

Приведенное нами свидетельство — это первое упоминание Кончака в русском летописании. Довольно скоро, как раз после смерти Глеба Юрьевича или — самое раннее — во времена его болезни, главными противниками и союзниками рода Кончака на долгие годы станут

[1] «И поиде Мьстиславъ ѿ Киева . второе недѣли по велици дн҃и в понедѣлникъ и бы҃є вѣсть Дв҃дови . ѡже Мьстиславъ пошелъ . и посла Володислава Лѧха с Половци . по нѣмь . и постигоша ꙗ оу Борохова . и ту стрѣлѧвшесѧ с ними възвратишасѧ . Половци же воротишасѧ ѡпѧть . много створивше зла . люди повоевоваша . тогда же Глѣбъ пусти Половци въ вежѣ» [ПСРЛ, II: 549–550].

Ольговичи, в первую очередь, сыновья Святослава, а отчасти и Всеволода, но из только что процитированного фрагмента очевидно, что изначальным русским партнером этой группы половцев был именно Глеб. Эти данные особенно важны, если принять во внимание следующее: единственное развернутое свидетельство о Глебе Тириевиче (где он фигурирует не в общем перечне, а как самостоятельно действующее лицо) сообщает, что союзником нашего половецкого Глеба (очевидно, старшим) был именно Кончак.

Принадлежали ли он и его отец непосредственно к Кончакову роду, который был на рубеже 60-х — 70-х гг. отправлен Глебом Юрьевичем на Киев, сказать наверняка, разумеется, невозможно. Так или иначе, они составляли вместе с Кончаком одно крыло половцев, а как мы убедились выше, именно оно весьма тесно взаимодействовало в свое время с Глебом Юрьевичем.

Необходимо учесть также, что к концу 60-х гг. сын Долгорукого по старшинству и своему положению в княжеской иерархии, безусловно, рассматривался как один из претендентов на киевский стол, а после изгнания Мстислава Изяславича он и получил этот стол при поддержке брата, Андрея Боголюбского. Как известно, немедленно после его вокняжения в Киеве сразу две группировки половцев изъявили готовность заключить с Глебом Юрьевичем мирные соглашения [ПСРЛ, II: 555]. Можно допустить, помимо всего прочего, что наречение мальчика именем *Глеб* могло быть связано с одним из этих мирных проектов: тем, который осуществился успешно [ПСРЛ, II: 555–556].

Иными словами, те минимальные сведения, которыми мы располагаем о половецком обладателе имени *Глеб* и его отце, могут быть достаточно убедительно и непротиворечиво соотнесены с фигурой этого русского князя-тёзки. С другой стороны, именно упоминание Кончака, сыгравшее столь значительную роль в этой реконструкции русских связей Глеба Тириевича и его рода, подводит нас к возможности установления еще одного, альтернативного антропонимического донора.

В поисках прототипа: Глеб Ростиславич. — Речь идет о Глебе Рязанском, который, возможно, также был связан с кочевниками по рождению. Известно, что когда в 1147 г. сыновья Юрия Долгорукого, Ростислав и Андрей, двинулись на Рязань[1], отец Глеба, Ростислав

[1] Этот конфликт между двумя Ростиславами — Ростиславом Юрьевичем и Ростиславом Ярославичем — впоследствии был улажен весьма традиционным для

Ярославич, бежит оттуда к половцам, причем летопись называет конкретное имя того, кто принял князя, — *Елтук*:

> в то же верема поидоста Гюргевича Ростиславъ . Андрѣи къ Разаню на Ростислава на Ꙗрослави҇ Ростиславъ же въıбѣже изъ Разана в Половцѣ . къ Ельтоукови [ПСРЛ, II: 338–339][1].

В научной литературе уже возникало предположение, что Ростислав попросту состоял с ним в свойстве́, т. е. был женат на половчанке. Никаких прямых указаний относительно этого брака в летописях не сохранилось, но нет в них и каких-либо данных, противоречащих такому допущению, — мы попросту не находим в источниках сведений об имени и происхождении супруги этого князя. Равным образом, впрочем, ничего не известно об имени и происхождении матери Ростислава Ярославича, жены Ярослава, одного из самых младших внуков Ярослава Мудрого. Таким образом, отсиживавшийся у кочевников Ростислав мог быть как мужем, так и сыном половчанки (а строго говоря, и тем, и другим одновременно). Так или иначе, специфическое уточнение, присутствующее в сообщении о его бегстве (не просто «в Половцѣ», но «къ Ельтоукови»), в самом деле наводит на мысль, что двух князей, русского и половецкого, связывало родство, свойство́ или, по крайней мере, какие-то особые личные отношения.

Существенно, однако, что, согласно свидетельству Ипатьевской летописи, у Кончака был брат (погибший в 1181 г.), который в источнике назван *Елтут*:

> …и тогда оубиша . Половецького кназа . Козла Сотановича . и Елтоута . Кончакова брата [ПСРЛ, II: 623].

Рюриковичей способом, т. е. с помощью внутридинастического брака: интересующий нас Глеб, сын Ростислава Ярославича, не только женился на дочери Ростислава Юрьевича, но много лет спустя оказался главным защитником прав своих шурьев, Мстислава и Ярополка, сыновей Ростислава Юрьевича (ср.: [ПСРЛ, I: 372; II: 595]).

[1] Любопытно, что известие это непосредственно соседствует с сообщением о том, что другой участник междукняжеской усобицы, Святослав Ольгович, отпустил своих многочисленных союзников-половцев домой, богато их одарив. Тот факт, что Святослав был сыном половчанки, достаточно надежно засвидетельствован. Поневоле возникает впечатление, что два этих сообщения вместе складываются в общую картину взаимодействия Рюриковичей со своими половецкими родственниками и свойственниками на данном этапе противостояния.

Можно допустить, что за графическими обозначениями *Елтук* и *Елтут* стоит одно и то же половецкое имя. Возникает, разумеется, вопрос, идет ли речь в этих сообщениях, разделенных примерно 34 годами, об одном и том же лице или о двух тёзках. Если половец, упоминающийся в двух данных статьях, это один и тот же человек, приходящийся Кончаку братом, то весьма велика вероятность, что Глеб Рязанский состоял с Кончаком и его семьей в некоем родстве, коль скоро мы допускаем, что его отец или дед был женат на их родственнице. Если же речь идет о двух тёзках, носителях имени *Елту(к/т)*, то этот повтор имени, в свою очередь, с большой вероятностью обусловлен существованием какой-то специфической связи между ними — родством, свойствóм, побратимством или союзничеством. Иначе говоря, Елтук, упоминаемый под 1147 г., скорее всего, не чужой для Кончакова рода, а стало быть, не чужим для этого рода, возможно, был и Глеб Ростиславич Рязанский.

О том, что он был не чужд кочевому миру как таковому, свидетельствует и тот факт, что много лет спустя, во времена его борьбы с младшими сыновьями Долгорукого, Глеб активно пользовался поддержкой половцев, отдавая им на разграбление церкви, возведенные Боголюбским:

> …Глѣбъ шелъ Володимерю инѣмъ путемъ . и воюєть ѡколо Володимера . и с Половци с поганъıми . много бо зла створи цр҃кви Бо҃любьскои . юже бѣ оукрасилъ Андрѣи кнѧзь добръıи . иконами и всѧкимъ оузорочьє҃м . златомъ и сребро҃м . и каменьє҃м драгъı҃м . и ту цр҃квь повелѣ въıбивше двери разграби[ти] с поганъıми . и села пожже боѩрьскаѩ . а женъı и дѣти и товаръ да поганъı҃м на щитъ . и многъı цр҃кви запали ѡгнемъ [ПСРЛ, I: 383].

Неизвестно, правда, какие именно половцы в данном случае помогали Глебу Ростиславичу, как неизвестны и другие эпизоды его совместных действий со степняками. Женат же он был отнюдь не на половчанке, но, как уже упоминалось, на княжне Рюриковне, внучке Юрия Долгорукого.

Иными словами, можно вообразить себе такую ситуацию, когда Ростислав Ярославич вступает в брак с половчанкой, приходящейся сестрой или племянницей Кончаку. В этом союзе рождается сын по имени *Глеб*, а вскоре (или когда русский Глеб уже вырос) один из половецких родичей Елтука, Кончака и половчанки, сделавшейся русской княгиней, также называет своего сына *Глебом*. В таком случае, наш Глеб Тириевич оказывается родственником Кончака и Глеба Рязанского одновременно, что объясняло бы как его имянаречение, так и обстоятельства появления на Руси. Однако эта вполне логичная схема содержит, как мы могли убедиться, довольно много допущений, а потому едва ли может быть сочтена единственно возможной.

В поисках прототипа: потомки Всеволодко Городенского. — Строго говоря, в рамках модели «наречение в честь отцовского контрагента» на роль прототипа при выборе имени, в принципе, мог бы подойти еще один Рюрикович — Глеб, сын Всеволодка Городенского. Дело в том, что его родная сестра, овдовев в браке с Владимиром Давыдовичем Черниговским, бежала к половцам и именно там вышла замуж вторично, за князя Башкорда [ПСРЛ, II: 500–501], имя которого, как известно, упомянуто в том же списке плененных половецких князей, что и имя Глеба Тириевича [ПСРЛ, I: 395].

Сам по себе этот случай уникален для династической истории Рюриковичей: описание ухода русской княгини к кочевникам и ее дальнейшего замужества никогда более в источниках не встречается. Нетривиальность этого свидетельства заставляла некоторых исследователей предполагать, что бежавшая к половцам княжеская вдова была по происхождению половчанкой, а не внучкой Владимира Мономаха. Однако летописный текст, как кажется, не дает решительно никаких оснований для сомнений в принадлежности этой княгини к династии Рюриковичей по рождению.

В самом деле, в летописи мы обнаруживаем совершенно прямое и ясное сообщение о том, что Владимир Давыдович женился в 1144/1145 г. на одной из Всеволодковен, причем специально отмечено, что дед обеих сестер также звался *Владимиром* [ПСРЛ, II: 317]. Эта генеалогическая картина находится в полном соответствии с другими летописными свидетельствами, согласно которым дочь Владимира Мономаха, Агафья, стала женой Всеволодко Городенского, и, следовательно, их дети приходились Мономаху внуками. Мы не находим в летописи никаких сообщений о том, что Владимир Давыдович после этого брака со Всеволодковной овдовел и женился вторично. Времени на все это у него оставалось бы не слишком много: как известно, Владимир погиб в 1151 г. [ПСРЛ, I: 334; II: 438]. Что еще более существенно, в ле-

тописных источниках фигурирует сын Владимира Давыдовича и его бежавшей к половцам жены[1]. Во второй половине 50-х гг. этот князь был еще достаточно юным, он действует под покровительством своего дяди по отцу Изяслава Давыдовича, который в 1159 г., в частности, устраивает его брак, когда молодой князь уже сидел на самостоятельном столе во Вщиже. Очевидно, таким образом, что этот сын Владимира Давыдовича должен был появиться на свет вскоре после брака со Всеволодковной. Иными словами, для еще одной таинственной, нигде не упоминаемой половецкой жены Владимира Давыдовича, которая успела бы родить ему сына, попросту не остается хронологического пространства[2].

В летописи напрямую сообщается, что мать Святослава Владимировича, сделавшись женой половецкого князя, продолжала вместе со своим новым мужем оказывать деятельнейшую поддержку не только своему родному сыну, но и свойственнику по первому браку — Изяславу Давыдовичу, брату покойного Владимира. Сохраняла ли она при этом связи с другими родственниками и свойственниками, оставшимися на Руси? Ее родной отец, а также, по-видимому, и мать скончались еще до ее первого замужества. Единственный сын от Владимира Давыдовича умер достаточно молодым, в 1166 г. [ПСРЛ, II: 525]. Однако у жившей среди половцев Всеволодковны на Руси оставались родные братья и сестра, которая в свое время была в один день с ней выдана замуж. Один из братьев, напомним, носил имя *Глеб*. По-видимому, в 1166–1170 гг. именно он был старшим в семье, на городенском столе своего отца [Назаренко 2009: 14–126]. Правда, известий о его самостоятельных контактах с половцами летопись не сохранила, и, соответственно, мы практически ничего не можем сказать о его контактах с новыми половецкими родичами и свойственниками со стороны сестры.

Более любопытна, как кажется, история семьи сестры нашей половецкой беглянки, сестры, чьим супругом стал Юрий Ярославич Туровский. Две эти Всеволодковны были, вероятно, весьма близки по возрасту, коль скоро их свадьбы были устроены в один день, и потому было бы весьма естественно, если бы между сестрами и в дальнейшем сохранялась особая связь. Брак этой второй Всеволодковны и Юрия Ярославича был отмечен довольно многочисленным потомством. Один из ее сыновей, так же, как дядя по матери, звался *Глебом*[1], при этом наиболее яркая династическая карьера ждала, пожалуй, одну из ее дочерей, Анну Юрьевну, ставшую женой Рюрика Ростиславича, будущего князя киевского, пользовавшегося половецкой поддержкой весьма и весьма активно.

Женившись на Анне, Рюрик поддерживал на редкость тесную связь с родственниками своей супруги, как с ее братьями, так и с матерью, которая, по всей видимости, принимала весьма деятельное участие в устройстве этого матримониального союза. Брак этот для Рюрика не был первым, до свадьбы с Анной он был недолго женат на половчанке, именуемой в летописи *Белуковной*[2]. С ее кончиной родственные контакты этого князя с кочевым миром, естественным образом,

[1] «…приде же Изѧславу болши помочь к Бѣлугороду приде бо к нему Башкордъ въ к҃ . тысѧчь ѿчи҃ Мьславль <sic! переправлено въ *мьстиславль*: *сти* приписано надъ строкой>. Володимирича . бѣ бо мт҃и его бѣжала в Половци . и шла за нь» [ПСРЛ, II: 500–501]. Правильное написание имени князя («вотчим Святославль Володимиричя») см. в: [ПСРЛ, XXV: 65].

[2] Подробнее о Владимире Давыдовиче, Всеволодковне и Святославе Вщижском см.: [Литвина & Успенский 2012: 47–53] и выше ч. I, гл. 5, с. 70–81 наст. издания.

[1] Мог ли этот Глеб Юрьевич, сын Юрия Ярославича Туровского и Всеволодковны, послужить непосредственным прототипом для наречения половецкого Глеба? О возрасте Глеба Юрьевича судить достаточно трудно. Впервые он упоминается в летописи как участник того самого похода русских князей, в результате которого Глеб Тириевич оказался в плену. А в 1196 г., т. е. всего 12 лет спустя, Глеб Юрьевич скончался [ПСРЛ, II: 694]. Тот факт, что он не упоминается в летописи до 80-х гг., кажется, может свидетельствовать в пользу того, что он был еще достаточно молод, к тому же в списке Ипатьевского свода его имя фигурирует вторым, рядом с именем брата Ярослава: «…Ꙗрославъ кн҃зь Пиньскии . с братомъ Глѣбомъ» [ПСРЛ, II: 631]. С другой стороны, в соответствующем списке летописи Лаврентьевской он упоминается как самостоятельный туровский князь [ПСРЛ, I: 394]. Это обстоятельство, а также дата его смерти, позволяют допустить, что Глеб Юрьевич в 80-е гг. был человеком вполне зрелым и принадлежал, например, к одному поколению с Игорем и Всеволодом Святославичами, запоздалость же его появления в летописи объясняется не слишком значительным местом в княжеской иерархии, которое он до поры занимал, не будучи старшим сыном своего отца, туровского князя. Так или иначе, весьма трудно определить степень актуальности его фигуры для половцев вплоть до середины 80-х гг. XII в. Мы можем сказать только, что его тетка была замужем за могущественным Башкордом, а потому следует, на наш взгляд, говорить лишь о потенциальной привлекательности для кочевников именослова городенских князей и имени *Глеб*, в частности, но не об особом выделении Глеба Юрьевича в качестве антропонимического донора.

[2] См. выше ч. III, гл. 2 (§ 3), с. 299–303 наст. издания.

ослабевают, однако много позже, на рубеже XII и XIII столетий, мы видим, как Рюрик возвращает себе киевский стол с помощью половцев [ПСРЛ, I: 418; III: 240], да и в других своих военных предприятиях активно пользуется половецкой поддержкой. Не есть ли это следствие половецких связей, приобретенных благодаря второму браку? Иными словами, не помогает ли тетка, вышедшая замуж за половецкого князя Башкорда, своей родной племяннице и ее мужу, князю киевскому? Такой ход событий представляется вполне возможным, если вспомнить о том, сколь охотно Всеволодковна, бежавшая к половцам, помогала в 50-е гг. своему сыну и деверю по первому браку, оставшимся на Руси. После их смерти она вполне могла переключиться на племянников, детей своей сестры. Во всяком случае, не прибегая к этому допущению, столь значительную помощь половцев Рюрику Ростиславичу объяснить оказывается гораздо труднее.

Версия о том, что имя *Глеб* пришло к половцам благодаря родственным связям русской жены Башкорда, представлялась бы более убедительной, если бы мы знали хоть что-нибудь о взаимодействии или родстве самого Башкорда с половецким Глебом (Глебом Тириевичем) или его отцом. Однако все наши сведения на сей счет ограничены фактом присутствия их имен в одном и том же списке знатных пленников, тогда как связь Глеба Тириевича с Кончаком отмечена в летописи напрямую.

Потенциальные союзники отца половецкого Глеба. Иерархия возможностей. — Прочих русских князей, носивших имя *Глеб*, едва ли следует рассматривать в качестве потенциальных друзей половецкого родителя, прежде всего, из-за отсутствия каких-либо данных об их прямых контактах с кочевниками, но и по соображениям хронологическим[1]. По-видимому, самой предпочтительной

[1] Так, под 1159 г. в Ипатьевской летописи мы находим мимолетное упоминание Глеба Ростиславича, принадлежащего к полоцкой ветви и какое-то короткое время сидевшего в Друцке [ПСРЛ, II: 493]. Однако никакого половецкого следа в его биографии в этом единственном и весьма лаконичном сообщении об изгнании князя из Друцка усмотреть решительно невозможно. Столь же затруднительно судить о половецких связях еще одного друцкого князя — единожды упомянутого в Ипатьевской летописи Глеба Рогволодича, который в 1180 г. был союзником Давыда Ростиславича в его противостоянии с Ольговичами [ПСРЛ, II: 620]. Его отец, Рогволод / Василий Борисович вступил в брак в 1144 г. [ПСРЛ, I: 311; II: 314]

кандидатурой на роль прототипа при наречении Глеба Тириевича остается все же Глеб Юрьевич, сын Долгорукого, закончивший свои дни киевским князем, наиболее часто из всех троих тёзок упоминаемый в летописи, известный своей доблестью в сражениях, долго сидевший в Переяславле (в силу своего географического положения — своеобразном форпосте русско-половецких столкновений), заключавший с половцами мирные договоры и явным образом состоявший в тесном союзе с Кончаком.

Тем не менее, весьма существенно, что два других русских князя по имени *Глеб*, которые жили и активно действовали в конце 60-х — начале 70-х гг. XII в., тоже были связаны с половецким миром как таковым достаточно близко. При этом Глеб Рязанский, по-видимому, был в ту пору достаточно заметной и независимой фигурой среди Рюриковичей, коль скоро на него была возложена честь защитника прав своих шурьев на наследие Андрея Боголюбского. Вместе с тем, два других кандидата, Глеб Городенский и его племянник, хотя едва ли могли сравниться по могуществу со своими тёзками, рязанским и киевским, состояли с половцами в столь нетривиальных для Рюриковичей отношениях свойствá, что подобного рода связь для наречения ребенка могла быть очень важной.

Таким образом, самое имя *Глеб* в этот период для половцев было не только прекрасно знакомо, но и обладало несомненной «родственной» привлекательностью, и эта общая привлекательность, безусловно, играла роль при выборе имени для половецкого наследника, в честь кого бы конкретно он ни был назван.

Напомним, однако, что до сих пор, рассуждая о наречении Глеба Тириевича, мы исходили из того, что в 1184 г. он был достаточно молод. Несмотря на то, что это допущение кажется нам оправданным, нельзя не учитывать, что в принципе он мог быть по возрасту равен Кончаку или Кобяку или даже превосходить их летами, попросту заметно уступая им в могуществе. Но и в этом случае наиболее вероятным антропонимическим донором оказывается Глеб Юрьевич: как мы убедились из краткого обзора его жизненного пути, его взаимодействие с кочевниками было весьма интенсивным долгие годы, и прак-

и был еще жив в 1171 г., так что временной диапазон возможной даты рождения этого Глеба достаточно велик.

тически на любом временнóм отрезке половецкому наследнику могло быть дано имя в его честь.

Иные модели имянаречения. — В силу скудости наших знаний о Глебе Тириевиче, нельзя напрочь исключить и действие какой-то другой модели выбора имени. Так, отец нашего половецкого князя мог подражать некой антропонимической тенденции Рюриковичей и наречь отпрыска тем же именем, которое недавно получил кто-то из сыновей того или иного русского князя, примерный ровесник его собственного наследника[1]. Подобный путь не всегда требует каких-то особых личных или семейных контактов: мотивация для выбора образцов может оказаться достаточно неожиданной. С другой стороны, в принципе можно допустить, что и сам Глеб Тириевич мог взять это свое имя у кого-то из близких ему Рюриковичей собственного поколения, войдя с ним в отношения союза или побратимства, или даже использовать его просто как имя, популярное у русских князей вообще. В такой перспективе имеет смысл обратить внимание еще и на младшее поколение русских князей, носившее имя *Глеб* в 80-е гг. XII в., с которым наш половецкий Глеб потенциально мог бы взаимодействовать лично или же чьим отцам мог подражать в имянаречении его отец.

В первую очередь, здесь следует упомянуть Глеба Святославича, сына Святослава Всеволодича, вступившего в брак в 1183/1184 г. [ПСРЛ, II: 625] (в то время, когда его отец уже стал киевским князем), достаточно активного участника княжеских военных предприятий того времени. Он участвовал не только в том походе на половцев, когда был захвачен Глеб Тириевич, но и в предшествующей половецкой экспедиции, возглавляемой его двоюродным дядей, Игорем Святославичем. Быть может, он вполне годился в доноры имени *Глеб* для половца, но не в качестве побратима или союзника отца, а как сверстник и/или прямой контрагент самого Глеба Тириевича. Однако о непосредственных контактах между ними мы ничего не знаем.

Общие замечания. — В целом, можно отметить, что в 80-е гг. на русской политической сцене действует довольно много взрослых князей, носящих имя *Глеб*, причем в этот же период оно достаточно

[1] Такую модель выбора имени мы рассматривали, напомним, как одну из возможных при наречении Романа Кзича.

охотно дается и вновь появляющимся на свет княжичам[1]. Не будет преувеличением сказать, что в ту пору это имя вполне укладывается в русло княжеской антропонимической моды, складывающейся в результате сложного взаимодействия различных реализаций общеродовых норм и правил имянаречения в отдельных княжеских семьях. В самом деле, имя *Глеб* во второй половине XI в. переживает вполне объяснимый взрыв популярности, а затем ритм его бытования в династии Рюриковичей приобретает волнообразный характер. Так, в середине 70-х гг. XII в. несколько его немолодых и весьма значимых в родовой истории обладателей в силу естественных причин сходят со сцены. Взрослых и активно действующих князей с этим именем остается на каком-то этапе совсем мало, зато в честь недавно умерших Глебов в течение ближайшего десятилетия весьма охотно называют новорожденных княжичей, так что к середине 80-х — 90-х гг. этого столетия число его взрослых носителей снова заметно возрастает.

Иными словами, если говорить о взаимодействии степняков с Рюриковичами, самый выбор именно этого антропонима для половецкого князя во второй половине XII в. отнюдь не удивителен. Более того, несмотря на дефицит данных о Глебе Тириевиче и его семье, мы можем предположить, с какими именно русскими князьями был связан выбор его имени; затруднительно, скорее, определить, чтó из множества возможных конкретных обстоятельств этот выбор обусловило.

В свою очередь, эти исследовательские трудности с установлением антропонимического донора сами по себе весьма показательны: перебирая различные кандидатуры на эту роль, мы лишний раз убеждаемся, сколь многочисленными и многообразными стали связи Рюриковичей с половцами к 80-м гг. XII столетия.

Если же обратиться к проблеме конфессиональной принадлежности этого половецкого обладателя христианского имени, то здесь мы, с одной стороны, вновь вынуждены сослаться на пресловутую ограниченность наших сведений об этом персонаже половецкой истории, но, с другой стороны, не можем не отметить, что для русского летописца Глеб безоговорочно принадлежит к общей массе некрещеных половцев, о чьем безбожии повествователь не забывает

[1] Так, в эту пору именем *Глеб* был наречен рано умерший сын Всеволода Большое Гнездо [ПСРЛ, I: 407]. О выборе имени для этого князя и его брата Бориса см. подробнее: [Литвина & Успенский 2006: 479–480, 522].

упомянуть («…придоша Измалтане . безбожнѣи Половци . на Роусъ воєвать» [ПСРЛ, II: 628]), и сочетание этих инвектив с христианским именем половецкого князя его, по-видимому, нисколько не смущает.

§ 5: Ярополк

(*Половецкий фон появления нехристианского русского имени. — Русские князья, обладатели имени* ***Ярополк****. — Имя* ***Ярополк*** *в ряду династических имен Рюриковичей. — Имя* ***Ярополк*** *на Руси за пределами княжеской династии. — Общие замечания*)

Половецкий фон появления нехристианского русского имени. — *Ярополк Томзакович* — одно из самых интересных и едва ли не самых загадочных антропонимических сочетаний половецкого ономастикона. Так именуется князь, упомянутый в древнейшем летописании лишь единожды:

> Поⷧвци же видѣвше стада своꙗ взꙗта и жены и дѣти . стъсноувше вобрьдоша во Днѣпръ . и постигоша и . на Ивлѣ . во третии дн҃ь ѿ Днѣпра . бꙗхоуть бо в полкоу Половецкомъ три кнꙗзꙗ . Колдечи . Кобанъ . Оуроусовича ѡба . и Бѣгъбарсъ Акочаевичь . д҃ . же Ꙗрополкъ Томзаковичь . со стороны приѣха . своимъ полкомъ [ПСРЛ, II: 671].

Отсутствие каких-либо иных данных о половецком Ярополке и полное молчание источников относительно каких бы то ни было событий, связанных с его отцом (или родом), благодаря которым он сделался обладателем патронима *Томзакович*, само по себе делает крайне затруднительными любые построения, касающиеся его имянаречения. Более того, летописец как бы намеренно подчеркивает его отделенность от прочих половцев, с которыми Ярополку пришлось взаимодействовать в 1191 г. («…со стороны приѣха . своимъ полкомъ»).

Таким образом, даже гипотеза о постоянном сотрудничестве Ярополка Томзаковича с кем-то из названных рядом с ним половецких князей постоянно нуждается в оговорках, и, соответственно, несравненно труднее нащупывать через этих, поименованных с патронимами степных союзников какие-либо русские связи Ярополка. Отметим все же, что одно из фигурирующих здесь патронимических образований,

Оуроусовичи, если и отсылает к каким-то знакомым нам по летописанию половецким антропонимам, то к имени *Урусоба*, которое носил могущественный половецкий князь, пытавшийся склонить в 1103 г. своих соплеменников к миру с Русью и погибший в сражении [ПСРЛ, II: 254–255].

Если говорить о союзнике Урусовичей Бегбарсе, то, быть может, следует вспомнить Багубарса: о пленении его братьев или близких родичей упоминается в «Поучении» Мономаха [ПСРЛ, I: 249–250]. Разумеется, даже если *Бегбарс* и *Багубарс* — это одно имя, трудно допустить, что в двух источниках речь идет об одном и том же человеке, который в самом начале столетия сражается с Мономахом, а в конце того же века противостоит его праправнуку Ростиславу Рюриковичу. Колдечи и Кобан также едва ли являются родными сыновьями того самого Урусобы, который погиб примерно за 87 лет до описываемых событий. Куда вероятнее, что здесь имеет место родовой повтор имен и/или отсылка к имени прославленного главы клана с помощью патронимической формы. Можно допустить, таким образом, что мы имеем дело с представителями половецких кланов, известных на Руси, по крайней мере, с начала XII в.

С другой стороны, если мы обратимся к началу рассказа о столкновении русских князей и Черных Клобуков с половцами, то сможем увидеть, что, согласно летописи, Черные Клобуки, прибегая к помощи Ростислава Рюриковича, не могут сказать точно, с какими именно половцами им приходится бороться все последнее время:

> …се Половцѣ сеѣ зимы . воюють ны часто . а не вѣдаемь . Подоунаици ли есмъ что ли [ПСРЛ, II: 670].

В процессе же самой антиполовецкой экспедиции «узнавание» все же происходит, поскольку в летописи указаны не только имена половецких вождей, но и их родовая принадлежность. Все это еще больше укрепляет нас в мысли, что Ростиславу Рюриковичу пришлось иметь дело с теми кочевническими кланами, которые на Руси были уже известны, но в течение какого-то, уже достаточно длительного времени находились в стороне от крупных столкновений с Рюриковичами.

Принадлежал ли, однако, Ярополк Томзакович и его отряд к одному из таких издавна известных, но подзабытых на Руси половецких объединений? Какой-либо решительный ответ здесь едва ли возможен,

хотя само его имя, разумеется, свидетельствует о том, что он сам или его предки некогда взаимодействовали с русскими князьями весьма непосредственным образом. Можем ли мы — при той специфичности данных, которыми располагаем о Ярополке Томзаковиче, — попытаться установить, от кого из Рюриковичей по имени *Ярополк* ему могло перейти это имя?

Русские князья, обладатели имени *Ярополк*. — Сложность, помимо всего прочего, заключается еще и в том, что ни для кого из русских князей по имени *Ярополк*, живших в ту эпоху или несколько ранее, не представляется возможным проследить какие-то отчетливые половецкие связи, выделяющие их на фоне прочих тёзок. В самом деле, Ярополк Андреевич, внук Мономаха, был рожден, по-видимому, от брака с половчанкой, но никаких других деталей, указывающих на его контакты с половцами, мы не знаем. Его упоминания в летописи весьма немногочисленны и не столь подробны. Что касается большинства других *Ярополков*, — еще одного Мономахова внука, сына Мстислава Великого, а также Ярополка Изяславича (внука Мстислава Великого), Ярополка Романовича (внука Ростислава Смоленского), Ярополка Ростиславича (внука Юрия Долгорукого), Ярополка Юрьевича (сына Юрия Ярославича Туровского), Ярополка Ярославича (внука Всеволода Ольговича) — то их связь с кочевым миром либо вовсе не отмечена в летописи, либо не выходит за рамки обычного для любого князя участия в антиполовецких коалициях и стычках с кочевниками. Не исключено, конечно, что кто-то из них (например, принадлежавший к ветви Ольговичей Ярополк Ярославич) на самом деле соприкасался со степняками куда теснее, но в таком случае вся информация на этот счет остается нам недоступной.

Отметим, что большинство этих князей по имени *Ярополк* было фигурами для династии не первостепенными, что, с одной стороны, объясняет относительную скудость летописных данных, а с другой — делает менее вероятной наречение половецкого князя непосредственно в честь кого-либо из них. Существует, однако, еще один обладатель имени *Ярополк* — сын Мономаха, киевский князь Ярополк Владимирович, неоднократно сражавшийся с половцами и знавший громкие победы над превосходящими силами кочевников [ПСРЛ, I: 289, 295–296, 304–305]. Его младшие братья Андрей и Юрий, как уже упоминалось, были женаты на половчанках. Все это в совокупности позволяло бы именно его представить как кандидата на роль антропонимического донора для Ярополка Томзаковича. Возникающие же при такой трактовке трудности с хронологией лишь на первый взгляд кажутся существенными.

В самом деле, Ярополка Владимировича не стало в 1139 г. Если предположить, что половецкий княжич был наречен непосредственно в честь этого Ярополка при его жизни, то в 1191 г. возраст его должен быть довольно почтенным. Следует думать, что ему перевалило за 50 лет, в чем не было бы, впрочем, решительно ничего невозможного: характер упоминания о нем в летописи подходит, как кажется, для взрослого и самостоятельного князя любого возраста.

Однако в поисках прототипа при наречении Ярополка Томзаковича, прежде всего, не следует забывать, что речь идет о появлении у половцев династического имени, которое русские князья наследовали в качестве мирского. Специфика заимствования здесь может существенно отличаться от той, что мы наблюдаем, например, при наречении Юрия Кончаковича или Даниила Кобяковича, — в чем именно могли бы заключаться такие отличия, нам еще предстоит обсудить далее.

Имя *Ярополк* в ряду династических имен Рюриковичей. — При всех сложностях в исследовании бытования имени *Ярополк* у половцев самый факт его появления в этой среде чрезвычайно важен для понимания общей картины русско-половецких антропонимических контактов. В самом деле, во всех русских источниках мы лишь единожды обнаруживаем у половецкого князя славянское двухосновное имя, и имя это принадлежит к числу династических имен Рюриковичей. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу о таком характере взаимодействия двух элит, когда имена заимствовались на строго определенном социальном уровне, от князей — к князьям[1].

В то же время, казус Ярополка Томзаковича позволяет увидеть, что перенесение династического имени из одной традиции в другую заведомо могло происходить вне какой-либо связи с крещением кочевников. Действительно, имя *Ярополк* в династии Рюриковичей, в отличие от имен *Борис* и *Глеб*, никогда не выступало в качестве крестильного[2].

[1] Быть может, несколько особняком стоит в этом отношении имя *Василий*. О нем подробнее см. ниже, ч. III, гл. 2 (§ 6), с. 338–351 наст. издания.

[2] Свидетельства почитания Ярополка Изяславича, внука Ярослава Мудрого, принадлежат эпохе, на несколько столетий более поздней, чем интересующее нас

Соответственно, его заимствование половцами подтверждает, что половецких властителей имена, заимствуемые из русской среды, привлекали, в первую очередь, как имена княжеские, престижные.

С другой стороны, не менее значимо, какое именно из мирских княжеских имен Рюриковичей проникает в мир половецкой элиты. Еще раз обратим внимание на то обстоятельство, что всего одно мирское династическое имя попало от Рюриковичей к половцам. Нам уже приходилось говорить о тенденции ревностного оберегания собственного антропонимического фонда со стороны русских князей в пределах самой Руси. Так, Рюриковичам неоднократно случалось, женясь на новгородках, вступать в свойство́ со знатными боярскими родами. Однако мы практически не знаем примеров, чтобы княжеское династическое имя перешло в следующих поколениях к этим родственникам по женской линии. Иными словами, у русского князя, как правило, не могло быть племянников или троюродных братьев с именем *Мстислав*, *Всеволод* или *Владимир* вне собственно княжеской среды.

Тем не менее, в крепкой цепи «антропонимической обороны» находились отдельные слабые звенья: некоторые из мирских княжеских имен все же появляются на Руси у лиц, не принадлежащих по мужской линии к роду Рюриковичей. Знаменательным образом, к этим весьма немногочисленным «нарушениям» принадлежит и имя *Ярополк*. Более того, у нас есть возможность проследить, сколь исключительным должно было быть и положение семьи, в которой оно могло появиться, и те права, которых члены подобного семейства могли добиться во властной структуре.

Имя *Ярополк* на Руси за пределами княжеской династии. — Прежде всего, необходимо отметить, что единственный для домонгольского времени случай наречения именем *Ярополк* некнязя — довольно поздний, и такой персонаж появляется в Ипатьевской летописи под 6717 и 6719 гг., при описании событий в Галиче [ПСРЛ, II: 728, 730]. В летописи он назван братом боярина Володислава, и если сообщения о самом Ярополке единичны, то брат его (по всей видимости, старший) гораздо лучше известен источнику. Кто же

время, и при этом оно всегда носило местный характер [Голубинский 1903: 221]. Имя *Ярополк* не вносилось в месяцесловы вплоть до XIX столетия и в Древней Руси в качестве крестильного не использовалось (ср.: [Сергий, III: 665; II, 360]).

этот Володислав? Говоря о его происхождении, следует, в первую очередь, упомянуть, что в летописи он поименован *кормиличичь* [ПСРЛ, II: 724]. Очевидно, таким образом, что с наибольшей вероятностью он был сыном княжеского воспитателя (кормилича) или, возможно, княжеской кормилицы [Срезневский, I: 1405–1406]. *Кормиличичем*, в таком случае, являлся и его брат Ярополк. Соответственно, связь их с одной из семей Рюриковичей была более чем тесной: кому-то из князей они приходились молочными братьями или, по крайней мере, росли с ними вместе как сыновья княжеского воспитателя.

Существенно, что овдовевшие русские княгини никогда не становились женами даже самых знатных из своих подданных, и, соответственно, у молодых Рюриковичей не бывало единоутробных братьев в боярской среде (см. выше ч. I, гл. 1, с. 18–21 наст. издания). При таких условиях отношения «квазиродства» с сыновьями воспитателя или кормилицы могли (наряду с родством через брак) приобретать особый политический статус.

О том, насколько велика была близость подобных семей к семье княжеской в первой половине XIII в. в галицко-волынских землях, можно судить по специальному упоминанию, согласно которому вдове Романа Мстиславича с двумя малолетними детьми, Даниилом и Василько, удается бежать из Галича, лишь воспользовавшись помощью их дядьки и кормилицы[1]. Об активнейшем участии этих семей в политической жизни, в которую они, в свою очередь, вовлекали своих родственников и свойственников, может свидетельствовать и небезызвестный эпизод Ипатьевской летописи под 6739 г., когда Давыд Вышатич, один из двух бояр-военачальников, защищавших город Ярослав(ль), принимает решение об отказе от обороны, потому что так советует ему его теща, «кормильчьꙗ Нездиловаа» [ПСРЛ, II: 764–765][2]. И, наконец,

[1] «Наоутрѣѧ же оувѣдавши кнѧгини и свѣтъ створи . с Мирославомъ и с дѧдькомъ . и на ночь бѣжаша в Лѧхы . Данила҃ возмѧ дѧдька передъ сѧ . изииде изъ града . Василка же Юрьи попъ с кормилицею возмѧ . изъиде дырею градною не вѣдѧхоу бо камо бѣжаще» [ПСРЛ, II: 718–719].

[2] В свое время М. Грушевский отождествил кормильца Нездилу с отцом интересующих нас Володислава и Ярополка, а заодно предположил, что упоминающийся здесь же Судислав также приходился им братом [Грушевський, III: 50]. Как кажется, и то, и другое утверждение (второе — в особенности) требуют дополнительной аргументации. В самом деле, отец Володислава и Ярополка — не единственный княжеский воспитатель, упоминаемый в Галицко-Волынской ле-

судьба Володислава, родного брата галицкого Ярополка, с небывалой яркостью демонстрирует, что в эпоху смуты статус кормиличича был лишь на одну ступень ниже княжеского и даже мог неожиданным и нелегитимным способом с ним уравниваться.

Как известно, Володислав на короткое время сумел заполучить галицкий стол, на котором впервые, таким образом, сел местный «князь» не-Рюрикович. Династия, разумеется, принять такого положения дел не могла, однако форма этого неприятия, судя по Галицко-Волынской летописи, оказалась весьма своеобразной: после свержения и гибели узурпатора его дети утрачивают те права, которые принадлежали им по рождению и, очевидно, были бы за ними сохранены и после смерти отца, не претендуй он на княжение[1].

Такова была боярская семья, в которой появляется русское княжеское имя *Ярополк*: один из сыновей, не будучи Рюриковичем, заполучил их княжеский стол, а другой — принадлежащее Рюриковичам родовое династическое имя. Исследователями предполагается, что их отец был воспитателем (кормильцем) Владимира Ярославича Галицкого[1]. Само по себе это вполне вероятно, учитывая связи Володислава с детьми Игоря Святославича, который приходился Владимиру не только зятем (мужем сестры), но и самым надежным союзником во времена его конфликта с отцом, Ярославом Осмомыслом. С тем же успехом, впрочем, отец Володислава и Ярополка мог быть воспитателем детей Владимира Галицкого и его соратником.

Для нас же наиболее существенно, пожалуй, что ни в семейной линии Ярослава Осмомысла, ни в новгород-северской линии Игоря имени *Ярополк* не было. Таким образом, имя сына княжеского воспитателя (или княжеской кормилицы) выбирается по несколько иному принципу, чем оно подбиралось бы для урожденного Рюриковича. В случае с княжичем одним из основных средств демонстрации его будущих властных привилегий являлось наречение в честь прямых умерших предков, преимущественно по мужской линии (гораздо реже именами ближайших свойственников отца)[2]: повтор имени иконически подчеркивал преемственность и легитимность его власти на этой земле. О передаче же власти от Рюриковичей кормиличичам в момент наречения ребенка речи, разумеется, не шло, а потому он и не получает семейного имени галицких князей или их свойственников — имя *Ярополк*, выбранное для ребенка, манифестирует небывало высокую степень связанности с княжеским родом вообще[3].

тописи, здесь фигурируют, в частности, кормилица и дядька Даниила и Василько Романовичей, так что сказать наверняка, женой кого из кормильцев была теща Давыда Вышатича, довольно трудно, тем более что между гибелью Володислава и осадой города прошло уже немало времени. Правда, принимая во внимание ее политические пристрастия, она, скорее всего, и в самом деле могла быть матерью Володислава и Ярополка, нежели женой воспитателя Романовичей. Менее вероятным кажется, исходя из текста самого летописного свидетельства, что родным сыном ей приходился Судислав; представляется более правдоподобным, что родство между ними было не столь прямым. Он мог быть, например, племянником или другим кровным родственником ее мужа Нездилы. Во всяком случае, Судислав и Володислав, как правило, действовали заодно, но никогда (в отличие от Володислава и Ярополка) они не характеризовались как братья.

Мы обращаем такое внимание на фигуру Судислава еще и потому, что, хотя его имя нельзя назвать в полной мере династическим, один раз в роду Рюриковичей оно все же употреблялось: так звали одного из братьев Ярослава Мудрого. Со смертью же этого Рюриковича, бóльшую часть своей жизни проведшего в заточении, имя *Судислав* в династии не использовалось. Здесь мы наблюдаем, таким образом, своеобразный переход антропонима из княжеской среды в боярскую.

[1] «…и ѧ Володислава . в Галичи заточи и . и в томь заточеньи оумре . нашедъ зло племени своемоу . и дѣтемь своимъ . кнѧжениѧ дѣлѧ . вси бо кнѧзи не призрѧхоу дѣтии его» [ПСРЛ, II: 718–719]. Становится ясно, таким образом, что, оставаясь детьми кормиличича, они бы во всяком случае имели бы право на покровительство кого-либо из Рюриковичей, подобное тому, каким пользовался в свое время их отец, изгнанный Романом Мстиславичем из Галича: «…и приведоша кормиличича . иже бѣ загналъ великъии кн҃зь Романъ . невѣръі ради . славѧхоу бо Игоревича . послоушав же ихъ Галичкъіи боꙗре . и послаша по нихъ и посадиша и в Галичѣ Володимера . а Романа во Звенигородѣ» [ПСРЛ, II: 718].

[1] Первым эту гипотезу выдвинул, как кажется, М. Грушевский [Грушевський, III: 50].

[2] Для ближайших свойственников галицких князей это имя, по-видимому, также не принадлежало к числу излюбленных.

[3] Сидящим в Галиче князьям поневоле приходилось владеть подобными тонкими технологиями в области имянаречения, тесно связанной с передачей власти. Так, Ярослав Осмомысл сыну, рожденному в законном браке с дочерью Юрия Долгорукого, дает, в полном соответствии с традицией, «дедне имя» (имя собственного отца) *Владимир*. Своего же любимого внебрачного сына он также нарек династическим именем, но не имеющим отношения к его собственной семье, — тот стал *Олегом*. Существенно позже, когда на галицком столе сидят уже потомки Романа Мстиславича, один из внуков Романа, Владимир Василькович, берет на воспитание приемную дочь, которая получает имя *Изяслава*. Набор женских княжеских имен известен куда хуже, чем мужских, однако обращает на себя внимание, что прежде такого женского имени мы не обнаруживаем ни в самой династии, ни

Необходимо напомнить, однако, что институт княжеских воспитателей (дядек и кормильцев) известен на Руси с древности[1], но вплоть до конца XII столетия летопись не отмечает, чтобы кто-нибудь из членов их семей носил княжеские мирские имена. Разумеется, одной из причин такого новшества могла стать своеобразная и крайне неустойчивая система преемственности власти в Галиче конца XII в. и начала XIII в., в рамках которой происходило нетрадиционное возвышение княжеских воспитателей.

С другой стороны, не менее важную роль в появлении имени *Ярополк* у кормиличича могла играть и определенная маргинализация этого антропонима в династическом именослове. В самом деле, будучи одним из древнейших княжеских имен, с середины XII столетия оно постепенно начинает терять свою популярность. Во всяком случае, среди князей, действовавших в первые десятилетия XIII в. (время, на которое приходится активность нашего кормиличича Ярополка), в летописи упоминается лишь один князь *Ярополк* — Ярополк Ярославич, внук Всеволода Ольговича и правнук Олега Святославича. Когда это имя выбиралось для кормиличича, почти наверняка был жив и другой *Ярополк*, Ярополк Ростиславич, но в целом это имя, прежде столь распространенное, в династии на глазах выходило из употребления. Иными словами, новорожденному квазиродственнику досталось то, что все меньше пригождалось самим Рюриковичам.

Как уже упоминалось в нашем исследовании, появление имени *Ярополк* за пределами рода Рюриковичей — это хотя и весьма редкий, но не единственный пример использования на Руси княжеского имени в некняжеской среде. В этом отношении весьма интересна судьба еще одного мирского антропонима, содержащего элемент *-полк* и также оказавшегося своего рода слабым звеном династической системы имянаречения. Мы имеем в виду древнее славянское имя *Святополк*, первым обладателем которого в династии Рюриковичей стал не кто иной, как Святополк Окаянный. Летопись приписывает ему, как известно,

за ее пределами. Весьма вероятно поэтому, что данное имя было сконструировано как парное к имени *Изяслав*. При этом среди близкой родни и ближайших предков Владимира Васильковича *Изяславов* не было, так звали лишь его прапрадеда, киевского князя Изяслава Мстиславича.

[1] См., в частности: [Пресняков 1908; Гарданов 1959; Гарданов 1962; Щавелева 1986].

рождение от двух отцов, Ярополка и Владимира Святославичей. Поначалу судьба этого имени в династии способна, скорее, продемонстрировать относительную независимость родовой традиции имянаречения от событий, связанных с христианской жизнью рода. Попросту говоря, становление культа свв. Бориса и Глеба, в чьей смерти агиографическая традиция обвиняла Святополка, первое время не мешало одновременному использованию в династии как имен мучеников, так и имени их возможного убийцы[1].

Имя *Святополк*, как известно, получил внук Ярослава Мудрого, Святополк Изяславич, сын с таким именем был и у Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. В целом, однако, число *Святополков* в русской династии совсем невелико, с середины XII столетия мы обнаруживаем только одного носителя этого имени, который приходился правнуком и тёзкой Святополку Изяславичу, будучи сыном Юрия Ярославича Туровского. Очевидно, что со временем имя *Святополк*, не без влияния церковно-агиографической традиции, уходит из династии.

Любопытно, с другой стороны, что на всем протяжении своего существования оно тесно связано с именем *Ярополк*: у всех трех Святополков, рожденных после Святополка Окаянного, было по брату с именем *Ярополк* [Литвина & Успенский 2006: 50–51]. Не исключено, таким образом, что и постепенное исчезновение имени *Ярополк* из династического обихода было в определенной степени связано с именем *Святополк* — последнее как бы отбрасывало тень негативных коннотаций на первое.

Как и некоторые другие антропонимы, терявшие популярность у князей, имя *Святополк* было подхвачено в боярской среде, и в очередной раз речь идет именно о галицком боярстве, приближенных княжеской семьи, активно действовавших в пользу князя в его отсутствие. В Ипатьевской летописи под 6681 г. упоминается некий Святополк из Галича, который шлет Владимиру Ярославичу и его матери, бежавшим из города, следующие известия: «…а кнѧзѧ ти имемь <…> поѣдь страѧтать . ѡц҃а ти есмы ꙗли и приꙗтели его . Чаргову чадь избилѣ а се твои ворогъ» [ПСРЛ, II: 564]. В ту пору жив был еще последний обладатель имени *Святополк* в княжеской династии, Святополк Юрьевич, шурин Рюрика Ростиславича, однако более никто из княжеских

[1] См. подробнее: [Поппэ 1973: 9–10; Поппэ 1995: 59–68].

детей, насколько мы можем судить по источникам, *Святополком* не нарекался ни в ту пору, ни позже.

Существуют и другие — весьма своеобразные — траектории перехода династического имени в некняжескую среду. Под 6700 г., в частности, в Ипатьевской летописи фигурирует некий человек по имени *Рогволод*, очевидно, приближенный молодого князя Ростислава Рюриковича: «…и посла Ростиславъ Рогъволода ко ѡцю . просѧсѧ с Чернъими Клобоукъı на Половци . и не поусти его ѡць» [ПСРЛ, II: 674]. Более никаких сведений об этом Рогволоде у нас нет, но все же имеются все основания полагать, что князем он не был. Можно допустить, что его особая близость к Ростиславу и участие в деликатном деле внутрисемейных переговоров объясняется тем, что он, подобно интересующим нас галичанам, был кормиличичем и попросту вырос вместе с князем.

Это тем более вероятно, если вспомнить, насколько Ростислав Рюрикович любил в своих смелых военных предприятиях кооперироваться с людьми своего поколения, — например, с кузеном Мстиславом Мстиславичем Удатным, который в детстве, возможно, жил в его семье [Литвина & Успенский 2006: 296–314]. К мысли об особом статусе Рогволода подталкивает и эпизод, изложенный в Ипатьевской летописи под 6797 г., когда другой князь, Лев Данилович, в крайне щекотливой ситуации внутрисемейного противостояния отправляет к своему сыну некоего Семена, который в тексте именуется *дядьковичем* (т. е. сыном воспитателя, *дядьки*) князя Льва [ПСРЛ, II: 930]. Вероятно, кормиличичи и дядьковичи на правах квазиродственников могли наделяться, наряду с родичами кровными и духовными лицами, миссией «уговаривания» того иного члена княжеской семьи. Повторимся, однако, что проверить догадку, что Рогволод был сыном княжеского воспитателя (равно как и любую другую гипотезу о его происхождении), решительно невозможно.

Несомненно при этом, что имени *Рогволод* в линии Ростислава и его отца, Рюрика Ростиславича, никогда не встречалось. В династии оно употреблялось только полоцкими князьями, а с середины XII в. и вовсе выпало из княжеского обихода. Таким образом, в данном случае некняжеское имянаречение, несмотря на тождество антропонимических единиц, в любом случае не дублирует княжеское: антропоним «подхватывается» княжеским окружением в ту пору, когда в обиходе самих Рюриковичей он утрачивается.

Не исключено, помимо всего прочего, что судьба имени *Рогволод* (сканд. *Ragnvaldr*) своеобразна еще и потому, что уже на ранних этапах династической истории оно не было исключительно принадлежностью рода Рюриковичей. Напомним прежде всего, что в полоцкую ветвь оно пришло по женской линии: так звали отца Рогнеды, ставшей женой Владимира Святого и прародительницей всех князей, правивших на Руси к середине XI в. Мужского потомства этот Рогволод, пришедший «и-заморьѩ», не оставил, по крайней мере, летописец подчеркивает, что его сыновья были умерщвлены вместе с ним. Однако на Русь довольно рано попадают и другие скандинавы, обладатели имени *Ragnvaldr*. Самым известным из них был ярл Рёгнвальд Старый, родич жены Ярослава Мудрого, получивший, согласно скандинавским источникам, во владение Ладогу. Вполне вероятно, что значительная часть верхушки новгородского боярства (и, в частности, линия бояр Роговичей) были его потомками[1].

Если эта генеалогическая реконструкция верна, то к потомству Рёгнвальда принадлежали и две знатные новгородки, в разное время ставшие женами Рюриковичей. Быть может, и тот Рогволод, которого на исходе XII столетия Ростислав Рюрикович отправляет к своему отцу, был потомком какой-либо из ветвей этого обширного клана. Характерно, опять же, что появление в этой среде имени прославленного предка фиксируется лишь в ту пору, когда в княжеской династии оно перестает использоваться.

Общие замечания. — В целом судьба имени *Ярополк* демонстрирует, насколько на Руси был сложен механизм проникновения княжеского имени в некняжескую среду, и, с другой стороны, сколь немалым семиотическим весом обладал каждый случай подобного проникновения. Рискнем предположить, что и в случае русско-половецкого взаимодействия за появлением у кочевников этого русского княжеского имени могло стоять нечто большее, чем, например, отношения свойствá. Не исключено, в частности, что свойствó подкреплялось и поддерживалось какими-то дополнительными факторами, — такими, например, как побратимство.

Вместе с тем, если это имя было дано половцу с согласия или при участии русских князей, то, как и в случае с кормиличичами, оно, вероятнее всего, не было семейным именем тех Рюриковичей, которые

[1] См. подробнее: [Молчанов 1997; Гиппиус 2003; Гиппиус 2006]; ср. также: [Литвина & Успенский 2006: 358–362].

имели отношение к этому акту имянаречения. Скорее всего, оно апеллировало к некоему обобщенному родовому прототипу. Иначе говоря, Ярополк Томзакович вовсе не обязательно должен был появиться на свет в первой половине XII столетия, он мог родиться и позже (примерно в ту же пору, что и галицкий боярин, его тёзка), когда это имя уже утрачивало непосредственную популярность в русской княжеской среде, но зато ассоциировалось со славным прошлым, временами сыновей и кузенов Владимира Мономаха.

§ 6: Василий

(*Упоминание Василия Половчина: нарративный контекст и антропонимический конвой. — Половец ли Половчин? — Имя* ***Василий*** *в ряду династических имен Рюриковичей. — Версия половецкого происхождения посла Василия. — Общие замечания*)

Упоминание Василия Половчина: нарративный контекст и антропонимический конвой. — Первый по времени случай появления в русских летописях христианского имени у человека, связанного с половецким миром, является одновременно и одним из самых неоднозначных в истолковании. Неоднозначность эта тем более существенна, что до сих пор она ускользала от внимания исследователей, хотя главный герой этого сюжета регулярно упоминается в работах, так или иначе затрагивающих тему русско-половецких контактов. Помимо всего прочего, эпизод, в котором появляется загадочный обладатель этого христианского имени, в хронологической сетке летописного повествования довольно далеко отстоит от тех времен, когда мы обнаруживаем в тексте целую плеяду половцев с русскими княжескими именами — Даниила, Романа, Глеба…

Рассуждая о единичном случае фиксации антропонимического сочетания *Василий Половчин*, мы погружаемся в совсем иную эпоху, во времена княжеской усобицы второй половины 40-х — 50-х гг. XII в., когда на политической сцене активно действуют Рюриковичи — первые отпрыски русско-половецких браков. Не в меньшей степени нас будет интересовать и период предшествующий, то время, когда для этих князей и их степных сверстников лишь выбирались династические имена, а отчасти и еще более раннее время, когда тесное взаимодействие Руси и половцев только начиналось.

В Ипатьевской летописи под 6655 г. мы находим рассказ о соединении князя Святослава Ольговича (отца Игоря / Георгия Новгород-Северского) со своими половецкими родственниками и союзниками, несколько отличающийся по своей риторической установке от других нарративов, повествующих о взаимоотношениях русских князей с кочевниками. Летописец выступает здесь как очевидец (или, во всяком случае, он достаточно хорошо осведомлен, чтобы имитировать позицию очевидца) союзнических переговоров князя со степняками и достаточно детально излагает, как их результаты воплощаются в жизнь. В целом данный летописный отрывок содержит весьма интересный и при этом достаточно трудный для интерпретации антропонимический материал:

> Сс҃лавъ же пришедъ ста оу Нериньска . и тогда придоша к немоу сли ис Половець . ѿ оуевъ его . съ Василемъ Половциномъ . ѯ҃. чади прислалисѧ бѧхоуть тако рекоуче прашаемъ здоровиꙗ твоего . а коли нъı велишь к собѣ со силою прити В то же веремѧ прибѣгоша из Роуси дѣцкъı . и повѣдаша моу Володимира в Черниговѣ а Изѧслава оу Стародоубѣ . Сс҃лавъ же приде къ Дѣдославлю . и тоу придоша к немоу дроузии Половцѣ . Токсобичи и пристави к нимъ Соудимира Коучебича . и Горѣна <…> В то же веремѧ . придоша к неи҃ Бродничи . и Половци придоша к немоу мнози . оуеве его [ПСРЛ, II: 341–342].

Для нас, прежде всего, важен упоминающийся здесь Василий Половчин, обычно характеризуемый исследователями и комментаторами как посол. При этом нельзя не принимать во внимание, что в данном летописном фрагменте мы обнаруживаем сразу нескольких людей, которые, судя по способу их именования, могут принадлежать как к русскому, так и к кочевому миру, или же к обоим одновременно, выполняя роль своеобразных посредников. Помимо уже названного Василия, это — Судимир Кучебич и некий Горен.

Дело осложняется тем, что определение статуса этих лиц связано с интерпретацией их именования, а данная интерпретация, в свою очередь, поневоле должна опираться на установление их статуса. Так или иначе, самый контекст упоминания такого имени, как *Судимир Кучебич*, представляется нам весьма значимым, поскольку здесь лицо с отчетливо идентифицируемым славянским и потенциально тюркским

патронимом[1] облекается полномочиями именно с русской стороны: он распоряжается, по поручению Святослава Ольговича, действиями и перемещениями тех половецких союзников князя, которые, по-видимому, не находятся со Святославом в близком кровном родстве[2]. Иными словами, по структуре его именование, возможно, сходно с именованием пресловутого Ярополка Томзаковича (двусоставное славянское имя + патронимическое образование с тюркской основой). Мы видели, однако, что Ярополк Томзакович действует как независимый половецкий князь, тогда как Судимир Кучебич занимает положение хотя и немаловажное, но заведомо подчиненное.

Каково бы ни было его происхождение, весьма существенно, что его славянский по происхождению антропоним, *Судимир*, отнюдь не принадлежит к княжескому именослову, но зато встречается в ономастиконе новгородской знати[1], т. е. перед нами имя хотя и не княжеское, но элитарное. Таким образом, налицо полное соответствие между статусом антропонима и статусом его обладателя, который осуществляет функции, приличествующие боярину или другому весьма влиятельному лицу.

[1] Вообще говоря, половецкое происхождение имени, от которого этот патроним образован, вполне вероятно, но отнюдь не бесспорно. Его этимология нуждается в дополнительном рассмотрении, учитывающем, в частности, гидронимику Владимирской и Ростовской земель.

[2] Не исключено, разумеется, что связь с этой группировкой кочевников была приобретена Святославом благодаря его собственному браку с половчанкой, внучкой Гиргеня, состоявшемся еще в 1107 г. Собственно говоря, в древнейших летописных сводах напрямую не сообщается, кого из сыновей Олег Святославич женил тогда на половецкой княжне, но по мнению большинства исследователей это был Святослав Ольгович, хотя и кандидатуру Игоря, его старшего брата, также не стоит, на наш взгляд, отвергать безоговорочно. Так или иначе, последствия данного матримониального союза в биографии Святослава куда менее заметны, чем результаты тех кровных уз с половцами, которые ему достались от матери-половчанки. Это и не удивительно, поскольку Святослав к 1136 г. овдовел и женился в Новгороде вторично [ПСРЛ, III: 24, 209], причем все известные нам сыновья этого князя, скорее всего, были рождены именно в этом втором, «неполовецком» браке. Некоторые сомнения вызывает лишь материнская генеалогия самого старшего из них, Олега (он вступил в брак в 1150 г. [ПСРЛ, II: 394]), но и он, судя по всему, происходил от новгородки. Во всяком случае, именно эта, пережившая Святослава Ольговича, супруга весьма горячо пыталась отстаивать интересы Олега Святославича после кончины его отца [ПСРЛ, II: 522–523], да и время его собственной женитьбы ничем не противоречит утверждению о том, что он родился от брака, заключенного в 1136 г. Тем не менее, прежний союз Святослава Ольговича с половчанкой мог не забываться полностью, в особенности если потомство от него все же имелось. Напомним, что в самом начале 1149 г. Святослав выдает дочь за Романа Ростиславича Смоленского [ПСРЛ, II: 368], не исключено, что она-то, в отличие от братьев, была рождена как раз в первом, «половецком» браке своего отца.

Половец ли Половчин? — Фигура же интересующего нас в первую очередь Василия Половчина в этом отношении еще более загадочна. Необходимо сразу же подчеркнуть, что отэтнонимическое прозвище как таковое в Средние века отнюдь не являлось однозначным указанием на принадлежность человека к данному этносу[2]. В принципе, Василий мог быть не-половцем, которого связывали с кочевым миром узы, так сказать, профессиональные (например, торговые, переводческие или посреднические), ведь о нем, в отличие от уже упоминавшегося Лавра / Овлура, помощника князя Игоря, не сказано, что он «родомъ Половчинъ».

Неясность порождается еще и тем, что указание летописного текста на роль Василия при визите половцев к князю не вполне однозначно. Был ли Василий Половчин членом посольства или, подобно Судимиру Кучебичу, только сопровождал его с русской стороны («придоша к немоу сли ис Половець . ѿ оуевъ его . съ Василемъ Половциномъ . ҂ѕ҃. чади прислалисѧ бѧхоуть тако рекоуче…» [ПСРЛ, II: 341])?

На наш взгляд, речь здесь идет, скорее всего, о представительном посольстве кочевников[3] (и притом — весьма многочисленном), в котором Василий выступает как своеобразный глава делегации. Так или

[1] Боярин с таким именем действует в Новгороде в 20-х — 30-х гг. XIII столетия [ПСРЛ, III: 65, 67, 74, 270, 273, 285].

[2] Такое явление, как именование представителя собственного народа с помощью «чужого» этнонима, вообще говоря, достаточно универсально. Весьма характерна в этом отношении формулировка немецкого источника XVI в.: «Купцы и наемные солдаты получают прозвища согласно названиям обитателей тех мест или стран, где они чаще всего торгуют и бывают» [Назаренко 1984: 96]. Обращаясь же к интересующей нас эпохе, достаточно вспомнить, например, Олисея Гречина, который, судя по всему, был отнюдь не греком, а новгородцем [Гиппиус 2005], или Гудлейка Русского / Греческого (Gerzki / Girzki), который не был ни русским, ни греком, но норвежским купцом, торговавшим на пути «из варяг в греки» [Ф. Успенский 2002: 303–308].

[3] О половецких «уях» Святослава Ольговича ср. ниже в данной главе, с. 348–349 наст. издания.

иначе, знатность его происхождения достаточно очевидна, и если он по рождению — половец, то вновь, как и в случае с другими обладателями христианских имен среди степняков, возникает вопрос, каким образом это христианское имя могло ему достаться.

Имя *Василий* в ряду династических имен Рюриковичей. — Роль данного антропонима в истории династии русских князей трудно преувеличить — именно с него, как известно, начинается полноценная христианская жизнь рода, так как его принял в крещении Владимир Святославич, князь, который, не будучи первым христианином среди своих родичей, крестил подвластную ему страну и сделал христианство религией всех своих потомков. Обратим внимание, что имя *Василий* (*Василь*, *Василько*) стало фигурировать в роду Рюриковичей в качестве единственного, совместившего в себе функции родового и крестильного, еще прежде, нежели *Георгий* (*Юрий*), и лишь немногим позже, чем *Давид* и *Роман*.

Первым из князей, упоминающихся в летописи исключительно под этим именованием, был Василько Ростиславич Теребовльский. Как известно, он принадлежал к числу тех Рюриковичей, которые достаточно рано научились использовать половецкие силы для своих собственных надобностей. Во всяком случае, еще в 1092 г., в ту пору, когда кочевники особенно много воевали по обеим сторонам Днепра и, по свидетельству летописи, захватили три русских города, именно этому князю удалось отправиться вместе с ними в поход на Польшу [ПСРЛ, I: 215; II: 206].

К этому времени (или немногим ранее) уже несколько ветвей потомков Ярослава Мудрого с большим или меньшим успехом пытались заключать военные союзы с половцами, при этом соотношение сил в династии было еще заметно иным, нежели в начале XII столетия. Некоторые из старших правнуков и младших внуков Ярослава, кому в дальнейшем не удалось закрепить существенные властные преимущества за собой и своими детьми, еще весьма активно стремились это сделать, используя небезопасную энергию степных кланов. В именах же самих этих князей запечатлелись попытки их отцов актуализировать христианскую историю рода в целом и подчеркнуть причастность к ней собственной семьи: в качестве династических они получили имена князей-мучеников Бориса / Романа, Глеба / Давида и их отца Владимира / Василия.

Выражаясь обобщенно, можно сказать, что наш Василько Теребовльский, его злейший противник Давыд Игоревич (также весьма тесно сотрудничавший с половцами [ПСРЛ, I: 270–271]) и Роман Святославич, который погиб от рук своих недавних кочевых союзников [ПСРЛ, I: 204; II: 195–196; III: 201], были, по сути дела, первыми Рюриковичами, благодаря которым в половецкой родовой памяти христианские имена отпечатались в качестве русских династических. Более того, поскольку для половцев столь тесное взаимодействие с русскими князьями начиналось лишь в последней трети XI в., как раз в ту пору, когда христианские антропонимы у Рюриковичей уже могли фигурировать в качестве единственных, то для этих кочевников подобные династические имена, как уже говорилось, отнюдь не были «хуже», новее и непривычнее, чем те мирские имена князей, которые были языческими по происхождению. Едва ли в их глазах статус имени *Роман* или *Василько* чем-либо уступал статусу имен *Олег* или *Игорь*: для подобной дифференциации у них попросту не было оснований, поскольку обладатели всех этих антропонимов в равной степени могли оказаться их свойственниками, «нанимателями» или, разумеется, врагами.

Летописи не сохранили никаких данных ни о том, кем была жена теребовльского князя, ни на ком именно были женаты его родные братья, а потому мы не можем сказать, пользовался ли Василько Ростиславич поддержкой половцев в силу каких-то матримониальных связей с ними. Столь же мало известно о матримониальной ситуации Давыда Игоревича, хотя его жена упомянута в летописи [ПСРЛ, I: 270; II: 245][1]. О жене же и детях Романа Святославича сведения и вовсе отсут-

[1] Единственный известный о ней факт — это упоминание о том, что Давыд, придя из Польши и отправляясь к половцам, оставил княгиню у Володаря Ростиславича. На этом основании В. Н. Татищев, а вслед за ним и некоторые другие историки, делают довольно неожиданный вывод, согласно которому жена Давыда являлась сестрой Володаря, и называют ее «Ростиславной». Такая реконструкция представляется нам более чем произвольной хотя бы потому, что Давыд Игоревич оказался бы в таком случае женат на своей кровной родственнице в 5-й — запретной для брака — степени родства, чего у Рюриковичей, насколько мы можем судить по достоверным свидетельствам об их внутриродовой матримониальной жизни, в домонгольское время не случалось вовсе (подробнее об этом см. выше ч. I, гл. 5, с. 67–104 наст. издания). Тем не менее, тот факт, что Давыд перед поездкой к половцам оставляет свою жену у Ростиславичей, отношения с которыми у него до сих пор были достаточно конфликтными, сам по себе довольно любопытен и нуждается в объяснении. Весьма вероятно, что перед нами если и не

ствуют. Во всяком случае, поддержка, которую кочевники оказывали всем этим князьям, если судить по летописям, не была столь устойчивой и неизменной, как та, что они предоставляли, скажем, Святославу Ольговичу, рожденному от брака с половчанкой.

За Василько Ростиславичем последовала целая череда его тёзок Рюриковичей, для которых имя *Василий* было единственным, — в первой трети XII в. они еще не столь многочисленны[1], однако буквально на глазах это имя становится одним из самых популярных в роду. При этом в династии оно продолжало даваться, как уже говорилось, и в качестве крестильного (наряду с мирским). Именно так, в частности, был наречен один из самых известных современников теребовльского князя — его двоюродный дядя, Владимир / Василий Мономах, как никто другой прославившийся победами над половцами и в разное время женивший на половчанках двух своих сыновей.

Необходимо еще раз подчеркнуть, однако, что использование имени *Василий* в домонгольскую эпоху не ограничивалось кругом Рюриковичей: ко времени появления на исторической сцене нашего Василия Половчина, мы знаем уже несколько его русских тёзок некняжеского происхождения, фигурирующих под этим именем в различных текстах[2]. Таким образом, мы должны постоянно учитывать, по крайней мере, две возможности: оно могло использоваться собственно половецкой элитой, и, с другой стороны, его обладатель вполне мог быть

полноценный акт заложничества, то нечто весьма его напоминающее: находясь у Володаря, княгиня служила живой гарантией того, что Давыд, соединившись с половцами, не будет направлять свои усилия на новую войну с Ростиславичами (примерно в таком духе оценивал ситуацию еще Н. М. Карамзин, излагая эти события в своей «Истории» [Карамзин, I: 77, т. II, гл. VI]). С другой стороны, не исключено, что жена Давыда могла быть как-то связана с семьей Володаря; она могла быть, например, родственницей супруги этого князя. Простор для такого рода реконструкций достаточно велик, и наименее вероятной из них является как раз та, согласно которой Володарь был шурином Давыда Игоревича.

[1] К интересующему нас времени половецкого посольства имя *Василий* в качестве единственного носили, например, Василько, сын Юрия Долгорукого, и один из представителей полоцкого дома, Василий Рогволодич. Кроме того, так звался погибший в 1136 г. Василько Леонович, сын «царевича» Леона и Марицы, дочери Мономаха.

[2] Любопытно, что одному из этих Василиев, уже упоминавшемуся в нашей работе, доводилось играть роль посла и посредника между двумя князьями Рюриковичами, Василько и Давыдом. При этом сам он к княжескому роду не принадлежал: судя по всему, он был духовным лицом и одним из составителей летописи.

представителем русского княжеского окружения, а отнюдь не наследником власти князей половецких.

Версия половецкого происхождения посла Василия. — Строя гипотезы о том, какими путями имя *Василий* могло проникнуть в половецкую среду, стоит, как кажется, вспомнить о тех довольно далеко отстоящих от 1147 г. событиях, в результате которых один из Ольговичей (скорее всего, сам Святослав) оказался женат на половецкой княжне. Этот брак увенчал собой сложные, многосторонние переговоры, в которых с русской стороны участвовали, помимо Олега Святославича (отца Святослава), его родной брат Давыд Святославич и брат двоюродный — Владимир Мономах, причем междинастических матримониальных союзов было заключено сразу два одновременно:

> томь ж҃ лѣ т҃ . м҃ца . того ж҃ . иде Володимеръ . и Дв҃дъ . и Ѡлегъ . къ Аєпѣ . и <ко> другому Аєпѣ . и створиша миръ . и поѧ Володимеръ за Юргѧ . Аєпину дщерь . Ѡсеневу внуку . а Ѡлегъ поѧ за сн҃а . Аєпину дчерь . Гиргеневу внуку . м҃ца генва р҃ . в҃і . дн҃ь [ПСРЛ, I: 282–283].

Как следует из текста, с половецкой стороны в переговорах также участвовали главы нескольких кланов. Характерно, что между двумя из них летописец целенаправленно проводит дифференциацию, дабы не произошло смешение тёзок («…къ Аєпѣ . и <ко> другому Аєпѣ…»).

Как уже отмечалось исследователями, не исключено, что несколько позднее брак с половчанкой для своего сына Изяслава заключил и третий князь, участвовавший в переговорах, — Давыд Святославич. В пользу такого допущения свидетельствует целый ряд деталей княжеской биографии Изяслава Давыдовича.

Во-первых, он неоднократно пользовался поддержкой половцев в борьбе за киевский стол. Во-вторых (и это, пожалуй, еще более существенно), после одной из битв Изяслав имел возможность выручить из половецкого плена своих недавних противников — князя Святослава Всеволодича и многих русских дружинников, заодно не выдавая половцам тех, кому удалось самостоятельно от них ускользнуть. Летопись подчеркивает, что он действовал таким образом вместе со своей женой, — уточнение само по себе довольно необычное для нашего источника: «Изѧславъ же съ женою своею . въручиста С҃тослава

в Половець . и инѣхъ Рускои дружинъı . многъı҃ въıручиста . и многъı҃ добро издаваста . аче кто оу Половець оутечашеть . оу городъ . а тѣхъ не въıдавашеть» [ПСРЛ, II: 475–476]. По-видимому, дело обстояло так, что союзнические обязательства Изяслава по отношению к кочевникам в целом не позволяли, чтобы он препятствовал захвату ими военной добычи, но он старался — отчасти вопреки этим обязательствам, отчасти путем каких-то переговоров или уплаты выкупа — помочь своим кровным родичам и соотечественникам. Половцы, судя по всему, относились к подобным действиям князя вполне терпимо, что лишь усиливает вероятность того, что действовавшая заодно с мужем княгиня была их соплеменницей.

И, наконец, в-третьих, описывая последнее, роковое для князя сражение за Киев, в котором Изяславу Давыдовичу суждено было погибнуть, летописец отмечает в его переговорах с кузеном следующую реплику: «…в Половци не могу ити а оу Выри не могу голодомъ мерети . а лѣпле хочю сде оумерети» [ПСРЛ, II: 517]. Здесь необходимо отметить, что риторическая прагматика подобных лапидарных высказываний правителя (вне зависимости от того, были ли они произнесены в действительности или вкладывались летописцем в уста своих персонажей) была такова, что в них декларировалась невозможность отъезда именно туда, где у данного князя существовали союзники и близкие свойственники — те, к чьей помощи он предсказуемо мог обратиться. Так, в свое время другой Изяслав, сын Мстислава Великого и внук Владимира Мономаха, выдавший младшую сестру замуж за венгерского короля, ставший сватом короля польского и весьма охотно и многократно пользовавшийся активной военной поддержкой этих свойственников[1], заявлял, согласно летописи: «…мне ѡчины нѣту в Вугрѣхъ . ни в Лѧсѣ҃ токмо в Русстѣи земли а проси ми оу ѡца Погорины» [ПСРЛ, I: 329]. Иными словами, в речениях подобного рода больше конкретики, чем может показаться на первый взгляд: князь отрекается от того, в чем его легко заподозрить (в том числе, в силу его семейных связей).

Все эти данные в совокупности, разумеется, не позволяют безапелляционно утверждать, что женой Изяслава Давыдовича была половчанка, но они значительно повышают правдоподобность этого предположения, тем более что никакими сведениями относительно брака князя с кем-либо из русских княжон и связях, возникающих благодаря таким матримониальным союзам, мы не располагаем.

[1] Ср., напр.: «Изѧславъ же <…> поча сѧ слати въ Оугры . къ зѧтю своему королеви . и в Лѧхы . къ свату своему . Болеславу и Межцѣ . и Индриховѣ . и къ Ческомоу кнзю сватоу своемоу . Володиславꙋ . просѧ оу нихъ помочи» [ПСРЛ, II: 384].

В целом этот мирный договор был событием весьма масштабным, которое завершало целую серию войн и конфликтов русских с половцами. Ему предшествовали, в частности, победа русских у Лубна, убийства половецких пленников и гостивших при дворе Владимира Мономаха Китана и Итларя, а также распря самих Рюриковичей, обязанная своим возникновением различию в подходах князей к союзам с кочевниками. В такой ситуации стремление заключить сколько-нибудь надежный мир могло воплощаться не только в династических браках, но и в наречении детей знатных половцев, участников переговорного процесса. Это закрепление могло образовывать сложные перекрещивающиеся линии, иконически знаменующие замирение «всех со всеми». Тогда-то и могло появиться у половцев имя *Василий* — условно говоря, кого-то из детей клана, породнившегося с Олегом, могли назвать крестильным именем его двоюродного брата, Владимира / Василия Мономаха, женившего сына на представительнице другого клана.

Разумеется, подобные политико-ономастические ходы могли быть устроены и по несколько иным схемам. Имя *Василий* мог получить и кто-то из детей половецких сватов Владимира / Василия Мономаха, и лишь впоследствии (например, после смерти главы клана, Аепы Осенева) эти его родичи могли присоединиться к кочевникам, сотрудничавшим с потомками Олега.

Строго говоря, нельзя исключить такой возможности, что Василий попросту был кузеном (двоюродным или троюродным братом) Святослава Ольговича с материнской стороны, т. е. сыном кого-либо из половецких дядьев Святослава, присутствовавших на свадьбе племянника в 1107 г. Это последнее допущение хорошо укладывается в логику переговорного процесса Святослава Ольговича с кочевниками, которая представлена в летописи. В самом деле, нетрудно представить, что сначала ко двору русского князя с большим представительным посольством является его кузен, а на следующем этапе на сцену во главе крупных военных объединений выступают родичи старшего поколения — «дикие» дядья Святослава[1].

[1] Для дипломатической истории Средневековья ситуация, когда иностранное посольство к русскому князю возглавляет тот, кто состоит с ним в родстве через

Вопрос о том, на какой именно половецкой княжне был женат Олег, отец нашего Святослава, и, соответственно, к какому роду принадлежали столь охотно помогавшие племяннику «дикие уи», не так прост, как может показаться. Как известно, в летописи нет прямого сообщения о половецком браке Олега Святославича, зато здесь приводятся именования половецких дядьев его сыновей: «…и Половцемъ дикымъ . оуемъ своимъ . Тюнрако<ви?> . Ѡсоулокови҃ и бра҃ его Камосѣ» [ПСРЛ, II: 334].

На основании этого перечня имен со времен В. Н. Татищева традиционно делается вывод, что женой Олега Святославича была дочь Осолука[1]. Между тем, здесь, возможно, следует принять во внимание, что сам по себе формант *-ич* (*-ович* / *-евич*), применяемый к половецким вождям, был не только средством образования отчества в узком смысле, но мог выступать и для обозначения принадлежности к клану или родовой группе, поэтому мы не можем быть до конца уверены, что жена Олега и мать Святослава непременно была родной дочерью Осолука (хотя сомнений в ее половецком происхождении не возникает).

Дело осложняется еще и тем, что мы не знаем в точности, кем был этот князь, которому присваивается роль Олегова тестя, а похожие имена половецких правителей упоминаются в летописи неоднократно и с большим временным разрывом. Так, помимо наших *Осулоковичей*, под 6636 г. в Ипатьевской летописи фигурирует некий князь, чье имя в разных списках передается по-разному, но читать его предлагается, по аналогии с Лаврентьевской летописью, как *Селук* или *Оселук* [ПСРЛ, II: 291, прим. 1, прим. а; I: 296], причем возглавляемые им половцы поддерживают не кого иного, как Всеволода Ольговича и его братьев. Можно ли допустить, что речь идет о родном деде этих князей? Или это какой-то еще их родич с материнской стороны, обладатель повторяющегося половецкого родового имени? Нельзя, разумеется, сбросить со счетов и ту возможность, что мы имеем дело попросту с разными половецкими именами.

женщин, отнюдь не уникальна. Достаточно вспомнить визит в 1075 г. посланников немецкого короля Генриха IV к Святославу Ярославичу, родному деду интересующего нас Святослава (об этом см. выше ч. II, гл. 2, с. 174–176 наст. издания). Во главе этого посольства был поставлен Бурхард, настоятель собора в Трире, который был братом Оды, жены Святослава Ярославича ([Lampert: 202]; ср. также: [Литвина & Успенский 2010: 9–20]).

[1] Перечень исследований, где фигурирует такое утверждение, см., напр., в работе: [Гуркин 1999: 43–44].

Много позже, в конце XII столетия, в списке плененных половцев фигурирует князь *Осалук* / *Осолук* [ПСРЛ, II: 632; I, 395], а в перечне князей, несколько лет спустя пришедших на переговоры со Святославом Всеволодичем (внучатым племянником нашего Святослава Ольговича), упомянуты два Бурчевича, один из которых тоже носит имя *Осолук* [ПСРЛ, II: 675]. Идет ли речь о каком-то родиче Ольговичей? Является ли он очередным обладателем родового имени? Какую роль в системе половецкого родства играет указание на то, что он и его брат — *Бурчевичи*? За этим кругом вопросов интуитивно ощущается некое долгосрочное переплетение родственных и союзнических отношений Ольговичей и половцев, но выстроить их в более или менее стройную схему на данном этапе исследования не представляется возможным[1].

Так или иначе, Василий Половчин, если его имянаречение и в самом деле было связано с фактом заключения двойного русско-половецкого династического брака, принадлежал к тому же поколению, что и сам Святослав Ольгович, и возраст его, таким образом, вполне соответствовал его представительским функциям.

Общие замечания. — Необходимо учитывать, что гипотетичность наших построений относительно имянаречения этого половецкого посла значительно выше, чем в случае с Даниилом Кобяковичем, Романом Кзичем или, тем более, с Юрием Кончаковичем, о родовой принадлежности, отце, русских свойственниках и родственниках которого летопись сохранила для нас куда больше сведений. Несомненно, однако, что для половцев, благодаря такой фигуре, как сотрудничавший с ними Василько Теребовльский, имя *Василий* принадлежало

[1] Здесь можно было бы вспомнить и двух половецких князей, фигурирующих в «Поучении» Владимира Мономаха: «…и азъ шедъ с Черниговци и с Половци на Деснѣ изьмахо҃ кнѧзи Асадука и Саоука и дружину ихъ избиша» [ПСРЛ, I: 248]. Еще И. М. Ивакин высказал предположение о тождестве Асадука и Осолука, считая, что в «Поучении» речь идет именно о пленении Олегова тестя, а различие в именах сводится к ошибке переписчика [Ивакин 1901: 168]. Мы не рискуем в данном случае делать столь решительные выводы, не обладая достаточной лингвистической компетенцией для сопоставления исконных половецких антропонимов.

к числу полноценных династических имен русских князей. В принципе, не исключено, что образ этого князя мог сыграть непосредственную роль при наречении посла Василия (если мы считаем его половцем). Но мы знаем о его сотрудничестве с кочевниками слишком мало, чтобы говорить об этом наверняка. С другой стороны, трудно усомниться, что половцы, столь много и тесно взаимодействовавшие с Мономахом, были осведомлены о том, что *Василий* было одним из имен еще и этого могущественного князя.

Известные нам факты, в сущности, сводятся к следующему: Василий Половчин получил свое имя при жизни Василько Ростиславича Теребовльского и Владимира / Василия Мономаха. Последний был знаменит не только войнами с половцами, но и тем, что на протяжении жизни, по его собственному утверждению, заключил с ними 19 мирных договоров[1]. В принципе, любой из них мог сопровождаться актом наделения половца христианским именем князя: так, например, могли поступить с отпрыском какого-нибудь из отпущенных Мономахом половецких правителей. С другой стороны, как уже говорилось, крестильное имя Мономаха могло сделаться модным и в русской элитарной среде, а обилие половецко-русских связей в эту эпоху вполне способно было спровоцировать появление этнического детерминатива *Половчин* у сотрудничавшего с кочевниками русского.

Весь летописный эпизод в целом, наряду с рассказом летописи и «Слова о полку Игореве» о половце Лавре / Овлуре (см. выше, с. 246–249 наст. издания), демонстрирует, что своеобразная социальная группа медиаторов в русско-половецком взаимодействии — не умозрительный конструкт, а вполне реальное историческое явление, актуальное уже в первой половине XII в. Появление же в этой среде имени *Василий*

[1] Ср.: «…с Половечьскъıми кнѧзи . безъ ѡдиного . к҃ . и при ѡц҃и . и кромѣ ѡц҃а . а даꙗ скота много . и многъı портъı своѣ . и пустилъ єсмъ Половечскъı҆х҆ кнѧзь лѣпши҆х҆ изъ ѡковъ . толико Шаруканѧ . в . брата . Багубарсовъı . г . Ѡвчинъı бра҆тѣ . д҃ . а всѣ҆х҆ лѣпши҆х҆ кнѧзии инѣхъ . р . а самъı кнѧзи Бг҃ъ живъı в руцѣ дава . Коксусь . с сн҃мь Акланъ . Бурчевичь . Таревьскъıи кнѧзь Азгулуи» [ПСРЛ, I: 250]. И. М. Ивакин предложил читать «Ѡвчинъı» как «Осеня» [Ивакин 1901: 271]; получается в таком случае, что Мономах освободил из оков кого-то из родственников половецкого князя Осеня, правда, не вполне понятно, о каком именно Осене идет речь. Если о том, чья внучка стала женой Юрия Долгорукого, то связь этого клана с Мономахом становится особенно отчетливой. Однако в «Поучении», как уже отмечалось самим исследователем, Мономах упоминает также Багубарсова брата Асиня.

намного опережает ту общую волну популярности русских княжеских имен у половецких князей, которую мы наблюдаем в конце столетия. Не вполне очевидно, однако, говорит ли необычно раннее появление этого имени о том, что его обладатель не был половцем: в конце концов, процесс проникновения христианских имен в среду половецкой элиты, прежде чем он стал достоянием антропонимической моды, должен был начаться с какого-то конкретного акта имянаречения. *Василий* же, как мы попытались показать выше, было вполне подходящим именем для запуска соответствующего процесса. С другой стороны, дистанцию более чем в три с половиной десятилетия между этим эпизодом и ближайшими по времени упоминаниями других христианских имен у половцев невозможно не принять во внимание, и она, безусловно, усиливает фатальную для нас неопределенность национальной принадлежности Василия Половчина.

§ 7: Давыд

(*Терминология родства и свойства́ в перечне половецкой знати. —* ***Давыдович*** *— русский князь? —* ***Давыдович*** *— князь половецкий? — Общие замечания*)

Терминология родства и свойства́ в перечне половецкой знати. — В списке плененных в 1184 г. половецких князей, уже неоднократно привлекавшем наше внимание, в той его версии, которая представлена в Лаврентьевском своде, для отдельных половцев указываются не только родственные связи, но и связи по свойству́:

> **…**и Толгъıꙗ . Двд҃ва тести с съно҆м҆ . Тѣтиꙗ с съно҆м҆ . Кобѧкова тьсти Турундаꙗ [ПСРЛ, I: 396].

Эти краткие характеристики родственно-свойственных отношений, разумеется, весьма интересны сами по себе: на минимальном пространстве текста мы находим здесь большое разнообразие способов подачи антропонимической и генеалогической информации. Все зависит, по-видимому, от степени доступности, и еще больше — от меры актуальности этой информации для летописца.

Для одного из половецких князей приводится его собственное имя и указание на отношения свойства́ с конкретным человеком, также на-

званным по имени («Кобѧкова тьсти Турундаꙗ»). Для другого — лишь его собственное имя и указание на то, что он пленен вместе с сыном, по имени не названным («…Тѣтиꙗ с сыно҃м»). И, наконец, еще одна из этих конструкций содержит имя лица, непосредственного участника ситуации, и указания относительно его родства и свойства́.

Адекватное понимание антропонимической информации, содержащейся в этом фрагменте, во многом зависит от того, каким именно образом он будет расчленен на синтагмы. К сожалению, чаще всего в исследовательской литературе этот вопрос не обсуждается вовсе, и читателю в готовом виде предлагаются некие решения, интуитивно представляющиеся верными автору той или иной работы.

Мы в данном случае следуем интерпретации, утвердившейся по умолчанию в большинстве исследовательских работ со времен Н. М. Карамзина, согласно которой речь в данном фрагменте идет о половецком князе Толгые, являвшемся тестем некоего Давыдовича и захваченном в плен вместе со своим сыном[1]. Строго говоря, знаки, присутствующие в этом списке, позволяют членить его иначе: точка после имени «Толгъиꙗ» может означать, что тесть Давыдовича, плененный вместе с сыном, и сам Толгый — это два разных лица. Такая трактовка кажется нам несколько менее правдоподобной, так как заставляет думать, будто один из захваченных кочевников охарактеризован только по родству и свойству́, но при этом его личное имя не названо вовсе.

Существует еще одна версия членения данного фрагмента, принадлежащая Н. М. Баскакову и отличающаяся от тех, что представлены в других работах. Исследователь полагал, что *Давыдович* — это не что иное, как отчество самого Толгыя (Тоглия) [Баскаков 1985: 90]. Данная интерпретация хотя и подкрепляет факт существования имени *Давыд* в половецкой среде, сама по себе кажется менее убедительной, чем общепринятая. В самом деле, в таком случае оказывается, что здесь отсутствует даже личное имя главного действующего лица, тогда как лицо второстепенное поименовано, напротив, развернуто, с именем и патронимом.

Мы узнаем, что князь Толгый (Тоглий)[2], впоследствии неоднократно фигурирующий в летописи, является тестем некоего Давыдовича, а пленен вместе с сыном (имя сына в тексте вновь отсутствует). Таким

[1] Ср.: [Карамзин, I: 29, прим. 67, т. III, гл. 3].

[2] О различных формах фиксации этого имени в летописях и о потенциальных кровно-родственных связях этого половецкого вождя см.: [Pritsak 1967, 1617–1620].

образом, Толгый охарактеризован не только с использованием личного антропонима, но и с помощью терминов родства и свойства́, однако ни его младший родич, ни свойственник по имени не названы, последний обозначен с помощью патронима, имени своего отца («…и Толгъиꙗ . Дв҃двча тести с сыно҃м»).

Пытаясь понять логику летописца, можно прокомментировать эти конструкции следующим образом. В случае с Турундаем довольно очевидно, что именно информация о его зяте является предельно актуальной: захват могущественного Кобяка составляет, если так можно выразиться, главную гордость составителя текста. Весьма существенна поэтому и информация о том, что в плен попал отец жены этого половецкого князя, а следовательно, и его непосредственный союзник по свойству́.

Как уже упоминалось, при заключении династических браков в одних случаях акцент делался на взаимоотношениях отцов брачующихся, тогда как в других — на связи между людьми, принадлежащими к разным поколениям, отцом невесты и женихом. Интересующий нас союз во времена описываемых событий явно строился по модели «тесть ↔ зять», так как Кобяк был совершенно самостоятельным и ни от кого не зависящим лицом, в могуществе ничем не уступающем своему старшему свойственнику, а в русской перспективе — скорее всего, даже превосходящем его по значимости. Не исключено, что эта бо́льшая значимость зятя по отношению к тестю отразилась в порядке подачи антропонимической информации — имя Кобяка названо первым. Впрочем, преувеличивать этот факт не следует, так как порядок элементов в формуле может быть обусловлен различными собственно семантическими и ритмико-синтаксическими факторами.

Что же касается второй конструкции, характеристики Тетия, то формула «с сыном» (для других лиц могут упоминаться и несколько сыновей) довольно типична для русских списков половецких пленных[1]. Вероятнее всего, такого рода указания означают, что эти отпрыски степных князей были уже достаточно взрослыми, чтобы участвовать в битве, но они еще не занимали сколько-нибудь самостоятельного положения во властной и имущественной иерархии. Самое появле-

[1] Ср., напр., неоднократно упоминавшееся в нашем исследовании летописное сообщение о захвате в плен двух сыновей Кончака (см. ч. III, гл. 2 (§ 1), с. 265, 270–271 наст. издания) или версию списка плененных князей из Ипатьевского свода: «…и тоу ꙗша . Кобѧка Карлъиєвича . со двѣима сн҃ома» [ПСРЛ, II: 632].

ние таких характеристик могло быть вызвано существенностью того факта, что пленен был не только сам половецкий князь, но и старший (старшие) из его несовершеннолетних наследников, и, соответственно, данный род лишался не только своего нынешнего главы, но и глав, так сказать, потенциальных.

Наиболее пространная из приведенных здесь минимальных конструкций («…Толгыꙗ . Дв҃двча тести с сыно҃м…») также содержит указание на пленение вместе с отцом наследника (вероятно, «несовершеннолетнего»). Однако более любопытна в данном случае характеристика отношений свойства́, появляющаяся тут же. Более или менее очевидно, что в данном случае речь идет о модели союза свойственников, которая может быть условно описана с помощью схемы «сват ↔ сват»[1]. Иначе говоря, ситуация в целом очень близка к той, что мы наблюдали в случае с женитьбой детей Кончака и Игоря Святославича: Толгый при вступлении в брак его дочери, скорее всего, заключал некие союзнические отношения не только и не столько с зятем, лишь вступающим в пору зрелости, но, в первую очередь, с его отцом, и поэтому-то в характеристике половца присутствует не личное имя зятя, но — в форме патронима — личное имя свата, зятева отца. Наиболее актуальными, естественным образом, оказываются личные имена этих центральных контрагентов-сватов, которые, в отличие от своих сыновей и тем более от Толгыевой дочери, являются целиком полноправными участниками в системе власти.

Давыдович — русский князь? — В перспективе же нашего исследования наиболее интересно, разумеется, то обстоятельство, что патроним зятя плененного половца образован от христианского имени *Давыд*. Сразу необходимо отметить, что в русской историографической традиции (по крайней мере, со времен Н. М. Карамзина) утвердилось мнение, что сватом половецкого пленника, обладателем имени *Давыд*, был один из князей Рюриковичей[2]. Единственным, по существу, претендентом на эту роль — без особенного, впрочем, обсуждения — признавался Давыд Ростиславич, внук Мстислава Великого и родной брат одного из главных участников похода, Рюрика Ростиславича[1]. Много позже было последовательно продемонстрировано, что из всех *Давыдов* конца XII столетия он и в самом деле по возрасту — едва ли не единственный, у чьего сына мог быть какой бы то ни было тесть [Гуркин 1999а: 48]. Правда, при этом не была учтена фигура его современника Давыда Полоцкого, отца Бориса Друцкого, о чем нам еще предстоит сказать ниже.

[1] О различных моделях, по которым строились в XII в. отношения свойства́ между князьями, см. подробнее выше ч. I, гл. 3 и гл. 6 наст. издания.

[2] См.: [Карамзин, I: 29, прим. 66, т. III, гл. 3; Baumgarten 1927: 39, табл. IX].

Разногласия исследователей в основном касались вопроса о том, кто именно из довольно многочисленных сыновей Давыда Ростиславича мог быть зятем Толгыя. Оговоримся сразу же: каких-либо иных (кроме появления данного патронима в списке пленных половцев) сведений о том, чтобы кто-то из детей Давыда Ростиславича вступил в брак с половчанкой, в нашем распоряжении нет. Более того, среди зафиксированных в летописи русско-половецких браков мы не находим ни одного союза, благодаря которому князь Рюрикович по имени *Давыд* сделался бы тестем кого-то из князей половецких. Но поскольку летопись сообщает далеко не обо всех княжеских браках, это отсутствие сведений не может, разумеется, служить непреодолимым препятствием для поиска русских связей Толгыя.

В некоторых исторических исследованиях и генеалогических таблицах можно найти утверждение (как правило, не сопровождающееся никаким комментарием), согласно которому зятем Толгыя был Мстислав Давыдович[2]. Другие исследователи, также без развернутого комментария, называют в качестве зятя Толгыя Изяслава Давыдовича [Pritsak 1967: 1618, 1622]. И те, и другие авторы ссылаются лишь на разбираемый нами фрагмент Лаврентьевской летописи, где, напомним, какое-либо личное имя Давыдовича отсутствует. С. В. Гуркин, справедливо предполагая, что для идентификации этого персонажа необходимо привлечь сведения обо всех сыновьях Давыда Ростиславича, исключает из списка потенциальных кандидатов на роль зятя Мстислава-младшего, который появился на свет лишь в 1193/1194 г.; Константин Давыдович также отвергнут (и тоже, по-видимому, вполне справедливо) на основании хронологических причин, так как даже к моменту смерти отца в 1197 г. тот был по завещанию отдан дяде «своемоу Рюрикови на роуцѣ» [ПСРЛ, II: 704–705], соответственно, даже и в ту пору был достаточно юн и холост. Далее С. В. Гуркин от-

[1] Ср., напр.: [Baumgarten 1927: 39, 41, табл. IX, № 4, 12].

[2] См., напр.: [Пашуто 1968: 426, табл. VII; Donskoï 1991: 146, № 409].

мечает, что остальные сыновья Давыда, а именно Мстислав-старший, Борис и Изяслав, являются равноправными кандидатами на роль зятя Толгыя [Гуркин 1999а: 47–48]. Мы полагаем, однако, что в списке этих трех кандидатов один (Борис), безусловно, является лишним, а другого, возможно, не хватает. Кроме того, следует, по-видимому, не упускать из виду еще одну кандидатуру — князя, вовсе не принадлежавшего к смоленской ветви Рюриковичей.

Что касается Бориса, сына Давыда Ростиславича и внука Ростислава Мстиславича Смоленского, то его, со всей очевидностью, следует исключить из рассмотрения, поскольку такого человека, судя по всему, не существовало вовсе. Посвященный же ему пассаж в статье С. В. Гуркина представляет собой сочетание почерпнутых из вторичной литературы неверных данных[1]. Перед нами своего рода историографический фантом, появляющийся лишь в отдельных справочных

[1] С. В. Гуркин полагает, в частности, что именно об этом несуществующем Борисе Давыдовиче идет речь в известии Ипатьевской летописи под 1179 г., опираясь при этом не столько на летописный текст, сколько на его интерпретацию, принадлежащую Л. В. Алексееву [Гуркин 1999а: 48]. В летописном фрагменте речь идет о том, что Мстислав Ростиславич Храбрый «вниде во Плесковъ . и изъима сотьскѣи . про Бориса . сн҃овцѧ своєго . зане не хотѧхоуть сн҃овца єго Бориса . и тако оутвердивъ є с людьми . и иде ѿтоудоу к Новоугородоу» [ПСРЛ, II: 608]. Смысл этого фрагмента в целом представляется достаточно прозрачным, не вызывает больших затруднений и идентификация упомянутого здесь племянника Мстислава Ростиславича. И то, и другое ясно изложено, к примеру, еще Н. М. Карамзиным: «Мстислав на возвратном пути усмирил во Пскове мятежных чиновников, не хотевших повиноваться его племяннику, Борису Романовичу» [Карамзин, I: 33, т. III, гл. 3]. Он же в другом месте отмечает, что сын Романа Ростиславича в описании одних и тех же событий разными летописными источниками может именоваться то *Мстиславом*, то *Борисом* [Карамзин, I: 46, прим. 95]; соответственно, *Мстислав* было его княжеским именем, а *Борис* — крестильным [Литвина & Успенский 2006: 585–586]. Л. В. Алексеев (на которого опирался С. В. Гуркин) почему-то предположил, что речь в данном известии идет о том, что некий племянник князя Мстислава по имени *Борис* был сотским во Пскове, и его-то дядя с этой должности сместил [Алексеев 1980: 221]. В свою очередь, С. В. Гуркин, по каким-то причинам не находя у Мстислава Храброго других племянников с именем *Борис* (хотя Борис Романович, по крайней мере, трижды упомянут в Новгородской первой летописи), считает, что этим злополучным, смещенным со своей должности сотским был не кто иной, как фантомный Борис Давыдович Смоленский. Разумеется, никакой князь Рюрикович не мог быть сотским во Пскове, примеры такого рода древнейшему летописанию не известны, и никакой нужды видеть в сидевшем здесь на княжении *Борисе* кого-либо иного, кроме Мстислава / Бориса Романовича, нет.

изданиях и основанных на них исследованиях, но решительно отсутствующий в источниках. Мы находим его, в частности, в работе О. М. Рапова (на нее и ссылается С. В. Гуркин), который в данном случае опирается исключительно на Татищева [Рапов 1977: 180, 193]. Однако в соответствующих свидетельствах Татищева (надежность которых сама по себе вызывает некоторые сомнения) Борис Давыдович именуется полоцким князем[1], и решительно никаких указаний на то, что он был внуком Ростислава Смоленского, там нет. Если упоминаемый у Татищева под 1217 г. факт княжения в Полоцке Бориса Давыдовича верен, то речь, скорее всего, идет не о ком ином, как о Борисе Давыдовиче, прежде фигурировавшем в летописи как князь друцкий (что и признается большинством исследователей). Этот Борис Давыдович, закономерным образом, принадлежал к полоцкой ветви Рюриковичей, но отнюдь не к потомкам Ростислава Смоленского. Его отец, судя по Житию Евфросинии Полоцкой, был родным братом святой [Кушелев-Безбородко, IV: 177], а сам Борис Друцкий, соответственно, приходился ей племянником. У Евфросинии и Давыда был и еще один брат по имени *Вячеслав*, что хорошо согласуется с именем *Вячко*, которое носил единственный из засвидетельствованных в источниках сыновей полоцкого князя Бориса. В рамках подобной генеалогической конструкции оказывается, что Борис дал сыну имя собственного дяди, причем имя это, успевшее сделаться довольно редким в династии, выразительно маркирует семейную принадлежность княжича.

Этот-то Борис Давыдович, отдаленный потомок знаменитого Всеслава, в принципе мог быть женат на дочери Толгыя и должен — наряду с другими претендентами, сыновьями Давыда Ростиславича Смоленского — рассматриваться как возможный зять половца.

Какие же сведения о Борисе Друцком обнаруживаются в летописи? Мы знаем, что более десятилетия спустя после захвата Толгыя этот князь помогал (и притом весьма успешно) Ольговичам против Ростиславичей. Он, в частности, пленил Мстислава Романовича, сына

[1] Татищев приписывает ему троих сыновей (Василько, Вячко и Владимира), из которых только Вячко фигурирует в каких бы то ни было источниках, тогда как два других появляются исключительно у Татищева, в контексте довольно фантастической истории о злодеяниях и убийстве мачехи Вячко по имени *Святохна*, причем весь этот сюжет в целом никакого подкрепления в источниках также не находит, что отмечал еще Карамзин [Карамзин, I: 92, т. III, прим. 208].

умершего к тому времени Романа Ростиславича и родного племянника сидевшего в Смоленске Давыда Ростиславича [ПСРЛ, II: 692]. Вполне можно допустить, что Борис Друцкий, бывший в середине 90-х гг. совершенно самостоятельным князем, к середине 80-х был еще достаточно молод и недавно вступил в брак с половчанкой. В таком случае, в наших руках оказались бы уникальные данные о существовании матримониальных связей между полоцким княжеским домом и половецкой знатью. Однако никаких конкретных фактов о жизни Бориса Друцкого до вышеизложенного известия, а также о связях его отца Давыда с половцами, в нашем распоряжении нет.

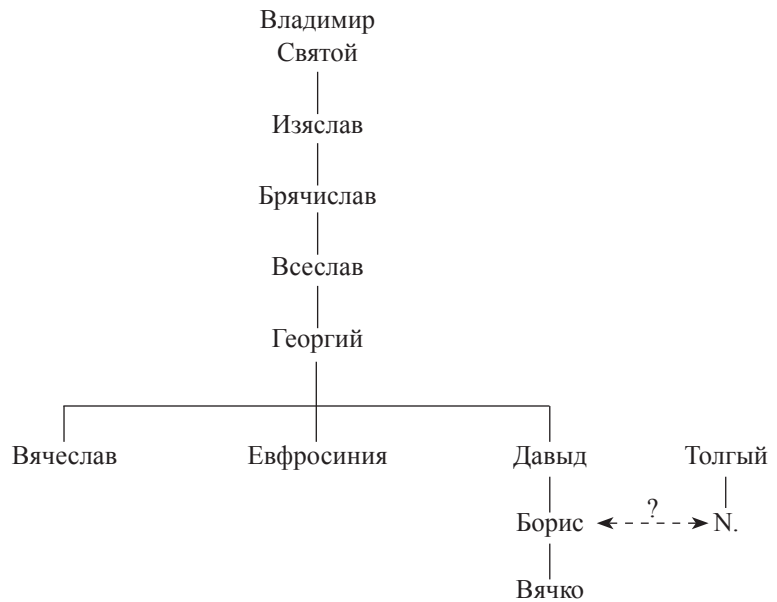


Рис. 3. *Родословная Бориса Давыдовича, возможного зятя Толгыя*

Возвращаясь к сыновьям Давыда Смоленского, Мстиславу и Изяславу, можно отметить, что старшим из них, вероятнее всего, был Мстислав, который в сентябре 1184 г. был отправлен отцом на новгородский стол и просидел там вплоть до 1187 г. [ПСРЛ, III: 37–39]. Еще прежде интересующего нас похода, закончившегося поражением половцев, он успел поучаствовать в походе на болгар, организованном Всеволодом Большое Гнездо, в котором некоторая часть половцев выступала в качестве союзников русских [ПСРЛ, I: 389]. Нет ничего невероятного в том, что молодой князь прежде своего отъезда в Новгород вступил в брак с половецкой княжной.

Но не менее любопытна в этом отношении и фигура его родного брата Изяслава Давыдовича. Ничего не известно о том, чтобы он получил к 1184 г. какой-либо самостоятельный княжеский стол, так что весьма вероятно, что он еще оставался при отце. Для нас же наиболее существенно, что именно он вместе с другими молодыми князьями принял непосредственное участие в походе на половцев, организованном Святославом Всеволодичем и Рюриком Ростиславичем, — том самом походе, который закончился пленением Толгыя. Способ его идентификации в перечне князей, участников этого предприятия, как кажется, подтверждает наше предположение о том, что Изяслав был, скорее всего, представителем своего отца: и у него, и у его кузена отчества предшествуют личному имени — «…Романовичь Мстиславъ . Дв҃двчь Изѧславъ» [ПСРЛ, I: 394][1]. Было бы вполне естественно, если бы летописец, перечисляя в рамках того же рассказа плененных половцев, связал одно с другим и опустил при обозначении Толгыева зятя имя *Изяслав*, оставив только отчество *Давыдович*. Этот эллипсис, помимо всех перечисленных в начале нашего обсуждения причин, был возможен еще и потому, что в таком случае он легко восполним на основании текста статьи в целом, — поскольку в походе участвовал только один князь Давыдович, Изяслав, то, соответственно, достаточно назвать патроним, чтобы понять, о ком идет речь.

Таким образом, Изяслав Давыдович представляется нам, пожалуй, самым вероятным, хотя и не единственным кандидатом на роль Толгыева зятя.

Напомним, что в нашем рассуждении фигурировал и еще один, «забытый» кандидат из числа сыновей Давыда Ростиславича. Речь идет о некоем Владимире Давыдовиче, который отсутствует в летописях, но назван в тексте, рассказывающем о перенесении князем Давыдом

[1] Отец Изяславова двоюродного брата, Мстислава / Бориса Романовича, к этому времени уже скончался, однако Мстислав, по всей видимости, состоял при своем дяде Давыде Ростиславиче. Во всяком случае, именно последний отправляет его в военные экспедиции еще много лет спустя после описываемых событий [ПСРЛ, I: 413]. В данном случае летописцу, очевидно, было важно подчеркнуть, что в походе принимают участие все наличествующие ветви дома смоленских Ростиславичей — не только Рюрик, но и сыновья его обоих братьев, Романа и Давыда.

Ростиславичем ветхих гробниц свв. Бориса и Глеба из Вышгорода в Борисоглебский монастырь. В этом источнике сообщается, что Давыд «предер'жаи всю ѡбласть . смоленьскꙋю сн҃а же своего владимера посади вышегородѣ» [Воронин & Жуковская 1976: 71]. Из этого свидетельства следует, что в 1191 г. у Давыда был еще один сын по имени *Владимир*, при этом достаточно взрослый для того, чтобы занимать вышгородский стол. Д. Домбровский на основании данных показаний предположил, что этот Владимир был немногим младше Мстислава-старшего и Изяслава, но старше остальных своих братьев. В таком случае, следовало бы и его рассматривать как потенциального зятя Толгыя, хотя полное молчание о нем летописных источников заставляет заподозрить, нет ли в интересующем нас тексте простой ошибки в имени молодого князя. Правда, составителя этого текста в целом как будто бы нельзя упрекнуть в небрежении именами действующих лиц: он верно называет деда и прадеда Давыда Ростиславича и правильно указывает имя епископа Симеона, занимавшего в 90-е гг. XII в. смоленскую кафедру. Публикаторы памятника, дошедшего до нас в списке XVI в., полагали, что он был составлен не позднее рубежа XII–XIII вв. и отделен от рукописи XVI в. минимальным числом промежуточных списков.

Во всяком случае, Владимира Давыдовича, принадлежащего смоленской ветви рода, и Бориса Давыдовича, представителя ветви полоцкой, не следует полностью исключать из числа возможных кандидатов на роль зятя плененного половца.

Давыдович — князь половецкий? — Отсутствие данных о браке кого-либо из Давыдовичей с половчанкой, хотя и не исключает само по себе такого союза, все же заставляет задуматься и над возможностью сугубо «половецкой» трактовки упомянутых в списке матримониальных отношений. Не мог ли быть сватом Толгыя, отцом его зятя, некий половец с христианским именем *Давыд*? Если учесть, что в этом же списке пленных упомянут князь половецкий, зовущийся *Глеб Тириевич*, а в тексте Ипатьевской летописи, рассказывающем о событиях следующего года, мы обнаруживаем половца по имени *Роман*, то в предположении о том, что у кочевников могло встречаться и еще одно имя святых братьев, Глеба / Давида и Бориса / Романа, давно употребляемое Рюриковичами в качестве единственного, нет ничего невероятного.

Высказанный вскользь аргумент против такого допущения, заключающийся в том, что имя *Давыд* у половецких князей более нигде не зафиксировано [Гуркин 1999а: 48], вряд ли может иметь решающую силу. В самом деле, многие имена кочевников, и христианские в частности, засвидетельствованы в летописях лишь точечно и повторяются чрезвычайно скупо. Так, Роман Кзич и Василий Половчин (если речь в последнем случае действительно идет о половце) упоминаются всего по одному разу. Соответственно, одного свидетельства, будь оно достаточно надежно, оказывается вполне достаточно для того, чтобы констатировать факт присутствия конкретного русского антропонима у половцев.

В пользу допустимости гипотезы о принадлежности Толгыева свата к половцам может говорить, как кажется, и то обстоятельство, что летописец в перечне пленных был вполне заинтересован в указании внутриполовецких отношений свойства́. Как мы помним, говоря о пленении Турундая, он сообщает, что тот приходился зятем Кобяку, другому могущественному половцу.

Некоторым возражением против гипотезы о половецком происхождения Толгыевых свойственников могут служить общие соображения о массовом появлении христианских имен в среде половецких князей. Обратим внимание, что Кончак, Кобяк и Кза принадлежали, по-видимому, к одному поколению правителей (имея в виду самую широкую трактовку термина «поколение»). У каждого из них есть по сыну с христианским именем, о чем мы узнаем, встречая в летописи сочетание «христианский антропоним + нехристианский патроним» (*Юрий Кончакович, Даниил Кобякович, Роман Кзич*). Обратных же сочетаний, «нехристианский антропоним + христианский патроним», или сочетаний «христианский антропоним + христианский патроним» у половцев мы не находим. Возникает предположение, что мода на княжеские христианские имена распространяется у половецкой элиты в достаточно определенный хронологический период. Соответственно, зваться *Давыдом* куда больше шансов имел бы гипотетический молодой половецкий зять Толгыя, нежели отец этого зятя.

Этот аргумент, однако, также не может быть признан бесспорным: мы располагаем слишком небольшим набором христианских имен у половцев, чтобы однозначно признавать одни модели актуальными, а другие полностью неосуществимыми. В самом деле, если мы предполагаем, что антропонимическая мода на имена Рюриковичей стала

достаточно распространенной приблизительно в конце 60-х — 70-е гг. XI в., то начало ей могло быть положено, как уже упоминалось, единичным (или единичными) актом подобного выбора имени, случившимся ранее или в несколько иной среде, принадлежащей к той же традиции.

Общие замечания. — Вопрос о присутствии имени *Давыд* у половцев можно, таким образом, считать открытым, и, соответственно, тем большей осторожности требует утверждение о браке кого-либо из конкретных представителей рода Рюриковичей с дочерью Толгыя. Иными словами, атрибуция Толгыева зятя, упомянутого в Лаврентьевской летописи, должна быть представлена в виде своеобразной трехступенчатой дихотомической схемы возможностей: это может быть сын знатного половца, обладателя имени *Давыд*, или один из русских князей. В роду Рюриковичей на эту роль годился, с одной стороны, Борис Давыдович Друцкий, и с другой — сыновья смоленского князя Давыда Ростиславича. Из потомков Давыда Смоленского это мог быть Мстислав либо Изяслав, хотя нельзя исключить полностью и загадочную фигуру Владимира Вышгородского.

Если же сосредоточиться исключительно на русских князьях и строить, исходя из летописных данных, некоторую иерархию возможностей, то наиболее вероятной кандидатурой является Изяслав Давыдович, вторым будет, пожалуй, его брат Мстислав, а третьим — Борис Друцкий. При этом едва ли оправданно наделять любую из этих возможностей рангом безапелляционного утверждения в составе генеалогического справочника или таблицы.

Глава 3

Ритм и характер русско-половецких контактов по матримониальным и ономастическим данным (вместо заключения)

Обратившись к истории взаимоотношений Руси и половцев, читатель русской летописи наталкивается на два — отчасти обескураживающих, отчасти дезориентирующих — обстоятельства. С одной стороны, эта история при всей своей многособытийности производит

впечатление чего-то монотонного и однообразного: на протяжении полутора столетий набеги половцев и ответные походы русских князей настолько часто фиксируются в источниках, что трудно выделить какие-либо приметы интенсификации или ослабления военного противостояния. Бросается в глаза и сходство тех событий, что выпадают на рубеж XI–XII вв., с теми, что происходят спустя столетие с лишним. Как в первый, так и во второй из упоминаемых периодов мы узнаем о переменном успехе русских и половцев в сражениях невдалеке от Переяславля, о пленении русского князя кочевниками, о том, что другой князь женит своего сына на половчанке, о побеге — удачном или неудачном — еще одного Рюриковича к половцам…

С другой стороны, в летописном изложении нечасто можно отыскать какие-либо сведения о повседневном обиходе, составлявшем плоть этих контактов. Лишь изредка нам попадается упоминание о том, как накануне убийства половецкого князя Итларя его приглашают переобуться в теплой избе и позавтракать у некоего Ратибора, дабы потом отправиться к Владимиру Мономаху, или рассказ, согласно которому стража, охраняющая плененного Игоря Святославича в половецкой ставке, исполняет его поручения и отпускает князя на ястребиную охоту. В большинстве же случаев все наши предположения об устройстве половецкой части двора русского князя, женившегося на половчанке, о языке общения двух кузенов, один из которых — степной наследник, а другой — Рюрикович, никакими непосредственными данными источников подкрепить невозможно.

Дефицит удобных для современного восприятия сведений о повседневности русско-половецкого взаимодействия действительно существует, не вполне иллюзорна и своеобразная цикличность, почти патологическая стабильность соприкосновений с кочевниками. Тем не менее, именно ономастический материал дает возможность хотя бы частичного выхода за пределы этих ограничений.

Изучение запечатленных в летописных источниках русских имен половецких правителей вызывает к жизни ряд наблюдений, часть из которых вполне ожидаема и в определенном смысле лежит на поверхности, тогда как другие отнюдь не очевидны и требуют многоступенчатого комментария. Так, история появления этих антропонимов, соотнесенная с историей междинастических браков, невольно порождает, в частности, некую своеобразную и во многом условную, с достаточно размытыми границами периодизацию русско-половецких контактов.

Контакты эти начинаются с вполне мирных переговоров, но немедленно перерастают в череду сокрушительных поражений, которые кочевники наносят русским князьям. Когда Святославу Ярославичу удается одержать над ними победу у Сновска [ПСРЛ, I: 172; II: 161; III: 189–190], в летописи это событие обставлено целым рядом характеристик, повышающих его значимость, вроде речи князя перед своими воинами, которая, кстати, воспроизводит фрагмент речи предка и тёзки этого князя, Святослава Игоревича, перед победоносной битвой с византийцами.

В целом, можно сказать, что в 60-е — 70-е гг. XI столетия Рюриковичи лишь учатся оказывать половцам сопротивление, но, обучаясь этому искусству, они сразу стремятся использовать «центробежную энергию» кочевых кланов в своих собственных, внутриродовых конфликтах. Разумеется, это всегда небезопасно, но поначалу — в особенности. Один из русских князей, Роман Святославич, погибает, убитый собственными половецкими союзниками после военно-дипломатической неудачи [ПСРЛ, I: 204; II: 195–196; III: 18], но надо сказать, что это первый и последний случай подобного рода: в дальнейшем только Рюриковичам случалось убивать половецких князей, вступивших с ними в мирные союзнические переговоры.

Уже в эту пору летописец охотно фиксирует имена половецких правителей, пришедших на Русь. Их образы, всегда остающиеся достаточно фрагментарными, постепенно обрастают выразительными эпитетами или даже некоторыми краткими характеристиками. Правда, поначалу, и это весьма существенно для нас, в летописи практически отсутствует даже минимальная генеалогическая информация о представителях половецкой элиты: в подавляющем большинстве случаев их личные имена не сопровождаются какими бы то ни было патронимическими формами. Отсутствуют, разумеется, и упоминания о каких-либо христианских или мирских княжеских именах в кочевой среде.

Картина заметно меняется с конца XI столетия, когда начинается период более чем успешного военного противостояния кочевникам, которое оказывается возможным лишь на фоне тесного междинастического взаимодействия: Рюриковичи не только обмениваются с половцами знатными заложниками, но и начинают заключать браки с наследницами половецких вождей. Здесь главными действующими лицами становятся внуки Ярослава Мудрого. Святополк Изяславич женится на половчанке сам, а Владимир Мономах устраивает половецкие браки для двух своих сыновей, Олег Святославич же закладывает основы «куманофильской» репутации своей ветви рода, не только женившись на половчанке, но и взяв еще одну половецкую княжну в жены своему малолетнему сыну. Именно в эту пору в династической стратегии Рюриковичей зарождается своеобразный принцип, который можно охарактеризовать как систему сдержек и противовесов: половцы все активнее вовлекаются в противостояние между различными ветвями разрастающегося рода русских князей, и, соответственно, каждая из этих ветвей стремится заключить свое собственное соглашение с этими кочевниками.

Летописное повествование насыщается генеалогическими подробностями о правителях половцев, а поскольку для указанной эпохи мы располагаем таким замечательным автобиографическим княжеским текстом, как «Поучение» Владимира Мономаха, то мы можем убедиться, что здесь интерес к происхождению и клановой принадлежности половецких вождей проявляется, пожалуй, в еще большей мере, причем как князь, так и составитель летописи обращают внимание на связи и вертикальные («отец ↔ сын»), и горизонтальные («брат ↔ брат») (ср., например: [ПСРЛ, I: 249–250]).

Сообщение о заключении русско-половецкого брака сопровождается указанием имени отцов и даже дедов невесты. Характерным образом, имена половчанок, ставших женами Рюриковичей, отсутствуют не только в этих самых первых упоминаниях о русско-половецких браках, но и на всем пространстве текста трех древнейших летописных сводов, — в русских памятниках мы не найдем не только их крестильных, но и исконных имен.

С другой стороны, не исключено, что осведомленность в половецкой генеалогии преследовала, помимо всего прочего, и цели, связанные именно с приобщением к Церкви степных невест. В самом деле, именно с конца XI в. в обиходе Рюриковичей нарастает роль внутридинастических браков, когда князья стали жениться на своих дальних родственницах, представительницах собственного рода. При этом отнюдь не упускаются из виду нормы канонического права, налагающего запрет на близкородственные и близкосвойственные браки.

Политические выгоды, сопряженные с внутридинастическим браком, и нежелание нарушать церковные установления формируют динамичную систему, в рамках которой как только образуется каноническая возможность, то выгодный брак немедленно заключается. Искушен-

ность в собственной генеалогии, точное знание степеней родства являлись практической необходимостью как для самих русских князей, так и для близкого к ним духовенства. Насколько мы можем судить по весьма ограниченному числу имеющихся в нашем распоряжении примеров, соответствующие тенденции в организации браков были актуальны и в тех случаях, когда речь шла о степных наследницах: вероятно, половецкое родство подсчитывалось так же, как считалось родство между самими князьями Рюриковичами. Так, в частности, Святополк Изяславич и Андрей Добрый, сын Мономаха, женившись на дочке и внучке Тугоркана соответственно, заключая эти выгодные союзы, церковных норм никак не нарушали: хотя их жены приходились друг другу теткой и племянницей, степень кровного родства между самими этими князьями была достаточно удаленной, чтобы они не сделались недозволенно близкими свойственниками (см. Рис. 4).

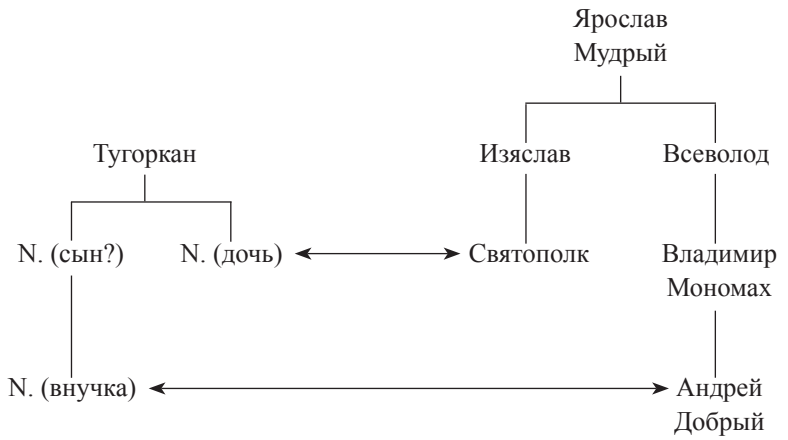


Рис. 4. *Браки Святополка и Андрея Доброго*

Весьма интересно, что именно в половецких браках начала XII столетия мы впервые наблюдаем в развернутом виде такую модель союзнического договора, подкрепляемого договором матримониальным, когда главными действующими лицами оказываются отцы брачующихся. Эта модель отношений, условно обозначаемая нами «сват ↔ сват», довольно универсальна для династической практики как таковой, и впоследствии она станет весьма востребованной в собственной внутридинастической жизни русских князей. Сосуществуя у Рюриковичей

с моделью «тесть ↔ зять», она характеризуется большей стабильностью династических отношений, долгосрочной их прагматикой.

Довольно популярной окажется на Руси и модель одновременного заключения нескольких внутридинастических браков, знаменующих начало нового коалиционного союза или конец предшествующего длительного противостояния (ср. выше ч. I, гл. 6, с. 113–117 наст. издания). Впервые же эти «приемы», насколько мы можем судить по летописям, были апробированы именно на браках с кочевниками, когда Владимир Мономах и Олег Святославич разом заключили договоренность о браке своих малолетних сыновей с половчанками.

В эпоху внуков Ярослава Мудрого мы наблюдаем и первые признаки существования своеобразного ритма в русско-половецких контактах, — ритма, ощущаемого в связях матримониальных весьма зримо. Этот ритм определялся сразу несколькими параметрами. Смена персонажей на важнейших русских столах (прежде всего, на столе киевском) сопровождается заметным повышением половецкой активности, которая сопряжена с необходимостью заключения нового договора между Русью и кочевниками, а смерть могущественного вождя половецкого клана, в свою очередь, может потребовать обновления матримониальных контактов между Рюриковичами и половцами. В дальнейшем воздействие на этот ритм могут оказывать и какие-то дополнительные факторы, связанные со все усложняющейся династической жизнью Рюриковичей и все большим накоплением их родовых контактов со степным миром.

Вовлеченность половцев во внутридинастические дела русских князей становится особенно очевидной в тот период, когда в борьбу за старшие княжеские столы вступают русские князья, связанные (в силу прежде заключенных матримониальных союзов) узами кровного родства с князьями половецкими. Это время подросших зятьев (а особенно — племянников и внуков половецких) можно условно обозначить как третий виток русско-половецкого взаимодействия. Именно в эту пору обнаруживается, насколько для половцев важны те родственные отношения, которые возникают через женщин, — активная помощь степных уев (дядьев с материнской стороны), характерным образом, оказывается весьма значимой в эпоху внутридинастических усобиц Рюриковичей 40-х — 50-х гг.

Примечательно, что при описании этих усобиц в летописи явно актуализируется термин *сестричичь* (т. е. «сын сестры, племянник»),

используемый для характеристики внутриродовых отношений самих русских князей (ср., например: [ПСРЛ, I: 315; II: 327, 367, 471]). Так, один из представителей черниговского дома, Святослав Ольгович, постоянно прибегает к поддержке своих «диких уев», половецких вождей, приходящихся ему родней по матери, тогда как другой, Святослав Всеволодич, поочередно присоединяется то к стрыям, русским дядьям по отцу, то к уям, русским дядьям по матери, которые готовы оказывать ему поддержку как своему сестричичу. Система наследования власти у Рюриковичей на протяжении всего домонгольского времени имеет довольно выраженную андроцентрическую ориентацию. Не исключено, что именно контакты с половецким миром позволили хотя бы в какой-то степени учесть и выгодно задействовать такой ресурс, как внутридинастическое кровное родство по женской линии, хотя ресурс этот, разумеется, и прежде не игнорировался полностью. Можно допустить, кроме того, что самое наличие половецкого родства и свойства́ было способно иной раз лечь в основу коалиции между двумя или несколькими русскими князьями: два Рюриковича из разных семей, имеющие половецких дядьев, половецкого тестя или половецкого деда, поддерживая друг друга в усобице, объединяют не только собственные силы, но и силы помогающих им степных кланов.

Тогда же в письменных памятниках впервые появляются обладатели русских имен, так или иначе связанные с половецким миром. По этим ранним примерам не всегда возможно определить, идет ли речь о половцах как таковых, обитают ли они в кочевой среде или при дворе русских князей, и тем более сомнительно, можно ли кого-то из них причислить к князьям половецким как равноправным партнерам Рюриковичей. Очевидно, тем не менее, что эти носители русских имен (скорее всего, появившиеся на свет в предыдущую — «Мономахову» — эпоху) играют роль посредников между двумя все теснее соприкасающимися мирами, русским и половецким, и эти посреднические функции становятся отныне чем-то весьма значимым и постоянно востребованным в русской династической жизни.

Характерна также и еще одна форма проявления союзнической близости между половцами и Рюриковичами, образчик которой мы обнаруживаем в этот период. Русский князь, вытесняемый с того или иного стола членами собственного рода, может искать убежища у половцев, укрываясь у них в течение некоторого времени и отнюдь не отказываясь при этом от своего места в русской иерархической системе:

добровольное пребывание у кочевников никоим образом не умаляет ни его собственных династических возможностей, ни династических перспектив для его наследников, и при этом оказывается неизбежным средством культурного обмена между двумя традициями. К этому же отрезку времени относится и беспрецедентный факт бегства овдовевшей русской княгини к половцам и ее брак с половецким князем. Замечательно, что этот уникальный шаг отнюдь не нарушает ее связей не только с собственным сыном от первого брака, оставшимся на Руси, но и с родней ее первого мужа, которую вновь приобретенные половецкие свойственники охотно поддерживают в борьбе за власть.

Может показаться, что в середине XII столетия границы, отделяющие внутридинастическую жизнь Рюриковичей от их междинастических связей с половцами, начинают стираться. Однако это верно лишь до определенной степени. Такие факты, как бегство князей к кочевникам или брак княжеской вдовы с представителем половецкой знати, ни в коей мере не превращаются в события частотные, определяющие династический портрет Рюриковича той поры. В целом следует, пожалуй, заметить, что, несмотря на все распри и усобицы, сотрясающие чрезвычайно разросшийся род русских князей в этом веке, во внутрисемейном противостоянии Рюриковичей существуют, если так можно выразиться, известные пределы или непреступаемые границы, никоим образом не очерченные эксплицитно, но осознаваемые как летописцем, так и его аудиторией, немаловажной частью которой оказывались сами князья. Разумеется, как и всякие непереступаемые границы династического обихода, время от времени они все же нарушались. Однако нарушения эти всякий раз воспринимались как нечто экстраординарное, вопиющее, почти выходящее за рамки возможного. Что же касается отношений с кочевниками, то допустимость нарушения обязательств — будь то обязательства, установленные договором, матримониальным союзом или личной близостью, — подразумевалась с самого начала в качестве своеобразной презумпции.

Четвертый же и наиболее интересный для нас этап наступает в ту пору, когда в очередной раз нарастает интенсивность военного противостояния Руси с кочевниками. Именно тогда, на наш взгляд, на свет появляется целая группа наследников половецкой элиты, носящих русские княжеские имена. Число их столь заметно, что позволяет говорить о своеобразной антропонимической моде на такого рода номинацию среди наиболее могущественных половецких правителей.

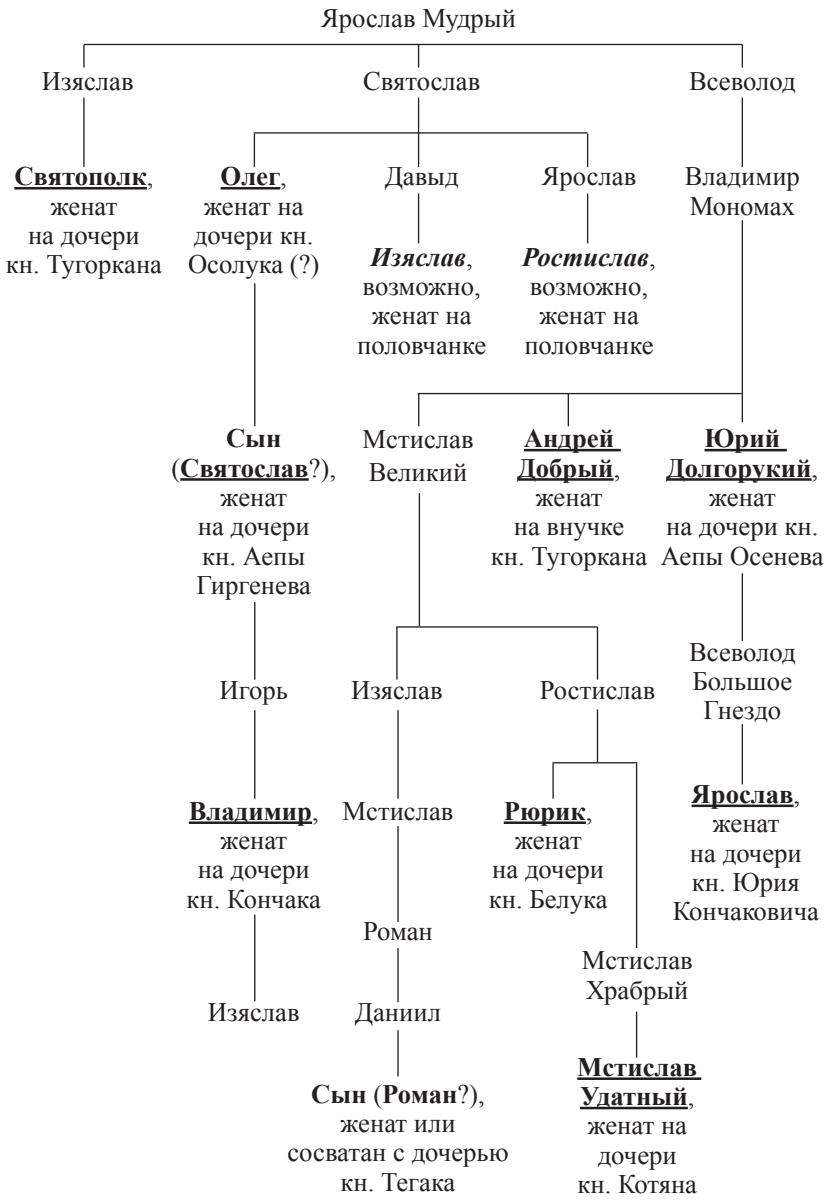


Рис. 5. *Половецкие браки русских князей*

Разумеется, термин «антропонимическая мода», коль скоро речь идет об эпохе Средневековья, отчасти обречен остаться лишь более или менее удачной метафорой: в выборе имен для представителей правящих кланов отражаются настолько глубинные и системные явления стратегии и тактики власти, что здесь находится весьма мало места для чего-то случайного и немотивированного. Русские княжеские имена появляются у сыновей тех половецких правителей, которые поддерживают союзнические отношения друг с другом и наиболее тесно — в мире и войне — соприкасаются с Рюриковичами. Иными словами, появление русских имен зачастую олицетворяет, с одной стороны, наличие более или менее длительных союзов половецких князей с русскими, с другой — присутствие, как это ни парадоксально, весьма долгосрочных союзов степных правителей между собой.

История этих антропонимов — одно из средств приподнять завесу над целыми схемами многоходовых комбинаций во взаимоотношениях русско-половецкой элиты последней трети XII в. и первых десятилетий XIII в. Межконфессиональное противостояние двух миров, русского и половецкого, как и противостояние собственно военное, в ту пору отнюдь не ослабевает. Тем не менее, большинство династических имен, которые половцы в это время заимствуют у русских, оказывается именами христианскими. По-видимому, такое положение дел определяется культурным и функциональным статусом подобных имен у самих русских князей, с которыми приходилось договариваться половцам. Их использование (в отличие от большинства мирских княжеских имен) не являлось исключительной прерогативой рода Рюриковичей, а потому в их глазах было вполне допустимым инструментом для налаживания связей с кочевниками.

Междинастические браки и в эту пору в полной мере остаются неотъемлемым конструктивным элементом русско-половецкого взаимодействия. Женитьба и имянаречение, применяясь то порознь, то в совокупности, оказываются действенными средствами закрепления возникающих коалиционных отношений. При этом ритм русско-половецких браков, который постепенно складывался с начала столетия, все больше встраивается в некий ритм внутридинастических отношений между самими Рюриковичами.

Действительно, не только в середине, но и в начале XII в. мы можем наблюдать, как свадьба русского княжича с половчанкой становится своеобразным инструментом быстрого тактического реагиро-

вания: князья только что воевали с кочевниками, теперь же с ними заключен мир, но мир этот сам по себе нестабилен, а преимущества, которые можно из него извлечь, ненадежны, если он не принял форму брака между представителями недавно противоборствующих родов. Таким же образом договорные отношения могут устанавливаться и в XIII в.: подобно тому как Владимир Мономах, заключив мир с половцами, женит своего малолетнего сына Юрия на дочери Аепы Осенева, веком позже его внук Всеволод Большое Гнездо после успешного антиполовецкого похода устраивает для своего сына-подростка брак со степной княжной, дочерью Юрия Кончаковича (см. Рис. 5 на с. 370 наст. издания).

Однако собственно русская династическая семантика этих матримониальных актов совпадала лишь отчасти. Если Владимир Мономах действовал здесь одновременно со своим кузеном и соперником Олегом Святославичем и стремился уравновесить собственные половецкие связи с аналогичными связями потомков Святослава Ярославича, то его внуку уже приходилось учитывать весь накопившийся фонд русско-половецких отношений, когда со степняками успело породниться большинство могущественных княжеских домов, а потому, враждуя и объединяясь друг с другом, едва ли не все они находили случай привлечь на свою сторону те или иные группировки кочевников.

С другой стороны, не следует забывать, разумеется, что борьба с половцами, как и прежде, остается своеобразным знаменем единения династии, заставляющим кооперироваться различные ветви русского княжеского рода. В летописном изложении эта тенденция прослеживается особенно отчетливо. Достаточно вспомнить, например, фрагмент Новгородской первой летописи, посвященный финалу интересующего нас периода отношений с половцами — преддверию битвы на р. Калке и этой битве как таковой [ПСРЛ, III: 61–63, 264–267]. В глазах летописца новая грозная опасность — нашествие незнаемого кочевого народа — в значительной степени меркнет на фоне неприятностей, доставляемых половцами, противником привычным. Гибель и несчастья половецких князей, со многими из которых русские князья успели породниться, рассматривается как заслуженная кара за их безбожие и кровопролития, совершенные ими на Русской земле. Хищничество половецких союзников предстает злодеянием едва ли не более тяжким, чем вероломное убийство множества пленных князей новыми захватчиками, монголами. Далеко не бесспорной в глазах летописца является и самая идея объединения с половцами против этого врага, Русь прежде непосредственно не затрагивавшего.

Обращаясь к перспективе стороны половецкой, собственных письменных памятников нам не оставившей, также необходимо помнить, например, что о массовом проникновении русских княжеских антропонимов в именослов кочевой элиты говорить все-таки не приходится. Корпус такого рода именований у половцев всегда остается весьма ограниченным, никакой тотальной русификации ономастикона не происходит: «свои» имена остаются куда более употребительными, сколь бы ни были удобны в иных ситуациях антропонимы русские.

Однако в очередной раз обозначив высоту барьера, существующую между двумя традициями, мы не можем вновь и вновь не отмечать явную интенсификацию культурных контактов между ними в рассматриваемый период. Точнее было бы сказать, что последние десятилетия XII в. и первые десятилетия XIII в. позволили с особенной наглядностью проявиться тому запасу совместно выработавшихся практик, церемониалов и терминов, который накопился за долгие годы взаимодействия. Мы не всегда можем сказать, чем обусловлена эта наглядность — возросшей ли теснотой самих контактов или повышенным вниманием к ним письменных текстов. По всей видимости, одно естественным образом влекло за собой другое.

Здесь достаточно даже беглого взгляда на те церемониальные аспекты международной жизни, которые традиционно вызывают интерес у исследователей Средневековья. Весьма выразительна, к примеру, четкость пространственной локализации сторон при переговорах вновь занявшего стол русского князя с половцами. Кто, куда и в каком порядке должен выдвигаться, — все это явно подчинено некой строгой регламентации, правилам почти шахматным, любое отступление от них значимо и может вести к частным дипломатическим неудачам или срывам всего переговорного процесса — дипломатия здесь чрезвычайно оперативно переходит в военные действия. Сопоставление летописного повествования с текстом «Слова о полку Игореве» позволяет проследить, каким сложным церемониалом было обставлено пребывание у половцев пленных русских князей, насколько значима была в подобных ситуациях этикетная составляющая и сколь тесен повседневный контакт между «гостем» и принимающей стороной.

Этикетные практики подобного рода начинают, скорее всего, складываться задолго до конца XII столетия; к сожалению, источники дале-

ко не всегда дают нам возможность проследить процесс их формирования, но мы все же обладаем некоторыми фрагментарными данными, из которых можно извлечь, например, отдельные детали благополучного регистра пребывания половца в гостях у русского князя. Характерно, впрочем, что и здесь постоянно оставалась возможность мгновенного дезавуирования всех этих церемониально оформленных процедур и коварного умерщвления пленника или гостя.

Обмен дарами, эта важнейшая часть средневековой переговорной практики, также приобретает разнообразный и многоступенчатый характер, несущий черты взаимопроникновения двух культур, который, по-видимому, был еще неведом в эпоху Владимира Мономаха, хотя ему, как мы знаем, не единожды случалось подносить миротворческие дары своим кочевым соседям. В конце же столетия его потомки не уступают в использовании этих церемониальных практик своим давним оппонентам Ольговичам, подобно тому как и те, и другие могут оказаться своеобразными донорами русских княжеских имен для половцев.

Русско-половецкие контакты как таковые с татаро-монгольским нашествием не исчезают бесследно: здесь вообще едва ли может быть проведена какая-то строгая хронологическая черта. Однако в отношениях двух элит наблюдаются изменения более чем существенные. Впервые из летописи мы узнаем о крещении половецкого князя, явно предпринятом ради упрочения связей с русскими союзниками. С другой стороны, на глазах уходит в прошлое брак как форма междинастического взаимодействия: матримониальная практика в указанном случае оказывается надежным индикатором значимости данных контактов или, говоря точнее, правомочности контактирующих сторон. Последнее — после большого перерыва — косвенное упоминание подобного союза между Рюриковичем и половчанкой присутствует в статье Галицко-Волынской летописи под 6761 г., и речь в ней идет о том, что у князя Даниила Романовича был половецкий сват по имени *Тегак*, участвовавший вместе с ним в военном походе [ПСРЛ, II: 818]. В конце 20-х гг. XIII в. молодому Даниилу Галицкому еще случалось напоминать половецкому князю Котяну об имевшемся между ними свойстве́ (Даниил был женат на его внучке, дочери Мстислава Мстиславича), дабы использовать это свойство́ в многостороннем конфликте, в который были вовлечены не только Рюриковичи, но и еще одна группа их родственников и свойственников — польские и венгерские династы [ПСРЛ, II: 753].

Однако при всей значимости половецкого свойства́, в этом последнем сюжете нельзя забывать о том, что оно явилось следствием матримониального союза, заключенного за несколько десятилетий до описываемых событий. Между уже упоминавшимся сообщением о женитьбе Ярослава, сына Всеволода Большое Гнездо, на половчанке и сообщением о половецком свойстве́ Даниила Романовича (продолжавшемся, по-видимому, не так уж долго) пролегло почти полвека. Более же поздние случаи браков Рюриковичей с дочерями вождей этого народа нам неизвестны. Иными словами, эпоху, открывающуюся битвой на р. Калке и завершающуюся к середине 50-х гг. XIII в., можно условно охарактеризовать как период стремительного угасания волны русско-половецких матримониальных договоров и постепенного ослабления русско-половецкого взаимодействия в целом. На этом временно́м отрезке, после гибели Юрия Кончаковича и Даниила Кобяковича, летописцы перестают упоминать какие-либо русские имена половецких вождей.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абрамович 1911 — Патерик Киевского Печерского монастыря / Под ред. Д. И. Абрамовича. СПб., 1911.

Абрамович 1916 — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Пригот. к печати Д. И. Абрамович. Пг., 1916.

АИ, I–V — Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. I–V. СПб., 1841–1842.

Алексеев 1966 — *Алексеев Л. В.* Полоцкая земля: Очерки истории северной Белоруссии в IX–XIII вв. М., 1966.

Алексеев 1980 — *Алексеев Л. В.* Смоленская земля в IX–XIII вв.: Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии / Отв. ред. Я. Н. Щапов. М., 1980.

Анна Комнина — *Анна Комнина*. Алексиада / Пер. с греч., ст. и комм. Я. Н. Любарского. СПб., 1996.

Баскаков 1971 — *Баскаков Н. А.* К этимологии половецких собственных имен в «Слове о полку Игореве» (Шарокань, Кончак, Гзак, Кобяк, Овлур) // Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. ст. к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского / Отв. ред. Ф. П. Филин. М., 1971. С. 38–45.

Баскаков 1985 — *Баскаков Н. А*. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» / Отв. ред. А. Н. Кононов. М., 1985.

Баумгартен 1909 — *Баумгартен Н. А.* Родословные отрывки: Вторая ветвь князей Галицких. Потомство Романа Мстиславича // Летопись историко-родословного общества в Москве. 1909. Вып. 1 (17). С. 3–46.

Баумгартен 1911 — *Баумгартен Н. А*. Ярослав Святополкович, князь владимиро-волынский: Его происхождение, браки и потомство // Известия Русского Императорского генеалогического общества. 1911. Вып. 4. С. 35–49.

Беда Достопочтенный — *Беда Достопочтенный*. Церковная история народа англов / Пер. с лат., ст., прим., библиогр. и указ. В. В. Эрлихмана; отв. ред. С. Е. Федоров. СПб., 2001.

Беляев 1897 — *Беляев П. И.* Анализ некоторых пунктов древнерусского завещания. М., 1897.

Бережков 1963 — *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания / Отв. ред. М. Н. Тихомиров. М., 1963.

Бетин 1970 — *Бетин Л. В.* Исторические основы древнерусского высокого иконостаса // Древнерусское искусство: Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. / Отв. ред. О. И. Подобедова. М., 1970. С. 57–72.

Бойцов 2002 — *Бойцов М. А.* Ограбление мертвых государей как всеобщее увлечение // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. № 4. С. 137–201.

Васильевский 1909 — *Васильевский В. Г.* Два письма византийского императора Михаила VII Дуки к Всеволоду Ярославичу // *Он же*. Труды. Т. II. Вып. 1: Русско-Византийские отрывки (I–V). СПб., 1909.

Васильевский 1930 — *Васильевский В. Г.* Труды. Т. IV. Л., 1930.

Виноградов 2015 — *Виноградов А. Ю.* Стратегия имянаречения у восточнохристианских правителей VII–XIII вв. в сравнительной перспективе (Багратиды, Комнины, Рюриковичи): an approach // Средневековая Европа: Восток и Запад / Отв. ред. М. А. Бойцов. М., 2015. С. 122–170.

Водолазкин 2006 — *Водолазкин Е. Г.* Краткая хронографическая Палея (текст). Вып. 1 // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. LVII. СПб., 2006. С. 890–915.

Воронин 1965 — *Воронин Н. Н.* Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. 1965. Т. XXVI. С. 190–218.

Воронин & Жуковская 1976 — *Воронин Н. Н., Жуковская Л. П.* К истории смоленской литературы XII в. // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции / Отв. ред. В. Г. Базанов. М., 1976. С. 69–79.

Высоцкий 1985 — *Высоцкий С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. / Отв. ред. П. П. Толочко. Киев, 1985.

Гадло 1988 — *Гадло А. В*. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа / Отв. ред. Н. И. Кирей. Краснодар, 1988. С. 84–100.

Гадло 1994 — *Гадло А. В*. Этническая история Северного Кавказа X–XIII вв. СПб., 1994.

Галл Аноним — *Галл Аноним*. Хроника и деяния князей, или правителей, польских // *Козьма Пражский*. Чешская хроника. *Галл Аноним*. Хроника и деяния князей, или правителей, польских / Подгот. к изд. А. И. Цветкова [Текст подгот. по изд.: *Козьма Пражский*. Чешская хроника (Chronica Boemorum) / Вступ. ст., пер. с лат. и комм. Г. Э. Санчука. М., 1962; *Галл Аноним*. Хроника и деяния князей, или правителей, польских / Предисл., пер. с лат. и прим. Л. М. Поповой. М., 1963]. Рязань, 2009.

Гарданов 1959 — *Гарданов В. К.* Кормильство в Древней Руси (К вопросу о пережитках родового строя в феодальной Руси IX–XIII вв.) // Советская этнография. 1959. № 6. С. 43–59.

Гарданов 1962 — *Гарданов В. К.* «Дядьки» в Древней Руси // Исторические записки. 1962. № 71. С. 236–250.

Георгий Акрополит — *Георгий Акрополит*. Летопись великого логофета // *Иоанн Киннам*. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. *Георгий Акрополит*. Летопись великого логофета Георгия Акрополита / Подгот. к изд. А. И. Цветкова [Текст подгот. по изд.: *Иоанн Киннам*. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов / Пер. с греч. под ред. В. Н. Карпова. СПб., 1859; *Георгий Акрополит*. Летопись великого логофета Георгия Акрополита / Пер. с греч. под ред. И. Троицкого. СПб., 1863]. Рязань, 2003.

Гизель — Келейный летописец святителя Димитрия Ростовского с прибавлением его жития, чудес, избранных творений и Киевского Синопсиса архимандрита Иннокентия Гизеля. [Б. м. изд.], 2000.

Гиппиус 2003 — *Гиппиус А. А.* Рагоуилъ: Страница из истории русского именослова // Русистика, Славистика, Лингвистика: Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag / Hrsg. von S. Kempgen, T. Berger, U. Schweier. München, 2003. С. 144–154.

Гиппиус 2005 — *Гиппиус А. А.* К биографии Олисея Гречина // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Отв. ред. О. Е. Этингоф. М., 2005. С. 99–114.

Гиппиус 2005а — *Гиппиус А. А.* Князь Ярослав Владимирович и новгородское общество конца XII в. // Там же. С. 11–25.

Гиппиус 2006 — *Гиппиус А. А.* Скандинавский след в истории новгородского боярства (в развитие гипотезы А. А. Молчанова о происхождении посадничьего рода Гюрятиничей-Роговичей) // The Slavicization of the Russian North. Mechanisms and Chronology / Ed. by J. Nuorluoto. Helsinki, 2006. С. 93–108.

Гиппиус & Успенский 2000 — *Гиппиус А. А., Успенский Ф. Б.* К вопросу о соотношении языческого и христианского имени. Древнерусские антропонимические дублеты в типологическом освещении // Славяне и их соседи. Христианский мир между Римом и Константинополем. Сб. тезисов XIX конференции памяти В. Д. Королюка / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2000. С. 29–36.

Гиппиус & Михеев 2011 — *Гиппиус А. А., Михеев С. М.* Заметки о надписи-граффити Новгородского Софийского собора, ч. 3-я // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2011. Вып. 2 (44). С. 37–57.

Голден 2008 — *Голден П. Б.* Религия кыпчаков средневековой Евразии // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. VI: Золотоордынское время / Отв. ред. А. В. Евглевский. Донецк, 2008. С. 309–340 (пер. с англ. В. П. Костюкова).

Голубинский, I–II — *Голубинский Е. [Е.]* История Русской Церкви. Т. I–II. М., 1901–1917. Т. I: 1-я половина тома. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1901; 2-я половина тома. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1904. Т. II: 1-я половина тома. М., 1900; 2-я половина тома. М., 1917; Археологический атлас ко второй половине I-го тома Истории Русской Церкви. М., 1906. (При ссылках на это издание римская цифра обозначает том, арабская — половину тома.)

Голубинский 1903 — *Голубинский Е. Е.* История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.

Голубовский 1881 — *Голубовский П. [В.]* История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1881.

Голубовский 1884 — *Голубовский П. [В.]* Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских степей IX–XIII вв. Киев, 1884.

Голубовский 1889 — *Голубовский П. [В.]* Половцы в Венгрии: Исторический очерк. Киев, 1889.

Гордлевский 1947 — *Гордлевский В. А.* Что такое *босый волк*? // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1947. Т. VI. Вып. 4. С. 317–337.

Горский 2001 — *Горский А. А.* «Всего еси исполнена земля русская…»: Личности и ментальность русского Средневековья: Очерки. М., 2001.

Горчаков 1868 — *Горчаков М.* Монастырский приказ (1649–1725 гг.): Опыт историко-юридического исследования. СПб., 1868.

Грушевський, I–XI — *Грушевський М.* История України-Руси. В 11 т. В 12 кн. / Редколегія: П. С. Сохань (голова) та ін. Київ, 1991–1998 (репринт с изд.: Львів; Київ, 1904–1922).

Гуркин 1999 — *Гуркин С. В.* К вопросу о русско-половецких матримониальных связях, ч. 1-я // Донская археология. 1999. № 2. С. 40–50.

Гуркин 1999а — *Гуркин С. В.* К вопросу о русско-половецких матримониальных связях, ч. 2-я // Донская археология. 1999. № 3–4. С 41–54.

Данилевич 1896 — *Данилевич В. Е.* Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев, 1896.

ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подгот. к печати Л. В. Черепнин; отв. ред. С. В. Бахрушин. М.; Л., 1950.

Джаксон 2004 — *Джаксон Т. Н.* Брачные связи в средневековой Скандинавии (датские правители XI — середины XII в. по «Саге о Кнютлингах») // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования, 2002 г. / Отв. ред. сер. Е. А. Мельникова. М., 2004. С. 95–101.

Джаксон 2012 — *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2012.

Домбровский 2015 — *Домбровский Д.* Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.) / Пер. с польск. и вступ. слово К. Ерусалимского и О. Остапчук. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2015.

Донской 2008 — *Донской Д. В.* Рюриковичи: Исторический словарь. М., 2008.

Житие Давида — Житие царя царей Давида / Пер. с груз. И. Зетеишвили // Символ. 1998. № 40. С. 273–300.

Забелин, I–II — *Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т. I/1, 2: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т. II: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2000–2001.

Зарубин 1932 — Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / Подгот. к печати Н. Н. Зарубин. Л., 1932.

Затилюк 2008 — *Затилюк Я.* Грамота Андрія Боголюбского Києво-Печерському монастирю // Ruthenica. 2008. Т. VII. С. 215–235.

Зимин 1948 — *Зимин А. А.* Княжеские духовные грамоты начала XVI в. // Исторические записки. 1948. Т. XXVII. С. 266–290.

Зотов 1892 — *Зотов Р. В.* О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892.

Ивакин 1901 — *Ивакин И. М.* Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1: Поучение детям, Письмо Олегу и отрывки. М., 1901.

Изборник 1076 г. — Изборник 1076 г. / Изд. подгот.: В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965.

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности (Императорской) Академии наук. Т. I–XXXII. СПб.; Пг.; Л., 1896–1927.

Истрин 1897 — *Истрин В. [М.]*. Откровения Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах: Исследования и тексты. М., 1897.

Истрин 1920 — *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе (Текст, исследование, словарь). Т. I: Текст. Пг., 1920.

Каган 1995 — *Каган М. Д.* Гзак // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. I–V. М., 1995. Т. II. С. 23–24.

Казаков 2015 — *Казаков А. А.* К предыстории конфликта князя Федора Борисовича Волоколамского с Иосифо-Волоцким монастырем: источниковедческий аспект // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2015. № 5–6. С. 3–13.

Карамзин, I–XII — *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. Изд. 5-е. Т. I–XII. СПб., 1842–1843 (репринт с приложением «Ключа, или Алфавитного указателя», составленного П. М. Строевым: М., 1988).

Карпов 1877 — *Карпов А.* Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1877.

Карпов 2001 — *Карпов А. Ю.* Ярослав Мудрый. М., 2001.

КЗ — *Снорри Стурлусон.* Круг Земной / Изд. подгот.: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский; отв. ред. М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Клосс 2001 — *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. II: Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв. Агиография Москвы, Твери, Ярославля, Суздаля. Сказания о чудотворных иконах. М., 2001.

Князевская 1971 — Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот.: О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон; под ред. С. И. Коткова. М., 1971.

Комарович 1960 — *Комарович В. Л.* Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. 1960. Т. XVI. С. 84–104.

Котошихин — О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина / Изд. Имп. Археографической комиссии. Изд. 4-е. СПб., 1906.

Кучкин 1985 — *Кучкин В. А.* «Слово о полку Игореве» и междукняжеские отношения 60-х годов XI в. // Вопросы истории. 1985. Вып. 11. С. 19–35.

Кучкин 2003 — *Кучкин В. А.* Летописные повествования об убиении кн. Андрея Боголюбского // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-справочник / Отв. ред. Я. Н. Щапов. М., 2003. С. 61–65.

Кушелев-Безбородко, I–IV — Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. I–IV. СПб., 1860–1862.

Лавренченко 2012 — *Лавренченко М. Л.* Родовая модель управления политическим союзом: Изяслав Мстиславич в войне с Юрием Долгоруким // Образ войны в общественной мысли славянских народов эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Материалы XXVI конференции «Славяне и их соседи» памяти В. Д. Королюка / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2012. С. 61–66.

Лавренченко 2012а — *Лавренченко М. Л.* О возможности употребления терминов родства по отношению к родственникам жены в древнерусском обществе // История: электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 7(15): История России с древнейших времен до XXI в.: проблемы, дискуссии, новые взгляды // https://history.jes.su/s207987840000177-3-2/ (дата последнего обращения — 19.07.2019).

Лавренченко 2014 — *Лавренченко М. Л.* «Быти всѣм за один брат»: Прагматика терминов родства в диалогах Киевской летописи (1146–1154) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 1 (55). С. 43–57.

Липшиц & Сюзюмов 2006 — Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. // Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. Византийская книга эпарха / Подгот. к изд. А. И. Цветкова [Текст подгот. по изд.: Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. / Пер. с греч. Е. Э. Липшиц. М., 1965; Византийская книга эпарха / Пер. с греч. М. Я. Сюзюмова. М., 1962]. Рязань, 2006.

Литвина & Успенский 2002 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Пути усвоения христианских имен в русских княжеских семьях XI — начала XIII в. // Религии мира: История и современность 2002 / Отв. ред. А. В. Назаренко. М., 2002. С. 36–109.

Литвина & Успенский 2004 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Иларион и Антоний: Имена и времена в биографиях первых русских подвижников // Восточная Европа в древности и Средневековье: Время источника и время в источнике. XVI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 14–16 апреля 2004 г.: Мат. конф. / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2004. С. 110–114.

Литвина & Успенский 2005 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Евфросиния Измарагд: Из истории имянаречения у Рюриковичей домонгольской поры // Восточная Европа в древности и Средневековье. Источниковедение и исторический нарратив. XVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто, IV Чтения, посвященные памяти А. А. Зимина. Москва, 19–22 апреля 2005 г. / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2005. С. 101–103.

Литвина & Успенский 2006 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.

Литвина & Успенский 2006а — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Кем была «Мария Всеволожая»? Отчества и происхождение трех русских княгинь XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и исследования. 2004: Политические институты Древней Руси / Отв. ред. Т. В. Гимон, Е. А. Мельникова. М., 2006. С. 334–347.

Литвина & Успенский 2007 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Между прозвищем и панегириком: к изучению русско-варяжского формульного фонда // Именослов. Историческая семантика имени. Вып. 2 / Сост. Ф. Б. Успенский. М., 2007. С. 135–188.

Литвина & Успенский 2010 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Траектории традиции: Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI — начала XIII в. М., 2010.

Литвина & Успенский 2011 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Политические интересы vs. матримониальные возможности в династии Рюриковичей XI–XII вв. // Восточная Европа в древности и средневековье: Ранние государства Европы и Азии: Проблемы политогенеза. XXIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 19–21 апреля 2011 г. Мат. конф. / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2011. С. 163–167.

Литвина & Успенский 2012 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Насильственный постриг княжеской семьи в Киеве: от интерпретации обстоятельств к реконструкции причин // Средневековая Русь. Вып. X: К 1150-летию зарождения российской государственности / Отв. ред. А. А. Горский. М., 2012. С. 135–169.

Литвина & Успенский 2012а — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Кнут Лавард, принц датский // Именослов. История языка. История культуры / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. М., 2012. С. 55–80.

Литвина & Успенский 2013 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* «Не достоить ея пояти»: Почему новгородский епископ Нифонт не хотел венчать Святослава Ольговича? // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2013. № 3 (53). С. 79–80.

Литвина & Успенский 2015 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Княжеское сиротство: Об одном актуальном параметре престолонаследия на Руси XII в. // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития. Материалы XXVII ежегодной международной научной конференции. Москва, 9–11 апреля 2015 г. / Отв. ред. Ю. Э. Шустова. М., 2015. С. 58–64.

Литвина & Успенский 2018 — *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Похвала щедрости, чаша из черепа, золотая луда. Контуры русско-варяжского культурного взаимодействия. М., 2018.

Лиутпранд Кремонский — *Лиутпранд Кремонский*. Антападосис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Константинополь / Изд. подгот. И. В. Дьяконов. М., 2006.

Лихачев 1996 — Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и комм. Д. С. Лихачева. Изд. 2-е. СПб., 1996.

Лопарев 1892 — Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме: Неизданный памятник литературы XII в. / Сообщ. Х. Лопарева. СПб., 1892.

Лосева 1996 — *Лосева О. В.* Одна из загадок месяцеслова Остромирова Евангелия // Румянцевские чтения. Материалы научно-практической конференции по итогам научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки, 25–27 апреля 1995 г. Ч. II / Сост. Л. И. Илларионова и др. М., 1996. С. 56–60.

Лосева 1996а — *Лосева О. В*. Месяцеслов и именослов в Древней Руси // Там же. С. 63–71.

Лосева 2001 — *Лосева О. В*. Русские месяцесловы XI–XIV вв. М., 2001.

Лосева 2001а — *Лосева О. В*. Патрональные святые русских князей (летописи, месяцесловы, сфрагистика) // Восточная Европа в древности и средневековье. Генеалогия как форма исторической памяти. XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 11–13 апреля 2001 г. Мат. конф. / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2001. С. 126–133.

Ляскоронский 1913 — *Ляскоронский В. [Г.]* Северские князья и половцы перед нашествием на Русь монголов // Сб. ст. в честь Д. А. Корсакова. По поводу сорокалетия его ученой и пятидесятилетия учено-литературной деятельности: История; история литературы; археология; языковедение; философия; педагогика. Казань, 1913. С. 281–296.

Максимович 2004 — *Максимович К. А.* Моравизмы в древнерусском книжном языке: ст.-сл. ***КЪМЬТЬ**, др.-рус. ***КМЕТЬ*** // Russian Linguistics. 2004. Vol. 28/1. С. 109–123.

Мелиоранский 1905 — *Мелиоранский П. М.* Заимствованные восточные слова в русской письменности домонгольского времени // ИОРЯС. 1905. Т. X/4. С. 109–134.

Менгес 1979 — *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве» / Пер. с англ. А. А. Алексеев; отв. ред. А. Н. Кононов. Л., 1979.

Молдован 1984 — *Молдован А. М.* Слово о законе и благодати Илариона / Отв. ред. Л. П. Жуковская, В. Ю. Франчук. Киев, 1984.

Молчанов 1997 — *Молчанов А. А.* Ярл Рёгнвальд Ульвссон и его потомки на Руси (о происхождении ладожско-новгородского посадничьего рода Роговичей-Гюрятиничей) // Памятники старины: Концепции. Открытия. Версии: Памяти В. Д. Белецкого / Отв. ред. А. Н. Кирпичников. Т. I–II. СПб.; Псков, 1997. Т. II. С. 80–84.

Молчанов 2004 — *Молчанов А. А.* Владимир Мономах и его имена (К изучению княжеского именника Рюриковичей X–XII вв.) // Славяноведение. 2004. № 2. С. 80–88.

Назаренко 1984 — *Назаренко А. В.* Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX–XIV вв.): Бавария — Австрия // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1982 г. / Отв. ред. В. Т. Пашуто; ред. вып. Я. Н. Щапов. М., 1984. С. 86–129.

Назаренко 2001 — *Назаренко А. В.* Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей IX–XII вв. М., 2001.

Назаренко 2009 — *Назаренко А. В.* Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009.

Назаренко 2010 — Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV: Западноевропейские источники / Сост., пер. и комм. А. В. Назаренко. М., 2010.

Неволин 1857 — *Неволин К. А.* Полное собрание сочинений. Т. III: История российских гражданских законов. Ч. 1: Введение и книга первая о союзах семейственных. СПб., 1857.

Невоструев, 1865 — Житие преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Саввою, епископом Крутицким / Подгот. К. И. Невоструев // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1865. Кн. II. С. 1–76.

Николаева 1970 — *Николаева Т. В.* О некоторых волоколамских древностях // Древнерусское искусство: Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. / Отв. ред. О. И. Подобедова. М., 1970. С. 365–385.

Никольский 1892 — *Никольский Н. [К.]* О литературных трудах митрополита Клима Смолятича, писателя XII в. СПб., 1892.

Осіпян 2005 — *Осіпян О.* Поширення християнства серед половців в XI–XIV ст., ч. 1-я // Київська старовина. 2005. № 1. С. 3–28.

Осипян 2013 — *Осипян А. Л.* Миграция, адаптация и интеграция кочевников в оседлом обществе: сравнительный анализ перехода половцев к оседлому образу жизни в Галицкой Руси и Венгерском королевстве в XIII–XV вв. // Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы...). Сб. статей. Казань, 2013. С. 122–174.

Пашуто 1968 — *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси / Под ред. В. П. Шушарина. М., 1968.

Петров 2019 — *Петров Н. И.* Николаи домонгольской Руси. СПб., 2019.

Пилипчук 2013 — *Пилипчук Я. В.* Кипчаки у християньскому світі (питання адаптації та асиміляції) // Сходознавство. 2013. № 61. С. 117–138.

Пилипчук 2013а — *Пилипчук Я. В.* Етнополітичний розвиток Дашт-і Кипчак у IX–XIII ст. Київ, 2013.

Писаренко 2006 — *Писаренко Ю.* Почему «потаиша» смерть князя Владимира (к летописной статье 1015 г.) // Ruthenica. 2006. Т. V. С. 238–248.

Плахонин 2004 — *Плахонин А. Г.* «История Российская» В. Н. Татищева и исследование генеалогии Рюриковичей // Средневековая Русь / Отв. ред. А. А. Горский. Вып. IV. М., 2004. С. 299–330.

Плетнева 2010 — *Плетнева С. [А.]* Половцы. М., 2010.

Попов 1949 — *Попов А. И.* Кыпчаки и Русь // Ученые записки ЛГУ. № 112: Серия исторических наук. 1949. Вып. 14. С. 94–119.

Попов 1969 — *Попов А. И.* О возможностях совершенствования приемов этимологического исследования // Этимология, 1967 г.: Материалы международного симпозиума «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии», 24–31 января 1967 г. / Под ред. Ж. Ж. Варбот, Л. А. Гиндина, Г. А. Климова, В. А. Меркуловой, В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева. М., 1969. С. 119–128.

Попов 1973 — *Попов А. И.* П. М. Мелиоранский и изучение тюркизмов в русском языке // Тюркологический сборник, 1972 г. / Отв. ред. А. Н. Кононов. М., 1973. С. 35–50.

Поппэ 1973 — *Поппэ А.* О времени зарождения культа Бориса и Глеба // Russia Mediaevalis. 1973. Т. I. С. 6–29.

Поппэ 1995 — *Поппэ А.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Russia Mediaevalis. 1995. Т. VIII/1. С. 21–68.

Пресняков 1908 — *Пресняков А. Е.* Кормилец, воевода, тысяцкий // ИОРЯС. 1908. Т. XIII/1. С. 148–174.

Пресняков 1993 — *Пресняков А. Е.* Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий. Лекции по русской истории: Киевская Русь / Подгот. текста, статьи и прим. М. Б. Свердлова. М., 1993.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I–XLIII. СПб.; Пг.; Л.; М., 1841–2009 (в случае переиздания летописи мы, кроме специально отмеченных случаев, всегда ссылаемся на последнее издание).

Рапов 1977 — *Рапов О. М.* Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1977.

Раппопорт 1972 — *Раппопорт П. А.* Церковь св. Василия в Овруче // Советская археология. 1972. Вып. 1. С. 82–97.

Раппопорт 1993 — *Раппопорт П. А.* О датах закладки и сроках строительства древнерусских храмов // Палестинский сборник. 1993. Вып. 32 (95). С. 37–42.

Раппопорт 1993а — *Раппопорт П. А.* Древнерусская архитектура. СПб., 1993.

РИБ, I–XXXIX — Русская историческая библиотека. Т. I–XXXIX. СПб.; Пг.; Л., 1872–1927.

Рибарова & Хауптова 1998 — *Рибарова З., Хауптова З.* Григоровичев паримејник. Т. I: Текст со критички апарат. Скопје, 1998.

Рогерий — *Рогерий*. Горестная песнь о разорении венгерского королевства татарами / Пер. с лат., вступ. ст. и комм. А. С. Досаева. СПб., 2012.

Розанов 1912 — Жития преподобного Авраамия Смоленского и службы ему / Пригот. С. П. Розанов. СПб., 1912.

Рукавишников 2002 — *Рукавишников А. В.* Некоторые вопросы истории Полоцкой земли домонгольского периода // Русское Средневековье, 2000–2001 гг. / Отв. ред. и сост. Д. М. Володихин. М., 2002. С. 40–69.

Сазонов 1994 — *Сазонов С. В.* Монашеское имя Александра Невского и традиция монашеского имянаречения в средневековой Руси // Сообщения Ростовского музея. Вып. VI. Ростов, 1994. С. 16–24.

Сазонов 1995 — *Сазонов С. В.* «Молитва мертвых за живых» в русском летописании XII–XV в. // Россия в X–XVIII вв. Проблемы истории и источниковедения. Тезисы докладов и сообщений вторых чтений, посвященных памяти А. А. Зимина / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. М., 1995. С. 508–517.

Сазонов 1995а — *Сазонов С. В.* О монашеском имени Александра Невского // Князь Александр Невский. Материалы научно-практической конференции 1989 и 1994 гг. / Отв. ред. Ю. К. Бегунов и А. Н. Кирпичников. СПб., 1995. С. 25–27.

САР, I–VI — Словарь Академии Российской. Ч. I–VI. СПб., 1789–1794.

САР 1806–1822 — Словарь Академии Российской. Ч. I–VI. СПб., 1806–1822.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Вып. I–XI. М., 1988–2016 (издание продолжается).

Свердлов 2003 — *Свердлов М. Б.* Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. СПб., 2003.

Сергий, I–III — *Сергий (Спасский), архиеп*. Полный месяцеслов Востока. Т. I–III. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1997 (репринт с изд.: Владимир, 1901).

Синопсис 1798 — Синопсис, или Краткое описание от различных летописцев, о начале славенскаго народа, о первых Киевских князьях, и о житии Святаго Благовернаго и Великаго князя Владимира, всея Руси пер-

вейшаго самодержца, и о его Наследниках, даже до Благочестивейшаго Государя Царя и Великаго Князя Феодора Алексиевича. Осмым тиснением изданное. СПб., 1798.

СлРЯ — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. I–XXX. М., 1975–2016 (издание продолжается).

Служебник — Служебник. М., 1646.

Срезневский, I–III — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. М., 2003 (репринт с изд.: СПб., 1890–1912).

СРНГ, I–XLIII — Словарь русских народных говоров. Т. I–XLIX. М.; Л.; СПб., 1965–2016 (издание продолжается).

Татищев, I–VII — *Татищев В. Н.* История Российская / Подгот. к печати М. П. Ирошниковой, З. Н. Савельевой; под ред. А. И. Андреева, С. Н. Валка, М. Н. Тихомирова. Т. I–VII. М.; Л., 1962–1968.

Татищев 1768–1848 — *Татищев В. Н.* История Российская с самых древнейших времен. Кн. I–V. М., 1768–1848.

Творогов 1995 — *Творогов О. В.* Овлур (Влур) // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. I–V. М., 1995. Т. III. С. 344–346.

Толочко 2003 — *Толочко П. П.* Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003.

Толочко 2007 — *Толочко П. П.* О значении и происхождении летописного слова «сайгат» // Ruthenica. Т. VI. 2007. С. 356–359.

Толстой & Толстая 2000 — *Толстой Н. И., Толстая С. М.* Имя в контексте народной культуры // Язык о языке / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2000. С. 597–624.

Топоров 1998 — *Топоров В. Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. В 2 т. Т. 2: Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). М., 1998.

Тупиков 1903 — *Тупиков Н. М.* Словарь древнерусских личных собственных имен. М., 2005 (репринт с изд.: СПб., 1903).

Тургенев 1841 — Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым. Т. I: Выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1075 по 1584 гг. СПб., 1841.

Успенский, I–III — *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. I–III. М., 1996–1997.

Б. Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002.

Успенский 2001 — *Успенский Ф. Б.* Имя и власть: Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М., 2001.

Ф. Успенский 2002 — *Успенский Ф. Б.* Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002.

Успенский 2004 — *Успенский Ф. Б.* Категория свойствá (mágsemð) в древнескандинавской модели родовых отношений: К постановке проблемы // Слово в перспективе литературной эволюции: К 100-летию М. И. Стеблин-Каменского / Отв. ред. О. А. Смирницкая; сост. О. А. Смирницкая, Ф. Б. Успенский. М., 2004. С. 130–159.

Успенский 2004а — *Успенский Ф. Б.* Княжеские патрональные святые и учреждение общерусских церковных праздников // Репрезентация верховной власти в средневековом обществе (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). Славяне и их соседи: XXII конференция памяти В. Д. Королюка. Тез. докл. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 2004. С. 95–99.

Успенский 2006 — *Успенский Ф. Б.* Овлур (Влур) — Лавр (Лавор). Еще раз о древнерусской двуименности и о человеке, спасшем князя Игоря из половецкого плена // Собрание сочинений: К шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева / Сост.: А. Бонч-Осмоловская, М. Майофис, А. Немзер, К. Осповат. М., 2006. С. 577–591.

Успенский 2016 — *Успенский Ф. Б.* Люди, тексты и вещи: Из истории культуры средневековой Скандинавии. Изд. 2-е. М., 2016.

Успенский & Успенский 2017 — *Успенский Б. А., Успенский Ф. Б.* Иноческие имена на Руси. СПб., 2017.

Фасмер, I–IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Под ред. и с предисл. Б. А. Ларина, пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Изд. 3-е. Т. I–IV. М., 1996.

Федоров-Давыдов 1966 — *Федоров-Давыдов Г. А.* Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов: Археологические памятники. М., 1966.

Федотов 1973 — *Федотов Г. П.* «Житие и терпение» св. Авраамия Смоленского // *Он же*. Россия, Европа и мы. Париж, 1973. С. 33–58.

Храпачевский 2009 — Золотая Орда в источниках. Т. III: Китайские и монгольские источники / Пер. с кит., сост., ввод. ст. и комм. Р. П. Храпачевского. М., 2009.

Шахматов 1940 — *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. IV. Л., 1940. С. 9–150.

Шахматов 2003 — *Шахматов А. А.* История русского летописания. Т. I: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание / Сост., комм. и указатели В. К. Зиборова. Отв. ред. В. К. Зиборов и В. В. Яковлев. СПб., 2003.

Щавелева 1986 — *Щавелева Н. И.* О княжеских воспитателях в Древней Польше // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1985 г. / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М., 1986. С. 123–131.

Щавелева 1990 — *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод, комментарии / Отв. ред. В. Л. Янин. М., 1990.

Щавелева 2004 — *Щавелева Н. И.* Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–VI): Тексты, перевод, комментарии / Под ред. и с доп. А. В. Назаренко. М., 2004.

Щапов 1976 — Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976.

Щербатов 1770–1791 — *Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. Т. I–VII. СПб., 1770–1791.

Annales regum Hungariae… — Annales regum Hungariae: ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV / Ed. G. Pray. Pars 1. Vindbonae, 1763.

Balzer 2005 — *Balzer O.* Genealogia Piastów. Kraków, 2005.

Baumgarten 1927 — *Baumgarten N.* Genealogies et marriages occidentaux des Rurikides russes du Xe au XIIIe siècle. Roma, 1927.

Donskoï 1991 — *Donskoï D.* Généalogie des Rurikides. 1re Partie: IX–XIVe S. Rennes, 1991.

Dąbrowski 2002 — *Dąbrowski D.* Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław, 2002.

Dąbrowski 2008 — *Dąbrowski D.* Genealogia Mścisławowiczów: Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008.

Dąbrowski 2010 — *Dąbrowski D.* Przyczyny i okoliczności rozpadu książęcych małżeństw na Rusi w XII i XIII w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 2010. № 3–4.

Dąbrowski 2012 — *Dąbrowski D.* Daniel Romanowicz, król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna. Kraków, 2012.

Dürig 1954 — *Dürig W.* Geburtstag und Namenstag: Eine liturgiegeschichtliche Studie. München, 1954.

Fask. — Fagrskinna / Udg. ved Finnur Jónsson. København, 1902–1903.

Golden 1979–1980 — *Golden P. B.* The Polovci Dikii // Harvard Ukrainian Studies. 1979–1980. Vol. III–IV/1. P. 296–309.

Golden 1984 — *Golden P. B.* Cumanica I: The Qipcaqs in Georgia // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1984. Vol. IV. P. 45–87.

Golden 1990 — *Golden P. B.* The peoples of the south Russian steppes // The Cambridge History of Early Inner Asia / Ed. D. Sinor. Cambridge, 1990. P. 256–284.

Golden 1998 — *Golden P. B.* Religion among the Qipchaqs of Medieval Eurasia // Central Asiatic Journal. International Periodical for Languages, Literature, History and Archaeology of Central Asia. 1998. Vol. XLII/2. P. 180–237.

Jakobson 1966 — La Geste du Prince Igor'. (B). Édition critique du *Slovo*: I. Texte annoté // *Jakobson R.* Selected Writings. Vol. IV: Slavic Epic Studies. P., 1966. P. 133–150.

Kaiser 1995 — *Kaiser D. H.* Naming Cultures in Early Modern Russia // Harvard Ukrainian Studies. Камень Краєѫгълнъ: Rhetoric of the Medieval Slavic World. Essays presented to Edward L. Keenan on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students. Vol. XIX. Cambridge Mass., 1995. P. 271–291.

Knýtl. — Sögur Danakonunga. Sögubrot af fornkonungum. Knýtlingasaga / Utg. af C. Petersens och E. Olson. København, 1919–1925.

Lampert — Lamperti monachi Hersfeldensis Opera / Ed. O. Holder-Egger. Hannover; Leipzig, 1894. (MGH SS rer. Germ. 38.)

Lind 1992 — *Lind J. H.* De russiske ægteskaber: dynasti- og alliancepolitik i 1130'ernes danske borgerkrig // (Dansk) Historisk Tidsskrift. 1992. Bd. XCII/2. S. 225–263.

Melnyk 2013 — *Melnyk M.* On the issue of the authenticity of the names of Pecheneg rulers in the Nikonian chronicle // The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday / Ed. by F. Curta, B. P. Maleon. Iaşi, 2013. P. 151–158.

MGH SS — Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum (in folio). Hannoverae.

Migne — Vita sanctae Euphrosynae // Patrologiae cursus completes / Accurante J.-P. Migne. Series Latina. T. I–CCXXI. P., 1844–1865. T. LXXIII.

Mitterauer 1993 — *Mitterauer M.* Ahnen und Heilige: Namengebung in der europäischen Geschichte. München, 1993.

Peliot 1959 — *Peliot P.* Notes on Marco Polo. Vol. I. P., 1959.

Pritsak 1967 — *Pritsak O.* Non-«wild» Polovtsians // To honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday, 11 October 1966. Vol. I–III. P., 1967. Vol. II. P. 1615–1623.

Rogerii Miserabele Carmen… — Rogerii Miserabele carmen super destrictione regni Hungariae per Tartaros facta / Ed. L. de Heinemann // MGH SS. T. XXIX. Hannoverae, 1892.

Schweier 1995 — *Schweier U.* Paradigmatische Aspekte der Textstruktur: Textlinguistische Untersuchungen zu der intra- und der intertextuellen funktionalen Belastung von Strukturelementen der frühen ostslavischen Chroniken. München, 1995.

Sinor 1995 — *Sinor D*. Western information on the Kitans and some related questions // Journal of the American Oriental Society. 1995. Vol. CXV/2. P. 262–269.

SmHD, I–II — Scriptores minores historiae Danicae medii aevi / Ed. M. Cl. Gertz. Bd. I–II. København, 1917–1922.

Toumanoff 1990 — *Toumanoff C.* Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle; Tables généalogiques et chronologiques. Rome, 1990.

Uspenskij 2007 — *Uspenskij F*. The Category of Affinity (*Mágsemð*) in the Old Norse Model of Family Relations // Arkiv för nordisk filologi. 2007. Vol. CXXII. P. 157–180.

Zajączkowski 1949 — *Zajączkowski A*. Związki językowe połowieckosłowiańskie. Wrocław, 1949.

Zhishman 1864 — *Zhishman J*. Das Eherecht der orientalische Kirche. Wien, 1864.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

Авраам, библ. 31 (прим.), 197 (прим.)
Авраамий Затворник, св. 195–198
Авраамий Ростовский, св. 198 (прим.)
Авраамий (в миру — Афанасий?) Смоленский, св. 192–199
Агафья Владимировна, дочь Владимира Всеволодича Мономаха, внучка Всеволода Ярославича 69, 71, 72, 92, 93, 95, 101, 102, 104, 319, 320
• ее муж, см. Всеволодко Городенский
Агафья Ростиславна, дочь Ростислава Мстиславича Смоленского, внучка Мстислава Владимировича Великого 76 (прим.), 108, 109, 112, 117, 123–128, 129 (прим.), 133, 278, 279, 306 (прим.)
• ее муж, см. Олег Святославич, сын Святослава Ольговича
Агнешка, дочь Болеслава III Кривоустого 83, 84 (прим.), 85–87, 128, 129 (прим.)
• ее муж, см. Мстислав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича
Адельгейда, королева 8 (прим.)
• ее муж, см. Лотарь
• ее отец, см. Рудольф
Аепа Гиргенев, половецкий кн. 114, 220, 221 (прим.), 345, 370
• его дочь, жена Святослава Ольговича (?) 114, 217, 218, 220, 221 (прим.), 244, 340 (прим.), 345, 365, 367, 370
Аепа Осенев, половецкий кн. 114, 220, 221 (прим.), 256, 345, 347, 370, 372

[1] Список сокращений: ап. — апостол; архиеп. — архиепископ; библ. — библейский; еп. — епископ; имп. — император; кн. — князь; митр. — митрополит; прим. — примечание; св. — святой.

• его дочь, жена Юрия Долгорукого 114, 218, 220, 221 (прим.), 244, 256, 258, 281, 313, 328, 345, 347, 350 (прим.), 365, 367, 370, 372
Азгулуй Таревский, половецкий кн. 350 (прим.)
Айдар, половецкий кн. (?) 233 (прим.)
Аклан Бурчевич, половецкий кн. 350 (прим.)
Алак, половецкий кн. 220 (прим.), 287, 311 (прим.)
Александр Македонский, царь 225 (прим.)
Александр Ярославич Невский, св., сын Ярослава Всеволодича, внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 189
Алексей, см. Бела
Алексей Комнин, византийский имп. 254 (прим.)
Альберик из Труа-Фонтен, хронист 259, 260
Альда, королева 8 (прим.)
• ее муж, см. Гуго
• ее сын, см. Лотарь
Аммон, библ. 225 (прим.)
Амурат, половецкий кн. (?) 233 (прим.)
Анастасия, черниговская княгиня, упомянутая в Любечском синодике 285
Анбал, «ясин ключник», убийца кн. Андрея Боголюбского 168
Андраш, см. Андрей
Андреевна, дочь Андрея Юрьевича Боголюбского, внучка Юрия Владимировича Долгорукого 76, 77 (прим.)
• ее муж, см. Олег Святославич, сын Святослава Всеволодича
Андреевна, дочь Андрея Юрьевича Боголюбского, внучка Юрия Владимировича Долгорукого 42 (прим.), 45, 67, 70–81, 88, 89, 99, 104, 137, 141 (прим.)
• ее муж, см. Святослав Владимирович Вщижский, сын Владимира Давыдовича
Андрей (Андраш) I, венгерский король 208 (прим.)
• его жена, дочь Ярослава Владимировича Мудрого 208 (прим.)
Андрей (Андраш) II, венгерский король 142 (прим.)
Андрей Владимирович Добрый, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 23, 24, 34, 76, 77 (прим.), 106, 144–146, 149, 150, 154, 194 (прим.), 218, 229 (прим.), 240, 244, 256, 257, 328, 365, 366, 370
• его жена, внучка Тугоркана 218, 229 (прим.), 244, 257, 328, 365, 366, 370
Андрей / (Китай???) Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 34, 42 (прим.), 45, 72–77, 79, 104, 137, 141 (прим.), 154, 157, 167–170, 176 (прим.), 188, 197 (прим.), 230 (прим.), 240, 256–258, 281 (прим.), 316–318, 323
• его дочь, см. Андреевна, жена Святослава Вщижского
• его дочь (?), см. Андреевна, жена Олега Святославича
Андрей Критский, св. 154, 170 (прим.), 188, 197 (прим.)
Андрей Первозванный, ап. 154, 169, 170 (прим.), 188
Андрей Стратилат, св. 154, 188, 194 (прим.)
Андрей Юродивый, св. 154, 170 (прим.), 188
Андрей Юрьевич Боголюбский, см. Андрей / (Китай???) Юрьевич Боголюбский
Андриан, еп. белгородский 88, 98, 163
Анна Комнина, византийская принцесса, автор «Алексиады» 254 (прим.)
Анна Святополковна, предполагаемая дочь Святополка Изяславича, внучка Изяслава Ярославича 102 (прим.)
• ее муж, см. Святослав Давыдович
Анна Юрьевна, дочь Юрия Ярославича Туровского, внучка Ярослава Святополчича 67, 80 (прим.), 87, 89–95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 137, 302 (прим.), 321, 322
• ее муж, см. Рюрик Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича
• ее дочь, см. Предслава Рюриковна
• ее дочь, жена Глеба Святославича 43, 67, 87, 88, 90, 95–102, 104
Анна Ярославна, дочь Ярослава Владимировича Мудрого, внучка Владимира Святославича Святого, королева Франции 13, 14
• ее муж, см. Генрих I
• ее муж, см. Рауль де Крепи
Антоний, еп. черниговский 80, 81, 127
Антоний Великий, св. 197 (прим.), 199, 200
Антоний Печерский, св. 199, 200
Аран (Арон), брат Авраама, библ. 31 (прим.)
Арни из Стодреймa, знатный норвежец 11
• его жена, см. Ингирид
Арсланопа (Ярослaнопа), половецкий кн. 250
Асадук, половецкий кн. 349 (прим.)
Асинь, брат Багубарса, половецкий кн. 350 (прим.)
Аста, знатная норвежка 11
• ее муж, см. Харальд Гренландец
• ее муж, см. Сигурд Свинья

• ее сын, см. Олав Святой
• ее сын, см. Харальд Суровый
Асуп, половецкий кн. 250
Атрак, см. Отрок
Афанасий, игумен, адресат митр. Киприана 192 (прим.)
Афанасий Великий, св. 198 (прим.)
Афанасий Вологодский, св. 198 (прим.)
Афанасий Наволоцкий, св. 198 (прим.)

Багубарс, половецкий кн. 327, 350 (прим.), 350 (прим.)
• его братья 350 (прим.)
Балдуин, краковский еп. 68 (прим.)
Барак, половецкий кн. 287, 311 (прим.)
Бастеева чадь, клан кочевников 315
Басты, половецкий кн. 232, 233, 261, 374
Башкорд, пленный половец (возможно, тождественен кн. Башкорду) 287, 303 (прим.), 311 (прим.)
Башкорд, половецкий кн. 16, 78, 79, 218, 254 (прим.), 287, 303 (прим.), 311 (прим.), 319–322, 369
• его жена, см. Всеволодковна, вдова кн. Владимира Давыдовича
Бегбарс Акочаевич, половецкий кн. 221, 326, 327
Беглюк, см. Белук
Беда Достопочтенный, автор «Церковной истории народа англов» 8 (прим.)
Безен, князь Руси (см. Ярослав Святополчич?) в венгерских источниках 258, 259
Бела IV, король Венгрии 47, 48, 55
• его дочь, жена кн. Льва Даниловича 48
Бела / Алексей III, венгерский король 214
Белдюзь (Вельдуз), половецкий кн. 250
Белук (Беглюк, Билюк, Белюк), половецкий кн. 90, 298, 300, 301 (прим.), 303–305, 308, 370
Белуковна, княгиня 90, 91 (прим.), 94 (прим.), 218, 300, 302 (прим.), 303, 321, 322, 370
• ее муж, см. Рюрик Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича
Берн, приближенный кн. Святослава Ярославича 181
Берта, королева 8 (прим.)
• ее муж, см. Гуго

• ее муж, см. Рудольф
Билюк, см. Белук
Бокмиш, брат Товлыя (?), половецкий кн. 287
Болеслав Кривоустый, сын Владислава / Германа, польский кн. 68 (прим.), 107, 108 (прим.), 112 (прим.), 128, 129 (прим.), 346
• его жена, см. Сбыслава
• его сестра, жена Ярослава Святополчича 107, 108 (прим.)
Болеслав Стыдливый, польский кн. 268
Болуш, половецкий вождь 223 (прим.)
Боняк, половецкий кн. 265, 288, 289, 291, 292
Борис, см. Коломан
Борис Владимирович, см. Борис / Роман Владимирович
Борис Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 325 (прим.)
Борис Всеславич, сын Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Изяславича 200, 312
Борис Давыдович, мнимый сын Давыда Ростиславича, см. Борис Друцкий 356, 357
Борис Давыдович Друцкий, сын Давыда Георгиевича, внук Георгия Всеславича 355, 357, 358, 360, 362
Борис / Илья Иванович Морозов, боярин 200 (прим.)
Борис / Роман Владимирович, сын Владимира Святославича, внук Святослава Игоревича, св. 17, 24 (прим.), 59, 181, 182, 186, 200–202, 205, 208 (прим.), 240 (прим.), 266, 267, 312, 313, 335, 342, 360
Борис Романович, см. Мстислав / Борис
Борис Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 157
Брячислав Давыдович, сын Давыда Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 52, 53 (прим.)
Брячислав Изяславич, сын Изяслава Владимировича, внук Владимира Святославича Святого 51, 52 (прим.), 53, 221, 222 (прим.), 358
Брячислав Святополчич, сын Святополка Изяславича, внук Изяслава Ярославича 52 (прим.), 53
Бурновичи, половецкий клан 304
Бурундай, татарский воевода 268
Бурхард, настоятель Трирской церкви, глава посольства 175, 176, 348 (прим.)
• его сестра, см. Ода
Бурчевичи, половецкий клан 304, 349, 350 (прим.)

Вальдемар Великий, сын Кнута Эрикссона Лаварда, конунг Дании 16, 213, 259
• его жена, см. София
Варлаам, игумен Киево-Печерского монастыря, св. 197 (прим.)
Варлаам Пустынник, св. 197 (прим.)
Василий, см. Рюрик
Василий, игумен Киево-Печерского монастыря 87, 98
Василий, посадник владимирский 170 (прим.)
Василий (Василь), посол кн. Давыда Игоревича, летописец 242, 344 (прим.)
Василий II Болгаробойца, византийский имп. 186, 207
Василий (Василько) Борисович, по Татищеву, сын Бориса Давыдовича Друцкого (???) 357 (прим.)
Василий Великий, св. 88 (прим.), 163, 165, 166, 188, 207, 287
Василий / Китай, посол 258
Василий (Василько) Леонович (Маричинич), сын Леона и Марицы Владимировны, внук Владимира Всеволодича Мономаха 241, 344 (прим.)
Василий Половчин, глава половецкого посольства 276, 338–351, 361
Василий Рогволодич, сын Рогволода Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 344 (прим.)
Василий (Василько) Романович, сын Романа Мстиславича, внук Мстислава Изяславича 48, 68 (прим.), 104, 240, 268, 285 (прим.), 331, 332 (прим.)
• его жена 68 (прим.)
Василий (Василько) Ростиславич Теребовльский, сын Ростислава Владимировича, внук Владимира Ярославича 31, 60, 61, 170–173, 240, 242, 273 (прим.), 342–344, 349–350
Василий (Василько) Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 344 (прим.)
Василий (Василько) Ярополчич, сын Ярополка Владимировича, внук Владимира Всеволодича Мономаха 34
Верхуслава Всеволодовна, дочь Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внучка Юрия Владимировича Долгорукого 42 (прим.), 80 (прим.), 88, 93, 135 (прим.), 274 (прим.)
• ее муж, см. Ростислав, сын Рюрика Ростиславича
• ее дочь, см. Евфросиния Измарагд
Винцентий Кадлубек, польский хронист 83, 84 (прим.), 85–87 (прим.)

Владимир, по Татищеву, сын Бориса Давыдовича Друцкого (???) 357 (прим.)
Владимир Андреевич, сын Андрея Владимировича Доброго, внук Владимира Всеволодича Мономаха 141 (прим.), 144–146, 149
• его жена, предположительно, дочь Святослава Ольговича 144–146, 148–149
Владимир / Василий Всеволодич Мономах, сын Всеволода Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 16, 21, 22, 24 (прим.), 25, 26, 27, 30, 31, 32–34, 37, 59, 60–62, 69, 71, 72, 79, 82, 92, 93, 101 (прим.), 104, 106, 109, 112, 113, 114, 143–145, 154, 157 (прим.), 158, 160, 162, 167, 170, 171 (прим.), 187, 188, 194 (прим.), 202 (прим.), 212–213, 218, 220–221 (прим.), 229 (прим.), 230 (прим.), 235, 240, 241, 244, 252, 253 (прим.), 256, 258, 267, 273 (прим.), 281 (прим.), 289, 313, 319, 327–328, 335, 338, 344, 345, 346, 347, 349 (прим.), 350, 360, 363, 364–367, 370, 372, 374
• его жена, см. Гида
Владимир / Василий Святославич Святой, сын Святослава Игоревича, внук Игоря Рюриковича 17, 18, 19, 39, 42, 43 (прим.), 52, 53 59, 68 (прим.), 149–151, 162, 176 (прим.), 177, 180 (прим.), 182, 186–188, 200, 203, 205–208, 212, 222 (прим.), 230 (прим.), 240 (прим.), 242, 243, 250 (прим.), 335, 337, 342, 358
• его жена (?), «Грекиня» 17–18
• его жена, см. Рогнеда
Владимир Васильевич, сын Василия (Василько) Романовича, внук Романа Мстиславича 333, 334 (прим.)
Владимир Володаревич Галицкий, сын Володаря Ростиславича, внук Ростислава Владимировича 40, 44, 115, 116, 130, 141 (прим.), 157
Владимир Всеволодич, см. Владимир / Дмитрий Всеволодич
Владимир Всеволодич Мономах, см. Владимир / Василий Всеволодич Мономах
Владимир Глебович, сын Глеба Юрьевича, внук Юрия Владимировича Долгорукого 309 (прим.)
Владимир Давыдович, сын Давыда Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича Смоленского 359–360, 362
Владимир Давыдович, сын Давыда Святославича, внук Святослава Ярославича 16, 22, 27 (прим.), 30, 43 (прим.), 70–72, 77, 79 (прим.), 92, 110, 111 (прим.), 114, 115, 118 (прим.), 218, 278, 319, 320, 339
• его жена, см. Всеволодковна

Владимир / Дмитрий Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 140, 162, 166, 167, 241
• его жена 140
Владимир Игоревич, см. Владимир / Петр Игоревич
Владимир Мстиславич, сын Мстислава Изяславича, внук Изяслава Мстиславича 83
Владимир Мстиславич Мачешич, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 37, 38, 120, 140, 145
• его жена 140, 164 (прим.)
Владимир / Петр Игоревич, сын Игоря Святославича, внук Святослава Ольговича 44, 45, 201, 202, 218, 262–264, 270, 271, 274, 278, 279, 283, 291, 299, 307, 332 (прим.), 354, 370
• его жена, см. Кончаковна
Владимир Святославич, сын Святослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 29 (прим.), 76 (прим.), 290, 291
Владимир Святославич Святой, см. Владимир / Василий Святославич Святой
Владимир Ярославич, сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 31
Владимир Ярославич, сын Ярослава Владимировича Осмомысла, внук Владимира Володаревича 40, 41, 42 (прим.), 57, 116, 117, 130, 131, 141 (прим.), 278, 279, 333, 335
• его сын 41, 333
Владислав III, король чешский 346 (прим.)
Владислав / Герман, польский кн. 107 (прим.)
• его дочь, жена Ярослава Святополчича 107, 108 (прим.)
Владислав Лях, воевода 315 (прим.)
Вобурцевичи, половецкий клан 299, 301 (прим.)
Володарь Глебович Минский, сын Глеба Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 14, 16, 259, 260
• его жена, см. Рикица
Володарь Ростиславич, сын Ростислава Владимировича, внук Владимира Ярославича 31, 343, 344 (прим.)
• его дочь, жена Романа Владимировича 115 (прим.)
Володислав, галицкий боярин 131 (прим.), 142 (прим.), 330–333
Ворила, правитель болгар 15 (прим.)
Всеволод / Андрей Ярославич, сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 27, 30, 50, 52, 54, 56 (прим.), 60–62, 64–66, 110, 154, 173 (прим.), 181, 212, 223 (прим.), 240 (прим.), 258, 281 (прим.), 289, 350 (прим.), 366, 370

Всеволод / Гавриил Мстиславич, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 28, 30 (прим.), 31 (прим.), 33 (прим.), 38, 71, 72 (прим.)
• его жена, дочь Святослава Давыдовича (Николы Святоши) 28, 71 (прим.)
Всеволод (Всеволодко) Городенский 69, 71, 72, 101 (прим.), 114, 310, 319, 320
• его жена, см. Агафья, дочь Владимира Мономаха
Всеволод (Всеволодко) Давыдович, сын Давыда Игоревича, внук Игоря Ярославича 101 (прим.)
Всеволод / (Даниил?) Святославич Буй-Тур, сын Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 111, 127, 132, 145, 149, 232, 248, 249, 262, 277, 284, 286, 290, 292–295, 297–299, 301 (прим.), 305, 306 (прим.), 308, 321 (прим.), 340 (прим.)
• его жена и дети 293, 294 (прим.)
Всеволод / (Даниил?) Святославич Чермный, сын Святослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 253 (прим.), 284–286, 290, 291, 295–298
• его жена, см. Казимировна
Всеволод / Дмитрий Юрьевич Большое Гнездо, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 37, 40–42 (прим.), 43, 50, 57, 80 (прим.), 88, 91 (прим.), 93, 96, 99, 100, 113 (прим.), 135 (прим.), 161, 162, 166, 167, 191, 194 (прим.), 201, 207 (прим.), 231, 241, 267, 271, 272 (прим.), 274 (прим.), 280, 283, 293, 325 (прим.), 358, 370, 372, 375
• его жена, см. Мария
• его сестра (мать Якова) 80 (прим.), 135 (прим.)
Всеволод / Кирилл Ольгович, сын Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 22–24, 30, 43 (прим.), 71, 76 (прим.), 98, 99, 100, 109–111, 114, 153, 253 (прим.), 267, 286, 293, 316, 328, 334, 348
• его жена, дочь Мстислава Владимировича Великого 22 (прим.), 98, 104, 114, 115, 124, 126, 134
Всеволод Мстиславич, см. Всеволод / Гавриил Мстиславич
Всеволод Мстиславич Белзский, сын Мстислава Изяславича, внук Изяслава Мстиславича 83, 84 (прим.)
Всеволод Ольгович, см. Всеволод / Кирилл Ольгович

Всеволод Святославич Буй-Тур, см. Всеволод / (Даниил?) Святославич Буй-Тур
Всеволод Святославич Чермный, см. Всеволод / (Даниил?) Святославич Чермный
Всеволод Юрьевич, сын Юрия Всеволодича, внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 140
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, см. Всеволод / Дмитрий Юрьевич Большое Гнездо
Всеволод Ярославич, см. Всеволод / Андрей Ярославич
Всеволодковна, дочь Всеволодко Городенского 16, 43 (прим.), 70–72, 78, 79, 81, 92, 104, 114, 136, 218, 254 (прим.), 319–322, 369
• ее муж, см. Владимир, сын Давыда Святославича
• ее муж, см. Башкорд
Всеволодковна, дочь Всеволодко Городенского 43 (прим.), 71, 91–93, 104, 114, 115, 134, 136, 320, 321
• ее муж, см. Юрий Туровский
Всеслав Брячиславич Полоцкий, сын Брячислава Изяславича, внук Изяслава Владимировича 50–57, 58 (прим.), 64, 65, 69 (прим.), 200, 222 (прим.), 312, 358
Вячеслав, галицкий боярин 166
Вячеслав Владимирович, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 21–37, 141 (прим.), 158, 176 (прим.)
• его внуки, см. Вячеславли внуки
Вячеслав Георгиевич, сын Георгия Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 357, 358
Вячеславли внуки, дети Михаила Вячеславича, внуки Вячеслава Владимировича 27, 32
Вячко (Вячеслав?), сын Бориса Давыдовича Друцкого, внук Давыда Георгиевича 357, 358

Галл Аноним, польский хронист 107 (прим.)
Гедеон, библ. 225 (прим.)
Геза II, венгерский король 346
• его жена, см. Евфросиния Мстиславна
Генрих I, король Франции 14
• его жена, см. Анна Ярославна
Генрих IV, имп. 175, 177, 178, 348 (прим.)
Генрих Сандомирский, сын Болеслава Кривоустого 346 (прим.)
Георгий, см. также Юрий

Георгий, митр. 181
Георгий, сын Давида Строителя 281, 282 (прим.)
Георгий III, сын Деметре, грузинский царь 281, 282 (прим.)
Георгий Акрополит, византийский хронист 15 (прим.)
Георгий Амартол, византийский хронист 32 (прим.), 182, 183, 221 (прим.)
Георгий Всеславич, сын Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Изяславича 358
Георгий Малеин, св. 202 (прим.)
Георгий Митиленский, св. 202 (прим.)
Георгий Победоносец, св. 153, 186, 202 (прим.), 204
Герасим, св. 237
Гертруда, дочь Мешко II, княгиня 61, 69 (прим.)
• ее муж, см. Изяслав Ярославич
Гертруда Бабенберг 48 (прим.)
• ее муж, см. Роман Данилович
Гза, см. К(о)за Бурнович
Гида, дочь Харальда Годвинсона 255, 256
• ее муж, см. Владимир Мономах
Гиргень, половецкий кн. 114, 221 (прим.), 340 (прим.), 345
Глеб / Борис Иванович Морозов, боярин 200 (прим.)
Глеб Владимирович, см. Глеб / Давид Владимирович
Глеб Владимирович, сын Владимира Глебовича, внук Глеба Ростиславича Рязанского 229, 230 (прим.)
Глеб Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 325 (прим.)
Глеб Всеволодича, сын Всеволодко Городенского 319–321, 323
Глеб Всеславич Минский, сын Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Изяславича 26, 39 (прим.), 52–54 (прим.), 63–66, 68, 69 (прим.), 312
• его жена, дочь Ярополка Изяславича 39 (прим.), 52–54 (прим.), 63–66, 68, 69 (прим.), 102 (прим.), 200
Глеб / Давид Владимирович, сын Владимира Святославича, внук Святослава Игоревича, св. 17, 24 (прим.), 59, 181, 182, 186, 200–202, 205, 207, 208, 230 (прим.), 240 (прим.), 266, 267, 312, 313, 335, 342, 360
Глеб Рогволодич, сын Рогволода Борисовича, внук Бориса Всеславича 322, 323 (прим.)
Глеб Ростиславич, сын Ростислава Глебовича, внук Глеба Всеславича 322 (прим.)

Глеб Ростиславич, сын Ростислава Ярославича, внук Ярослава Святославича 309 (прим.), 310, 316–319, 323
• его жена, дочь Ростислава Юрьевича 309 (прим.), 317 (прим.), 318
Глеб Святославич, сын Святослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 41, 43, 67, 87, 95–100, 102 (прим.), 104, 163, 324
• его жена, дочь Рюрика Ростиславича 43, 67, 87, 88, 90, 95–102, 104, 163
Глеб Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 200, 312
Глеб Тириевич, половецкий кн. 220 (прим.), 276, 287, 296 (прим.), 303 (прим.), 310–326, 338, 360, 371
Глеб Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 75, 135, 230 (прим.), 281 (прим.), 310, 313–316, 323, 324
• его жена, дочь Изяслава Давыдовича 75, 135, 314
Глеб Юрьевич, сын Юрия Ярославича Туровского, внук Ярослава Святополчича 80 (прим.), 91 (прим.), 321, 323
Горен, лицо из окружения Святослава Ольговича 339
Григорий, тысяцкий кн. Глеба Юрьевича 315
Григорий Великий, папа римский 8 (прим.)
Гуго, король 8 (прим.)
• его жена, см. Альда
• его жена, см. Берта
Гудлейк Русский / Греческий, норвежский купец 341 (прим.)
Гурандухт, представительница династии Багратидов 214
Гурандухт, дочь Отрока (Атрака) 213, 214, 234, 235, 281, 282 (прим.), 283, 311 (прим.)
• ее муж, см. Давид Строитель
Гурег, лицо упоминаемое в «Письме брата Юлиана о монгольской войне» 282 (прим.)
Гурка (Гюр-хан), лицо упоминаемое в сочинении ан-Насави 282 (прим.)
Гюнтер, кефернбургский граф 63
• его жена, дочь Ярополка Изяславича и Кунигунды 63

Давид, царь, библ. 180, 206–208
Давид Строитель, царь Грузии 213, 214, 234, 235, 281, 282 (прим.), 283, 311 (прим.)
• его жена, см. Гурандухт

Давыд Всеславич, сын Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Изяславича 52, 53 (прим.), 200, 312
Давыд Вышатич, галицкий боярин 331, 332 (прим.)
• его теща, см. Нездиловая
Давыд Георгиевич, сын Георгия Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 355, 357, 358
Давыд Игоревич, сын Игоря Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 32, 60, 61, 101 (прим.), 170–173, 242, 343, 344
• его жена 343, 344
Давыд Ольгович, сын Олега Святославича, внук Святослава Всеволодича 290
Давыд Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича Смоленского, внук Мстислава Владимировича Великого 83, 99, 145, 315 (прим.), 322 (прим.), 354–360, 362
Давыд Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 26, 27 (прим.), 28, 30, 43 (прим.), 70, 76, 78, 110, 113, 114, 200, 218, 220 (прим.), 240, 244, 278, 312, 345, 370
Даниил (Данила), пленный половец (возможно, тождественен Даниилу Кобяковичу) 228 (прим.), 276, 284, 286–292, 303 (прим.), 311 (прим.)
Даниил, пророк, библ. 197 (прим.)
Даниил Заточник, древнерусский автор 180 (прим.)
Даниил Кобякович, половецкий кн. 166, 212, 228, 275 (прим.), 276, 282 (прим.), 284, 286–292, 294–299, 303 (прим.), 310, 311 (прим.), 312, 329, 338, 349, 361, 371, 375
Даниил Романович Галицкий, сын Романа Мстиславича, внук Мстислава Изяславича 47, 48, 55, 104, 218, 233, 240, 285, 331, 332 (прим.), 370, 374, 375
• его жена, дочь Мстислава Удатного, внучка Котяна 233, 374, 375
Даниил Столпник, св. 197 (прим.)
Деди, саксонский маркграф 175, 176
Деметре, сын Давида Строителя, грузинский царь 281 (прим.)
Джелаль-ал-Дин, султан 282 (прим.)
Дмитрий Завидич, новгородский посадник 14
• его дочь, жена Мстислава Великого 14
Дмитрий Солунский, св. 162, 166, 167, 186
Добрыня, брат Малуши, дядя Владимира Святого 42 (прим.)

Евстафий, архиеп. антиохийский, св. 204 (прим.)

Евстафий, патриарх константинопольский 204
Евстафий Воин, св. 204
Евстафий Кийский, св. 204 (прим.)
Евстафий Мстиславич, сын Мстислава Владимировича Тьмутараканского, внук Владимира Святославича Святого 203–208, 242, 243 (прим.)
Евстафий Никейский, св. 204 (прим.)
Евстафий / Плакида, св. 204–206, 208
Евфимий Чудотворец, св. 197 (прим.)
Евфросиния / Измарагд (Смарагд) Александрийская, св. 190, 191
Евфросиния Мстиславна, дочь Мстислава Владимировича Великого, внучка Владимира Всеволодича Мономаха, королева Венгрии 14, 346
Евфросиния (в миру — Предслава) Полоцкая, дочь Георгия Всеславича, внучка Всеслава Брячиславича, св. 190, 191, 357, 358
Евфросиния Ростиславна Измарагд, дочь Ростислава Рюриковича, внучка Рюрика Ростиславича 89 (прим.), 190, 191
Евфросиния Суздальская, см. Феодулия
Ексн, половецкий кн. 220 (прим.), 287, 311 (прим.)
Елена, царица, св. 201, 207 (прим.)
Елена Всеволодовна, дочь Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внучка Юрия Владимировича Долгорукого 201
Елдечюк, половецкий кн. 299
Елтук (Елтут?), сын (?) Отрока (Атрака), брат Кончака, половецкий кн. 283, 317–319
Елтут, половецкий кн. 317–319
Етебич, половецкий кн. 299
Ефрем, ученик св. Авраамия Смоленского 192–199
Ефрем Сирин, св. 195–197

Зоя, дочь Константина VIII, императрица в Византии 15
- ее муж, см. Константин Мономах
- ее муж, см. Михаил Пафлагон
- ее муж, см. Роман Аргир

Иаков Мних, древнерусский автор 180 (прим.), 206
Иван Борисович Рузский, сын Бориса Васильевича Волоцкого, внук Василия Васильевича Темного 147–149

Иван Васильевич Грозный, сын Василия Ивановича, внук Ивана Васильевича III, царь 194
Иван Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 314
Ивар Прут, знатный норвежец 11
- его жена (?), см. Ингирид

Игорь / Георгий Святославич Новгород-Северский, сын Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 44, 45, 111, 125, 127, 130–133, 141 (прим.), 145, 149, 201, 202 (прим.), 232, 246–249, 262–284, 290, 292–295, 296 (прим.), 298, 299, 304–308, 321 (прим.), 324, 333, 339, 340 (прим.), 341, 350, 354, 363, 370, 373
- его жена, дочь Ярослава Владимировича Осмомысла 130, 131, 133, 278, 279, 286 (прим.), 288, 333

Игорь Ольгович, сын Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 28, 29, 30, 36 (прим.), 109, 119, 142 (прим.), 340 (прим.)
- его жена 28, 29, 142 (прим.), 340 (прим.)

Игорь Рюрикович, сын Рюрика 149, 150, 177, 214
Игорь Святославич Новгород-Северский, см. Игорь / Георгий Святославич Новгород-Северский
Игорь Ярославич, сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 32, 101 (прим.)
Ида из Эльсдорфа, знатная немка, кузина германского имп. 15, 16 (прим.)
Иезекия, царь, библ. 174–184
Изай (Изая, Иза) Билюкович, половецкий кн. 287, 303–305, 311 (прим.)
Изай (Изай, Иза) Бурчевич, половецкий кн. 303–305, 311 (прим.)
Измаил (Исмаил), библ. 225 (прим.), 228, 275 (прим.)
Изяслав Андреевич, сын Андрея Юрьевича Боголюбского, внук Юрия Владимировича Долгорукого 73, 74, 141 (прим.)
Изяслав Владимирович, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 59, 143, 274 (прим.)
- его жена 143, 144

Изяслав Владимирович, сын Владимира Игоревича, внук Игоря Святославича 44, 45, 263, 270 (прим.), 274, 283, 370
Изяслав Владимирович, сын Владимира Святославича Святого, внук Святослава Игоревича 51–53, 64, 222 (прим.), 358
Изяслав Давыдович, сын Давыда Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича Смоленского 355–360, 362
Изяслав Давыдович, сын Давыда Святославича, внук Святослава Ярославича 29, 30, 42 (прим.), 45, 70, 73–75, 77–79 (прим.), 80, 81,

110, 111 (прим.), 118, 120–122, 135–136, 141 (прим.), 218, 269, 314, 320, 322, 339, 345–347, 369, 370
• его жена, возможно, половчанка 75 (прим.), 218, 314, 345–347, 370
• его дочь, жена Глеба Юрьевича 75, 135, 314
Изяслав / Дмитрий Ярославич, сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 50–57, 58 (прим.), 59, 62–66, 69 (прим.), 101 (прим.), 175, 176 (прим.), 178, 181, 258, 366, 370
• его жена, см. Гертруда
Изяслав Мстиславич, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 14, 15, 24, 27, 35, 36, 44, 80 (прим.), 82, 83, 86, 94, 104, 112 (прим.), 116–120, 121 (прим.), 128, 129 (прим.), 133–135, 140, 141 (прим.), 157, 274 (прим.), 312 (прим.), 334 (прим.), 346, 370
• его жена, «из Обез» 15, 80 (прим.), 141 (прим.)
Изяслав Ярославич, см. Изяслав / Дмитрий Ярославич
Изяслава, приемная дочь Владимира Васильковича 333, 334 (прим.)
Иисус, сын Сираха, библ. 221 (прим.)
Иларион, митр. 17, 18, 149–151, 199, 200, 206
Иларион Великий, св. 197 (прим.), 199, 200
Илья Ярославич, предполагаемый сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 243 (прим.)
Ингварь Ярославич, сын Ярослава Изяславича Луцкого, внук Изяслава Мстиславича 142 (прим.), 161, 164 (прим.)
Инги Старый, сын Стейнкеля, конунг Швеции 11, 12
Ингибьерг, дочь Мстислава Владимировича Великого, внучка Владимира Всеволодича Мономаха 12, 21, 256
• ее муж, см. Кнут Лавард
Ингигерд / Ирина, дочь Олава Шведского 150, 151, 213, 337
• ее муж, см. Ярослав Мудрый
Ингирид, дочь Рёгнвальда, королева Норвегии 11
• ее муж, см. Арни из Стодреймa
• ее муж, см. Ивар Прут
• ее муж, см. Оттар Кумжа
• ее муж, см. Харальд Гилли
• ее муж, см. Хейнрек Хромой
Иннокентий IV, папа римский 68 (прим.)
Иннокентий Гизель, автор Синопсиса 257
Иоаким Кучкович, убийца кн. Андрея Боголюбского 167–169

Иоанн, болгарский царь 15 (прим.)
Иоанн, митр. 121 (прим.)
Иоанн XII, папа римский 8 (прим.)
Иоанн Златоуст, св. 197 (прим.)
Иоанн Креститель, библ. 128
Иоасаф, царевич, св. 197 (прим.)
Иосиф Волоцкий, св. 147
Иосия, царь, библ. 180 (прим.)
Ирина, см. Ингигерд / Ирина
Ирод, царь, библ. 128
Исая, пророк, библ. 178, 179, 181–183
Итларевич, сын половецкого вождя Итларя 252, 253
Итларь, половецкий кн. 171 (прим.), 252, 347, 363
• его сын, см. Итларевич
Иулиания, см. Ульяния

Казимир II Справедливый, польский кн. 83, 84 (прим.)
Казимировна, дочь польского кн. Казимира II Справедливого 295
• ее муж, см. Всеволод Чермный
Камоса Осулукович, половецкий кн., дядя Святослава Ольговича 348
Киприан, митр. 192 (прим.)
Кирик Новгородец, автор «Вопрошания» 231 (прим.), 237
Кирилл, митр. 48
Кирилл Александрийский, св. 153
Китан, половецкий кн. 171 (прим.), 252, 257, 258, 347
Китанопа (Танопа), половецкий кн. 250, 257, 258
Климент (Клим) Смолятич, митр. 18, 80, 121 (прим.)
Кнут Лавард, сын Эрика Доброго, претендент на датский престол, св. 12, 21
• его жена, см. Ингибьерг
Кнут Могучий (Великий), сын Свейна Вилобородого, конунг Дании, король Англии 12
• его жена 12
Кобан Урусович, половецкий кн. 221, 326–327
Кобяк Карлыевич, половецкий кн. 220 (прим.), 221, 230, 265, 287–296, 298, 299, 303, 304 (прим.), 306 (прим.), 308, 310–312, 323, 351–353, 361
• его сын 287, 290, 291, 304 (прим.), 353 (прим.)
• его сын, см. Даниил Кобякович

Коза (Кза, Гза) Бурнович, половецкий кн. 221, 289 (прим.), 291, 294, 299–301, 303–305, 308–310, 361
Козл (Когл) Сотанович, половецкий кн. 221, 251 (прим.), 317
Коксус, половецкий кн. 350 (прим.)
• его сын 350 (прим.)
Колдечи Урусович, половецкий кн. 221, 326, 327
Колобич, половецкий кн. 299
Коломан / Борис, сын Коломана, претендент на венгерский престол 208 (прим.)
Константин, митр. 80, 121 (прим.)
Константин VIII, византийский имп. 15
• его дочь, см. Зоя
Константин Великий, имп., св. 180 (прим.), 201, 206–208
Константин Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 201
Константин Давыдович, сын Давыда Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича Смоленского 355, 357, 360
Константин Мономах, византийский имп. 15
• его жена, см. Зоя
Кончак, сын (?) Отрока (Атрака), половецкий кн. 44, 45, 166, 228, 230, 262–276, 279, 281 (прим.), 282, 283, 287–294, 298–300, 306 (прим.), 310–312, 315–319, 322, 323, 353 (прим.), 354, 361, 370
• его брат, см. Елтук
• его сыновья 265, 270, 272, 283, 290, 353 (прим.)
• его дочь, см. Кончаковна
Кончаковна, дочь половецкого кн. Кончака 44, 45, 218, 262–264, 270–272, 274, 279, 283, 354, 370
• ее муж, см. Владимир Игоревич
Копти, половецкий кн. 299
Коряз Калотанович, половецкий кн. 287
Котяк, см. Котян
Котян Сутоевич, половецкий вождь 221, 228, 232–234, 275 (прим.), 370, 374
• его дочь, жена Мстислава Мстиславича Удатного 218, 233, 370
• его внучка, жена Даниила Галицкого 233, 374, 375
Кочиа, половецкий кн. 250
Кочкарь, «милостник» кн. Святослава Всеволодича 99
Кристина, см. Христина
Кунам (Куман), половецкий кн. 250
Кунигунда, дочь маркграфа Оттона, княгиня 61, 63, 68 (прим.)

• ее муж, см. Ярополк Изяславич
• ее дочь, жена графа Гюнтера 63
Курток (Куртыка, Куртка), половецкий кн. 250
Кучка, боярин 167–169

Лавр, см. Овлур
Лавр, св. 247 (прим.)
Лазарь, владимирец 170 (прим.)
Ламперт Херсфельдский, хронист 175–178 (прим.)
Лев Данилович, сын Даниила Романовича Галицкого, внук Романа Мстиславича 48, 336
• его жена, дочь Белы IV 48
Леон, «царевич» 241, 344 (прим.)
• его жена, см. Марица
Лот, библ. 225 (прим.)
• его дочери 225 (прим.)
Лотарь, король 8 (прим.)
• его жена, см. Адельгейда
Лиутпранд Кремонский, еп., писатель, дипломат 8 (прим.)
Лука, еп. 88 (прим.)
Людовик Добрый, ландграф Тюрингии 16
• его жена, см. София

Магнус, сын Торстейна Халльсона 213
Магнус Голоногий, сын Олава Тихого, конунг Норвегии 12
Магнус Добрый, сын Олава Святого, конунг Норвегии 213
Магнус Сильный, сын Нильса Свейнссона, претендент на датский престол 14
• его жена, см. Рикица
Маккавеи, библ. 100, 123 (прим.)
Максим, еп. белгородский 88 (прим.)
Мал, князь древлянский 42 (прим.)
Малуша, мать Владимира Святого 42 (прим.)
Маль(м)фрид, дочь Мстислава Владимировича Великого, внучка Владимира Всеволодича Мономаха, королева Норвегии и Дании 12, 13, 21
• ее муж, см. Сигурд Крестоносец
• ее муж, см. Эрик Незабвенный
Мальфрид Юрьевна, дочь Юрия Ярославича Туровского, внучка Ярослава Святополчича 90, 91

Мануил Комнин, византийский имп. 214
Маргарета Фридкулла, дочь Инги Старого, королева Дании 12
• ее муж, см. Магнус Голоногий
• ее муж, см. Нильс
Марица, дочь Владимира Всеволодича Мономаха 241, 344 (прим.)
• ее муж, см. Леон, «царевич»
Мария Святославна, дочь Святослава Ольговича, внучка Олега Святославича 115 (прим.)
• ее муж, см. Ярополк Изяславич
Мария Шварновна, княгиня 43, 96 (прим.), 135 (прим.), 191, 192
• ее муж, см. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо
• ее сестра, жена Мстислава Святославича 41, 42 (прим.), 43, 96
Маркиан, св. 166
Мародах, царь, библ. 183
Мартирий, св. 166
Меркурий Кесарийский, св. 197 (прим.)
Меркурий Смоленский, св. 197 (прим.)
Мефодий Патарский, св. 224, 225 (прим.)
Мешко II, польский король 69 (прим.)
• его дочь, см. Гертруда
Мешко III Старый, сын Болеслава Кривоустого, польский кн. 129 (прим.), 346 (прим.)
• его жена, предположительно, дочь Изяслава Мстиславича 129 (прим.)
Мирослав, галицкий боярин 331, 332 (прим.)
Митрофан, еп. владимирский 140
Михаил, см. Святополк
Михаил, архистратиг 91 (прим.), 163, 171–173, 186
Михаил (Михалко) Вячеславич, сын Вячеслава Владимировича, внук Владимира Всеволодича Мономаха 26, 27, 30, 35
Михаил Пафлагон, византийский имп. 15
• его жена, см. Зоя
Михаил Пселл, византийский писатель 45, 48 (прим.)
Моав, библ. 225 (прим.)
Мстислав / Борис Романович, сын Романа Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 313, 356 (прим.), 357–359
Мстислав Владимирович, сын Владимира Мстиславича Мачешича, внук Мстислава Владимировича Великого 164, 262
Мстислав Владимирович Великий, см. Мстислав / Федор / Харальд Владимирович Великий

Мстислав Владимирович Тьмутараканский, см. Мстислав / Константин Владимирович Тьмутараканский
Мстислав Давыдович, младший сын Давыда Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 355, 360
Мстислав Давыдович, старший сын Давыда Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 355–360, 362
Мстислав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, внук Мстислава Владимировича Великого 80, 82–84 (прим.), 85–87, 94 (прим.), 104, 121 (прим.), 128, 129 (прим.), 136 (прим.), 141 (прим.), 269, 308, 309, 315, 316, 370
• его жена, см. Агнешка
Мстислав / Константин Владимирович Тьмутараканский, сын Владимира Святославича, внук Святослава Игоревича 203, 204, 207, 208, 242 (прим.)
Мстислав Мстиславич Удатный, сын Мстислава Ростиславича Храброго, внук Ростислава Мстиславича 101, 166, 218, 233, 234, 336, 370, 374
• его жена, дочь Котяна 218, 233, 370
• его дочь, жена Даниила Галицкого 233, 374, 375
Мстислав Романович, см. Мстислав / Борис Романович
Мстислав Ростиславич Храбрый, сын Ростислава Мстиславича Смоленского, внук Мстислава Владимировича Великого 83, 266, 267, 356 (прим.), 370
Мстислав Ростиславич, сын Ростислава Юрьевича, внук Юрия Владимировича Долгорукого 140, 317 (прим.)
• его мать 140
• его жена, дочь Якуна Мирославича 140, 337
Мстислав Святополчич, сын Святополка Изяславича, внук Изяслава Ярославича 69 (прим.)
Мстислав Святославич, сын Святослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 41, 42 (прим.), 43, 87 (прим.), 96, 290, 291
• его жена, «свесть» (свояченица) Всеволода Большое Гнездо 41, 42 (прим.), 43, 96
Мстислав / Федор / Харальд Владимирович Великий, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 12, 13, 22, 23 (прим.), 25–27, 30, 33, 34, 36 (прим.), 37, 38, 43 (прим.), 69 (прим.), 71 (прим.), 75 (прим.), 82, 85, 92, 93, 94, 96, 98, 102 (прим.), 104, 106, 109, 114, 115 (прим.), 119, 135, 142 (прим.), 156–161, 169 (прим.), 239 (прим.), 255, 256, 274 (прим.), 279, 281 (прим.), 308, 328, 335, 346, 354, 360, 370
• его жена, дочь Дмитрия Завидича 14

• его жена, см. Христина (Кристина)
• его дочь, жена Всеволода Ольговича 22 (прим.), 98, 104, 114, 124, 126
• его дочь, жена Ярослава Святополчича 69 (прим.), 102 (прим.)
Мстислав Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 135
• его жена, дочь Петра Михалковича 135, 337
Мстислав Юрьевич, сын Юрия Всеволодича, внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 140
Музух, русский князь (см. Володарь Глебович?) в хронике Альберика из Труа-Фонтен 259, 260

Насави, автор «Жизнеописания султана Джелаль-ал-Дина» 282 (прим.)
Нездила, галицкий кормилец 331, 332 (прим.)
Нездиловая, жена кормильца Нездилы 331
• ее зять, см. Давыд Вышатич
Нерадец, наемный убийца Ярополка Изяславича 59, 60, 62
Никифор II, митр. 87–89, 98, 163
Никола Святоша, см. Святослав (Никола Святоша)
Николай Гречин, еп. 88 (прим.)
Николай Мирликийский, св. 128 (прим.), 153, 236
Никон Сухой, насельник Киево-Печерского монастыря 236, 237
Нильс, сын Свейна Эстридссона, конунг Дании 12
• его жена, см. Маргарета Фридкулла
Нифонт, архиеп. новгородский 127, 128

Обовлы Костутович (Костукович), половецкий вождь 269
Овлур / Лавр (?), половец 238 (прим.), 246–249, 341, 350
Овчин, половецкий кн. 350 (прим.)
• его братья 350 (прим.)
Ода, княгиня 15, 16 (прим.), 175, 176, 348 (прим.)
• ее муж, см. Святослав Ярославич
Олав Святой, сын Харальда Гренландца, конунг Норвегии 11
Олав Шёткунг, сын Эрика Победоносного, конунг Швеции 150
• его дочь, см. Ингигерд (Ирина)
Олег Игоревич, см. Олег / Павел Игоревич
Олег / Михаил Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 23 (прим.), 25, 30, 76 (прим.), 98, 100, 109, 110, 113–114, 143, 145, 156–161, 212, 217–218, 220, 221 (прим.), 227, 244, 252, 253, 262, 274 (прим.), 277, 279, 283, 306 (прим.), 308, 334, 340 (прим.), 345, 347–349, 365, 367, 370, 372

• его жена, дочь Осолука (?) 217, 244, 317 (прим.), 340 (прим.), 347–349, 365, 368, 370
Олег / Павел Игоревич, сын Игоря Святославича Новгород-Северского, внук Святослава Ольговича 201, 202, 270, 278–280 (прим.), 307
Олег Святославич, см. Олег / Михаил Святославич
Олег Святославич, сын Святослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 76, 77 (прим.), 124, 212, 290, 297
• его жена, см. Андреевна
Олег Святославич, сын Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 29, 40, 76 (прим.), 108–112, 115–118, 122–133, 145, 146 (прим.), 149, 265, 267, 271, 277–280, 288, 292, 293, 297, 300, 302 (прим.), 306 (прим.), 308, 340 (прим.)
• его жена, дочь Юрия Владимировича Долгорукого 29 (прим.), 40, 108, 109, 112, 115–117, 130, 131, 146 (прим.), 212, 262, 263
• его жена, см. Агафья Ростиславна
Олег Ярославич, внебрачный сын Ярослава Владимировича Осмомысла, внук Владимира Володаревича 333 (прим.)
Олисей Гречин, новгородец 341 (прим.)
Ольга / Елена, княгиня киевская, св. 19, 20, 42, 180 (прим.), 207 (прим.), 214, 232
• ее муж, см. Игорь Рюрикович
Ольга Юрьевна (в монашестве — Евфросиния), дочь Юрия Владимировича Долгорукого, внучка Владимира Всеволодича Мономаха 40, 44, 112, 115–117, 130, 134, 141 (прим.), 190, 191, 333 (прим.), 335
• ее муж, см. Ярослав Осмомысл
Осалук (Осолук), половецкий кн. 287, 304, 311 (прим.), 349
Оселук (Селук), половецкий кн. 348
Осень, половецкий кн. 114, 221 (прим.), 222 (прим.), 256, 345, 350 (прим.)
Осолук, половецкий кн. 348, 349, 370
• его дочь, жена Олега Святославича (?) 217, 317 (прим.), 347–349, 365, 368, 370
Оспак / Хакон, конунг Гебридских островов 213
Отрок (Атрак), сын Шарукана (Шарагана), половецкий кн. 234, 235, 283, 311, 312 (прим.)
• его дочь, см. Гурандухт
• его сын 235
Оттар Кумжа, знатный норвежец 11
• его жена, см. Ингирид

Оттон, майсенский маркграф 68 (прим.)

Павел, ап. 61, 168, 169, 201, 202, 206 (прим.)
Пасхалий II, римский папа 68 (прим.)
Петр, ап. 168, 169, 201, 202
Петр, «Кучков зять», убийца кн. Андрея Боголюбского 167–169
Петр Галат, св. 201, 202
Петр Капетолийский, св. 201, 202
Петр Михалкович, знатный новгородец 135 (прим.)
• его дочь, жена кн. Мстислава Юрьевича 135
Плоскыня, воевода бродников 231
Поликарп, игумен Киево-Печерского монастыря 123 (прим.)
Предслава Георгиевна, см. Евфросиния Полоцкая
Предслава Рюриковна, дочь Рюрика Ростиславича, внучка Ростислава Мстиславича 67, 82–91 (прим.), 95, 99, 101, 103, 104, 113
• ее муж, см. Роман Галицкий

Ратибор, приближенное к князю лицо 363
Рауль де Крепи, граф 14
• его жена, см. Анна Ярославна
Рикица (Рикса), дочь Болеслава Кривоустого 14, 259
• ее муж, см. Володарь Глебович
• ее муж, см. Магнус Сильный
Рёгнвальд Старый, шведский ярл 337
Рогволод, князь в Полоцке 42 (прим.), 251 (прим.), 337
• его дочь, см. Рогнеда
Рогволод, посланник кн. Ростислава Рюриковича 336–337
Рогволод Борисович, см. Рогволод / Василий Борисович
Рогволод / Василий Борисович, сын Бориса Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 322, 323 (прим.)
Рогнеда Мстиславна, дочь Мстислава Владимировича Великого, внучка Владимира Всеволодича Мономаха 92, 256
Рогнеда Рогволодовна, дочь полоцкого князя Рогволода 42, 43 (прим.), 250, 251 (прим.), 337
• ее муж, см. Владимир Святой
Роговичи, боярский род 337
Роман Аргир, византийский имп. 15
• его жена, см. Зоя
Роман Владимирович, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 115 (прим.)

• его жена, дочь Володаря Ростиславича 115 (прим.)
Роман Всеславич, сын Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Изяславича 200, 312
Роман Глебович, сын Глеба Ростиславича Рязанского, внук Ростислава Ярославича 132 (прим.), 306 (прим.), 309 (прим.)
• его жена, дочь Святослава Всеволодича 132 (прим.), 309 (прим.)
Роман Данилович, сын Даниила Романовича Галицкого, внук Романа Мстиславича 48 (прим.), 370
• его жена, см. Гертруда Бабенберг
Роман Игоревич, сын Игоря Святославича Новгород-Северского, внук Святослава Ольговича 131, 132, 270, 278, 279, 298, 305–308, 332 (прим.)
Роман Кзич, половецкий кн. 212, 248, 249, 256, 276, 294, 295, 298–301, 303, 305–310, 324 (прим.), 338, 349, 360, 361, 371
Роман Михайлович, сын Михаила Вячеславича, внук Вячеслава Владимировича 27
Роман Мстиславич Галицкий, сын Мстислава Изяславича, внук Изяслава Мстиславича 40–42 (прим.), 57, 67, 82–89, 91 (прим.), 94 (прим.), 95, 96 (прим.), 97–99, 102 (прим.), 103, 104, 113, 125, 142 (прим.), 161, 166, 240, 285 (прим.), 298, 305, 308, 309, 331, 332 (прим.), 333 (прим.), 370
• его жена, см. Предслава
• его жена 104, 142 (прим.), 331
Роман Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича Смоленского, внук Мстислава Владимировича Великого 83, 85, 108, 112, 117–120, 123, 125, 126 (прим.), 129 (прим.), 132, 146 (прим.), 266, 267, 279, 298, 301–303, 305–308, 310, 340 (прим.), 356 (прим.), 358, 359 (прим.)
• его жена, дочь Святослава Ольговича 108, 112, 117–120, 123, 125, 146 (прим.), 340, 341 (прим.)
Роман Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 132, 200, 240, 244, 306 (прим.), 312, 343, 364
Ростислав Всеволодич, сын Всеволода Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 61
Ростислав Глебович, сын Глеба Всеславича Минского, внук Всеслава Брячиславича 102 (прим.)
• его жена, см. Софья Ярославна
Ростислав / Михаил Мстиславич Смоленский, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича

Мономаха 27, 35–37 (прим.), 82, 83, 86, 90, 92, 93, 94, 98, 104, 108, 109, 117–126, 128, 129 (прим.), 131, 132, 136 (прим.), 163, 176 (прим.), 274 (прим.), 278, 279, 300–303, 308, 328, 356, 357, 370
• его дочь, см. Агафья Ростиславна
Ростислав / Михаил Рюрикович, сын Рюрика Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 42 (прим.), 80 (прим.), 86, 88, 89 (прим.), 90, 91 (прим.), 93, 135 (прим.), 163, 190, 191, 267, 327, 336, 337
• его жена, см. Верхуслава
• его дочь, см. Евфросиния Измарагд
Ростислав Мстиславич Смоленский, см. Ростислав / Михаил Мстиславич Смоленский
Ростислав Рюрикович, см. Ростислав / Михаил Рюрикович
Ростислав Юрьевич, сын Юрия Владимировича Долгорукого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 140, 253 (прим.), 309 (прим.), 316, 317
• его дочь, жена Глеба Ростиславича 309 (прим.), 317 (прим.), 318
• его жена 140
Ростислав Ярославич, сын Ярослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 164, 290
Ростислав, сын Ярослава Святославича, внук Святослава Ярославича 218, 316–318, 370
• его жена, возможно, половчанка 218, 309 (прим.), 317–319, 370
Ростислава Мстиславна, см. Ростислава / Феодосия Мстиславна
Ростислава / Феодосия Мстиславна (в монашестве — Евфросиния), дочь Мстислава Мстиславича Удатного, внучка Мстислава Ростиславича Храброго 101, 189, 190
• ее муж, см. Ярослав Всеволодич
Рудольф, король Бургундии 8 (прим.)
• его дочь, см. Адельгейда
• его жена, см. Берта
Рюрик / Василий Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича Смоленского, внук Мстислава Владимировича Великого 42 (прим.), 43, 67, 80 (прим.), 82, 83, 86–100, 103, 104, 113, 125, 135 (прим.), 137, 141 (прим.), 161–167, 169 (прим.), 170, 173 (прим.), 218, 253, 262, 265–267, 271 (прим.), 273 (прим.), 286, 287, 300–303, 306 (прим.), 311, 321, 322, 335, 336, 354, 355, 359, 370
• его жена, см. Белуковна
• его жена, см. Анна, дочь Юрия Туровского
• его дочь, см. Предслава
• его дочь, жена Глеба Святославича 43, 67, 87, 88, 90, 95–102, 104

• его дочь, жена Святослава Игоревича 141 (прим.)
Рюрик Ростиславич, см. Рюрик / Василий Ростиславич
Рюрик Ростиславич, сын Ростислава Владимировича, внук Владимира Ярославича 31, 60

Савва Освященный, св. 196, 197
Сантуз, половецкий кн. 238 (прим.), 261
Саук, половецкий кн. 349 (прим.)
Сбыслава Святополковна, дочь Святополка Изяславича, внучка Изяслава Ярославича 68 (прим.), 107, 108 (прим.)
• ее муж, см. Болеслав Кривоустый
Святополк, приближенный Владимира Ярославича Галицкого 335
Святополк / Михаил Изяславич, сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 43 (прим.), 52 (прим.), 53, 60, 90, 91 (прим.), 93, 94 (прим.), 102 (прим.), 107 (прим.), 170–173, 217, 229, 235, 244, 253 (прим.), 259, 281 (прим.), 335, 364, 366, 370
• его жена, дочь Тугоркана 217, 229, 244, 259, 364, 366, 370
• его жена, возможно, дочь Спытигнева 69 (прим.)
• его наложница 69 (прим.), 259
Святополк Изяславич, см. Святополк / Михаил Изяславич
Святополк Мстиславич, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 335
Святополк Юрьевич, сын Юрия Ярославича Туровского, внук Ярослава Святополчича 91 (прим.), 95 (прим.), 335, 335
Святополк Окаянный, сын Ярополка или Владимира Святославичей, внук Святослава Игоревича 17, 18, 24 (прим.), 230 (прим.), 334, 335
Святослав / Андриан Игоревич, сын Игоря Святославича Новгород-Северского, внук Святослава Ольговича 141 (прим.), 278, 279, 280 (прим.), 307
• его жена, дочь Рюрика Ростиславича 141 (прим.)
Святослав / Борис Ольгович Рыльский, сын Олега Святославича, внук Святослава Ольговича 279, 280 (прим.), 299, 313
Святослав Владимирович, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 252
Святослав Владимирович Вщижский, сын Владимира Давыдовича, внук Давыда Святославича 16, 27 (прим.), 29, 30, 42 (прим.), 45, 67, 70–81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 92–94 (прим.), 95, 98, 99, 101, 102, 104, 110, 111, 124, 137, 141 (прим.), 278, 320, 322, 369
• его жена, см. Андреевна

Святослав Владимирович, сын Владимира Святославича Святого, внук Святослава Игоревича 59
Святослав Всеволодич, сын Всеволода Ольговича, внук Олега Святославича 29 (прим.), 40–42 (прим.), 43, 50, 57, 76, 77 (прим.), 87 (прим.), 96–100, 104, 110, 111, 113 (прим.), 118 (прим.), 123 (прим.), 124, 126–127, 130, 162, 163, 227, 253 (прим.), 265, 280, 286, 290–293, 295–297, 306 (прим.), 309 (прим.), 311, 324, 345–346, 349, 359, 368
• его дочь, жена Романа Глебовича 132 (прим.), 309 (прим.)
• его жена 98–100
Святослав Давыдович Святоша, см. Святослав / Николай Давыдович (Святоша)
Святослав Игоревич, см. Святослав / Андриан Игоревич
Святослав Игоревич, сын Игоря Рюриковича, внук Рюрика 149, 150, 177, 182, 214, 270, 364
Святослав Мстиславич, сын Мстислава Изяславича, внук Изяслава Мстиславича 83, 84 (прим.), 85
Святослав / Николай Давыдович Святоша, сын Давыда Святославича, внук Святослава Ярославича, князь-инок 28, 30, 71 (прим.), 102 (прим.), 239 (прим.)
• его дочь, жена Всеволода Мстиславича 28, 71 (прим.)
• его жена (???), см. Анна Святополковна
Святослав / Николай Ольгович, сын Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 22–24 (прим.), 29, 40, 71 (прим.), 74, 76 (прим.), 77, 81, 108, 109–112, 114–123, 125, 127, 128, 130, 133, 135 (прим.), 136, 142 (прим.), 145, 146, 149, 153, 217, 218, 221 (прим.), 244, 272, 273, 279, 281, 283, 286, 292 (прим.), 293, 300, 302 (прим.), 314, 316, 317 (прим.), 339, 340, 344, 345, 347–349, 365, 367, 368, 370
• его жена (?), дочь Аепы Гиргенева 114, 217, 218, 221 (прим.), 244, 253 (прим.), 267, 277–279, 281, 340 (прим.), 345, 365, 367, 370
• его жена, новгородка (?) 127, 128, 130, 133, 239 (прим.), 340 (прим.)
• его дочь, жена Романа Ростиславича 108, 112, 117–120, 123, 125, 340, 341 (прим.)
• его дочь, предположительно, жена Владимира Андреевича
Святослав Ольгович, см. Святослав / Николай Ольгович
Святослав Ольгович Рыльский, см. Святослав / Борис Ольгович Рыльский
Святослав Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича Смоленского, внук Мстислава Владимировича Великого 83 (прим.), 85

Святослав Трубечский, сын (?) или внук (?) Всеволода Святославича, внук (?) или правнук (?) Святослава Ольговича 294 (прим.)
Святослав Ярославич, сын Ярослава Владимировича Мудрого, внук Владимира Святославича Святого 15, 16 (прим.), 30, 50, 52–55, 64–66, 70, 77, 110, 132, 158, 174–184, 200, 218, 239 (прим.), 262, 263, 278, 279, 312, 348 (прим.), 364, 370, 372
• его жена, см. Ода
Святохна, по Татищеву, жена Бориса Давыдовича Друцкого (???) 357 (прим.)
Семен, посланник кн. Льва Даниловича 336
Сигурд Крестоносец, сын Магнуса Голоногого, конунг Норвегии 12, 13
Сигурд Свинья, мелкий конунг в Норвегии 11
• его жена, см. Аста
Сильвестр, папа римский, св. 165, 198 (прим.)
Сильвестр Печерский, св. 198 (прим.)
Симеон, еп. смоленский 360
Содвак Кулобичский, половецкий кн. 287
Соломон, царь, библ. 174, 178, 180, 206, 208
Соломон (Шаламон), сын Андрея Венгерского, венгерский король 208 (прим.)
Софья (София), дочь Володаря Глебовича Минского, внучка Глеба Всеславича 16, 259
• ее муж, см. Вальдемар Великий
• ее муж, см. Людовик Добрый
Софья, дочь Ярослава Святополчича (?), внучка Святополка Изяславича (?) 102 (прим.)
• ее муж, см. Ростислав Глебович
Спытигнев II, чешский кн. 69 (прим.)
Сугр, половецкий кн. 222 (прим.)
Судимир, новгородский боярин 341 (прим.)
Судимир Кучебич, лицо из окружения Святослава Ольговича 339–341
Судислав, галицкий боярин 331, 332 (прим.)
Судислав, сын Владимира Святославича, внук Святослава Игоревича 332 (прим.)
Сурьбар, половецкий кн. 250

Тарсук, половецкий кн. 287, 303 (прим.), 311 (прим.)
Тарголовы мужи, половецкий клан 299, 301 (прим.)
Тарх (Тарг), половецкий кн. 287, 311 (прим.)

Тегак, половец, сват Даниила Галицкого 218, 370, 374
Терьтробич, половецкий кн. 299
Тетий, половецкий кн. 220 (прим.), 287, 311 (прим.), 351, 352
• его сын 220 (прим.), 287, 311 (прим.), 351–353
Товлый, половецкий кн. 287
• его сын 287
Токсобичи, половецкий клан 299, 339
Толгый, половецкий кн. 218, 220 (прим.), 287, 311 (прим.), 351–362
• его дочь 218, 251, 354, 357, 358, 362
• его сын 218, 220 (прим.), 287, 311 (прим.), 351–354
Торлак, сын Торхалля, исландский еп., св. 212
Торстейн, сын Халля, исландец 213
Тугоркан, половецкий кн. 229, 235, 366, 370
• его дочь, жена Святополка Изяславича 217, 229, 244, 259, 364, 366, 370
• его сын 229 (прим.), 366
• его внучка, жена Андрея Доброго 218, 244, 257, 365, 366, 370
Турундай, половецкий кн., тесть Кобяка 220 (прим.), 287, 291, 311 (прим.), 351–353, 361
Туряк, владимирец 170 (прим.)
Тюнрак Осулукович, половецкий кн., дядя Святослава Ольговича 348

Улашевичи, половецкий клан 299, 301 (прим.)
Ульяния Волоцкая, княгиня, жена кн. Бориса Васильевича 146–150
Урусоба, половецкий кн. 250, 327

Фара, отец Авраама, библ. 31 (прим.)
Федор Борисович, сын Бориса Васильевича Волоцкого, внук Василия Васильевича Темного 146, 147, 149
Федор Иванович, сын Ивана Васильевича Грозного, внук Василия Ивановича, царь 194
Федор Ярославич, сын Ярослава Всеволодича, внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, св. 197 (прим.)
Феодор, митр. 80, 121 (прим.)
Феодор Стратилат, св. 186, 194
Феодор Тирон, св. 159, 160, 186
Феодор Чудотворец, св. 197 (прим.)
Феодора, дочь Романа Мстиславича Галицкого, внучка Мстислава Изяславича 41, 42 (прим.), 84, 90
• ее муж, сын Владимира Ярославича Галицкого 41, 42 (прим.)

Феодосий Великий, св. 197 (прим.)
Феодосий Печерский, св. 193, 195 (прим.), 197 (прим.)
Феодосия, см. Ростислава / Феодосия Мстиславна
Феодулия (в монашестве — Евфросиния), дочь Михаила Всеволодича, внучка Всеволода Святославича Чермного, св. 190, 191
Филипп, ап. 295
Фока, св. 201
Фридрих Барбаросса, германский имп. 16

Хакон Старый, сын Хакона, конунг Норвегии 213
Харальд Гилли, сын Магнуса Голоногого, конунг Норвегии 11
• его жена, см. Ингирид
Харальд Годвинсон, король Англии 255
• его дочь, см. Гида
Харальд Гренландец, мелкий конунг в Норвегии 11
• его жена, см. Аста
Харальд Суровый, сын Сигурда Свиньи, конунг Норвегии 11
Хейнрек Хромой, знатный скандинав 11
• его жена (?), см. Ингирид
Хольти Смелый, согласно сагам, один из сыновей Ярослава Мудрого 255
Христина (Кристина), дочь Инги Старого, княгиня 12, 69 (прим.), 256
• ее муж, см. Мстислав Великий

Чаргова чадь 335
Ченегрепа (Ченегрен), половецкий кн. 250
Чилбук, половец 299

Шаламон, см. Соломон
Шарукан (Шараган), половецкий кн. 222 (прим.), 234, 235, 244 (прим.), 283, 311 (прим.), 350 (прим.)
Шварн, княжеский боярин 43, 96 (прим.), 135 (прим.)
• его дочь (?), см. Мария, жена Всеволода Большое Гнездо

Эрик Незабвенный, сын Эрика Доброго, конунг Дании 12, 13, 21
• его жена, см. Маль(м)фрид
Этельред Нерешительный, король Англии 12
• его жена 12

Юлиан, монах, автор «Письма брата Юлиана о монгольской войне» 282 (прим.)

Юрий, см. также Георгий
Юрий, священник в Галиче 331 (прим.)
Юрий Владимирович Долгорукий, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 24, 27, 29 (прим.), 34, 36 (прим.), 40, 44, 72, 75, 77, 94, 104, 108, 109, 112, 114–122, 124, 129 (прим.), 130, 131, 133–136, 157, 176 (прим.), 190, 194 (прим.), 218, 221 (прим.), 230 (прим.), 240, 244, 256–258, 273, 280, 281, 313, 314, 316, 318, 328, 344 (прим.), 345, 347, 350 (прим.), 365, 367, 370, 372
• его жена, дочь половецкого кн. Аепы Осенева 114, 218, 221 (прим.), 244, 256, 258, 281, 313, 328, 345, 347, 350 (прим.), 365, 367, 370, 372
• его дочь, жена Олега Святославича 29 (прим.), 40, 108, 109, 112, 115–118, 130, 131
• его дочь, см. Ольга Юрьевна
Юрий Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 140
• его жена 140
Юрий (Юрки) Кончакович, половецкий кн. 211, 228, 229, 256, 271–276, 282–284, 287, 288, 298, 299, 310, 311 (прим.), 312, 313, 329, 349, 361, 370, 371, 372, 375
• его сын 282 (прим.)
• его дочь, жена Ярослава, сына Всеволода Большое Гнездо 218, 229, 271, 272, 274 (прим.), 275, 283, 370, 372, 375
Юрий Львович, сын Льва Даниловича, внук Даниила Романовича 336
Юрий Ярославич Туровский, сын Ярослава Святополчича, внук Святополка Изяславича 43 (прим.), 71, 90, 91, 92–94, 114, 115, 134, 240, 273, 302 (прим.), 320, 321, 328, 335
• его жена, см. Всеволодковна

Яким, см. Иоаким
Яков, племянник (сын сестры) Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 80 (прим.), 135 (прим.)
Ян Длугош, польский хронист 107, 108 (прим.)
Ярополк, галицкий боярин 277, 330–334, 338
Ярополк Андреевич, сын Андрея Владимировича Доброго, внук Владимира Всеволодича Мономаха 328
Ярополк Владимирович, сын Владимира Всеволодича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 22, 23, 25–28, 33, 34, 328, 329
Ярополк Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, внук Мстислава Владимировича Великого 115 (прим.), 328
• его жена, см. Мария Святославна

Ярополк Изяславич, сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 39 (прим.), 43 (прим.), 53, 59–66, 68 (прим.), 102 (прим.), 329, 330 (прим.), 335
• его дочь, жена Глеба Всеславича Минского 39 (прим.), 52–54 (прим.), 63–66, 68, 69 (прим.), 102 (прим.)
• его дочь, жена графа Гюнтера 63
• его жена, см. Кунигунда
Ярополк Мстиславич, сын Мстислава Владимировича Великого, внук Владимира Всеволодича Мономаха 34, 328, 335
Ярополк Романович, сын Романа Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича Смоленского 328
Ярополк Ростиславич, сын Ростислава Юрьевича, внук Юрия Владимировича Долгорукого 140, 317 (прим.), 328, 334
• его мать 140
• его жена 140
Ярополк Святославич, сын Святослава Игоревича, внук Игоря Рюриковича 17, 18, 335
• его жена, «Грекиня» 17, 18
Ярополк Томзакович, половецкий кн. 211, 276, 326–338, 340, 371
Ярополк Юрьевич, сын Юрия Ярославича Туровского, внук Ярослава Святополчича 91 (прим.), 328, 335
Ярополк Ярославич, сын Ярослава Всеволодича, внук Всеволода Ольговича 328, 334
Ярослав Владимирович Осмомысл, сын Владимира Володаревича, внук Володаря Ростиславича 40, 44, 115–117, 130, 131, 134, 135 (прим.), 141 (прим.), 278, 279, 333
• его дочь, жена Игоря Святославича 130, 131, 133, 278, 279, 333
• его жена, см. Ольга Юрьевна
Ярослав Владимирович, сын Владимира Мстиславича Мачешича, внук Мстислава Владимировича Великого 37, 38, 41 (прим.)
• его жена, «свесть» (свояченица) Всеволода Большое Гнездо 41 (прим.)
Ярослав Владимирович Мудрый, см. Ярослав / Георгий Владимирович Мудрый
Ярослав Всеволодич, сын Всеволода Ольговича, внук Олега Святославича 97 (прим.), 124, 164 (прим.), 290, 293, 300, 302 (прим.), 308
Ярослав Всеволодич, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Владимировича Долгорукого 101, 190, 218, 229, 271, 272, 274 (прим.), 275, 283, 370, 372, 375
• его жена, дочь Юрия Кончаковича 218, 229, 271, 272, 274 (прим.), 275, 283, 370, 372, 375

• его жена, см. Ростислава / Феодосия
Ярослав / Георгий Владимирович Мудрый, сын Владимира Святославича Святого, внук Святослава Игоревича 27, 30–32, 37 (прим.), 50–52 (прим.), 53, 54, 63–66, 69 (прим.), 77, 110, 132, 149–151, 204, 208 (прим.), 213, 217, 240, 243 (прим.), 244, 251 (прим.), 255, 279, 306 (прим.), 317, 329 (прим.), 332 (прим.), 335, 337, 342, 364, 366, 367, 370
• его жена, см. Ингигерд / Ирина
Ярослав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, внук Мстислава Владимировича Великого 82, 83, 274 (прим.)
Ярослав Святополчич, сын Святополка Изяславича, внук Изяслава Ярославича 43 (прим.), 69 (прим.), 93, 102 (прим.), 107, 108 (прим.)
• его жена, дочь Мстислава Великого 43 (прим.), 69 (прим.), 102 (прим.)
• его жена, дочь Владислава / Германа и сестра Болеслава Кривоустого 107, 108 (прим.), 258, 259
• его мать, княжеская наложница 69 (прим.), 259
Ярослав Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Владимировича Мудрого 25, 111 (прим.), 132 (прим.), 158, 306 (прим.), 317, 318, 370
Ярослав Юрьевич, сын Юрия Ярославича Туровского, внук Ярослава Святополчича 321 (прим.)
Ярослав Ярополчич, сын Ярополка Изяславича, внук Изяслава Ярославича 101 (прим.)
Ярослав Ярославич, сын Ярослава Всеволодича, внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 101

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов 5

Часть I
Наброски к матримониальному портрету династии Рюриковичей

Глава 1. Княгиня-вдова в домонгольской Руси: о природе уникального в правящей династии 7
Глава 2. Отцы и дети на пути к власти 21
Глава 3. «Сватьством обуемшеся»: к уточнению семантики некоторых свадебных терминов 38
Глава 4. Опасные связи: о возможных мотивах одного политического убийства 59
Глава 5. Близкородственный брак в домонгольской Руси: ограничения и возможности 67
Святослав Вщижский и Андреевна 70
Роман Галицкий и Предслава Рюриковна 82
Рюрик Ростиславич и Анна Юрьевна 89
Глеб Святославич и Рюриковна 95
Глава 6. Браки между близкими свойственниками: ограничения и возможности 105
Глава 7. Княжеская сноха в прошлом, настоящем и в будущем 137

Часть II
Наброски к нарративному портрету династии Рюриковичей

Глава 1. Именины в пространстве летописного нарратива 152
Глава 2. Князь Святослав и царь Иезекия: К интерпретации статей «Повести временных лет» под 1075 и 1076 гг. 174
Глава 3. Драматургия имянаречения: небесные и земные тёзки в домонгольской Руси 184

Часть III
Русские имена половецких князей

Глава 1. Общий взгляд на культурную ситуацию русско-половецких контактов . . . 209
О чем говорят христианские имена у половцев? К постановке проблемы . . . 210
Различные модели антропонимических инноваций в родовом мире . . . 212
Имена как зеркало взаимодействия элит . . . 215
Половцы как брачные партнеры Рюриковичей . . . 217
Русское родословие половецких элит . . . 220
Некоторые особенности «половецкого фактора» в картине мира «Повести временных лет» . . . 223
Конфессиональные характеристики половцев в рассказе древнейших летописей о событиях XII — первой половины XIII вв. . . . 227
Когда и при каких обстоятельствах принимали крещение половецкие князья? . . . 232
Нелетописные источники о соприкосновении половцев с христианством . . . 236
Состав и специфика христианского именослова половцев . . . 238
Династические функции христианского имени у Рюриковичей . . . 239
Как половцы могли воспринимать династические имена русских князей? . . . 242
Кто давал половцам русские имена, «свои» или «чужие», и кто этими именами пользовался? . . . 245
К проблеме русско-половецкой родовой двуименности . . . 255
Общие замечания . . . 260
Глава 2. Имена и их обладатели . . . 262
§ 1: Георгий (Юрий) . . . 262
Брак Кончаковны и Игоревича в контексте матримониальной практики Ольговичей . . . 262
Предыстория взаимоотношений двух сватов . . . 264
Наследники двух союзников . . . 270
Функции имени Георгий (Юрий) у Рюриковичей и половцев . . . 272
Имена как элемент внешней и внутренней семейно-политической стратегии Игоря и его братьев . . . 277
Русское имя половецкого князя за пределами Руси . . . 282
Общие замечания . . . 283

§ 2: Даниил . . . 284
*Особенности бытования имени **Даниил** у Рюриковичей* . . . 284
Происхождение и биография половецкого Даниила. Источники, разночтения . . . 286
В поисках прототипа: Всеволод Святославич-старший . . . 292
В поисках прототипа: Всеволод Святославич-младший . . . 295
В поисках прототипа: иные модели, иные возможности? . . . 296
Общие замечания . . . 297
§ 3: Роман . . . 298
Три половецких наследника с русскими именами . . . 298
Половецкие вожди и смоленские Ростиславичи . . . 299
Белюк — дед половецкого Романа? . . . 303
В поисках прототипа: Роман Ростиславич, Роман Игоревич, Роман Мстиславич . . . 305
Общие замечания . . . 310
§ 4: Глеб . . . 310
*Место князя по имени **Глеб** в половецком родовом мире* . . . 310
*Функция имени **Глеб** у Рюриковичей* . . . 312
В поисках прототипа: Глеб Юрьевич . . . 313
В поисках прототипа: Глеб Ростиславич . . . 316
В поисках прототипа: потомки Всеволодко Городенского . . . 319
Потенциальные союзники отца половецкого Глеба. Иерархия возможностей . . . 322
Иные модели имянаречения . . . 324
Общие замечания . . . 324
§ 5: Ярополк . . . 326
Половецкий фон появления нехристианского русского имени . . . 326
Русские князья, обладатели имени Ярополк . . . 328
*Имя **Ярополк** в ряду династических имен Рюриковичей* . . . 329
*Имя **Ярополк** на Руси за пределами княжеской династии* . . . 330
Общие замечания . . . 337
§ 6: Василий . . . 338
Упоминание Василия Половчина: нарративный контекст и антропонимический конвой . . . 338
Половец ли Половчин? . . . 341
*Имя **Василий** в ряду династических имен Рюриковичей* . . . 342
Версия половецкого происхождения посла Василия . . . 345
Общие замечания . . . 349

§ 7: Давыд 351
Терминология родства и свойствá в перечне половецкой знати 351
Давыдович — русский князь? 354
Давыдович — князь половецкий? 360
Общие замечания 362
Глава 3. Ритм и характер русско-половецких контактов по матримониальным и ономастическим данным (вместо заключения) 362
Список сокращений и цитируемая литература 375
Указатель 392